

**Игорь Шабалин**

**СВИДЕТЕЛЬ СОЦИАЛИЗМА**

**ИГОРЬ**

**СОЦИАЛИЗМА**

**СВИДЕТЕЛЬ**



**ШАБАЛИН**

**И.Д. ШАБАЛИН**

**СВИДЕТЕЛЬ  
СОЦИАЛИЗМА**

Раздумья о своей эпохе

Фонд им. И.Д. Сытина  
Москва, 1998

ББК 84.Р7  
Ш36

**Ш36** **И.Д. Шабалин.** Свидетель социализма. Раздумья о своей эпохе. М.: Фонд им. И.Д. Сытина. 1998. — 400 с.

ISBN 5-86863-084-X



Автор — капитан I ранга в отставке, действительный член Русского Географического общества — обобщает в своей книге впечатления об эпохе, современником, участником и свидетелем которой был.

Написанный в жанре искренней исповеди живым и сочным языком «роман с идеологией» передает колорит и аромат удивительного времени — времени социализма в России. Перед нами откровенный взгляд на социализм «изнутри», взгляд неспешно менявшийся на протяжении более полувека от романтической восторженности к здравому смыслу. В качестве заставок к главам использованы марки из коллекции автора, а также рисунки внука — Сергея Ляшенко.

На страницах книги найдут много интересного и любопытного и историк, и педагог, и читатель, чьего волнуют судьбы родной страны.

© И.Д. Шабалин, 1998.

**Игорь Дмитриевич Шабалин**  
**Свидетель социализма. Раздумья о своей эпохе**

Изд. лицензия ЛР № 030527 от 6 мая 1993 г.

Формат 60x88 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Объем 25 печ. л.  
Тираж 1000 экз. Заказ 313.

АСКИ — Фонд им И.Д. Сытина  
103051, Москва, ул. Петровка, 26

Отпечатано с оригинал-макета  
в Московской типографии № 9  
109033, г. Москва, ул. Волочаевская, 40.

## От автора



Я полагаю, что политикой  
буквально насыщен воздух,  
которым мы дышим.  
... в наш век политика в очень  
многих странах превратилась в  
вопрос жизни и смерти, чем она  
все-таки не была в XIX столетии.

Грэм Грин

«Кончается эпоха!» — однажды в мае, на втором году перестройки, неожиданно произнес не мой голос во мне. Дверь на кухню была приоткрыта, там говорило радио — передавался доклад, кажется, Горбачева, — но слов было не разобрать. Значит, голос был внутренним. Я подумал: «Вот так, наверное, и осеняет!...».

Тем не менее, целый день эти слова не давали мне покоя — ведь уходит-то *мое* время. К вечеру я стал склоняться к мысли, что, действительно, неплохо было бы привести хоть в какой-то порядок впечатления об этой самой уходящей эпохе. Но чем больше я раздумывал, тем безнадежнее стало мне представляться это предприятие.

Утром появилась мысль, что можно все же попытаться сделать так: вспомнить по возможности все, чему я удивлялся. Дело в том, что эти удивления стали занимать меня довольно давно, часть их я даже запомнил. Вот если вспомнить побольше удивлений и выстроить их в хронологическом порядке, то может быть что-нибудь и получится. Для начала хорошо бы и как-то назвать эпоху...

Я думаю, что это была эпоха НОМО POLITICUS'а и, пожалуй, у меня есть внутренние основания для такого названия. Ключевым словом эпохи было «ПОЛИТИКА». Оно пропитало весь окружающий мир: политическая бдительность, политическая выдержка, политическая беспечность и политическая ограниченность, политическая партия, политическое руководство, политическая биография, политическая учеба, политическая информация, политические лозунги...



Одно из первых моих удивлений относится к 1939 году, когда была введена медаль «Золотая звезда» — знак отличия для Героев Советского Союза (само звание Героя Советского Союза было установлено ранее — 16 апреля 1934 года — и первым Героям вручались лишь грамоты). Удивление мое было вызвано тем, что звезда была золотой, а не красной! Это ведь измена цвету Революции, Красному знамени... Золото, золотое — это у буржуев, у нас оно ничто и, вообще, достойно только презрения. При коммунизме знаете, что из золота делать будут?!

В таком восприятии Золотой звезды я был совсем не одинок. Мой друг детства Вилен Исаченко думал так же, ребята из нашего класса — тоже. И это понятно почему. Мы были детьми, родившимися уже после Октябрьской революции, да еще в Москве. Пожалуй к 1939-40 годам и сформировалось мое мальчишеское, — а потому и максималистское, — мировоззрение, которое можно, мне кажется, назвать классически советским. Оно было совсем не оригинальным: у моих сверстников в школе и в Доме пионеров, у ребят во дворе, у детей родственников и знакомых — оно было таким же. Оно шло от окружающего нас мира; питалось им и в нем же находило подтверждение. Блестящим символом этого мировоззрения была скульптура «Рабочий и колхозница» на советском павильоне в Париже во время всемирной выставки 1937 года. Был и идеальный символ — Дворец Советов, правда он не был еще готов, но строительство было развернуто.

К этому времени относилось и мое удивление названию «воскресенье», которым был заменен прежний «выходной день» в Указе Президиума Верховного Совета летом 1940 года. Такое же удивление вызывало часто встречавшееся тогда в газетах выражение «на душу населения». Как можно употреблять эти слова — воскресенье и душа — ведь мы же не верим в бога! Мальчишеское мировоззрение было цельным, а окружающий мир казался вполне гармоничным.

Ну и что, — я стал раздумывать дальше, — удивления в конце-концов ни к чему не приводят, их просто становится все меньше, и они, сами по себе, только шаги от м и ф о л о г и з и р о в а н н о г о сознания к обычному здравому смыслу.

Но начавшись, внутренний диалог продолжался:

- Так. Значит, менялся и мой взгляд на мир.
- Несомненно, но одновременно менялся сам мир.
- Об этом так много наговорено, написано, напето...
- Верно, но менялся-то и ты сам!
- Да, пожалуй это интереснее, но есть опасность: «Полюбите себя, — и вы получите роман, которому нет конца!
- Это Моруа и рефлексия!

— Конечно, рефлексии. А ведь еще в школе Александра Федоровна учила, что они признак лишних людей. Дело делать надо!

— А может попробовать?

— Что ж, пусть рефлексии...

Я родился в 1926 году в центре Москвы, на Никольской улице, в доме № 4. Позднее улицу переименовали, и она стала улицей 25-го Октября. Москва к тому времени была уже восемь лет столицей Союза Советских Социалистических Республик — первого в мире государства рабочих и крестьян, на гербе которого были написаны слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Мои родители были лояльными советскими гражданами, любившими свою родину.

В 1933 году я пошел в школу. Этой школой оказалась школа № 1 Ленинского районного отдела народного образования. Во втором классе я стал октябренком, в четвертом — пионером. В 1940 году я поступил в 1-ю Военно-Морскую специальную школу, в 1943 — в единственное тогда инженерное Ленинградское Высшее Военно-Морское училище имени Дзержинского. В 1945 году участвовал в Параде Победы на Красной Площади. В 1947 — принят в партию.

Я перечисляю эти даты и события, чтобы подчеркнуть: судьбой был поставлен чистый опыт создания «человека нового социалистического общества». Судьба была милостивой ко мне и мальчишкам, моим однокашникам... Может быть для того, чтобы посмотреть на ту самую эпоху изнутри, эпоху совсем не милостивую?



## М И Ф Ы

... понять миф, т.е. воспринять его так, как его воспринимали те, среди кого он возникал и бытовал, в современном обществе может только ребенок, да и то только такой, который свои фантазии принимает за реальность.

М.И. Стеблин-Каменский

Мой изначальный мир был единым: с самого-самого начала в нем была мама, потом — чуть позже — отец, потом бабушка, затем и сразу — сестра, Вилька и няня. Мир возникал отдельными короткими событиями, совершенно произвольными и не связанными между собой. Позднее события удлинялись, вместо точек образовывалась черточка. Черточки понемногу тоже удлинялись и через довольно долгое время слились: восприятие стало непрерывным.

Ориентиром в мире, то есть нахождением своего места в нем, становится понимание разделенности его на две части — нашу и не нашу. Наши — это красные, не наши — белые.

Любопытная деталь. В 1928 году мама подарила папе красивые резные шахматы из кости в складном ящике-доске с наборными квадратами светлых и темных сортов дерева. Я не помню, когда я стал играть ими. (Не в шахматы, а шахматами!) Увидел я их уже наполовину разбитыми. Когда я спросил почему они такие, отец ответил, что это моя работа, когда я был совсем маленьким они были моей любимой игрушкой. Я знал, как их расставлять на доске и какая фигура как ходит. Так вот, шахматы были красные и белые. Не черные и белые, а именно красные (цвет) и белые.

Вот это разделение на *мы* и *не мы*, красных и белых потянуло за собой слова: Революция и Гражданская война. Я еще не понимал, что они значат, но постепенно у меня обозначилась в сознании некая точка отсчета времени. Ею оказалась Октябрьская революция или, что то же самое, тысяча девятьсот семнадцатый год. Это было само собой понятно, так как взрослые тогда часто вспоминали: «Мирное время». Оказалось, что оно было *до*. А вот *после* наступило наше, теперешнее, время, в котором все *мы*, и я в том числе, живем.

Разделение на *наше* и *не наше*, на *мы* и *они*, естественным образом развиваясь, зачисляло в «наше» и «мы» бедняков, рабочих и крестьян (так вместе с серпом и молотом — одними слова-

ми — они вошли в сознание). Здесь же были С.С.С.Р. (тогда писалось с точками), Ленин, коммунизм, диктатура, пролетариат. Даже имя моего друга Вильки было образовано от В.И. Ленина (Вилен).

Понятно, что в «они» попали богачи, дворяне, помещики, фабриканты, буржуи, плантаторы, двуглавый орел, Россия (тогда не надо было говорить: царская, это и так было понятно), Николай II, колонии, капитализм.

Несколько позднее появились колхозник и единоличник. Постепенно место коммунизма стал занимать социализм — как его первая фаза или стадия, а буржуй превратился в капиталиста.

*Наши* — это большевики, а *они* — меньшевики. Истоком большевиков были красные. Потом сюда вошли коммунары, комиссары, пролетарии, уполномоченные, красногвардейцы и красноармейцы, командиры, командармы, чекисты, наркомы, комсомольцы, ударники, стахановцы.

Ну, а вместе с меньшевиками были всякие денкины, колчаковцы, солдаты, офицеры, генералы, жандармы (вообще золотопогонники), министры, попы, кулаки, враги народа, шпионы и диверсанты, двурушники.

Соответственно у нас были пионеры с октябрятами, а у них — маменькины сыночки, кажется бойскауты, да еще кисейные барышни.

Так выстраивался мир, разделенный границей, проходящей через начало отсчета. Мир этот был, конечно, мифическим, но для меня тогда он был настоящим.

Данностями в том мире — сегодня я бы назвал их главными мифами — были следующие.

*Первое.* Октябрьская революция — абсолютное благо.

*Второе.* До революции — все было плохим.

Из этих двух данностей следовали с такой восхитительной неизбежностью остальные.

Очень быстро добавилась *третья*: обязательно будет мировая революция — Мировой Октябрь.

Возникавший мир тут же заселялся абсолютными героями: Лениным (Владимир Ильич, Ильич, дедушка Ильич, дедушка Ленин, «октябрята — внучата Ильича»), Марксом и Энгельсом, Сталиным (Ленин сегодня), Ворошиловым и Буденным; позднее Молотовым и Кагановичем; Димитровым, Карлом Либкнехтом с Розой Люксембург, Тельманом, Пассионарией...

Естественно, были и абсолютные враги: Николай II с царицей, Керенский, Чемберлен, Керзон, кайзер Вильгельм, Пуанкаре; потом Троцкий с Бухариным, позднее Гитлер, Геринг, Геббельс, Муссолини, Франко и самураи.

Можно покопаться в памяти и назвать еще несколько десятков, но, пожалуй, основными были сначала эти.

Конечно, в нем, этом мире, были и мишки и зайцы, и серые волки, и Иванушка с Аленушкой, и д'Артаньян с Атосом, Портосом и Арамисом, но это были АВ ОВО сказочные и книжные герои.

Первоначальные данности укреплялись, росли, давали победы — цитаты, лозунги, крылатые словосочетания, которые — это я стал замечать значительно позднее — превращались в пред-рассудки, догмы и стереотипы.

Корни Октябрьской революции оказывается находились в учении Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Революция поэтому и победила: «Учение Маркса всесильно, потому, что оно верно». Это сказал Ленин. Он также сказал, что Маркс превратил социализм из утопии в науку.

Слово *утопия* смущало меня недолго. У отца была тогда недавно им купленная довольно толстая книжка в непривычной мягкой обложке с рисунками на ней. Красной и светло-коричневой красками был изображен какой-то необычный сплошной город — прямо в домах проходили туннели, по ним катились обтекаемой формы поезда, было много арок и переходов, похожих на улицы одна над другой; дома, не кончаясь, переходили друг в друга; деревьев в городе, впрочем как и людей, не было заметно. Книга называлась, кажется, «Город (или города?) будущего». Картинок в книге было мало, но они были очень интересными. Одна называлась «Город Солнца», было и несколько портретов, — люди с суровыми и умными лицами в непривычной одежде и непонятных шапках и кепках с наушниками. По буквам я сумел прочитывать красиво вдруг зазвучавшие слова: «Компанелла и Томас Мор». Несколько дней я с особым интересом ждал прихода отца с работы, чтобы задать вопросы. Именно с того времени я узнал, что утопия это мечта. Наверное, это был 1932 или 1933-й год.

В мой мир входило все больше и больше слов. Они появлялись из разговора родителей, соседей, со двора, с улицы, из детского сада на Большой Ордынке (я туда ходил, когда бабушка одно время уезжала), из летнего лагеря в Погорелом Городище (тогда такие лагеря почему-то называли колониями). Лавина новых слов появилась в первом классе. Но самый большой их поток обрушился с появлением радио: в 1934 году начала работать Московская городская радиотрансляционная сеть.

... Среди наших слов были материя, безбожник, знание, энтузиазм, среди их — бог, опиум, идеализм, вера, кризис. Их мир пополнился штрейкбрехерами и фашистами, мятежниками, наш — шуцбундовцами, подпольщиками и республиканцами.

Постепенно просто Октябрьская революция стала социалистической и пролетарской. Эти слова привели за собой следующее: *мы первые в мире*. Первые не только потому, что первыми совершили победную пролетарскую и социалистическую рево-

люцию, но и потому, что мы обладаем знанием истины. Мы знаем куда идет человечество: к коммунизму.

И я совершенно искренне жалел трудящихся в капиталистических странах — им еще предстоит догонять нас. Хотя Мировая Революция и наступит скоро, но мы-то все время от них уходим вперёд.

Вместе с абсолютным добром Октября и верностью учения все это собирало в моем мире и *четвертую* данность: мы абсолютно правы во всем, так сказать, по своей природе, изначально, на все времена. Другими словами, социализм *автоматически* прав.

Этот миф был наиболее многогранным, все время развивающимся и в то же время как бы самодостаточным. И потом: как это приятно чувствовать, что и ты среди самых первых и передовых!

В четвертой данности все очень понятно следовало одно за другим. Например, социализм выше капитализма потому, что у него общественная собственность, которая выше частной. И революция победила потому, что большинство было против частной собственности (она у помещиков и капиталистов). Большинство всегда право, и нет крепостей, которых не могли бы взять большевики. Поэтому и коллектив всегда прав, а не личность отдельная. Раз собственность общая, значит все равны, это и есть справедливость.

Или: пролетариат передовой класс. Значит, нужна как можно быстрее индустриализация. Деревня — это что-то из дореволюционного прошлого; это отсталость; разве что колхоз их как-то оправдывает, хотя там еще не государственная, а какая-то колхозно-кооперативная, недоросшая еще собственность, но все-таки уже не единоличная. Надо, надо бороться!

Эта борьба — классовая, с теми, кто еще не понимает, что общественное лучше личного, они какие-то глупцы... Ведь их счастливыми делают. Ну и что ж, что насильно. Зато сразу и прямо, по-пролетарски, без разных там церемоний и сюсюканий.

Этот миф состоял как бы из нескольких деревьев, растущих из одного гнезда и соприкасающихся ветвями и листьями. Впрочем, этот образ подходит и для первых трех данностей. Понятно, что этот образ появился значительно позднее, а тогда — деревья бурно еще росли.

Осознание себя как отдельного «я» среди «мы», естественно происходило позднее, чем пробуждение просто сознания, но способ проявления этого осознания был тем же: от отдельных событий-точек к коротким отрезкам, которые еще прерывистые, — все удлинялись, пока не стали сплошной линией, означавшей понимание того, что я есть «я». Здесь я могу точно назвать начало. Это начало — моя первая личная драка во дворе.

Проблема «я и мы» неспешно развиваясь, через много лет привела меня к неизбежному для русского человека вопросу: «Что делать?». Но все это было еще далеко впереди.

## О Т Е Ц

Пожалуй, самое первое, что я выучил наизусть, был адрес: Большая Полянка, дом 1/2, квартира 99. Об этом позаботился отец, чтобы я не потерялся, если заблужусь. Как себя помню, я уже знал, что к нам ехать на 3, 10 или 18-ом трамваях, что я Игорь Шабалин, а моего папу зовут Дмитрий Гаврилович, а маму Евгения Ивановна.

Это было время, когда еще не было канала Москва-Волга с его шлюзами, еще не были гранитными набережные Москвы-реки, кроме как у Кремля, и поэтому были настоящими весенние ледоходы и паводки. Воздух становился каким-то особенно звонким и чистым, когда шел можайский лед. На набережной Канавы<sup>1</sup> у нашего дома в это время уже были готовы земляные насыпи, преграждавшие путь воде. От новых лодок-плоскодонок, приготовленных на всякий случай, пронзительно и празднично пахнет смолой и свежими досками, небо синее-синее с белыми облаками, а солнце отражается в Канаве бесчисленными зайчиками. Отец держит меня за руку, и мы оба идем по старому, из красного кирпича, Малому Каменному мосту.

Это воспоминание чаще других приходит, когда я думаю об отце. Наверное потому, что с ним у меня связана особенно радостная и светлая полоса детства. Всегда, когда была возможность, он брал меня с собой на прогулку, в гости, иногда на работу, по выходным на рынок... Смутно помню, что отец вначале носил фуражку инженера — зеленую с черным околышем и эмблемой из перекрещенных молоточка и разводного ключа. Позднее он стал носить кепку. От отца пахло чем-то таким родным, когда он прижимал меня к себе. Я кажется до сих пор чувствую колючесть его подбородка, легкий запах табака и слышу его смех, когда он начинает возиться со мной. Дома он обычно брал меня на руки и подбрасывал вверх:

— Птичка летает!

---

<sup>1</sup> Канава на картах-схемах Москвы «благородно» называется водотводным каналом, хотя есть русская русская народная песня «Эх, Канава, ты Канава!..»

Потом, второй раз, еще выше:

— Птичка играет!

Наконец — третий (потолки у нас были высотой в 3,40), я начинал визжать от радости, а отец ловил меня со словами:

— Птичка поет!

Как-то однажды вечером отец мне сказал, что завтра мы с ним пойдем погулять и он мне покажет статую Свободы. Не знаю почему, но она представлялась мне почти одушевленной. По дороге я все спрашивал, не больше ли она американской статуи, которую я видел в детском журнале и где ее высота сравнивалась с небоскребами и пароходом «Титаник», стоявшим вертикально. Мне никак не хотелось верить, что наша меньше. Меня поражало количество этажей в небоскребах и очень хотелось, чтобы в Москве были тоже такие. Обелиск свободы немного разочаровал меня, хотя я старался не показать виду. Свобода была каменной статуей с факелом в поднятой руке. «Факел — это светоч, видишь, Свобода всем освещает путь», — объяснил мне отец. За спиной Свободы высоко в небо уходила стела. «Вот бы Свобода была такой же высоты, — подумал я, — тогда было бы еще ничего!» Интереснее были арки с бронзовыми литыми плитами. На плитах находились выпуклые буквы, все печатные, кроме одной строки с письменными. Отец сказал, что это ленинская подпись. Меня удивило, что она длинная. Я еще как следует не умел читать, разве что печатными буквами. «Тут написано — Ульянов, а в скобках — Ленин», — пояснил мне отец. «Зачем Ульянов, и так все знают, что Ленин это Ленин», — подумал я про себя. Отец вслух стал читать текст конституции, но когда я услышал слово «РСФСР», мне стало неинтересно: «Это же, наверное, старая конституция, у нас давно СССР!». Обелиск свободы был на бортах трамваев и автобусов. Там его окружали шестерня и колосья, и на этом городском гербе я всегда теперь находил знакомую фигурку свободы. Надо сказать, что для мальчишек вроде меня всякая скульптура тогда была просто памятником, мы так и говорили: «Памятник свободы».

В нечастые наши прогулки (отец много работал) мы любили ходить к храму Христа Спасителя. Мы усаживались у его подножия и любовались просторными видами на Москву-реку и Кремль. У меня в памяти осталось впечатление о громадном белом и светлом здании и широких лестницах, почти бескрайних, с пологими ступенями, по которым так удобно было бегать. И еще запомнились красивые чугунные фонари. Со двора дома, где мы жили, золотые купола храма были хорошо видны — от самого начала Большой Полянки до него было рукой подать. И вот од-



нажды с куполов стали снимать золото, они стали превращаться в железные скелеты, особенно контрастные на фоне светлого неба. Я искренне радовался этому. Говорили, что золото пойдет на индустриализацию и оборону. Как-то я весело сообщил отцу, что маленькие купола уже готовы, скоро и с большого золото снимут. Мы, мальчишки, были уверены, что все золото червонное и его много-много пудов. Отец почему-то со мной не радовался, а грустно молчал... Все тогда знали, что на этом месте будет построен Дворец Советов, самое высокое здание в мире, выше американских небоскребов.

Однажды отец взял меня в закрытый распределитель. В то время существовала карточная система, и были карточки, а еще ранее — заборные книжки. Я почему-то думал, что это название происходит от слова «забор» и никак не мог понять причем тут книжка. Оказалось, что владелец заборной книжки прикрепляется к закрытому распределителю, в котором только и мог забирать, т.е. покупать какие-то товары. Но даже и в закрытых распределителях не всегда можно было что-нибудь «забрать». Во всяком случае, в тот раз так и было. Зато, когда мы проходили по Охотному ряду — сейчас пока это еще проспект Маркса — отец показал мне огромный котлован, который был вырыт для гостиницы «Москва», она начала строиться. От этой прогулки в зрительной памяти остался огромный рекламный щит «Автодора», организации очень тогда популярной. Был даже стадион «Автодор» на берегу Москвы-реки, куда раза два меня водил отец. Кажется, он принадлежал, во всяком случае членский билет у него был, к этому обществу одно время.

Не могу объяснить избирательности своей памяти. Мне запомнились отдельные фразы отца, сказанные в разное время, именно отдельные фразы. Я думаю, это может быть потому, что говорились они с необычной интонацией, и поэтому запоминались. Так однажды отец с какой-то глубокой озабоченностью сказал, что собираются ломать собор Василия Блаженного, который, якобы, мешает автомобильному движению на Красной площади: «Неужели мало, и так все Садовое кольцо вырубил?»). Помню, как отец однажды весело рассказывал маме свои впечатления после какого-то собрания в Зеленом театре, где выступал Н.И.Бухарин. Отец с одобрением сказал, что Бухарин свое выступление начал не обычным обращением «товарищи», а «товарищи и друзья».

Ближайшими от нас были три рынка: Полянский, Бабьегородский и Арбатский. Больше всего мы любили ходить на Бабьегородский. Он был самый открытый, шумный и веселый, да и

дорога туда была интересней — по набережной. У Стрелки можно было, если повезет, увидеть гоночные восьмерки — там был гребной клуб — и на флагштоке тогда поднимали спортивный флаг. И еще у самого рынка можно было посмотреть на плотину и услышать, как шумит Москва-река. По дороге мы с отцом всегда, как я бы сказал сегодня, что-нибудь обсуждали. Один разговор запал мне в память не потому, что он был серьезным, а потому, что в голосе отца я почувствовал какое-то смущение. Я его спросил, для чего живет человек? Смущение даже, пожалуй, было не столько в голосе, а в паузе, которая растянулась на несколько шагов. Медленно и задумчиво он произнес: «Для того, чтобы продолжать род человеческий...» Я был разочарован — тогда мне это казалось совсем не важным. Глубина ответа мне открываться стала нескоро. Но вот сами слова запомнились, как и тот весенний день, прохладный ветерок над Москвой-рекой и тогдашняя, без границ, еще своя набережная Канавы.

Одной из поговорок отца была: мы не так богаты, чтобы покупать плохие вещи. Одет всегда был отец к месту и удобно, одежда, по-моему, очень гармонировала с его обликом. На работу он шел в пальто-реглане с бархатным воротничком; на лесосплаве в командировках — был в кожаной тужурке; в удобной одежде и брезентовых рукавицах колот и пилил дрова у сарая во дворе. И все он делал легко и с удовольствием. Глядя сейчас на людскую толчею по телевизору, сразу трудно сказать кто это: горожане или приезжие из деревни. Мало этого — какой город — Москва, Варшава, Прага или даже Чикаго. В начале тридцатых годов такой однородности не было совершенно. Впрочем, как и телевизоров. Первую телевизионную передачу я видел в конце 1948 года у родителей Саши Соболева — они жили на Арбате. На маленький экран смотрели через большую линзу, заполненную водой. Собирались все соседи по квартире. Но вернемся к рассказу об одежде. Однажды, помню, мы с сестрой расшалились, бегая по комнате, и мама строгим голосом сделала нам замечание, чтобы мы не мешали: она осматривала папу в новой толстовке. По ее мнению, она ему очень шла. Обычно отец носил пиджак и сорочку с галстуком. У сорочек тогда отстегивались воротнички и манжеты, и можно было всегда попросить у папы поиграть запонками и «глазками». Толстовка была так сказать парадной одеждой. Я сначала думал, что толстовка происходит от слова «толстый» и спросил у отца, почему же он в ней не толстый. Он рассмехался и объяснил мне, что эту одежду придумал граф Толстой, что она удобна и практична. Мой крестный, дядя Володя, видимо не разделял этот взгляд и в праздничные дни приходил к нам в гости, одевая под пиджак косоворотку с вышивкой и подпоясы-

ваясь шелковым крученым пояском. Обычно мама, а он был ее младшим братом, делала ему за это замечание, но в следующий раз он опять приходил в косоворотке. У отца тоже были две таких вышитых рубахи, одну он особенно берег — ее давно ему вышила мама. Одевал он эти рубахи в жару летом.

Отец курил папиросы «Дели», «Бокс» и «За индустриализацию», были тогда такие названия! Курить разрешалось только на кухне. Обычно он покупал несколько пачек сразу и хранил их на полке книжного шкафа рядом с «Народной энциклопедией». Это была энциклопедия еще дореволюционного издания, на переплетах была изображена аллегорическая фигура женщины с факелом, похожая на статую свободы. Картинок в энциклопедии было мало, не то что в новой Большой Советской Энциклопедии, красивые вишнево-красные с черным тома которой время от времени приносил почтальон. Женщины на переплете не было, а была тисненая золотом эмблема с серпом и молотом, звездой, шестерней и колосьями. В шкафу были взрослые книги: еще одна энциклопедия — техническая, Нутте, «Физика наших дней», еще технические книги, Чехов, А.Н.Толстой — их тоже выписывали — Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Андерсен, Бичер Стоу — наградные мамины книги прекрасного дореволюционного издания... Кроме книжного шкафа были и книжные полки, они находились в маленькой комнате и на них были детские книжки. Книжный же шкаф стоял в большой комнате. Слева от него, между двумя окнами, располагался большой письменный стол. Левый ящик был мамин, средний — мой, а правый — папин. Средним ящиком могла пользоваться и моя сестра Нонна, но она еще была мала. Во взрослые ящики лазать не разрешалось, в обе тумбы тоже. Над письменным столом в изящной рамке красного дерева висел небольшой фотографический портрет Льва Николаевича Толстого. Прямой сильный старик с характерной русской бородатой головой стоял, заложив руки за пояс в длинной рубахе, и смотрел задумчиво куда-то... Этот портрет, по-моему, висел всегда. Я думаю он был из того мирного времени, о котором иногда вспоминал отец. Помню, как отец однажды принес овальный портрет Ленина на толстом картоне. Ленин на нем не был похож на портретные изображения последующих лет, но очень похож на себя в кинохронике, которую я увидел только после 1970 года. А тогда после смерти Ленина прошло еще мало времени, и он был изображен по фотографии еще «как при жизни». Интересные тогда были времена: я помню как продавали тогда портреты. Они лежали навалом на рогожной подстилке прямо на тротуарах. Каждый прохожий мог остановиться и выбрать: были два разных портрета Ленина, кажется, Калинин и еще кто-то из вождей. Отец

принес портрет, на котором Ленин был больше всего похож, как он сказал.

В небольшом архиве, составленном мамой, есть интересные документы отца: трудовая книжка и трудовой список. Они любопытны не только сведениями об отце, но и сами по себе, так как в них упоминаются «Декрет о введении трудовых книжек...» 1919 года и «Постановление СНК СССР о трудовых списках» 1926 года. Они сохраняют аромат своего времени не только пунктуацией, аббревиатурами, ушедшими словами и именами государственных деятелей, но и такими событиями, как внедрение паспортной системы в 1933 г. и, скажем, метаморфозами нашей экономики. Последние блестяще иллюстрируются списком учреждений, в которых работал отец. И еще — печатями: государственные — как обычно с гербом, а негосударственные (период НЭПа) — радовали полетом воображения художников на промышленные темы. В трудовой книжке отца, выданной 12 апреля 1922 года «Начальником 1-го Отделения С.Р.К.<sup>2</sup> милиции г. Москвы», записано, что он родился в селе Лудяно-Экономическом Буйской волости Нолинского уезда Вятской губернии 12 октября 1887 года. Кроме того, в ней указано, что место его постоянного жительства Москва, основная профессия — педагог, образование — высшее. Первое место регистрации (прописки) — дом № 4, кв. 14 по Никольской улице. На 28-ой странице книжки записано, что он 12 октября 1923 года вступил в брак с гражданкой Евгенией Ивановной Михайловой и что «по заключении брака оба супруга будут носить общую брачную фамилию Шабалины». Запись 21 января 1927 года сообщает о прописке по новому адресу: Б. Полянка, дом № 1. В трудовой книжке на страницах 30-31 (это последние страницы) помещен «Декрет о введении трудовых книжек в городах Петрограде и Москве», который «распубликован в «Известиях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета» 28 июня 1919 г., за № 139(691)». Этот декрет подписали: За председателя В.Ц.И.К. Л. Серебряков; Председатель С.Н.К. В. Ульянов (Ленин); Секретарь В.Ц.И.К. В. Аванесов.

Не могу удержаться и не привести хотя бы двух пунктов этого Декрета.

1. Все, достигшие 16-летнего возраста граждане Р.С.Ф.С.Р., обязаны иметь трудовые книжки, которые свидетельствуют об участии их владельца в производственной деятельности и служат удостоверением личности в пределах Р.С.Ф.С.Р. и документом на право получения продовольственных карточек, а также права на социальное обеспечение в случаях утраты трудоспособности и безработице.

---

<sup>2</sup> С.Р.К.М. — Советская Рабоче-Крестьянская Милиция.

3. Трудовые книжки выдаются лишь по предъявлении паспорта, который при выдаче книжки отбирается.

Всего пунктов в Декрете четырнадцать.

На первой странице книжки круглый герб РСФСР, слева от него — «Не трудящийся да не ест!», справа — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Позднее на эту страницу поставлен жирный фиолетовый прямоугольник штампа с текстом: «Паспорт выдан 33 г.» В архиве находится и «Трудовой список». Здесь на обложке уже герб СССР, под ним надпись: «Союз Советских Социалистических Республик». Надписей на языках союзных республик на гербе — шесть. На первой странице этого списка приводится Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР о трудовых списках. Вот три статьи из него:

1. Все государственные учреждения и предприятия (общесоюзного, республиканского и местного значения), а равно акционерные общества (паевые товарищества) с преобладающим участием государственного капитала обязаны вести на каждого служащего трудовые списки.

3. При переходе служащих высших категорий из одного учреждения или предприятия в другое, трудовые списки выдаются им на руки. При приеме на работу служащих тех же категорий все указанные в ст.1 учреждения и предприятия обязаны требовать от них представления трудовых списков с мест прежней службы.

4. Требования о заполнении служащими каких бы то ни было анкет, связанных с состоянием на работе в упомянутых в ст.1-й учреждениях и предприятиях, после введения трудовых списков не допускаются.

Постановление подписали: Зам.Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР А.Цюрупа; Зам.Управделами Совета Народных Комиссаров Союза ССР И.Мирошников; Секретарь Совета Народных Комиссаров Союза ССР Л.Фотиева; Москва, Кремль 21 сентября 1926 г.

В первом разделе Списка (общие данные) записано, что отец русский, из крестьян, что он окончил учительский институт — запись, по-моему неточная, не институт, а учительскую семинарию — и с 1906 по 1913 г. был учителем в Царицыне, с 1913 по 1918 г. — заведующим Высшим Начальным училищем сначала в селе Юкоменском, а затем в городе Глазове, с 1918 по 1920 г. — председателем школьного совета 4-й школы 2-й ступени в городе Нолинске, а с 1920-го — губернский школьный инструктор Вятского ГубОНО. В 1921 году отец поступает в Московский Лесной институт. В записи под № 7 стоит: «1921 — сент. 1926 состоял студентом Лесо-Технического факультета Ленинградского Лес-

ного Института и затем слушатель Высших педагогических курсов при М.В.Т.У.<sup>3</sup>». Далее следуют: Академия Коммунистического Воспитания им.Крупской (ассистент Педагогического Кабинета, 1925-28 гг.), одновременно (1926-29 гг.) ст. ассистент по курсу «Введение в современную технику» во 2-м Московском Государственном Университете, с 1928 г. — зав.учебной частью Московской Объединенной школы ФЗУ и ВРШ<sup>4</sup> им.Калинина Гостреста Моссредпрома МСНХ<sup>5</sup>, затем — Республиканский Трест Среднего Машиностроения «Машино́трест» ВСНХ РСФСР (инженер по профтехобразованию, 1930-й год) и с 1930-го — Наркомтяжпром, Управление уполномоченного по Московской области, инженер-инспектор по техникумам и ВУЗ-ам...

В Трудовом списке есть две характерные для того времени записи под № 20 и № 30:

№ 20. 1931, IV, 16 Мобилизован на лесосплав в г. Казань.

№ 30. 1932, V, II Мобилизован на работу в Камлесосплавтрест.

Последняя запись: «1934, VII, 8 Командирован на строительство Прибалхашстрой, где заболел и умер». В свидетельстве о смерти записано: тропическая лихорадка и ангина.

Отец заболел тропической лихорадкой на Балхаше, от места строительства летел на открытом двухместном самолете Р-5, железной дороги тогда еще не было. Внизу на земле было +41, а в воздухе — холодно. Вот здесь отец и получил ангину. Если бы после этого он остался в Москве, то я думаю, он бы поправился, его бы вылечили, но он сразу же поехал к нам, а мы втроем — мама, Нонна и я — тем летом впервые все вместе были в его родной Шабалинской, деревне, что рядом с селом Лудяны.

В отцовском Свидетельстве об окончании Лесного института записано: «...поступив в 1921 г. в б. Московский Лесной Институт, он окончил курс в Ленинградском Лесном институте по Механическому Отделению Лесо-Технологического факультета в 1927 г.» Далее следует перечень теоретических курсов (начертательная геометрия, аналитическая геометрия и т.д.), практические работы, курсовые проекты. «28 февраля 1927 г. гр.Шабалин Д.Г. подвергался испытаниям в Государственной Квалификационной Комиссии и защитил квалификационную работу на тему: «Шпалопропиточный завод в районе Пермской ж.д. с учетом доставки шпала для железных дорог юга СССР» <...> гр. Шабалину присваивается квалификация инженера лесо-технолога (механика), что и удостоверяется подписями и приложением печати».

<sup>3</sup> М.В.Т.У. — Московское Высшее Техническое училище.

<sup>4</sup> ФЗУ и ВРШ — фабрично-заводские ученичество и вечерняя рабочая школа.

<sup>5</sup> МСНХ — Московский Совет Народного хозяйства.

В моем дипломе, полученном в 1948 году, слова *гражданин* уже нет, есть *товарищ*. Интересно и вот что: у отца было много экономических дисциплин (экономическая география и лесные рынки, лесная экономика и статистика, экономика деревообрабатывающей промышленности и торговли). Естественно, была и политическая экономия, но не только: была еще и экономическая политика.

В моем дипломе — только политическая экономия.

## БАБУШКА

Булочная была напротив нашего дома на другой стороне Польянки. Там всегда вкусно пахло свежим хлебом. Хлеб взвешивали на весах: на одну сторону ставились гири, на другую клался хлеб, указатели, похожие на птичьи головки с длинными клювами, должны были встать строго друг против друга. Хлеб резали высоким плоским ножом с удобной деревянной рукояткой. Взвешивали точно и поэтому часто получались довески. По неписанному мальчишескому правилу их можно было съесть и не нести домой, но если я ходил в булочную с кем-нибудь из взрослых, это не разрешалось. Есть на улице было неприлично. Только бабушка разрешала мне не дожидаться, когда придем домой.

Бабушка не всегда жила с нами, к нам насовсем она переехала, наверное, году в 1931-ом, а до этого несколько раз была наездами. Родилась она в Астрахани и жила до переезда там с семьей своей старшей дочери Александры (тети Шуры). Бабушку звали Феодорой Гаврииловной. Деда, Ивана Васильевича Михайлова, я уже не застал в живых. По рассказам бабушки был он рыжеват, крутого нрава и любил выпить. Был хорошим мастером-колесником, поэтому имели они свой дом (деревянный) и было у них четверо детей — два сына и две дочери. Бабушка занималась не только домашними делами, но подрабатывала шитьем, шила и вышивала она — просто можно было залюбоваться. Первые длинные брюки мне были сшиты бабушкой. Они как бы говорили мне: «Смотри-ка, ты уже большой, мы ведь не короткие штаны с помочами!». Может быть эти синие брюки, перешитые из отцовских, запомнились еще и потому, что одел их я первый раз перед прогулкой на речном трамвайчике. На прогулку отправились мы втроем (папа с мамой и я), а бабушка с Нонной остались дома. Пристань была почти рядом с домом, на Канаве, надо было только перейти через мост. В тот сезон появились новые речные трамваи. Это были немецкие, кажется, катера, которые без пассажи-

ров выглядели очень неуклюжими: они стояли у пристани, прижавшись тесно друг к другу и уткнувшись носами в воду, одновременно задрав корму. Дело в том, что рубка со штурвалом и тяжелым мотором находились у них впереди, а дальше к корме располагались пассажирские сиденья. Когда трамвайчик был полон, дифферент исчезал и все становилось даже красивым. Но в Москве тогда не было очередей! Одним словом, эти катера поддерживались всего два сезона. Я думаю, что недогруженные, они вдобавок плохо слушались и руля. Но это я уже думаю сейчас, а тогда я считал, что корабль не может быть некрасивым.

Бабушка часто читала мне, особенно на ночь. Как правило, читала она какую-нибудь из маминых гимназических наградных книжек, на которых совершенно неправдоподобно красивым почерком было написано «За отличные успехи и примерное поведение». Книги были толстые и чтение продолжалось в течение долгих вечеров. Мне особенно запомнилась «Хижина дяди Тома» Бичер Стоу. В один из вечеров я не выдержал и тихонько заплакал, и никак не мог остановиться, из-за несправедливости к негру дяде Тому. Бабушка, когда увидела, сама уж стала не рада, что читала и кое-как меня успокоила. С тех пор и до семидесятих годов я в каждом негре видел прежде всего дядю Тома...

Бабушка водила меня гулять. Мы обычно выходили через гулкую подворотню на Большую Полянку, где всегда было шумно и весело: весело позвякивали трамваи перед остановкой, весело кричали извозчики, весело гудели редкие автобусы «Лейланды», поворачивая с Якиманки на старый Малый Каменный мост. На углу у моста всегда стояла лоточница с леденцами. Бабушка давала мне копейку — делалось это почти торжественно — и я, как большой, протягивал ее продавщице в белом халате поверх теплого пальто. Она так же очень серьезно открывала стеклянную крышку лотка и давала мне заветный леденец. Освободив от бумажной обертки прозрачный квадратик с рифленой поверхностью, я клал его в рот и был готов гулять с бабушкой сколько угодно.

Я никак не мог понять, что же такое «Моссельпром», несмотря на бабушкины разъяснения. Это слово было написано и на лотке и на бумажном фантике от леденца. Я не мог, естественно, по-настоящему сам прочесть его, но я знал, что так написано, потому что бабушка это мне прочитала, а бабушке я абсолютно верил изначально.

Несколько раз бабушка, когда я был совсем маленьким, брала меня с собой в церковь. Я почти ничего не помню, кроме мерцанья огоньков свечей в темноте и неясного пения, да разве что вкуса просфирки. Бабушка все спрашивала, вкусно ли. Я отве-



чал, что вкусно, но не сладко. Печенье слаще. Но все это было совершенно мимолетным, так же как ответы бабушки на мои и Вилькины вопросы об аде и рае. Я не запомнил их. Потому, что ада теперь нет, так как нет бога, а рай будет и строим мы его на земле.

Отец меня любил и никогда не наказывал, он просто объяснял, когда и что нужно было делать. Мама была строже. Она всегда требовала за плохие поступки просить прощения. Не очень охотно я это делал, потому что внутренне не соглашался с тем, например, что с одними ребятами можно водиться, а с другими — нет, что надо всегда мыть руки или не валяться в песке. Мама объясняла почему и прощала. После прощения мама смягчалась и сразу становилось весело и легко! Это было отчетливое чувство облегчения, но раскаяния за поступок я не помню. Думаю потому, что исповедоваться было не в чем. Что такое грех, раскаяние, исповедь и прощение я узнал через бабушку. А дело было так. Я украл деньги. В то утро бабушка выложила на письменный стол много мелочи, оставшейся после покупок, да так и забыла ее убрать. Я успел уже сходить погулять и вернуться, а деньги все лежали на столе.

За углом нашего дома торговали мороженым. Краснощекая веселая продавщица в белом переднике стояла за высоким голубым лотком на колесиках. Она набирала мороженое ложкой из луженого узкого бака, каждый раз закрывая его крышкой. Бак стоял в кадушке с битым шуршащим льдом. Мороженое смазывалось округлыми быстрыми движениями с ложки в жестяную невысокую формочку на жестяной же ножке. На дно формочки была заранее положена вафля, а когда порция была готова, сверху клалась другая. К мороженому вафли были обращены своей изнанкой, по рисунку точь в точь как у вафельного полотенца, а на лицевой стороне у вафель были имена: Вера, Зоя, Миша, Катя... Разные. Сами вафли находились в бумажных завертках и заранее не было известно, какие имена попадутся. Интересно, — как гаданье! Нажимая на кончик деревянной палочки, торчащей из ножки, мороженица с улыбочкой выдавала маленькую, среднюю или большую порцию прямо в протянутые руки. Большие порции покупали взрослые. Маленькая порция стоила гривенник...

Бабушка была человеком аккуратным и всегда записывала траты. Вечером обнаружилось, что не хватает десяти копеек. Бабушка была очень огорчена, так как помнила — по ее словам — что сдачу везде сдавали правильно. Я побыстрее лег спать. Утром я все время прислушивался к разговору взрослых. Вроде ничего. Когда папа с мамой ушли на работу, бабушка спросила меня, не брал ли я деньги. Я сказал, что нет. Она попросила меня

поискать, не закатилась ли куда-нибудь монетка, так как глаза у меня молодые и лучше видят, чем у нее. Я стал искать, хотя знал, что искать нечего... Гулять я не захотел, а попросил лучше посмотреть книжку с картинками. Читать я еще не умел. Все больше и больше я стал чувствовать какую-то тяжесть: все начало валиться из рук и даже картинки становились неинтересными. Не помню, сколько времени я выдержал, кажется до следующего утра. Когда родители ушли, я признался бабушке. Она немного помедлила, а потом погладила по голове, поцеловала и все простила. Я разрыдался. Но боже, как мне потом стало легко! Бабушка тоже обрадовалась: «За правду всегда воздается».

С тех пор я никогда не брал денег... Ну, а грехи все-таки были: я стащил два пера — «86» и «рондо» — у Семена Ивановича, папиного приятеля, когда мы были у него в гостях. Взрослые ушли в другую комнату, а меня одного оставили сидеть за письменным столом и дали лист бумаги, чтобы рисовал. И еще я стянул однажды почтовую марку, когда начинал их собирать.

С тех пор, как я себя помню, была шестидневная рабочая неделя. Мы так и называли: первый день, второй... пятый, выходной. Слова «воскресенье» тогда в обиходе не было! Борьба с религией была бескомпромиссной:

Долой, долой монахов,  
Долой, долой попов.  
Мы на небо залезем.  
Разгоним всех богов!

Новогодние елки были отменены, хотя у меня сохранились очень смутные воспоминанья о елке, которая была до официального разрешения в 1934 году, у бабушки даже сохранялись несколько елочных игрушек, среди которых был маленький ангелочек... Так что мое, пожалуй, самое раннее удивление относится к 1934 году, когда было объявлено, что елки можно устраивать. Взрослые говорили, что этого Постышев добился. Это было совсем незадолго до Нового Года, и мы с Вилькой отправились самостоятельно в церковь на Полянском рынке (церковь Григория Неокесарийского, построенная в 1668 году, сохранилась и теперь) за свечами. Игрушки мы могли сами сделать; это было интереснейшее занятие, особенно, когда мы стали подрастать, а вот свечей купить было больше негде. С радостью мы вошли в церковь. Было полутемно, и мы не знали куда идти, народу было многовато, но не очень. На нас никто не обращал внимания. Когда мы обратились к стоящему рядом суровому старику, он первым делом сорвал с нас шапки и потом уже показал, где продаются свечи. Мы прошли еще вперед, там было светлее от живых огонь-

ков свечей. Кажется, старик добавил вслед нам: «Безбожники».

Надо сказать, что борьба с религией вызывала у меня полное понимание, точнее, я считал ее естественной. Религия была до Революции, тогда все было плохо, поэтому плоха и религия, и поэтому она совсем нам не нужна. Я иногда слышал разговоры взрослых о том, что без религии не будет страха божия, и люди будут себя плохо вести, так как у них не будет совести. Я совершенно искренне считал эти мнения ошибочными, потому что я, вот, Вилька, Никитка, Юрка, Фимка — все мы знаем, как хорошо себя вести, без всякого бога. К этому позднее прибавилось мое представление о церкви и, следовательно, о религии, как о чем-то мрачном и очень безрадостном.

Первый раз по-настоящему я увидел и осознал церковь, когда там отпевали бабушку. Это было так тяжело и грустно, я очень любил бабушку. Мне с ней бывало иногда легче говорить, чем с мамой, мне казалось, что она лучше меня понимает. Она никогда со мной не была такой строгой как мама или даже отец. И вот бабушка лежит в гробу, а вокруг происходит то, — я тогда впервые услышал это слово — что называется панихидой. В следующем году умер отец. Это случилось совершенно неожиданно и нелепо; когда мы из Москвы уезжали на лето в его родную Шабалинскую он был совершенно здоров. И вот опять церковь, теперь сельская. Много народу, светло, в солнечных лучах плавают, медленно завихряясь, голубые слои ладана. Священник — все называли его батюшкой — читает молитвы... А у меня все время, не успокаиваясь, внутри кричало: как же так умер? Ведь я его так любил, и он, я это знаю, тоже очень любил меня! Неужели он совсем умер? Как же может быть так несправедливо на свете устроено?.. Гроб подняли на руки и двинулись на кладбище к могиле. Я уже знал, что надо было потом бросить горсть земли. И все-таки, отца теперь не было. Была мама, была сестра, были родственники, а отца так и не было.

После смерти бабушки и папы я почти инстинктивно стал сторониться церковей и всякой религиозности. Зачем религия, когда мир устроен так несправедливо. Мне совершенно излишней стала казаться борьба с верой и верующими: ленинские слова о религии как опиуме для народа потеряли для меня смысл; как можно любить религию, когда она одно сплошное горе.

Журча, свободно и весело бегут, отражая блики весеннего солнца, ручьи вдоль тротуара на Старомонетном переулке. Камни мостовой, умытые и сверкающие, показывают свой первоначальный цвет — густо-красный, сине-зеленый, белый, желтоватый. И кораблики плывут быстро и бойко — ребята с нашего двора всегда их пускали на Старомонетном. Плывут сначала в

Канаву, потом, наверное, в Москву-реку, а там — и в Волгу и в море... Ведь могут доплыть! Чтобы быть уверенным в этом, надо всего-то быть шестилетним мальчишкой. И обязательно еще, чтобы мостовая была булыжной. Асфальтовая или даже из брусчатки не подходят, асфальтовая — безлика и одноцветна, а в брусчатой уж очень много порядка, она неинтересна. И еще одно надо: не уметь спешить. Все это могут только маленькие дети, для которых осколок зеленого стекла — драгоценность, а подаренная бабушкой игрушечная яхта с красными парусами — настоящий корабль.

## М А М А

Одно из самых ранних воспоминаний — оно почти о мгновении — воспоминание о досчатой платформе и уходящем с ее левого края поезде. Темно-зеленые вагоны все уменьшаются и в самом конце переходят в окутанный дымом паровоз с тонкой трубой. И короткий свисток. А потом сразу — тихо-тихо. Я смотрю на эту картинку как-то сверху и сбоку, могу поворачивать голову, а руками и ногами шевелить не могу. Кроме меня и мамы никого крутом нет. Об этом своем воспоминании позднее я несколько раз рассказывал маме. Она сначала не верила, что я помню этот эпизод, так как он мог относиться только к Расторгуеву, где мы снимали дачу в первое лето после моего рождения. Но все-таки она была вынуждена согласиться, спутать было не с чем: платформа была совершенно чистая, без домика билетной кассы, с новым ограждением в виде деревянных стоек с диагональными поперечинами, похожими на оборотные стороны почтовых конвертов. Такая платформа была только в Расторгуеве, а больше дачу там не снимали. На дачу выезжали каждое лето. Дачными местами были Салтыковка, Клязьма, Хотьково... Самый лучший сезон был однажды на Клязьме, когда мы с Вилькой были целое лето вместе, так как наши родители снимали дачи недалеко друг от друга.

Мама была очень собранным человеком. В памяти почему-то появляется уже редко употреблявшееся даже тогда — в тридцатые годы — слово аккуратистка. Это касалось всего, начиная от бисерного почерка и ношения пенсне (мама была близорука, она говорила, что это от того, что в детстве много вышивала) и кончая обязательной белой свежей блузкой и порядком в бумагах.

Со второго класса я, и Вилька конечно, учились во вторую смену. Поэтому по утрам умывался я бесконтрольно. Но по вы-

ходным дням дело осложнялось: маме не надо было идти на работу и качество моего умывания проверялось. Но и все-таки, если мы шли в театр, моя шея опять проверялась. Если результат маму не удовлетворял, здесь уже разрешалось не идти на кухню умываться (там соседи могли готовить и раковина могла быть занятой), а протереть шею ваткой, смоченной туалетной водой, одеколоном или туалетным уксусом. Эта процедура не занимала много времени и я без спора на нее соглашался.

По-моему трудно говорить о родителях, красивые ли они. Они появляются с самого начала и они прекрасны. Но тем не менее, мне казалось, что нет пальцев красивее, чем у мамы. И еще, когда мама улыбалась, были видны ее ровные перламутровые зубы, похожих на которые тоже ни у кого не было. А папа как-то заметил (мама была невысокого роста): «Маленькая женщина с большим характером».

От мамы всегда пахло свежестью. Я думаю, именно с детских лет бессознательно я усвоил как непереносимое — от женщины всегда должно чуть-чуть пахнуть духами. Из четырех детей семьи Михайловых (Александры, Филиппа, Евгении и Владимира) только мама окончила гимназию и еще до революции смогла поступить в институт. Дядя Филя и дядя Володя получили высшее образование уже после, а тетя Шура (самая старшая) — на ее долю, естественно, выпало больше всех домашних забот — ограничилась окончанием городского женского училища. Любопытно, что из детей семьи Шабалиных (Иван, Ирина, Дмитрий и Евдокия) только отец получил высшее образование. Дядя Иван был столяром, тетя Ирина крестьянкой, тетя Дуся — самая младшая — уже после революции стала учительницей и стала жить в городе Нолинске.

Просматривая мамин архив, я нашел многие ответы на вопрос о ее характере. Я приведу несколько выписок из документов, тем более, что они сохраняют неповторимый аромат начала нашего русского двадцатого века.

Вот свидетельство Министерства Народного просвещения, в котором записано (воспроизвожу без и и ъ):

«... ученица VIII-го дополнительного класса Астраханской женской гимназии <...> Михайлова Евгения Ивановна <...> поступила в VIII дополнительный класс в сентябре 1914 г. для специального изучения русского языка и истории и, находясь в оном по 1 мая 1915 года при отличном поведении <...> оказала нижеследующие познания:

В предметах общеобязательных:

В законе Божием

В Педагогике и дидактике

5 } отличные  
5 }

|                                     |              |            |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| В начальном преподавании русск. яз. | 5            | } отличные |
| В начальном преподавании арифмет.   | 5            |            |
| В предметах специальных:            |              |            |
| В русском языке                     | 5, отличные. |            |
| В истории                           | 5, отличные. |            |

Посему <...> она Михайлова Евгения <...> приобретает звание домашней наставницы. В удостоверении вышеизложенного и выдано <...> сие свидетельство <...> по определению Педагогического Совета, состоявшемся апреля 29 дня 1915 года, за надлежащею подписью и с приложением печати.

*Астрахань, 1 мая 1915 г.»*

А затем следуют подписи: Председатель Педагогического Совета Действ. Ст. Сов. и Кавалер К. Амосов; Начальница гимназии Над. Шавердова; Члены Совета Д. Вышеславов, Е. Иванова, А. Мердасова, Е. Турчинова; Секретарь Совета, законоучитель свящ. Конст. Зорин.

Вот еще один документ. Он имеет № 419 и называется

Экзаменационная книжка  
слушательницы  
Словесно-Исторического отделения  
императорского  
Женского Педагогического Института  
Михайловой Евгении Ивановны  
поступившей в Институт  
в 1915 г.

В этой книжке последняя дата экзамена — 3 мая 1917 года (История русского языка, за II-й курс). После этой записи есть еще две: об экзамене по средней истории и зачете по французскому языку, но без дат. Отметки в книжке — почти одни пятерки.

Институт находился в Петрограде. Мама часто вспоминала свою подругу Зину, с которой они вместе учились и жили, кажется на Петроградской стороне. Зину я увидел уже после войны, когда она приезжала в Москву. Понятно, она оказалась несколько старше, чем мне представлялось по маминым рассказам. Это была очень ласковая, веселая и жизнерадостная тетя Зина.

Но вернемся к 1917 году. На летние каникулы мама уехала в Астрахань и в Петроград осенью ей возвратиться не пришлось. После Октябрьской революции (видимо сразу) мама стала преподавательницей русского языка школы I и II ступени № 8. Астраханский ГубОНО<sup>6</sup> в июне 1920 года командировал ее в Моск-

<sup>6</sup> ГубОНО — Губернский Отдел Народного Образования.

ву на Центральные школьно-инструкторские курсы НКП<sup>7</sup>. Эти курсы были окончены в 1921 году и мама была оставлена на работе в Институте Организаторов Народного Образования им.Литкенса.

Написанное, пожалуй, объясняет, почему дома мама строго следила за нашим с Нонной языком. Постоянно говорилось, какие слова не следует произносить и поправлялись ударения, если такие случаи бывали. Надо сказать, что мамин язык был несколько академичен по сравнению с языком бабушки. У бабушки он был очень богат пословицами и поговорками и более образен. Я до сих пор слышу бабушкино, с веселым лукавством и вздохом одновременно:

— О-хо-хо, заехали далеко, подаяние плохо! Или, с доброй интонацией: — На всех не угодишь.

Бабушка говорила очень правильно. Кроме одного слова: она говорила пинжак вместо пиджак. Я тоже так стал говорить. Когда же получал замечания, то ссылаясь на бабушку. Здесь мама, видимо, по педагогическим соображениям, переводила разговор на другую тему, но не говорила, что бабушка не права. Она объясняла, что просто мне неправильно слышится, а бабушка говорит правильно.

Вернемся к маминому 1921 году. Совмещая работу в институте (секретарь отдела соц.вос'а) мама в том же году поступила и в 1925 окончила Московский Лесной Институт и была переведена ассистентом в химический кабинет Московской Академии Коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской (АКВ).

Далее я приведу просто выдержку из черновика маминой автобиографии. В ней, по-моему, великолепно звучит то необъяснимое переломное время. И еще заботы о нас с Нонной после смерти отца.

«В 1932 г. в связи с реорганизацией АКВ я была переведена в штаты Коммун. Унив. препод. общест. наук (КУПОН), где проработала, будучи ассистентом, до 1935 г. до его ликвидации и была переведена в штаты Педаг. Город. ин-та на геогр.факультет, но в связи со снятием химии с геогр. факультета, я поступила в Высший Коммун. Ин-т журналистики им. «Правды», где проработала с 1935 по 1936 г. в качестве и.о. доцента. С окт. 1934 г. была зачислена ст. преподавателем и зам. руководителя кафедры общей химии в ин-т повышения <квалификации> хоз. и ИТР МОУЛПа<sup>8</sup>, где проработала до 1939 г. С 1936 по 1939 г. по со-

<sup>7</sup> НКП — Народный Комиссариат Просвещения.

<sup>8</sup> Институт повышения квалификации хозяйственных и инженерно-технических работников Московского областного управления легкой промышленности

вместительству была преподавателем химии в Объединен. военной школе им. Верховного Совета, с 1933 по 40 г. — в Межотраслевом ин-те НК Хим. Пром. С марта 1939 г. по ноябрь 1941 г. была руководителем химико-биологической кафедры Высшей Коммун. с/хоз. школы им. Кагановича. В связи с эвакуацией учреждения <из Москвы 18 октября 1941 г.> я поступила в военно-морскую школу, где проработала с декабря 1941 по 1 сент. 1944 г., и в связи с передачей школы НК ВМФ и переезда ее в Ленинград я была переведена в штаты преподавателем химии во 2-ю артспецшколу...»

В конце черновика дата — 1945 г., 27 ноября. Москва

Добавлю к этой сухой прозе еще одну деталь. Первая Трудовая книжка у мамы такая же, как и у отца. Маминого Трудового списка я не нашел, но есть Трудовая книжка нового образца, выданная в 1939 году (на обложке герб с одиннадцатью ленточками — по числу союзных республик, — но СССР пишется еще через точки: С.С.С.Р.). В конце книжки приводится Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР о введении Трудовых книжек.

Приведу небольшую выдержку.

В целях упорядочения учета рабочих и служащих в предприятиях и учреждениях, Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1. Ввести с 15 января 1939 года для рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений Трудовые книжки, выдаваемые администрацией предприятия (учреждения). <...>

Это постановление имеет уже 16 пунктов в отличие от пяти в Постановлении 1926 года (о Трудовых списках), которое отменяется. Помимо прочего, в новом постановлении предусматривается штраф в размере 25 руб. за утерю книжки и кара в уголовном порядке за передачу книжки, подделки и подчистки в них. Постановление подписали: Председатель СНК Союза ССР В.Молотов; Управляющий делами СНК Союза ССР И.Большаков. Москва, Кремль, 20 декабря 1938 года.

Работала мама в те годы, особенно после смерти отца, очень много. Я смотрю опять в ее Трудовую книжку. Запись 38-39 годов, относящаяся к Межотраслевому Институту: мама два раза переходит за это время со штатной должности на нештатную и обратно (например: «1939.VII.13 переведена в нештатн.препод. по личному желанию»). Все это связано с совместительством. Материальная независимость позволила в то время держать домработницу, которая жила с нами, готовила, присматривала за Нонной и мной, стирала, короче говоря, вела домашнее хозяйство.

Хочу заметить, что домашние работницы в те годы не были таким исключительным явлением, как теперь. Обычно они слу-



жили полтора-два года. Это были, как правило, крестьянские девушки, переезжавшие в город. Став домработницами, они могли вступить в профсоюз, осмотреться и перейти, как тогда говорили, на производство. Я уверен, что такая социальная адаптация была значительно мягче и гуманнее, чем другие ее виды. Но это уже взгляд из сегодня.

Кроме того, к нам приходила домашняя учительница Юлия Георгиевна, обучавшая отдельно Нонну и меня музыке и немецкому языку.

Непосредственное, то есть повседневное общение с мамой, понятно, было меньше, чем тогда, когда жив был отец. Но все равно, мы с мамой регулярно по выходным дням ходили в театр, почти исключительно в Большой. Первая опера (я тогда не совсем понимал, почему про оперу надо говорить слушал, а не смотрел) была «Снегурочка». Для меня интересен был сюжет, а с музыкой, если вспоминать честно, приходилось просто мириться. Так вот в «Снегурочке» я все ждал, когда же покажут, как она растает. Сделано все было здорово: полноватая и, по моим представлениям, слишком крупная снегурочка, довольно быстро начала оседать, исчезая со сцены (из ложи бельэтажа это было хорошо видно) и, буквально, через несколько секунд на сцене остался платок или покрывало... Но я-то сразу понял, что она опустилась вместе с люком!

В «Хованщине» самым интересным было появление настоящего живого коня на сцене... Музыка и пение впервые проступили для меня в «Евгении Онегине», запомнились и великолепные декорации (публика аплодировала художнику), в «Трубадуре» я жадно всматривался в детали рыцарских доспехов и рыцарского замка. В общем все шло своим чередом и в конце-концов я был даже готов сказать и про «Раймонду», «Бахчисарайский фонтан» и «Аистёнка», что их можно слушать, а не смотреть.

Надо заметить, что опера и балет были, конечно, красивы, но очень далеки от интересов, которыми я тогда жил. Ну что интересного в «Евгении Онегине»? Жизнь каких-то помещиков, которые были до революции. Их сейчас вообще нет, так что и смотреть не интересно. Как ни пыталась мама мне объяснить красоту голосов, звучание оркестра, условность, за которой живут человеческие чувства, я к этому тогда был почти абсолютно глух. Мне уже было двенадцать-тринадцать лет. А, вот, скажем, когда мне было шесть лет, я слушал маму по другому.

Летом 1932 года (отец, как специалист, был опять мобилизован на лесосплав, на этот раз в Пермь), с началом летних каникул, точнее отпуска у мамы, мы поехали вслед за отцом. Очень хорошо помню большую комнату на втором этаже крепкого деревянного городского «собственного» дома. Хозяева были люди-

ми радушными и гостеприимными, поэтому мы пользовались и их садом, одновременно бывшим и огородом.

По утрам после завтрака (пили чай со сливками), мама растила под большой яблоней подстилку и читала мне детскую энциклопедию. Многого я не запомнил, но вот разговор о том, *как все устроено*, я прекрасно помню до сих пор. Он возник после чтения о звездном небе и был, как бы я сказал сейчас, о мироздании. Мама объяснила, что все состоит из очень маленьких частичек, называемых атомами. И Солнце из атомов, и дерево из атомов, и мы из атомов. Атомы разные, но этих разных атомов не так много. А сколько, — это есть в таблице, которую составил Менделеев. Самое главное, что если все разбирать-разбирать, ну, или разгребать как песочную кучу, то так можно добраться и до атома. Просто это очень долго делать. Но для меня это было открытием: окружающий мир становился *понятным*. Все оказывается родственно друг другу: и белое облако на голубом небе, которое вот сейчас плывет на нами, и зеленая трава, и цветущие стрелки лука на грядке и надоедливая полосатая золотисто-черная оса.

По вечерам, когда папа возвращался с работы, мы иногда отправлялись любоваться закатами на берегу Камы рядом с пристанью. Вот тогда отец научил меня отыскивать камешки-голыши и бросить их так, чтобы они по касательной неслись далеко-далеко над речной гладью. А мама считала число касаний по круглым следам на воде. Но вернемся в Москву.

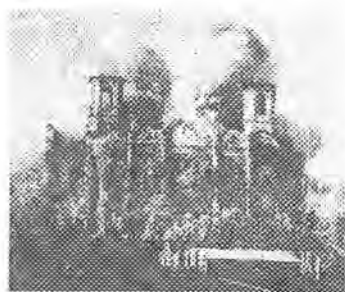
Мама любила музыку. Я очень сначала удивлялся, когда она называла любую классическую оперу, передаваемую по радио. Но я помню, как неохотно мама позволяла доставать из письменного стола граммофонные дореволюционные пластинки, на которых было написано: «Ария Ивана Сусанина из оперы Глинки "Жизнь за царя"» или «Марш лейб-гвардии Его Императорского Величества Измайловского полка». Такие надписи были крамоллой. Незадолго до войны можно было модные тогда пластинки, скажем Утесова или Изабеллы Юрьевой, приобрести только в обмен на бой старых пластинок. Вот тогда я принес «Муму» вместо Глинки. Мама не особенно сердилась. В то суровое и страшное (я этого не понимал!) время у мамы хватило жизненной русской благородной еще инерции сказать, когда ей в Артиллерийском училище предложили вступить в партию, что ее основной долг, долг перед Государством, вырастить двух своих детей-сирот хорошими гражданами, а совместить это с общественной работой она не в состоянии.

Я помню об этом она мне говорила дважды, как бы советуясь. Во второй раз даже всплакнула, не зная отчего: то ли от страха за свой отказ, то ли от того, что после смерти отца мы остались сиротами. В то время такого сиротства я не понимал и поэтому

не признавал, я сиротой считал только круглого сироту, то есть без отца и матери. Попутно замечу: в обыденном сознании тех лет вступление в партию связывалось не с выдвижением в начальство, а с невозможностью отказа поехать работать «куда пошлют». Но было у мамы одно убеждение, которого я долго не мог ни понять, ни тем более разгадать: она гордилась, что принадлежит к интеллигенции!

## Д В О Р

14.06.1934



В Кремле состоялось совещание-встреча архитекторов с И.В. Сталиным, В.М. Молотовым, Л.М. Кагановичем, Г.К. Орджоникидзе, К.Е. Ворошиловым, М.И. Калининым, на котором был одобрен проект реконструкции Москвы, предложенный В.Н. Семеновым.

*(Из справки ГТГ)*

... хороши милые сердцу многих москвичей арбатские лабиринты, Большая Полянка или Старомонетный переулок.

*Ю.С. Мелентьев*

*«О «Золотом кольце» и связи времен»*

Двор в моей жизни стал играть все возрастающую роль вероятно с года 1930-го или 31-го, когда меня стали пускать гулять самостоятельно. Двор наш, как и всякий старый московский двор, представлял собой некую общность с самостоятельной жизнью, со своей иерархией и своей системой ценностей. Я думаю, что дети это чувствовали больше других. Наш двор назывался «Борисовка», двор на другой стороне Старомонетного переулка — «Протопоповка». Редко, но бывали случаи, когда двор шел на двор, до рукопашных не доходило, но камнями кидались здорово.

В конце XIX в. на Большой Полянке было семьдесят три двора; двор под номером 1 принадлежал княгине Трубецкой; ее дом, самый большой в нашем дворе, как я об этом узнал позднее, строил знаменитый В.И. Баженов.

Двор был большим до спрямления Большой Полянки. Он был образован четырьмя домами и имел выходы на нее, на набережную Канавы и на Старомонетный переулок. В этих домах поме-

щались небольшие столовая и парикмахерская, в подвале был красный уголок, где домоуправление собирало жильцов на собрания и товарищеские суды... На первом этаже дома, выходявшего на Полянку (мы обычно опускали слово Большая) находилась детская комната (не от милиции!), куда можно было приводить детей и там же их оставлять, с ними там занимались. Одно время, недолго правда, я тоже туда ходил, когда не было бабушки. Воспитательница со стойкой ребятишек гуляла по Москве и рассказывала разные истории. Это была какая-то смесь из сказок, страшных рассказов — как у Эдгара По — и собственных ее фантазий. Если погода была плохой, то занимались разным рукоделием, девочки что-то шили и вышивали, а мальчишки или клеили самоделки из картона или выпиливали.

Как мне понравилось склеивать! Я даже раз принес неоконченную заготовку домой и до позднего вечера возился с ней, пока не закончил. Это был двухэтажный дом, вроде того, что был напротив детской комнаты. Но в нем — в настоящем — был магазин, поэтому и мне понадобилось, чтобы и у меня так же было. Оставалось написать вывеску. Читать я не умел, но буквы «попечатному» начинал осваивать. Утром я принес дом в группу и спросил у воспитательницы, что написано на магазинной вывеске. Она ответила: «Кооператив», но выговорила слово-то не к-о-о, а коператив. Вот я и написал: КОПЕРАТИВ и радостный, рассчитывая на похвалу, пришел с этим домом на руках к ней. Она мне только и сказала:

— Ты сделал ошибку, букву пропустил. И отвернулась.

Свое тогдашнее огорчение я помню до сих пор. Только вечером, когда пришел домой отец, он мне объяснил ласково, что в этом слове надо писать два «О».

Во дворе был большой газон, обрамленный кустами желтой акации с круглой клумбой посредине и лавочками со спинками. Потом возле клумбы построили киностудку на четырех деревянных столбах (она выглядела вроде большого скворечника с окошечком для киноаппарата) и летом иногда показывали кино, естественно, немое. Было во дворе и несколько песочниц для малышей. Проезжая часть была булыжной. Зимой газон заливали, и ребятишки, да и взрослые, катались на коньках. Часть двора занимали двухэтажные деревянные сараи, где на галерее второго этажа происходили наши игры и иногда драки. У сараев кололи и пилили дрова, поэтому возле них постоянно пахло лесом. Надо сказать, что помойка тоже находилась во дворе, несколько в стороне от брандмауера, она почти всегда была переполнена, а летом вокруг неё громко жужжали мухи... Белые в то время тоже сушили во дворе, а жители верхних — второго или третьего

этажей — на чердаках. Из нашей кухни на чердак вела крутая деревянная лестница. Дворником, как во всех тогдашних московских дворах, был татарин, дядя Абдурахман; был у нас и дворовой сапожник еврей; был и постоянный пьяница-водопроводчик дядя Кирьян; была вечно заплаканная вдова тетя Лиза с двумя маленькими дочерьми.

Не очень часто, но регулярно, во двор заглядывали шарманщики. Покрутив рукоятку шарманки, веселыми, чуть гнусавыми и фальшивыми звуками, мгновенно собиравшими весь двор, шарманщик с попугаем на плече (иногда была обезьянка или сурок) предлагал тащить «счастье». Его можно было тащить за отдельную плату, так как сначала бросали мелкие монеты в картуз просто за игру. Счастье находилось в небольшом ящичке с конвертами. Попугай наугад выбирал конверт, а в конверте была записка, ее-то и получал страждущий. Его сразу же обступали любопытные. Написано всегда было хорошо и понятно, но несколько двусмысленно, приблизительно как говорят в картах. Почему-то у всех шарманщиков были добрые лица. Приходили с ручными тележками и большими мешками китайцы — «хóди», которые собирали бутылки и всевозможную стеклянную посуду. Ребятишки, увидев ходю, стремительно разбегались и тут же возвращались, чтобы обменять бутылки, флаконы и банки на трещотки, бумажные складные гирлянды и набитые опилками мячики на резинках. Самыми популярными были мячики — ими было удобно шлепать друг друга — и еще пищалки, громко кричавшие «уйди-уйди» после того, как их надуешь, ну, а если посуды было много, то можно было даже выменять пугач, да еще и с пробками. За таким счастливым тогда ходил весь двор. Наступал — после долгого упрашивания — момент, когда счастливчик заряжал пробку (она закладывалась с дула) и где-нибудь в подворотне или парадном звучал громкий, как настоящий, выстрел. Вот сразу после этого надо было бежать без оглядки — из ближайшей двери обычно появлялась какая-нибудь жиличка с криками и угрозами, а иногда с желанием схватить кого-нибудь за шиворот.

Приходили стекольщики, приходили точильщики, кричавшие: «Точить ножи-ножницы!», приходили старьевщики, выпевавшие в одно слово: «Старьеберем!». Старьевщики нас не интересовали, они нужны были взрослым, а вот точильщики — другое дело. Точильщик ставил свой станок, засовывал полученные ножи и ножницы за ремень на раме станка, нажимал ногой на косую доску-педаль и деревянное колесо с фигурными спицами начинало вертеться. От него через передачу быстро-быстро начинали крутиться верхние, разной величины колесики из наждачного камня. Но самым интересным были искры. Они бывали разноц-

ветными, а некоторые — долго ветвящимися, похожими на маленькие молнии. В воздухе пахло окалиной и озоном. Да, чуть не забыл, за бутылки или тряпье можно было получить и переводные, мы их называли снимательные, картинки.

Но вернемся к дворовым нравам. Если уж с чужим двором драка все-таки возникала, то участвовать надо было всем: «Наших бьют!». Поэтому существовала отработанная исстари своеобразная бойцовская подготовка и своеобразный кодекс чести. Маленьких ребят никогда не били. Но маленькие — это лет до пяти или шести. А затем ребята постарше начинали натравливать младших одного на другого, причем это делалось постоянно, пока последние не подерутся или стыкнутся, как у нас это называлось. Дрались до «первой крови» (чаще всего разбитого носа или губы), дальше драться не разрешалось, а если драчуны входили в раж, их разнимали. Так у меня появился соперник за место под солнцем во дворе, звали его Тольтяй. Но прежде, — один эпизод. Нравы во дворе на самом деле были жестокими, а иногда и просто отвратительными. Как-то играя, я внезапно услышал душераздирающий вопль и одновременно грохот. Мимо по булыжникам скользнула кошка с привязанной к хвосту консервной банкой. Самое ужасное было в том, что передвигалась кошка неестественно, сидя, очень быстро перебирая передними лапами. В наступившей сразу затем и звенящей от этого тишине становился все более громким, как бы проявляющимся, смех четырех ребят, стоявших кучкой, и их слова:

— Мало ты налил ей скипидару, еще быстрее бы полетела!

У кошки почти вывалились глаза, она обезумела от боли и страха. А они смеялись!.. К этой четверке не спеша подошел один из ребят постарше — кажется это был Ваня Бадаев — и сильно ударил ногой говорившего под задницу (это называлось «дать пендаля»). Все четверо тут же разбежались не огрызнувшись, одним из четверых был Тольтяй.

Драться надо было прилюдно, чтобы народу много было. Кошка как-то мне развязала руки, я возненавидел Тольтяя и решил, что стыкаться с ним я буду не совсем обычно. Обычно — это значит подойти, начать толкаться, подбадривая себя криками, потом размахивать кулаками, и уже остервенев, полуслучайно задеть лицо, мы говорили морду и рыло, противника. У меня созрел план разделаться с ним побыстрее и для него позорнее. Я об этом посоветовался с Колей Скоробогатовым, которого признавал абсолютным знатоком всех таких дел, и получил от него одобрение. Он был старше меня года на четыре. Через несколько дней, когда во дворе было много ребят, я подошел к Тольтяю, сильно толкнул его и сразу бросился бежать. Он — за мной. Проезжая часть была свободна. Я припустился еще быстрее. Он —

тоже. И тут я резко остановился и присел. Тольтяй перелетел через меня и уткнулся в булыжник. Я вскочил и хотел поставить на него ногу (так делали все победители в сказках и книгах), но не успел, нас уже окружили. Тогда я спросил:

— Бить или не бить?

— Сейчас посмотрим, сказал один из ребят.

— Чего его бить, видишь кровь из носа, ты победил! А потом, раз он лежит, — лежащего не бьют, добавил второй.

Тольтяй поднялся, оглядываясь испуганно по сторонам. Боже, как во мне все пело и ликовало! И кроме всего, я еще мог сказать, что о него я не замарал руки. Среди расхожих дворовых словосочетаний было и такое: «Стану я об тебя мараться!».

Тут я должен сделать небольшое отступление. Всем понятно, что буржуй — это плохо. Интеллигент — это только чуточку получше. «Интел-ли-ген-ция» — было почти ругательным словом во дворе. Оно произносилось ребятами с презрением и сморщиванием носа. Было конечно еще слово «служащий», но оно нам не было понятным — оно для взрослых. Понятные были токарь, сапожник, стекольщик, красноармеец, командир, милиционер. Я не находил себе места в этой классификации, естественно, по родителям, и это меня долго мучило. Втайне я подозревал, что я от этой самой интеллигенции. Редко, но мы выясняли, кто есть кто, — и я говорил, что мой отец инженер. Тогда это слово еще не утратило отблеска завода или фабрики и к рабочему классу, по нашим дворовым понятиям, было поближе, чем, скажем, стекольщик. Но было ниже, чем слесарь, — это точно. Так вот эту ущербность свою победой над Тольтяем я преодолел, можно сказать, вдвойне: его этот вопрос не мучил. По социально-дворовой лестнице он до этого был выше. Через некоторое время кто-то из «больших» — то есть более взрослых — ребят меня предупредил: «Готовься, тебе еще придется стыкнуться, наверное с Нюмкой». Но эта драка так и не состоялась, Нюмка заранее отказался и признал себя слабее. Позднее очередь дошла до Вильки. Он тоже победил, а был после меня потому, что был поменьше ростом. Никитка был на год младше нас и в свое время тоже прошел через это испытание. Так что потом наше положение во дворе было достаточно независимым.

Никитка был моим вторым после Вильки другом детства. Без него, точнее без влияния его семьи, оно было бы заметно более бедным. Наше знакомство началось с картинок в книжке Вильгельма Буша «Макс и Мориц», с которыми Никитка однажды вышел во двор. Картинки были смешны и великолепны одновременно. Сейчас я думаю, что они являются истинными предшественниками американских комиксов. Никитка тогда читать бегло еще толком не умел и поэтому просто объяснял картинки обу-

пившим его ребятам. Через несколько минут подошла его мама и очень красиво прочитала веселые стихи под каждой из картинок. Вилька любил рисовать, и мы остались посмотреть книжку, когда все разошлись. Евгения Станиславовна взяла нас за руки и мы пошли к Никитке пить чай.

От нашего двора до Третьяковской галереи минут пять ходьбы пешком. С тех пор, как я себя помню, я всегда ходил в Третьяковку: с отцом, с Никиткиной мамой, постоянно с Вилькой... Может быть поэтому интересно вспомнить, как все это происходило — процесс и здесь шел от точки, штриха, линии и затем к трехмерности и позднее к многомерности.

Сначала ни собственно графика или живопись, ни сюжет, ни тем более какая-либо идея меня не волновали. Самое главное — чтобы было похоже «на настоящее» и чтобы можно было увидеть какую-нибудь машину. И первой картиной, которую я запомнил, поэтому была «Чугунка», где был изображен паровоз. Огорчало, что он был «давнишним»: для сметания снега у него перед буфером была привязана обыкновенная метла. Сейчас таких уже не делают! Теперь у нас хорошие паровозы. А этот какой-то старый дореволюционный. Потом стали проявляться сказочные сюжеты: отец показывал мне «Ивана-царевича на сером волке» и «Трех богатырей». Иван-царевич не очень совпадал со сказочным образом, мне он представлялся более сильным и мужественным, а вот богатыри — как настоящие. Позднее открылась радость узнавания пейзажа: так похоже, как на даче летом! И березы, как живые. Дальше шла уже история. Первой узнанной фигурой был Иван Грозный — там где он стоит с посохом... Только ко времени окончания училища — курсе на четвертом или пятом — я, когда приезжал из Ленинграда в отпуск, стал понимать, что самое интересное — это портрет. По человеческому лицу можно прочесть и человеческую жизнь, и мысли, и время. Кроме Третьяковки мы часто бывали — сначала с Никиткиной мамой, а позднее сами — в Музее Изящных искусств. Позднее он стал «изобразительных». Я был уже постарше и поэтому восторг здесь вначале вызывался фигурами рыцарей, на которых были скрупулезно изваяны и панцири, и шлемы, и, главное, мечи и другое оружие. Здесь я впервые стал знакомиться с библейскими именами. Глядя на огромную статую Давида, мы спрашивали Евгению Станиславовну, кто он такой. А потом во дворе попытались метать камни самодельной пращей. Старания объяснить нам смысл «Явления «Христа народу» или предложение подумать о «Христе в пустыне» в Третьяковке, были у Никиткиной мамы не очень успешны: раз Христа не было на самом деле (для нас тогда это само собой разумелось), то что было толку смотреть на эти картины...



Но мы ушли далеко от двора. Он еще по-прежнему жил неискалеченной жизнью. Когда я говорил дома, что иду во двор погулять, это означало, что я буду играть в «казаки-разбойники», фантики, «12 палочек», войну, пряталки, футбол, салочки. В казаки-разбойники чаще играли ребята постарше, а мы любили больше всего играть в войну. Эта игра не имела строгих правил, самое главное, надо было разделиться на две стороны: белых и красных. Иногда стороны договаривались и разыгрывали эпизоды из «Чапаева» или из «Мы из Кронштадта». Очень часто мы «расстреливали» друг друга, «ставили к стенке»... Впрочем, это обозначало только, что надо было выходить из игры. Конечно не все игры были безобидными. Тут были своеобразные поветрия: то в моде были рогатки, то «чикалки». Чикалки — это когда в оконную раму снаружи незаметно втыкалась английская булавка, к ней на короткой нитке привязывался какой-нибудь металлический предмет — гвоздь или небольшая гайка, — а к ним уже длинная нитка от катушки. С катушкой можно было уйти далеко куда-нибудь за угол и легонько дергать нитку. Разгневанная хозяйка окна могла открывать его несколько раз и ничего не заметить! А в случае опасности оставалось дернуть за нитку, булавка вылетала из деревянной рамы и — никаких следов. Иногда появлялась мода звонить в чужие звонки на лестничных площадках. Особенно мы досаждали дяде Ване милиционеру. Он даже раз погнался за нами. Тогда мы со всех ног побежали от страха на бульвар на Болоте<sup>9</sup>, да еще на ходу вспрыгнули на «Аннушку»<sup>10</sup> и доехали даже до Чутунного моста.

Еще во время прогулок с отцом, я как-то спросил его, почему так много домов надстраиваются. Вопрос этот возник у меня когда стали надстраивать два этажа у дома напротив нашего по Старомонетному переулку. Если внимательно присмотреться к сохранившимся старым московским домам, то такие надстройки можно увидеть у многих. Вот дом № 10 по Тверской, там где «Филипповская булочная», на его надстройке можно увидеть год рождения — 1934. Таких домов много по Тверскому бульвару, вообще по Бульварному кольцу и старой Москве... Отец ответил, что проще дом надстроить, чем построить, если, конечно, стены сделаны с запасом, а надстройка гармонирует с самим домом. Возможно все эти архитектурно-градостроительные разговоры запомнились потому, что наш двор стал к ним иметь прямое отношение: по Сталинскому генеральному плану реконструкции Москвы наша Полянка спрямлялась и строились новые Большой

---

<sup>9</sup> Старое и нынешнее название Болотной площади, одно время переименованной в пл. Репина.

<sup>10</sup> Трамвай А

и Малый Каменные мосты. Этот план реконструкции Москвы ничего кроме энтузиазма не вызывал: ведь раньше была частная собственность, поэтому красивыми могли быть только отдельные дома. А у нас — общественная собственность, и мы можем строить ансамбли. Ансамбль — больше чем дом, и он поэтому красивее, точнее, для красоты в нем больше возможности.

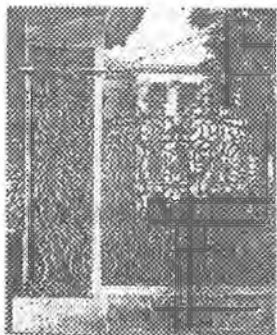
Красная линия спрямления прошла через наш двор, и он стал умирать. Начали ломать Никиткин дом. На каждого члена семьи выдавали по две тысячи рублей и выделялся на семью участок под Москвой. Многие семьи из наших домов получили их в Раменском...

Нас с Вилькой, точнее наш дом, судьба оставила на прежнем месте, только отломили, как ножом отрезали, часть дома. А пока ставшие ненужными дома ломали, мы в руинах играли в Парижскую Коммуну, фильм о которой «Зори Парижа» шел на экране «Ударника» в то время. В развалинах двора у нас был свой «17-й редут». Тогда же начали строить и гранитные набережные: стоило приблизиться к Канаве, как надо было напрягать голос — столько было шуму. Басовито били сваи паровые молоты, ритмично выбрасывая белые султаны свистящего пара, отовсюду раздавалось звонкое цоканье стали по гранитным плитам, крики людей и время от времени ржали лошади. Грузовых автомашин почти не было, зато было много барж с песком и ленточных транспортеров. По вечерам, когда работа прекращалась, оставшееся мальчишеское население устремлялось на кучи песка. Здесь мы прыгали, кувыркались, искали «чертовы пальцы» и остатки раковин.

Я думаю, что место перед новым Малым Каменным мостом с самого начала дешевле было уложить золотыми плитами — так много и долго его переделывали. Первоначально была удалена вся старая булыжная мостовая и положен бетон и асфальт. Потом асфальт содрали и бетон рушили отбойными молотками для того, чтобы поставить железную арматуру. Затем опять заливали бетоном, засыпали песком, утрамбовывали его новенькими немецкими трамбовками, которые прыгали от нажатия кнопки на рукоятке. Они были как живые! Кажется производства фирмы DEMAG, это было осенью 1939 года. Снимали и ставили снова трамвайные пути для «Аннушки», выкапывали и снова сажали сквер за Канавой. И это за какие-то два-три года. В конце-концов получилось совсем неплохо. Социализм все может!

До начала спрямления Полянки наискосок от выхода на нее из нашего двора стояла церковь Косьмы и Дамиана, построенная в 1657 году. В церкви службы давно уже не было (то есть я не помню, что она там и была), а размещалась хорошая библиотека,

года два, наверное, я туда ходил, — благо близко. Церковь ломали одновременно с остальным строительством. В котловане под фундамент нового дома на этом месте мы однажды увидели почти неповрежденный пожелтевший человеческий череп и разбросанные кости... Сейчас на этом месте стоит один из самых первых, если не самый первый, и ничем больше не примечательный крупноблочный дом, построенный в Москве.



## ШКОЛА

FIAT LUX!

*(выражение, встречающееся  
в литературе в латинском  
написании)*

В конце лета 1933 года отец повел меня устраивать в школу. Я не случайно пишу устраивать, так как возникли трудности с моим возрастом: принимали только тех, кто родился в 1925 году. Я не добирал шесть дней, — а это был уже 1926-й год, — и дело надо было решать особо. Предстояло собеседование с педологами (их, примерно, через года полтора обвинили в каких-то антимарксистских грехах и разогнали, хотя занимались они, говоря современным языком, тестированием и профориентацией). Сначала я отвечал на вопросы, — их задавали две тетеньки-педолога в белых халатах, — а отец подбадривал меня улыбкой. А затем мне показали большой картонный циферблат с подвижными стрелками. Я его до сих пор мысленно совершенно отчетливо вижу!

— Ну, ответь на последний вопрос: сколько времени?

Дело в том, что тогда я узнавал время только по маленькой стрелке, большой я не умел пользоваться, она была для меня непонятна. Я сказал, что половина третьего и замер... Одна из тетей, немного помедлив, добрым голосом заметила:

— Пожалуй, ты прав.

А я-то до сих пор вижу, что стрелка тогда стояла на тридцати трех минутах!

После этого мы с отцом пошли покупать грифельную доску и грифели, а на другой день мама принесла мне грифельную тетрадь. Это была тетрадь нынешнего формата, но с плотными черными страницами (их, кажется, было всего шесть), на которых

следовало писать грифелем. Записанное можно было стирать влажной тряпочкой и тут же писать снова.

Помню, что на обложке тетради был портрет Ленина и его слова: «Коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Эти слова меня не очень воодушевляли. Знание всех богатств, которые выработало человечество, — это сколько же лет пройдет, пока их выучишь! Да и потом, как определить, что богатство, а что нет? А ведь до этого, значит, я недостойный человек? Надо сказать, что эта мысль время от времени меня преследовала класса до пятого. После поступления в школу время для меня однозначно стало делиться на «когда я учился в таком-то или таком-то классе». Например, в военно-морской кружок в школе, который вел Иван К., я ходил в пятом классе.

Первой моей учительницей в школе была Клавдия Васильевна, энергичная и веселая женщина с веснушками и крупными рыжими косами, уложенными вокруг головы. Ребята ее чуть побаивались и любили. Организационно школа несколько отличалась от сегодняшней. До четвертого класса включительно школа называлась начальной, по седьмой — неполной средней, по десятой — средней. Так вот, учился я с первого класса по седьмой — как было написано на школьной вывеске на воротах — в Неполной Средней Школе № 1 Л.О.Н.О. (Ленинского отдела народного образования). Помещалась она в Большом Толмачевском переулке за прекрасной чугунной оградой (мы гордились, что это чудо литейного искусства) в желто-белом здании с классическим портиком. Сейчас там находится библиотека.

Переводные экзамены тогда начинались с четвертого класса и были в каждом классе после него, то есть до десятого. Отметки ставились не цифрами, а словами — от «очень плохо» до «отлично». Были тогда и второгодники, ничего особенного...

Одно из впечатлений, сохранившееся от первого класса, связано с детской книжкой с картинками большого формата. Она называлась, если мне не изменяет память, «Детям о Ленине». В ней были в доступной и образной форме выражены идеи революции. С ее страниц смотрели на читателя рабочий с молотом у наковальни, красноармеец в лаптях и в буденовке, крестьяне в вышитых рубахах и тоже в лаптях, бабы в сарафанах и платках. Были нарисованы еще и лошаденки с сохами, и бедные избы, и заводы с высокими трубами и дымом из них. И на каждой странице портрет или фигурка Ленина в его знаменитой кепке. И под каждой из картинок по одной-две строчки текста. Этой книжки у меня не было, а Клавдия Васильевна говорила, что ее надо обязательно прочитать. Выход нашелся естественный: одна де-

вочка из нашего класса, Клава Ш., сказала, что даст мне книжку домой, но сначала спросит у родителей. На следующий день книжка была у меня, и вечером бабушка (она уже болела) прочитала ее мне.

Мне запомнилось почтение к Ленину — оно было в голосе бабушки — и ее разъяснение о бедных и богатых. Если его сжать до предела, то оно состояло в следующем: бедные — это хорошие, богатые — это плохие. Бабушка произнесла одну из своих пословиц:

— От трудов праведных не наживешь палат каменных.

Именно с самого раннего детства и было у меня представление, что всякое богатство несправедливо, и оно неотъемлемо от эксплуатации. Слово *эксплуатация* было, пожалуй, третьим иностранным словом, совершенно освоенным после *революции* и *коммунизма*. Четвертым было *индустриализация*.

Школьники того времени заметно отличались от нынешних. Во-первых, не было формы. Каждый был одет по-своему. Как правило, мальчишки ходили в пиджаках, а девчонки в платьицах и кофточках. Важно было, чтобы воротнички и руки были всегда чистыми. Во-вторых, никаких украшений, кроме значков. А они были только с Лениным и Сталиным или оборонные. Пионерские галстуки носили каждый день, их не завязывали узлом, а для них выдавался специальный зажим, на котором было трехязыковое красное пламя над пятью поленьями и полукруглая надпись: «Всегда готов!». Это был символ света III интернационала над пятью континентами.

Писали только стальными перьями «86» и фиолетовыми чернилами. Дежурный по классу перед началом уроков должен был проверить, есть ли на каждой парте в чернильнице чернила. Особо аккуратные девчонки, вроде моей соседки по парте Вавочки Ш., носили из дому стеклянные чернильницы-непроливайки. Уроки чистописания были, кажется, даже и во втором классе.

Тогда все носили галоши или боты, поэтому мы привязывали мешки для них к вешалке пальто и так сдавали в раздевалку, а получив обратно и надев галоши, мешки не отвязывали, хотя нас за это ругали и дома, и в школе.

Парты в классе стояли тремя рядами. Каждый ряд был пионерским звеном и выбирал своего звеньевоего. Звенья, то есть класс, составляли пионерский отряд. Отряд выбирал председателя совета отряда. В совет входили звеньевые и редактор стенгазеты. В отряд назначался и вожатый — кто-нибудь из старшеклассников. Эти ребята были очень ответственными и серьезными. Надо сказать, что без учителей мы даже ездили в короткие походы на электричке за город (мы тогда учились в 5-ом классе, а наш во-

жатый был из седьмого) или на какой-нибудь завод, скажем, имени Владимира Ильича, где когда-то на него эсерка Каплан совершила покушение...

Еще одна интересная особенность: не имело абсолютно никакого значения, кто у кого родители. Я не помню, чтобы этот вопрос когда-нибудь даже возникал: мы ходили друг к другу, дели отцов и матерей своих школьных товарищей, нас усаживали пить чай или угощали яблоком, но вот кто был отец или мать у Павки С., Жорки Г., Сережки Г., Клавочки Ш., Вавочки Щ., Лиды Д., Жени А., Тольки Л. и других, — хоть тресни, не знаю! Это объяснялось, конечно, тем что мы близко от школы жили — на Старомонетном, Лаврушенском, Толмачевском, Ордынке, Пятницкой, Полянке и Кадашевской набережной и жили в общем-то в похожих коммунальных квартирах с примерно одинаковым бытом, но, я думаю, что еще и *время было такое*.

В школе были не только учительницы, но и учителя! Учитель географии Сергей Иванович был высок ростом, несколько грузен и обладал великолепным басом. Был он строг, но когда бывал в особенно хорошем настроении, то повергал наши детские души в совершенный восторг: глядя прямо на класс, он, не оборачиваясь, безошибочно указкой обводил моря и горные массивы на карте, висевшей на классной доске у него за спиной! Жил Сергей Иванович во флигеле рядом со школьным двором. Я думаю, что он жил там еще тогда, когда наша школа была 6-ой мужской гимназией. В четвертом классе историю преподавал Иван Тимофеевич. Он был помоложе, но, я думаю, преподавать стал тоже еще до революции. Историю он любил и был, как бы мы сейчас сказали, мастером своего дела. На уроках у него было интересно и весело, этому способствовала его мнемоническая система. Так он говорил:

— Запомните: ДВВ. Это значит, что принятие христианства на Руси было в девятьсот восемьдесят восьмом году. ДВВ!

Так я запомнил с тех пор ДВВ и ни разу не мог забыть. Очень легко у него было запомнить последовательность нашествий кочевников:

— Хозары-угры-печенеги-половцы. Еще раз повторяю: хозары-угры-печенеги-половцы!

Но, все-таки, уже и тогда учительниц было больше, чем учителей.

В школу я, точнее мы с Вилькой, ходили с удовольствием. И вовсе не для того, чтобы «овладевать знаниями», — в школе было интересно. Там была своя ребячья жизнь: мы узнавали новости, встречались (тогда не говорили — общались) со своими приятелями, занимались разными проделками, играли на переменках в «колдунчики», «отмерялы» или «чеканку», устраивали «кучу-

малу» в нише бывшего камина в актовом зале, откуда нас постоянно прогоняли дежурные преподаватели и старшекласники. С пятого класса нас уже стали понемногу интересоваться девчонки. Если бы тогда спросили, почему мы с удовольствием выпускаем стенгазету, мы бы, конечно, не ответили, что потому, что в редколлегии были Клавоочка Ш., Вера М. и Вавочка. Но, тем не менее, это было так. Я думаю, что радостное восприятие школы объяснялось еще и тем, что мы с Вилькой хорошо учились. У нас не было страха перед плохой отметкой или боязни, что вызовут к доске. Конечно, были волнения перед контрольными, но не такие уж сильные. Домашние задания я делал только письменные, все остальное время до школы читал и гулял с Вилькой (его заставляли делать и устные домашние задания, хотя, по-моему, он вполне мог обойтись без этого, но он обещал своей маме и честно тратил на это минут 30–40).

Если максимально обобщить полученное в школе, уловить то, что в известной мере предопределило дальнейшее мировосприятие, то оказывается, этим *нечто* было влияние двух человек — Марии Дмитриевны и Александры Федоровны; Мария Дмитриевна была нашим классным руководителем и преподавала математику, а Александра Федоровна — литературу. Кроме того, цельному взгляду на окружающую действительность послужило последовательное «прохождение» обществоведения, истории и конституции СССР.

Мария Дмитриевна была ярким человеком и ее влияние было влиянием личности, а не предмета преподавания, в то время как литература и общественные предметы давали непротиворечивую тогда основу для миропонимания. Схема, в которую укладывалась литература, была приблизительно такой. Когда-то давно была древнерусская литература, она была связана с Византией и, самое главное, была неразделима с религией. Так что неинтересно. Потом в Западной Европе было Возрождение, а у нас татаро-монгольское иго. За ним, вроде, тоже ничего примечательного не было, литература была духовной. И только при Петре I возникает, притом сразу, литература в современном понимании, она тогда называлась светской. И пошли: классицизм, сентиментализм, романтизм и критический реализм. Критический реализм — это уже перед революцией. Лучшие писатели тогдашние — Пушкин, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, В.Г.Короленко, В.М.Гаршин критиковали капитализм и самодержавие, но на высшую ступень подняться не смогли. А высшая ступень — это социалистический реализм. Он мог появиться только после Великой Октябрьской социалистической революции, в которой победил пролетариат. У нас есть великий пролетарский писатель Максим Горький. Он

велик тем, что социалистический реализм предвидел еще до революции: тогда он написал роман «Мать», который хвалил Ленин. А сейчас социалистический реализм расцветает: Серафимович, Фурманов, Демьян Бедный, Шолохов, Маяковский. Мне было совершенно понятным назначение социалистического реализма. Если писатели будут писать так, как надо, то социализм (первая фаза коммунизма) быстрее наступит. А если будут говорить, что это не так и то не эдак, то можно разувериться и ничего не построить. Слово *социалистический реализм* было магическим словом.

Схема для истории была совсем короткой. Вся история, — это история классово́й борьбы. Угнетенные бедняки (Спартак, Робин Гуд, Ян Гус, Степан Разин, Пугачев...) — все время терпели поражение, потому что у них не было руководителя — пролетариата. Он появился вместе с капитализмом как его могильщик, и здесь уже начались победы угнетенных. Первый раз они (угнетенные) чуть-чуть не победили в Парижской коммуне, но их предали, да и опыта еще не было. А вот в Октябрьскую революцию мы уже победили, с нее-то и начинается история, то есть социализм. А что было до нее, это по-настоящему только предыстория: первобытно-общинный строй, рабство, феодализм, капитализм. Если о грехах с римлянами и славянах-язычниках в школе хоть что-то рассказывали, то христианская составляющая человеческой цивилизации и культуры со своей громадой образов и языка не просто пропала, но и была осуждаема. Мне тогда это было совершенно понятно: во-первых, это религия, «опиум для народа», а во-вторых, — и хорошо, учить меньше.

Мы — Вилька, Никитка и я — много читали, особенно «про рыцарей». Был период, наверное в шестом классе, когда других книг мы и в руки не брали. Все началось с «Трех мушкетеров». А потом пошли «Айвенго», «Жакерия», «Хроника времен Карла IX», «Квентин Дорвард», «Дон Кихот», «Князь Серебряный»... Попутно скажу, что моему огорчению не было предела, когда дочитав Сервантеса, я узнал, что Дон Кихот рыцарем был только воображаемым, настоящих, т.е. «боевых», рыцарей уже не было. С нетерпением ждал я урока истории, когда Лидия Ивановна будет, как она обещала, рассказывать о крестовых походах. Каково же было мое разочарование, когда на этом уроке рыцарям было уделено всего минут двадцать:

— У меня больше нет времени, — сказала Лидия Ивановна как-то смущенно улынувшись.

Когда я рассказал об этом Вильке (он болел тогда и не был в школе), ему никак не верилось, что так может быть. Я думаю, что наше огорчение было вызвано и еще одним обстоятельством. В



Никиткиной семье существовало предание, что один из основателей рода Моллесонов (шотландец, сын Молли) был пожалован в рыцари, когда отличился при штурме Иерусалима.

К одному из удивлений школьного периода относится вот какое. На одном из уроков Александра Федоровна с упоением прочитала нам пушкинский «Памятник». А мне после этого стало как-то неудобно: почему же Пушкин сам себя хвалит? Я даже об этом на перемене сказал Александре Федоровне. Она стала говорить о роли Поэта, — но, видимо, почувствовав, что я не понимаю, — сказала просто, что это перевод оды Горация. Это уже было понятнее, но сомненья оставались: а как же «...по всей Руси великой»? Мне потребовалось четверть века, чтобы понять, что это не самовосхваление, а естественное проявление свободного духа свободного человека, изначальной самооценности каждой человеческой личности.

Что такое личность, я, как это не парадоксально, узнал от преподавательницы математики больше, чем от Александры Федоровны, которая вела у нас и литературу и русский язык. Мария Дмитриевна, объясняя нам самих себя, говорила, что каждым человеком руководят разум и эмоции. Разум можно представить упряжкой белых лошадей, а эмоции или чувства — воронными. Искусство человеческого поведения и состоит в том, чтобы белые и воронные кони шли ровно... Мы слушали — и было тихо-тихо. Ведь так интересно, когда тебе рассказывают о тебе самом. В те годы лошадей в Москве было больше, чем автомобилей, и мы знали, что воронные лошади горячее белых. Было понятно, что и управлять воронными труднее. И мы понимали еще, — то, что рассказывает Марьяша (так мы иногда называли Марию Дмитриевну между собой), все это не просто так, а потому, что в шестом классе мальчишки стали смотреть на девчонок не так, как раньше. И наоборот тоже.

У Марьи Дмитриевны был четкий красивый почерк. Вычерчивая на доске геометрические построения, она обязательно пользовалась цветными мелками, так что к концу урока текст и чертежи даже было жалко стирать. Я не помню, чтобы у нас в классе у кого-то были неприятности с математикой, хотя, конечно, не все ее любили. Безусловно, у Марии Дмитриевны был педагогический талант. Она умела пробудить любопытство. Однажды вроде бы случайно она написала на доске: SIC TRANSIT GLORIA MUNDI. И рассмеявшись, сказала:

— Это латынь, но я не знаю, что это значит!

Какой это вызвало ажиотаж! Где только мы с Вилькой не искали перевод, впрочем, искали и другие ребята — и Фимка Ф., и Аллочка И., и Юрка С. ... Но все мы тогда не понимали, как проходит слава мирская.

Приведу еще удивленья тех лет. В 1935 году были введены маршальские звания. (Хорошо, что не фельдмаршальские, как при царе!) В 1937 году на новых банкнотах появился портрет Ленина. (А ведь он говорил, что денег при коммунизме не будет!). В 1940 году появились генералы и адмиралы. (А ведь в Революцию генералы были только у белых и, вообще, Колчак был адмиралом!).

Источником этих удивлений послужил поворот политики ожидания Мирового Октября и его подготовки к политике Абсолютного Государства и его укрепления (т.е. победы социализма в одной отдельно взятой стране). Этот период начался с тридцатых годов. Что дело обстояло именно так, я стал понимать гораздо позднее, а тогда мое сознание, впитав сначала «Октябрь» естественным диссонансом удивленья, отметило признаки замены его «Государством». Конечно, эта замена сначала никак не провозглашалась, ведь государство должно при коммунизме отмирать. Менялись акценты: все реже встречалось слово *свобода*, а вместе с ней и *равенство*. Празднование дня Парижской Коммуны становилось как-то все более тусклым. Слово *братство* куда-то исчезло и возвратилось уже во время войны как братство по оружию. Все реже упоминалось, что «Рабочие не имеют отечества»<sup>11</sup>, потихоньку начали обретать гражданство слова *родина* и *патриот*.

Официальная, так сказать общественная, жизнь в школе не воспринималась принудительной. Я с удовольствием участвовал в самодеятельности. Помню пьесу о немецких подпольщиках, где я играл шутмана. Ставили мы ее в бывшей церкви Косьмы и Дамиана. В школе ставили даже музыкальные пьесы. В одной из них — о пограничниках и басмачах — Вилька исполнял главную роль и очень хорошо пел. Аккомпанировал ему наш учитель пения. А я пел из рук вон плохо, поэтому у меня была роль красного командира, произносившего всего одну фразу: «Товарищи, вперед, в погоню!».

Инсценировали мы (так тогда это называлось) и «Главную улицу» Демьяна Бедного. До сих пор помню:

— В мире подобного нет безобразия!

— Темная масса!

— Татарщина!

— Азия!

— Хамы!..

— Мерзавцы!..

---

<sup>11</sup> См. Манифест Коммунистической Партии (К.Маркс и Ф.Энгельс. Избр. произв. в 3-х томах. М. 1970. Т.1, стр. 124)

— Скоты!..

— Подлецы!..

Часто приходили к нам известные писатели и поэты. Они жили в Доме писателей, рядом со школой. В актовом зале было очень весело, когда В.Ардов читал свои фельетоны, слушали мы внимательно и стихи И.Уткина и А.Барто. Уткина мы с Вилькой иногда встречали на Полянке и здоровались с ним. Он, очень молодой, непривычно серьезно отвечал на наши приветствия и даже слегка раскланивался. Стихи Барто часто передавались по радио, но вот нам первым, еще до передачи, она прочитала свое стихотворение о передвижении, впервые в Москве, дома на Болоте напротив Дома Правительства. Это был новый дом, с аптекой, построенный уже после революции, но мешавший новому Каменному мосту. Ну, а «Мы с Тамарой ходим парой, санитары мы с Тамарой», вся школа знала наизусть... Интеллигенция меня по-прежнему интересовала. В докладе Сталина о Конституции я с удовольствием прочел, что «Интеллигенция стала равноправным членом социалистического общества», но в самом тексте Конституции опять говорилось только о двух классах (рабочие и крестьяне), из которых состоит советское общество. Опять какая-то прослойка!..

Конституцию СССР в седьмых — самых старших — классах преподавала Софья Ивановна, директор школы. Директором она стала тогда недавно и была заметно лучше одета (в «заграничное»), говорили, что она член партии и до этого несколько лет работала в Монголии. Запомнилось, что она очень свободно и убежденно излагала материал. Как-то на уроке, когда говорили о коммунизме и о собственности — общенародной и колхозно-кооперативной — Софья Ивановна сказала, что вся собственность станет общенародной, все будет общее. Мы с Вилькой и еще кажется с Фимкой, никак не могли понять, как же это «все будет общее». У меня в то время как раз появилась авторучка, и я никак не мог найти выход из дилеммы: я всей душой за коммунизм, но я хочу, чтобы ручка была только моей. Это было так понятно: я ее берегу, а вот, скажем Иванов, будет втыкать ее пером в парту... Не очень уверенно, как мне показалось, Софья Ивановна сказала, что личная собственность и при коммунизме останется.

Необходимость общественной собственности была явной: на любом производстве столько народу! Взять хотя бы всем нашим ребятам известные МОГЭС, «Красный Октябрь», Дунаевку... Представления о частной собственности были тоже очень определенные. Она — у капиталистов. Капиталист, он же буржуй, он же миллионер, все время глядел на меня с плакатов майских и ноябрьских демонстраций и с газетных карикатур. Это был толстяк в цилиндре, в жилете с золотой цепью на животе и с золоты-

ми зубами, постоянно жующий то ли ананас, то ли рябчика, и *ничего не делающий*, а просто сидящий на мешке или мешках с деньгами — долларами или фунтами стерлингов. А ничего не делал он потому, что он враг трудящихся.

Позднее, прочитав у И.Эренбурга описание американских миллионеров (скромно одетые, предпочитающие простоквашу люди, зачастую с потрепанными записными книжками), я с трудом мог их совместить с образом, оставшимся с детства. Пожить подольше хотят, вот и едят простоквашу — так я тогда их совместил. Лишь много позже я смог определить моего детского капиталиста как глупого рантье. А в седьмом классе ни о каком предпринимательстве, ни о каком управлении экономикой, ни о каком риске и ответственности и мысли не было. Мир был простым и ясным: *мы* и *они*. В конце концов наши братья по классу, пролетарии всех стран, просто голодные и нищие. Поэтому и будет Мировой Октябрь.

Догма о том, что все началось с 17-го года, (все хорошее!) была великолепна: в школе лермонтовское «Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!» воспринималось не только как протест поэта против самодержавия, не только как яростная скорбь о погибшем Пушкине. Подтекст был: сейчас мы свободны, нет никакого царя, гениев и слава воцарились на нашей Советской Родине. Есть, конечно, еще враги народа, но и их Сталин уничтожит...

Несколько выше я уже упоминал о замеченном мною в тридцатых годах переходе от «Октября» к «Государству». Для меня этот переход был связан еще с таким удивлением: зачем это А.Н.Толстой написал книгу «Петр I»? Это же о царе, даже об императоре (империализм!). Потом вышла кинокартина «Александр Невский». Опять — князь, ведь это почти что царь. Попутно скажу, что нас с Вилькой очень разочаровали ведрообразные шлемы немецких рыцарей. Мы рассчитывали увидеть изящные шлемы с плюмажами и поднимающимися забралами, описанные Вальтером Скоттом и изображаемые на гербах. В те же годы стали говорить о «прогрессивной роли» Ивана Грозного в борьбе с боярством, которое было «реакционным». И об Александре I, как победителе в Отечественной войне 1812 года... Все это как-то не умещалось в лозунг Октябрьской революции «Долой самодержавие!». Последним удивлением в этом ряду были цветы на надгробье Петра I в Петропавловском соборе, которые я увидел в 1944 году. Надо заметить, что цветы лежали только у Петра I, на остальных гробницах их не было.

Но вернемся в школьный седьмой класс. Его я окончил в 1940 году и получил аттестат. К большой маминной (да и моей тоже) радости в нем были одни отличные отметки.

## МАГИЯ СЛОВА



Для того, чтобы замаскировать интересы, представить их в таком свете, чтобы они казались насущными и люди согласились рисковать ради них своей жизнью, нужно проделать большую словесную операцию и трансформировать реальность жизни в эмоции, страсти и энтузиазм.

...Войны всегда начинали батальоны слов.

*Жан Бло*

Тем, кто не жил в 30-е годы, трудно себе представить тогдашнюю атмосферу абсолютной монополии государственного или партийного, или, что то же самое, социалистического и коммунистического слова. Монополия на средства массовой информации, как теперь мы ее называем, была и сохранялась и после 30-х годов, но дело в том, что именно в те годы кино и радио впервые стали массовыми средствами пропаганды и агитации. Именно на них лежал волшебный отблеск новизны, которая, как и мода, в момент своего появления всегда неотразима. И кино, и особенно радио, воспринимались мною как спутники социализма: не было социализма — и радио не было, не было социализма — и кино в России было какое-то первобытное и еле-еле влачившее существование, а сейчас оно звуковое и даже уже цветное, «Соловей-соловушка» — первый цветной советский фильм. Недаром товарищ Сталин говорит, что кино — величайшее средство массовой агитации.

Унификация печати — тогда лучше было употреблять слово партийность — тоже была совершенно понятной: партия обладает знанием истины, так что она (истина) везде будет одинакова — и в «Правде», и в «Известиях», и в «Вечерке», и в «Пионерке». С пионерского возраста (как только я вступил в пионеры, меня выбрали редактором стенгазеты) я уже знал, что Ленин считал газету не только коллективным пропагандистом и агитатором, но и коллективным организатором. Это он говорил еще об «Искре». Вообще, он сказал, что печать — это самое острое и самое сильное оружие нашей партии. А уж о радио и кино и говорить не приходится:

радио — это газета без бумаги и расстояний, а кино — самое важное из всех видов искусств.

Тридцатые годы — это прежде всего время цитат и лозунгов. Они были везде — в любом учреждении, на улицах, в газетах, журналах, даже на спичечных коробках. Они кричали, требовали, проклинали, разъяняли и звали вперед:

Нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики!

*Сталин*

Техника в период реконструкции решает все!

*Сталин*

Кадры решают все!

*Сталин*

Если враг не сдается, его уничтожают.

*Горький*

Мы не можем ждать милостей от природы,  
взять их у нее наша задача.

*Мичурин*

Мы чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного  
вершка своей земли, не отдадим никому.

*Ворошилов*

и так далее!

Мы жили, сами того не замечая, в мире полном политики и были ею наполнены. Карикатуры Бориса Ефимова и фотомонтажи Джона Гартфильда сформировали для нас образ фашизма. Слова Пассионарии: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» были абсолютно созвучны в моем сознании рыцарским девизам и подвигам. «Как закалялась сталь» Н.Островского и «Юнармия» Мирошниченко были по-настоящему любимыми у нас с Вилькой книгами.

Я отчетливо помню всеобщее внимание взрослых к процессу о поджоге германского рейхстага. Имена Димитрова и Танева были у всех на устах. Когда прошел слух, что Димитров в день приезда в Москву будет проезжать через Каменный мост, мы несколько часов находились на нем в ожидании этого события. Проехали несколько автомашин подряд одна за другой, возможно и с Димитровым. Машины были далеко, а то бы узнали: Димитрова часто показывали в киножурналах. В газетах того времени ежедневно печатались сводки о выпуске автомашин Горьковским автозаводом им.Молотова (ГАЗ), а несколько позднее и Московским автозаводом им.Сталина (ЗИС), причем по ЗИСу цифры были совсем небольшие, сначала немногим более десятка автомашин ЗИС-101, но они все постепенно росли и росли. Печать эти сводки перестали, наверное, году в 38-м.

Между тем, деревья мифов продолжали расти. Мы — это прояснялось все больше — оказывается живем как бы в крепости, на острове, на утесе, в окружении. В осажденной крепости — потому, что окружение капиталистическое. И предстоит нам еще последний и решительный бой. Положение это временное, так как Мировая Революция не за горами, потому что у *них* жесточайший экономический кризис, полно безработных рабочих, которые вот-вот поднимут всенародное восстание. У нас с ними есть классовая солидарность пролетариата. Мы — всемирное его отечество, поэтому капиталисты нас и хотят все время уничтожить. Они начнут войну, а пролетарии всех стран соединятся и получится Мировой Октябрь.

Враги у нас такие, каких еще никогда ни у кого не было, разве что у Парижской Коммуны. В империалистическую войну русские, англичане, французы воевали против немцев, турок, австрийцев, — вот и все. Это — просто враги. А у нас это еще и классовые враги — капиталисты. Но это не все враги, это враги так сказать внешние. Но раз есть внешние, значит есть, или должны быть, и внутренние.

У нас имеются пока что пережитки капитализма, его родимые пятна. Значит, могут быть и предатели, которые одновременно являются нашими классовыми врагами. Их, конечно, немного, меньшинство. Большинство это мы, народ, а они враги народа. Но раз есть внутренние враги, то их нужно разоблачать и вылавливать, иначе может погибнуть очень много наших: ведь «Крепости легче всего берутся изнутри»<sup>12</sup>. Из одного дерева можно сделать миллион спичек, а одной спичкой можно сжечь миллион деревьев.

Поэтому нужна военная тайна, чтобы никто не узнал, где наши главные силы и где наши пока слабые места. Тут уж лучше даже переборщить, чем чуточку потерять бдительность. Тотальная секретность, постоянный призыв к бдительности, словесная логика объяснения происходившего были вполне в рамках моего мальчишеского миропонимания. У Вильки с его сестрой Галей даже на кружках, из которых они пили молоко, были изображения трехтрубного броненосца, поверх которого стояло: НАЧЕКУ.

Конечно, внутри крепости не только *мы*, но и скрытые *враги*. Есть еще очень много людей, это в основном старые люди, которые просто не понимают, что происходит, ведь они родились и жили до революции, то есть при капитализме. Если мы будем говорить о наших недостатках при них, то они так и не поверят в правоту социализма. А их все-таки жалко... Может быть отсюда,

---

<sup>12</sup> История ВКП(б). Краткий курс. М. 1938. стр. 344.

по крайней мере для меня, исходят истоки двойной морали. Она воспринималась как своеобразные, как я бы сказал сейчас, «правила игры». Вот, скажем, нельзя при родителях, а особенно при бабушках, домработницах, при Никиткиной бабушке особенно, говорить, что у нас что-то плохо. А между собой мы с Вилькой и Никиткой могли сказать, что немецкие самолеты в Испании или финские автоматы лучше наших бипланов и винтовок. Но и это мы даже как-то для себя старались объяснить помягче.

Тогда часто употреблялось слово «сознательный». Вот если ты хорошо учишься, ты — сознательный, если трудишься — тоже, если понимаешь, что все идет правильно, — тем более. А если ты несознательный, то тут уж недалеко и до врага. Итак, последний и решительный бой приближался, успехов у нас становилось все больше и больше, поэтому и классовая борьба обострялась: им, врагам, просто некуда было деться. И вели они себя совершенно отчаянно, ни с чем не считаясь. Они просто теряли голову и яростно сопротивлялись. И тут у меня перед мысленным взором появлялась обезумевшая кошка во дворе...

О глубине политизации моего (нашего!) сознания я могу сказать вот что. Даже в самой обычной, повседневной обстановке — в школе между собой, во дворе, на улице — «честное пионерское» ценилось абсолютно. Больше, чем просто «честное слово». Забавно, что за последние 20–30 лет выражение «честное слово» куда-то исчезло. Появилось «не веришь?» с вопросительным взглядом. И ответное неуверенное «верю»..., не поднимая глаз.

Полититизированы были даже детские стихи. Стихи талантливые, по-настоящему детские, и политизированные совершенно искренне:

Мистер Твистер,  
Бывший министр,  
Мистер Твистер,  
Миллионер...

Вилька эти стихи С. Маршака выучил с одного раза и всегда с удовольствием их повторял. Я их нарочно не стал специально заучивать, так как они были уже Вилькины. Дело в другом: мистер, — это может быть только у них, министр — тоже (у нас тогда были наркомы, что появятся министры — было кощунственно и подумать!), ну, а о миллионере и говорить нечего. Все стихотворение было искренне пролетарским, красным, классовым.

Радио, точнее радиотрансляция, появилась в Москве в начале 1934 года. Первый репродуктор появился в семье Исаченко. Вилька очень этим гордился: к ним все ходили на первых порах послушать «как радио говорит». Репродуктор в настольном ис-



полнении был черным, довольно громоздким сооружением с черным же рупором из твердой бумаги. Вскоре репродуктор появился и у нас. Это уже была «тарелка» в виде плоского конуса, тоже черная. Ее можно было вешать и на стенку, а не только держать на письменном столе. По-моему, репродукторы сначала не продавались, а их выдавали на работе. Я помню, что нашу «тарелку» принесла с работы мама. Так с тех пор радио и сопровождает меня... Тогда трансляция была прямой и, естественно, однопрограммной. Голоса дикторов были очень серьезные, официальные и ответственные, речь — нормативной и сухой. Нормативность, это, конечно, благо, но сколько мы потеряли непосредственного выражения чувств, оттенков смысла, юмора, наконец! Устный канцелярит с той поры стал расти бурно и буйно, рождая дьявольской устойчивости словосочетания, штампы, формулировки и словесные образы. Никиткина бабушка толпу называла толпой, ничего в этом зазорного не было, а вот по радио я ни разу слова «толпа» применительно к нашим людям не слышал. У нас только народ, толпа — у них!

Помню одну из новогодних передач (год, наверное, 1935-й), в которой высмеивалось, — вполне серьезно, — пожелание «С Новым годом, с новым счастьем!»:

— Какая буржуазная бессмыслица. Разве счастье может быть новым? Оно или есть, или нет. Это пожелание вдобавок лживо: при капитализме у трудящихся не может быть счастья. (Замечу, что праздника Нового года тогда официального не было! Был рабочий день 1 января. Впервые официально новогодний праздник введен 1-го января 1948 года).

В передачах высмеивались «китайские церемонии» при обращении друг к другу. Считалось, что разговоры, например, о погоде, это буржуазные предрассудки и потеря времени. Надо сразу говорить, о чем хочешь сказать, у пролетария нет лишнего времени...

Вообще, время, видимо, было суровое. Я пишу, «видимо», так как тогда я этого не чувствовал и, тем более, не знал этого — не с чем было сравнивать. Но быть сентиментальным считалось неприличным, «телячьи нежности» — не для нас! Не могу себе представить, чтобы кто-нибудь из моих знакомых ребят — и я сам, конечно, — смог бы сказать: «Я устал».

Конечно, по радио шли и другие передачи, их было много и они были чудо, как хороши. Молодой тогда Р.Я.Плятт читал «Белый клык» Джека Лондона. Он читал так хорошо, что его голос до сих пор я слышу, когда открываю иногда, скажем, «Железную пята» или «Мартина Идена». Джек Лондон с тех пор для меня имеет собственный русский голос — он говорит голосом Плятта. Великолепно исполняла русские народные песни Ольга Ковалева, часто выступал певец-гуслир Иван Северский, про-

никновенно и совершенно звучала музыка Бетховена, Шумана, Листа, звенел часто и хор имени Пятницкого.

Но вернемся к политике. В те годы радио очень эффективно использовалось для разучивания песен. Поэтому песни запомнились невольно, как бы мимоходом и сами собой, почти сразу достигая подсознания.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  
Наша сила, наша воля, наша власть.  
В бой последний коммунары поднимайтесь,  
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть!

Крепи, пилот, дозор боевой!  
Державы мира в тисках сжимает кризис,  
Трещит прогнивший строй,  
К гибели близясь!  
Обороной стальной  
На решающий бой  
Встает Красный флот  
Наш воздушный часовой.

Возьмем винтовки новые,  
На штык флажки!  
И с песнею в стрелковые  
Пойдем кружки.  
Раз, два, — все в ряд,  
Вперед отряд.  
Когда война-метелица  
Придет опять  
Должны уметь мы целиться,  
Уметь стрелять

Именно с тех лет живут во мне строчки слов:

Нас утро встречает прохладой,  
Нас ветром встречает река...

С неба полуденного,  
Жара — не подступи,  
Конница Буденного  
Раскинулась в степи.

Заводы, вставайте,  
Шеренги смыкайте,  
На битву с врагами  
Вставайте, вставайте!  
Проверьте прицел,  
Заряжайте ружье,  
На бой, пролетарий,  
За дело свое!

Здесь мне хочется сделать некоторую остановку и вернуться в нынешнее время. Сейчас мало кто представляет, какое колоссальное значение в начале 30-х годов имело слово *кризис*. Имелся в виду, конечно, Великий кризис капитализма или Великая депрессия 1929-32 годов. Он был величайшим доводом в нашу пользу, в правоту Октябрьской революции, социализма и коммунизма, в правильность наших пятилеток, в абсолютную, автоматическую правоту классовой борьбы международного пролетариата и неизбежную победу Мирового Октября.

Как-то я спросил свою дочь, нет ли у нее того чувства, о котором я уже упоминал ранее, — о наличии начала, точки отсчета в восприятии времени. Татьяна мне ответила отрицательно. Для нее время от рождения текло непрерывно! То же мне сказала и Маша, дочь Бориса и Ляли. А вот Ляля сказала, что у нее сохранилась в памяти точка отсчета *нашего* времени. Этой точкой был *кризис*! Время было до кризиса и *после* него, уже наше время.

Возвратимся в тридцатые годы, в магический мир слов.

... Ведь с нами Ворошилов,  
Первый красный офицер.  
Сумеем кровь пролить за СССР!

Вперед, пора! Эй флаги, взвейтесь рея.  
Расти, расти, знамен багряных рой!  
У стен Кремля, на мрамор Мавзолея  
В шинели серой входит Рулевой!

Вера устному слову — по радио — и печатному слову — в газетах — у нас с Вилькой была абсолютной. Слово воспринималось одновременно и как *дело*, между ними не было зазора. За словом стояла вся мощь нашей страны, нашего государства рабочих и крестьян, одной шестой части Земного шара.

В «Пионерской Правде» печатали «Гиперболоид инженера Гарина», а потом — «Приключения Буратино». В первом торжествовала Мировая революция, а во втором — праведность угнетенных и бедняков. В «Тайне двух океанов» действовал классовый враг и вредитель, которого разоблачали и вылавливали. В кино шли «Рваные башмаки» — фильм о кризисе и безработице и о кровожадности капиталистов. У них полиция расстреливала на демонстрациях безработных даже детей. Я плакал, когда смотрел эту картину — невозможно было удержаться, видя как на экране сестренка отдает свою единственную драгоценность — тряпичную куклу — застреленному брату, пытаюсь оживить его. В темноте я чувствовал, что и Вильке не по себе (мы смотрели картину вместе), но сказать друг другу, что у нас глаза на мок-

ром месте, было невозможно: это было бы равносильно признанию, что мы интеллигентские хлюпики, а не борцы за дело рабочего класса и новые люди нового общества.

В фойе I-го детского кинотеатра, — он открылся, наверное, в 38-м или 39-м году в Доме правительства, куда мы чаще всего ходили (от нас рядом, да и билеты по десять копеек), всегда перед началом очередного сеанса разучивали песни. Тексты были написаны красивыми ясными буквами на полотняной широкой полосе, которую можно было перематывать с верхнего или нижнего валика друг на друга. Валики укреплялись на большой, выше человеческого роста, раме-стойке. Красивая стройная женщина, найдя очередную песню, указкой энергично обращала наше внимание на нужные слова. Рядом за роялем сидел аккомпаниатор. И на все фойе раздавались искренние радостные и звонкие детские голоса:

Эх, хорошо в стране советской жить,  
Эх, хорошо страной любимым быть!  
Эх, хорошо стране полезным быть,  
Красный галстук с гордостью носить, да носить!

Все это я пишу наизусть, не требуется даже усилия вспомнить, слова песен и маршей вспархивают как бы сами собой, стоит только представить те времена.

К магии слова непосредственное отношение имеют поэты-песенники (конечно, в равной мере с композиторами-песенниками). В политизированном мире моего детства поэзия не могла играть никакой роли (так я тогда считал), потому как стихи могут любить только гнилые интеллигенты. Поэты Пушкин (борец с самодержавием), Руставели (борец с феодализмом), Маяковский (поэт Революции), Некрасов (борец с крепостничеством) выступали в первую очередь в роли политических борцов или бойцов.

Конечно, Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) знал силу поэзии. Поэты-песенники, как об этом я с удивлением узнал значительно позднее, имели самые высокие гонорары и самые низкие налоги на них. А тут еще такое историческое везение: радиомонополия. Да еще звуковое кино... А мы рассказывали тогда друг другу анекдот (это год, видимо, 37-й): у Лебедева-Кумача при входе на дачу висит плакат «Нам песня строить и жить помогает».

Учение, гипотеза, теория, научное знание — это были для меня слова-синонимы, которые охватывались одним понятием и словом *наука*. По простоте, точнее, по юности душевной, это понятие было единым и нерасчлененным, как единым понятием была *партия*, куда на равных правах входили слова: государство, страна, СССР, народ, общество.

Поэтому марксизм-ленинизм мне представлялся такой же наукой, как математика, физика или даже химия. Разница была только в том, что если в арифметике были, скажем, числа, а в физике — формулы, то в учении Маркса — были цитаты. Для меня было очевидным, как дважды два — четыре, выражения: «с успехами социализма происходит обострение классовой борьбы» или «незаменимых нет» и «общественное выше частного».

И дальше следовало: наука, в противоположность религии, — это предвидение, это правильность, это прогресс, это наше будущее, т.е. коммунизм.

Еще в школе я стал замечать, как некоторые слова начали исчезать. Ненужными, как бы даже старомодными и даже старорежимными становились и стали такие слова как Россия, Родина, русский... Я их встречал в книжках, а вокруг были: Р.С.Ф.С.Р. (а еще лучше — С.С.С.Р.), «У пролетариев нет отечества», «Интернационал (III-й) — братство всех трудящихся». Какое значение тут имеет национальность? — Смешно! Таким же словом — и архаизмом и анахронизмом — было для меня *крестьянин*. По истории мы проходили, что в Германии и царской России когда-то были крестьянские войны. Вот тогда и были крестьяне. Они еще остались там, у них, где не победила Революция. У нас уже давно *колхозник*. А все очень просто: крестьяне вступили в колхозы и поднялись на высшую ступень, так как колхозно-кооперативная собственность — это социалистическая собственность. А богатые крестьяне — кулаки — уже уничтожены как класс (как помещики и капиталисты) и тоже стали колхозниками. Уничтожение кулачества, — как тогда я думал, — означало только, что у них отобрали лишних лошадей да еще коров. И только.

Но слова уходили. Постепенно пролетариат стал заменяться рабочим классом, юный пионер — пионером, краснофлотец — матросом, отоваривание карточек — просто покупкой. Кто бы мог подумать, что некоторые слова, как волшебники, смогут снова появляться много лет спустя! Из города ушли подводы и сани с рысаками (стали грузовики и машины), ушли дрова и печиголландки с изразцами (стало центральное отопление), ушли булыжные и торцовые мостовые (стал асфальт). Ушли неграмотный и воспитанный. Казалось, навсегда ушли икона, ладан, причастие, покаяние, прощение, милосердие... Забегая чуточку вперед от того времени, отмечу метаморфозы тогдашних слов: командир (стал офицером), целлулоид (стал пластмассой, а потом пластиком), волшебный фонарь (стал фильмоскопом), вечное перо (стало авторучкой). Но разве можно тогда было даже подумать, что не вечны такие слова как вождь, гегемон, партия! Даже пролетариат!

Со словами все совсем не просто. Ведь имя — тоже слово. А что может быть для отца с матерью дороже имени своего ребен-

ка? Я уже говорил, как расшифровывалось имя Вилен. Среди моих сверстников есть имена: Эрлен (эра Ленина), Баррикад, Марлен (Маркс-Ленин), Электрон, Гелий, Марксэна (Маркс-Энгельс), Владлен (Владимир Ленин), Вилена (Владимир Ильич Ленин), Дизель, Икки (Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала), Мэлс (Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин), Эвир (эпоха войн и революций).<sup>13</sup>

Сейчас этих имен не дают. Но они, по-моему, одно из самых глубоких психологических объяснений того, уходящего, времени. А тогда — это время наступало и количество новых слов прибывало, особенно слов-наименований. Они волнами сокрушали старый мир. Менялись названия улиц, площадей, общественных зданий, учреждений, заводов, городов, областей, — короче, всей словесно-социальной среды и структуры общества. Менялось все и вокруг нашего дома, всюду, куда ходили: в школу, в кино, в гости; откуда ездили на дачу; куда ходили в магазины; где просто гуляли с Вилькой до начала занятий в школе (мы учились во вторую смену со второго по седьмой классы).

В 1932 году Каланчевская площадь стала Комсомольской, в 33-м Всехсвятская улица — улицей Серафимовича, Варварка — улицей Разина, в 34-м Сухаревка стала Колхозной площадью, в 35-м Никольская — улицей 25-го октября, а Остоженка — Метростроевской, Мясницкая — улицей Кирова.

У иных новых слов судьба была удивительной. Вспыхнув вместе с Революцией, они сияли в мире слов, как звезды первой величины. И этот блеск я застал, и при мне же этот блеск пропадал почти до угасания. Вот одно из этих слов — *эсперанто*. Я еще не ходил в школу, когда Коля Скоробогатов, придя с родителями как-то раз к нам в гости, рассказал мне об эсперанто. У меня захватило дух: на этом языке скоро будет говорить весь Земной шар! А как же иначе? Ведь после Мировой Революции надо будет всем разговаривать и понимать друг друга. Так вот, это слово почти умерло между 34-м и 37-м годами. Другим словом был *Коминтерн*. Оно на пару лет пережило эсперанто. В двадцатых годах Воздвиженка была переименована в улицу Коминтерна. Кстати, «Улица Коминтерна» была среди первых станций метро. Я-то помню Воздвиженку потому, что отец так называл ее несмотря на переименование, впрочем, он и улицу Фрунзе по-прежнему называл Знаменкой. Так вот, вскоре после войны и улица Коминтерна, и станция метро получили имя М.И.Калинина.

Родной для Вилькиной мамы Нижний Новгород в 1932 году стал Горьким; перед этим верхневолжская Тверь была переиме-

---

<sup>13</sup> Было даже имя Ворбудрык (Ворошилов-Буденый-Рыков)! Оно было у мальчика, с которым училась в одном классе жена Бориса Валентина Ивановна Никитина.

нована в честь всесоюзного старосты в Калинин; любимая отцом Вятка в 34-м стала Кировом; в 35-м Самара — Куйбышевом, Луганск — Ворошиловградом. В том же году лучший в мире метрополитен становится «Имени Л.М. Кагановича».

Для меня эти переименования были естественным и необходимым, то есть революционным делом и ничего кроме удовлетворения не вызывали. Когда в 1940 году знакомая мне Пермь стала Молотовом, я только порадовался. В самом деле, вот был Оренбург, его никто и не знал, а удостоили его названия Чкалов, — и он стал известен всему миру, как и Великий летчик нашего времени.

Надо брать пример и строить свою жизнь по соратникам вождя и нашим героям!



## Г А Р М О Н И Я

Если к правде святой  
Мир дороги найти не сумеет,  
Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой.

Беранже

Я уже писал, что вторым иностранным словом, которое я освоил с самого раннего детства, было *коммунизм*. Мы мечтали о коммунизме как о празднике, который наступит и не будет кончаться. Вот елка, — хороший праздник, но она с зимними каникулами проходит, а коммунизм будет все время. Рассуждать о коммунизме мы с Вилькой начали очень рано, как первые стихи мы выучили: «От каждого по способностям, каждому по потребностям».

Эти слова создали тогда у нас уверенность в прекрасном будущем не вообще, а для всех нас — Вильки, Никитки, меня, ребят и девочек в классе — ведь эти слова значили: делай что хочешь и будь кем хочешь. Нам всем поскорее хотелось стать взрослыми и «кем ты будешь?» мы постоянно спрашивали друг у друга. Конечно, мы уже и тогда понимали, что есть непривлекательные дела и профессии (например, быть золотариком или возчиком и вывозить помойки), но при коммунизме они будут ликвидированы, так как всю тяжелую грязную работу будут делать машины. Кстати, слово «ликвидировать» очень часто употреблялось в то время. Мы даже технические решения находили почти для всех случаев. Ну, а что не придумали — есть еще время, придумают. Итак, для неинтересного труда будут машины. К этой проблеме мы не возвращались.

Нас больше всего интересовало другое: а вдруг все захотят стать летчиками и моряками? Наша школьная жизнь не подтверждала такой возможности. В классе ребята хотели быть кем. И никто не хотел повторять другого. Так случилось и у меня с Вилькой. Мы вместе мечтали о будущем и всегда взахлеб читали книги о морях: «Остров сокровищ», «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта», да мало ли! Но когда я поступил в Военно-Морскую спецшколу, Вилька — и я понимаю это — проявил самостоятельность и поступил в Артиллерийскую. А понятно вот почему. С детства (точнее с того времени, как я стал самостоятельно думать) у меня возникло убеждение, что есть какой-то изначальный закон природы — сейчас я бы его назвал фундаментальным, — по которому она рождает людей стольких способностей, сколько их нужно. То есть, сколько надо — военных, пахарей, кузнецов, учителей, врачей...

Именно на этом и основывалась моя десткая вера в коммунизм. Какие деньги?! Важно не зарабатывать, а заниматься любимым делом. Вот где собака зарыта. Он, скажем, хотел быть путешественником, или, как в «Крыльях холопа», хотел летать, а его насильно заставляли ковыряться в земле. А теперь, после Октябрьской революции, никаких привилегий ни у кого нет, все равны, и этот изначальный общий закон соответствия может действовать. В капитализме этому закону мешают, так как там производительные силы не соответствуют производственным отношениям. А у нас соответствуют: «Человек рожден для счастья, как птица для полета». У нас для этого есть все условия. Потому, что социализм все может и начал действовать изначальный и самый общий закон природы — закон целесообразности. Его заметили еще французские материалисты: «Все идет к лучшему в этом лучшем из миров». Но только там — изредка, а у нас — постоянно. Повторюсь, вопрос «кем быть?» в те времена, нам казалось, был чисто личным делом: кем хочешь.

С самого раннего возраста, как я себя помню, я хотел стать капитаном. Возможно, этому способствовала первая книжка, которую мне прочли. Там были такие строчки:

У-у-у! — Гудит сирена,  
Гонит винт волну да пену.  
— Капитан, капитан, мы куда поедем?  
— В Ледовитый океан!  
— Нас съедят медведи!

А может быть и то, что по материнской линии у нас было много моряков. Дядя Филя тогда ходил во Францию и Англию, откуда привозил мне большие разноцветные картинки на твердой бумаге с изображениями трех и четырехтрубных красивых



пароходов. А дядя Сережа даже был когда-то капитаном дальнего плавания. Мой двоюродный брат Анатолий служил на флоте, а отслужив, стал старпомом на правительственном (вот гордость была!) пароходе на Волге, который назывался «Струя».

Потом были некоторые колебания. Это — когда наша авиация побивала все мировые рекорды (спасение челюскинцев, перелеты через Северный полюс). Я хотел стать летчиком, почему-то штурмовиком (видимо, тоже из-за Испании), и еще, на очень короткое время (видимо, тоже из-за Испании) — танкистом. Но с самого начала не было никакого колебания в главном: быть обязательно военным. Мы все время играли в войну, начиная с «казаков-разбойников» во дворе и кончая «морским боем» на уроках в школе. Клава Ш. как-то ко дню 1 Мая в стенгазету сочинила стихи, где были такие строчки:

И всех цветов петлицы,  
И все готовы в бой!

Но вернемся к детским раздумьям о коммунизме. Память опять ведет меня в I-й детский кинотеатр. Пройдем через фойе, где разучивали песни, и буфеты с ирисками, и поднимемся на второй этаж. Там была постоянная выставка игрушек. Они занимали несколько комнат и были самые разные, такие, каких не было даже в магазинах. Там были красивые куклы с закрывающимися глазами, у них глаза не закатывались — такие были дома и у Нонны, — а у них опускались веки и смеживались ресницы. Но самое главное, там была электрифицированная железная дорога. И игрушки можно было трогать! А железную дорогу можно было попросить включить. И тогда электровозик с вагончиком, постукивая на стыках в затаившейся от перехваченного дыхания тишине, начинал быстро бежать по рельсам!...

Ни у кого из ребят ничего подобного не было. Да и быть не могло. Даже у Юрки «американца» был только заводной мотоциклист. Но разве мог он сравниться с игрушками в I-м детском! И в этом я видел что-то от будущего коммунизма: бери, трогай и даже немного поиграй! Ведь все могут. Это перекликалось с картинами в Третьяковке: ведь если каждому нельзя что-то дать (как же дать картину «Боярыня Морозова?»), то это надо сделать общим. Это так естественно.

Такая логическая цепочка вела и к первым нашим «эмкам», которые стали появляться в Москве. Мы их разглядывали у бензоколонки за бульваром (сейчас там сквер напротив «Ударника»). Было совершенно понятно, что их надо не продавать, а давать людям, которые занимаются делами, касающимися *всех*, то есть общими делами. Это — руководители. Руководители Пар-

тии и Правительства, директора заводов и фабрик, старшие командиры Красной Армии. Я, скажем, отвечаю только за себя и думаю о себе. Вилька и Никитка — тоже. А они думают о многих людях. Они и работать должны поэтому больше. Так что их в первую очередь и нужно обеспечивать. Мы еще помнили закрытые распределители и разные категории карточек. На рабочую карточку полагалось больше, чем на карточку служащего, а уж об иждивенцах и детях говорить нечего, — они для индустриализации и построения будущего нового общества мало что могли пока сделать. Но мы, ребята, были сыты и беззаботны, и все эти карточные категории воспринимали как справедливые.

В связи с карточным распределением в памяти сохранился такой эпизод (это было до спрямления Полянки, значит году в тридцать третьем). По карточкам мама получила ситец, очень хороший по качеству, но не знала, что с ним делать: рисунок на нем состоял из расположенных в шахматном порядке на белом фоне мелких нефтяных вышек с тремя струйками бьющей нефти и тракторами. У тракторов было большое заднее колесо с треугольными зубцами. Мама даже советовалась с Ольгой Мироновой, своей знакомой. Бабушке этот материал тоже не подходил, она любила темные скромные тона с цветочками вроде незабудок... В конце-концов ситец подарили домработнице Нюре к 8 Марта (тогда 8 марта назывался Днем работницы).

К этому времени относится и обмен хлеба на молоко: хлеб у нас оставался (мы с Нонной его, по своей малости, ели немного) и его меняли. Это было общим явлением. Молочницы регулярно привозили из-за города молоко, обходили знакомые квартиры и уезжали с хлебом.

Но вернемся к распределению автомашин. Тогда в обиходе еще не было слова *дефицит*, хотя явление само, конечно, имело место. Так вот, наша мальчишеская мысль, если ее выразить по-современному, звучала бы так: дефицит должен быть обобществлен. Именно в этом обобществлении (от слова «общее») нам виделись какие-то отблески будущего коммунизма. Ведь мы считали, что использование тех же автомашин допустимо только для служебных целей и только лично руководителями. А вот когда мы понастроим заводов и фабрик, машины будут у всех и тоже без всяких денег.

Гарантией обязательного наступления коммунизма были Партия, Правительство и лично товарищ Сталин, вся мощь нашего рабоче-крестьянского государства.

Наверное, когда я учился в третьем классе, нам троим — Вильке, Никитке и мне — Никиткина мама рассказала о «Кондудите и Швамбрании». Эта книга захватила наше воображение,

и мы начали играть в государство. Игра эта служила как бы фоном всех наших других игр. В нее вошли д'Артаньян с Атосом, Портосом и Арамисом; Айвенго, Рыцари круглого стола; князь Серебряный, богатыри; крестоносцы, испанские мавры, Тиль Уленшпигель, флибустьеры. Первым делом у нас появились крепости и замки. Это были коробки, картон которых превращался в зубчатые стены. Мы долго спорили о форме крепостных зубцов, внимательно во время прогулок осматривали башни и стены на Кремлевской набережной и на Красной площади.

У нас существовал враг, точнее было вражеское государство, иногда мы его называли, как и у Льва Кассиля, Блефуско. Хотели, но так и не придумали ему свое название, это был, так сказать, враг вообще. Он не имел конкретных черт, но по определению — само собой — это были буржуи, фашисты и что-то вроде испанских мятежников.

Вслед за замками и крепостями начали создаваться армии. Никиткина тетя (тетя Соня), после выхода из печати ее учебника немецкого языка, купила каждому из нас по пушке, из которой можно было стрелять горошинами. Такие же пушки, только маленькие, мы купили сами, сэкономив деньги на завтраках, на которые нам их давали. Помню, общее уважение вызвал танк, который мне подарили. У него были резиновые гусеницы, и он, заведенный ключом, похожим на ключ для завода бабушкиных часов, урча как живой, мог вползать на руку и даже с трудом переваливаться через нее.

Солдат мы рисовали сами. Если был хороший картон, то на картоне, если ватман — на ватмане, а иногда и на тетрадной бумаге. Фигурки вырезались, им делались подставки, и готовые бойцы могли стоять. Вилька, рисовавший очень хорошо и быстро, стал даже вырезать тачанки, мы же с Никиткой рисовать лошадей не решались, а рисовали броневики и танкетки. Работа особенно кипела после праздников 1 Мая и Октябрьской революции: по Малому Каменному мосту после парадов шла техника, и мы, конечно, мгновенно запоминали и новые броневики, и танкетки, и танки, и мотоциклы с пулеметами, и звукоуловители, и прожекторы на грузовиках «ЗИС». Затем наступало заатишье в этой игре, пока не приходил новый всплеск.

Этим всплеском однажды стал интерес к почтовым маркам. Я помню ее — первую почтовую марку, почти как первую любовь. Она меня потрясла и очаровала. Это была зеленая с белым испанская марка с самолетом над Мадридом на фоне лучей восходящего солнца. Собирать марки стал каждый из нас, и сразу же мы начали выпускать свои марки. Для этого использовались ластики, на которых вырезался рисунок. Здесь возник вопрос о

названии нашего государства. Поскольку оно было все же сказочным и, мы это понимали, игрушечным, название должно было быть не русским. А из иностранных языков мы начали овладевать только немецким, который был тогда господствующим языком в школах, как сейчас, — английский. Так вот, наше государство стало называться с общего согласия Фраштом (от *freie Staat*). Понемногу стала создаваться «государственная» коллекция почтовых марок, которые мы начали делать всех цветов туши. Мы не знали, какие номиналы ставить на марки, так как названия для денег мы тоже не придумали. Выход нашелся довольно скоро: Вилька предложил ничего не ставить, поскольку в нашем государстве, как и у нас в стране, при коммунизме, денег не будет. Только у нас сейчас еще есть деньги, а во Фраште их сразу не будет. А почтовые марки пусть будут. Мы с Никиткой сразу согласились с этой идеей и оценили Вилькино благородство: он к маркам относился прохладно и ему было все равно, а вот насчет денег он совершенно прав.

Потом издательская работа отошла от марок, и мы стали сочинять стихи и рассказы и выпускать рукописные журналы в единственных экземплярах, куда помещали и рисунки. Мое стихотворение начиналось так:

Бегут ручьи по склонам гор,  
Последний снег лежит на поле...

Склонов гор вообще-то не было, а последний снег на поле — это реальное впечатление. Никиткина семья к тому времени уже переселилась в Раменское, и на их участке в чистом поле перед лесом действительно весной таял снег. В Раменском нам было раздолье: Никиткины родители охотно приглашали нас в гости, а мы лучшего места и не могли себе представить. На земле этого участка мы вырыли игрушечное море, обмазали его дно цементом, построили каналы и корабли. Это был, пожалуй, последний акт нашей игры. Мы стали подрастать... Нет, самым последним была огромная географическая карта Африки на земле с реками Нил и Конго, озерами, горами и городами. А играть с этой Африкой уже не стали.

В какой-то период развития нашего ребячьего государства нам понадобился премьер-министр. Никиткин папа нам объяснил, что это тот, кто как бы соответствует нашему Председателю Совета народных комиссаров. В конце-концов без особых споров, главным образом по, как нам казалось, внешнему сходству, мы распределились: Вилька был Сталин, я — Молотов, Никитка — Ворошилов. Итак, коммунизм воспринимался как само собой разумеющееся, реальное и достижимое дело, особенно для нас:

мы-то до коммунизма доживем! Сейчас — социализм, уже первая фаза или ступень коммунизма. Собственно, и надо-то еще только развить индустриализацию и победить в будущей войне. Ни то, ни другое сомнений не вызывало. Социализм все может!

Имена Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича (и еще Орджоникидзе, Буденного, Калинина, Горького, Ежова и других, но эти пореже) как бы постоянно висели в воздухе — в передачах по радио, в киножурналах, в названиях заводов, колхозов, домов культуры, улиц, да просто на каждой трамвайной остановке. Почти в каждой газете были их портреты. Но вот что примечательно, ничего о них, кроме как об их бедняцком рабоче-крестьянском происхождении и подходящих событий из политических биографий, не говорилось. Все знали, что Сталин — сын бедного сапожника, Молотов — из бедных интеллигентов-революционеров, Ворошилов — луганский слесарь Клим, Каганович — тоже из беднейших слоев.

Сталин обладал громадным авторитетом и был всегда прав не потому, что у него была вся полнота власти (мы об этом никогда и не думали в те времена), а потому, что он олицетворял — именно так! — социализм. Всегда прав социализм, поэтому всегда прав и Сталин. Я был убежден в его скромности. Он почти никогда не употреблял местоимение «я», а о себе говорил в третьем лице: «товарищ Сталин». И еще, когда ему хлопали, он аплодировал тоже, как бы давая понять, что аплодируют не ему лично, а социализму, за который он всегда борется. И одет он был скромно, почти как военный, а военные в те времена носили очень простую и скромную форму.

Это было время, повторюсь, когда за словом следовало *дело*. За повсюду видимыми и слышимыми «Наши задачи!... Нашей задачей!... Условием выполнения... Мы обязуемся... Мы должны!...» — возникала реальность. Она была рядом. Дом Правительства построили в 1931 году, через год в нем открылся прекрасный кинотеатр «Ударник». Со своей крышей в виде гиперболического параболоида он, казалось, пришел из светлого индустриального будущего. Быстро и весело строились новые Малый и Большой Каменные мосты. Они ни в какое сравнение не шли со старыми: были много шире и длиннее. Они сразу перемахивали, каждый своим пролетом, один — Канаву, а второй — Москву-реку без всяких быков, которые были у старых мостов. Под ними теперь смогут проходить не только буксиры с баржами, а и пассажирские пароходы. И у них не надо будет заваливать под мостами дымовые трубы! В 1938 году оба моста были готовы. В эти же быстро летящие годы преобразался Охотный ряд, строились гостиница «Москва» и напротив нее величественное здание с зо-

лотыми буквами «С.Н.К.» (Совет Народных Комиссаров) и государственным гербом на фронте. Лучи восходящего солнца на гербе были лучами солнца мировой революции... Да что там: в нашем дворе вместо снесенного Никиткиного дома построили новый — красивый, с угловой башенкой, на которой сверху сидел серп и молот. Дом такой же, как на новой тогда Пушкинской (до 31-го года Страстной) площади; только там на башенке была установлена женская фигурка в балетной пачке.

Стоит мне погрузиться в воспоминания о том времени, как в памяти начинает звучать несколько монотонный и глуховатый голос с кавказским акцентом:

— У нас не было автомобильной промышленности. Она у нас есть теперь. У нас не было химической промышленности. Она у нас есть теперь. У нас не было авиационной промышленности. Она у нас есть теперь. У нас не было... У нас есть... У нас не было... У нас есть.

А перед глазами — встают листы-диаграммки из красиво изданной папки со сравнительными данными за 1913—1933 годы. Там были цифры (*у нас* и *у них*) и, — самое главное для нас с Вилькой, — нарисованные грузовики, самолеты, паровозы, горы угля, домны и еще много всего. Эта папка принадлежала Левке, соседу по нашей коммунальной квартире. Он был на год старше нас и относился к нам несколько свысока. Но его отец Александр Кузьмич, узнав, что грузовики нам нужны для игры (мы их вырезали и укрепляли на подставках), подарил нам сразу несколько листов из этой папки. Собственно наши игры были своеобразным отражением того времени, хотя только теперь я в этом отдаю себе отчет. А тогда... Реконструированный в 1931 году завод АМО вскоре был переименован в ЗИС и стал выпускать трехтонки, а потом и легковые ЗИС-101; в январе 1932 года заработал Горьковский автозавод им.Молотова и стал выпускать полутонки и фазтоны ГАЗ-АА; потом вместо них — М-1 «эмки». Появились новые паровозы ИС (Иосиф Сталин), СО (Серго Орджоникидзе), первый электровоз ВЛ (Владимир Ленин).

Чувство гармонии чем-то сравнимо со здоровьем и счастьем: человеку просто хорошо, неизвестно почему, его внутренний мир и внешний переливаются через него один в другой, доставляя чистую радость и ощущение естественной правильности мироздания. Вот в таком состоянии гармонии моего я с внешним миром тогда я и находился. То, о чем вещало радио, писалось в газетах, говорилось в школе на уроках, с чем я встречался в Доме пионеров — все звучало согласно и сильно. И я знал почему. Мы даже об этом говорили друг с другом: «Мы первые отменили частную собственность и воплощаем лучшую мечту человечества — ком-

мунизм». И это было по-детски искренно! Я не один жил в том гармоничном мире. У меня сейчас такое впечатление, что мы, то есть ребята и я, были тогда на гребне бегущей волны. Существовало и еще одно обстоятельство — в быт входили новые вещи: появилась пластмасса, Вилька показывал с гордостью новую пепельницу, черную, легкую, блестящую с выпуклыми буквами на оборотной стороне «З-д им.Комсомольской правды»! А буквально через несколько месяцев мама сказала, что пластмасса может быть разноцветной и очень красивой: у нее в руках были две авторучки, коричневая с перламутровым оттенком (она потом подарила ее дяде Володе) и темно-зеленая с белыми прожилками. Это были советские, наши, с золотыми перьями ручки. Они были так хороши, что от них не хотелось отводить глаз. В середине тридцатых годов появились электрические чайники и утюги. Чайник был абсолютно безупречен своей формой, быстротой нагрева и гипнотическим блеском никелированной поверхности, которая идеально сочеталась с удобной, корзиночной оплетки, ручкой. Так же был несравненен с чугунным или духовым утюгом новый удобный электрический утюг. Тогда же появились плавленый сыр, корнфлекс и эскимо. С некоторым удовлетворением я подумал, что при коммунизме все перья у ручек будут золотые — ведь они же не ржавеют! И самописки будут у всех ребят в школе. Так что золоту будет и вполне приличное применение.

Товарищ Сталин в 1937 году сказал: «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!» И на площади Революции, на Манежной, на улице Горького появились продавщицы в белых халатах с лотками, в которых был горячий грог. Ну как тут не вспомнить: «Бетси, нам грогу стакан!» Эта бетховенская песня часто в то время передавалась по радио. На площади Маяковского открылся магазин, где можно было купить газировку с любым мыслимым сиропом — и клубничным, и лимонным, и крем-содой, и крем-брюле, и мятным... Мерные колбы с сиропами мягко сияли всеми цветами радуги.

Летом 1935 года я был в Астрахани у тети Шуры. Там кое-где еще сохранялась частная торговля, и на главной улице был магазин газированных вод. Меня удивило количество сиропов. В Москве на тележках с сатураторами тогда в лучшем случае было два сиропа, а там, наверное, пять или шесть, и наливали его много, хотя и дорого было, не то что в Москве. Так вот в магазине на площади Маяковского сиропов было больше двадцати (мы с Вилькой сосчитали!) и стоил стакан газировки с одной порцией сиропа 10 копеек, а с двойной пятнадцать. Не то, что в Астрахани — тридцать! Мне вполне стало ясно, что частники и НЭП — это было плохо. А социализм все может лучше.

К этому же времени относится одно из самых моих больших детских удивлений: новые деньги (1937 г.) вышли с портретом Ленина. Мало того, что их, по моим соображениям, вообще надо было отменять — ведь идем к коммунизму, — а они тут еще с Лениным, который был против денег и золота. Ведь на прежних бумажных деньгах были изображения рабочего (пять рублей), крестьянина (три рубля), а рублевка была просто с серпом и молотом и снопом, на червонцах же — аллегорические фигуры сеятеля и, кажется, рабочего у наковальни. Теперь рабочий с отбойным молотком был на рубле, на трешке красноармеец в каске, а на пятерке — летчик. На всех же крупных купюрах был Ленин. Возникшее чувство кощунственности объяснялось тем, что единственное достойное место для Ленина — точнее его образа — я связывал с фигурой Ленина, которая должна будет венчать Дворец Советов.

Идея этого дворца давно уже пленила наше воображение. В 1934 году был утвержден его проект, и будущий Дворец заполнил страницы газет, журналов и книг, о нем говорила вся Москва, о нем дома спорили родители, а мы — Вилька, Никитка и я — ходили смотреть, как начинается строительство на месте снесенного храма Христа Спасителя. Тогда История была для меня всего школьным предметом, и я без тени сомнения считал, что Дворец Советов будет и красивее и нужнее храма, а место выбрано для него самое подходящее.

Я представлял себе с отчетливостью до галлюцинаций, как после победы Мировой Революции демонстрации трудящихся всех стран мира — немцы, англичане, французы, американцы, негры, китайцы, эскимосы, — все-все, будут с красными знаменами проходить у трибун Дворца Советов, а не мимо трибун для вождей и героев на нашем нынешнем мавзолее. Ребячье воображение увлекалось гигантскими размерами будущего сооружения. Его высота должна была достигать полукилометра, а большой палец протянутой руки 75-метрового Ильича — составлять 4 метра. В Большом зале Дворца предусматривались места для 21 тысячи человек, в Малом — для 8 тысяч. И как все это было просто и понятно: старый мир мы разрушили и строим прекрасный новый мир. У Дворца Советов была еще одна для нас с Вилькой и Никиткой особенность — он был как бы *наш*. Он строился рядом, мы знали это место и до строительства дворца, мы почти каждый день наблюдали, как он растет, проходя мимо него во время прогулок, мы были в курсе всех его дел, как мы считали. Мы видели, как вырисовывается гигантская окружность фундамента, как потом стали один за другим появляться на ней огромные сталь-



ные «башмаки» и как, наконец, они, расположившись по всему кольцу, замкнули его. Мы очень ждали, когда же стройка выйдет из котлована и однажды с радостным облегчением увидели стальные конструкции, появившиеся над забором у станции метро. Она уже имела свое название — «Дворец Советов». К началу войны высота каркаса (он был больше всего как раз у метро) достигла, по нашим оценкам, шести-семи этажей. Появлялась злорадная, я бы сказал, мысль: что же Бог ничего не делает, раз у него разрушили храм Христа Спасителя? Тогда я был уверен, что наказание всегда должно следовать сию же минуту...

У меня такое впечатление, что тридцатые годы вмещают в себя самое большое количество общественно значимых событий и зрелищ в моей общей со страной жизни. И все они имеют прилагательные в превосходной степени. Самое раннее воспоминание — о дирижаблях. Отец пообещал взять меня с собой, чтобы посмотреть прилет «Графа Цепелина». Несколько дней я радовался предстоящему событию, но когда настал день прилета, мама категорически отказалась меня отпустить, говоря, что там будет страшная давка. Несмотря на мои слезы, меня мама так и не отпустила. Но этот ясный теплый осенний день запомнился. Отец буквально через пару дней купил мне книжку с картинками про этот дирижабль. Кстати, все дирижабли очень долго тогда называли цеппелинами. Это и другие события остались в памяти, я думаю, потому, что о них тогда все — и взрослые и дети — говорили, о них писали газеты и журналы, их показывало кино, а несколько позднее они стали постоянным содержанием радиопередач. И, самое главное, они все время употреблялись в качестве иллюстраций наших успехов. В 1931 году всеобщее внимание было привлечено к арктическому рейсу ледокола «Мальгин». Это была совместная советско-германская экспедиция. «Граф Цепелин» тогда встретился с «Мальгиным» в бухте Тихая (остров Гукер, архипелаг Земли Франца-Иосифа) и передал ему почту. Вот с того времени все мои мальчишки-сверстники помнят Эрнста Теодоровича Кренкеля, легендарного радиста той экспедиции. Сколько мальчишек после этого решили стать радистами! В 1932 году состоялся пуск Днепрогэса — самой большой в СССР и в Европе гидроэлектростанции, ставшей вместе с Магнитогорском (1933 год) символом нашей индустриализации. С того времени плотина и домна стали неизменными атрибутами советской орнаменталистики и стиля. В 33-м же году тов. Сталин на Пленуме ЦК и ЦКК подвел итоги первой пятилетки: она была выполнена за 4 года и три месяца! Рекордной высоты в 19 000 м достиг в том же году стратостат «СССР-I» (экипаж — Прокофьев, Годунов и Бирнбаум), в 1934 году «Осовиахим-I» побивает мировой рекорд, достиг-

нув 22 000 м. Экипаж — Федосеенко, Васенко и Усыскин — погибает. Они гибнут как герои, и все равно это победа! Я думаю, что с тех лет и жил в моем сознании примат победы над человеческой жизнью. Гибель «Челюскина» и челюскинская эпопея 1934 года превращается в блистательную победу спасения полярников, решивших во второй раз после похода «Сибирякова» пройти Северным морским путем за одну навигацию. Имена Отто Юльевича Шмидта — начальника экспедиции, капитана ледокольного парохода Воронина и радиста Кренкеля у всех на устах. А затем самые первые Герои Советского Союза: Ляпидевский, Леваневский, Молоков, Каманин, Слепнев, Доронин и Водопьянов.

В 1935 году открылся лучший в мире московский метрополитен имени Лазаря Моисеевича Кагановича, в 1936 — принимается Сталинская конституция. Я искренне верил, что она самая лучшая и демократическая в мире. В 1937 году наш самый большой дирижабль «СССР В-6» установил мировой рекорд продолжительности полета (130 часов 27 минут). Замечу, что дирижабли помимо номеров имели и собственные имена: «Правда», «Ленин», «Ворошилов»...

На 1937 год почему-то событий, о которых я пишу, приходится особенно много: в мае — высадка первой научной дрейфующей станции «Северный полюс-1» (руководитель О.Ю.Шмидт); в июне — первый беспосадочный перелет СССР — США через Северный полюс (Чкалов, Байдуков, Беляков); в июле — второй аналогичный перелет (Громов, Юмашев, Данилин). Оба перелета совершаются на новейших самолетах АНТ-25 (конструкции Андрея Николаевича Туполева). Всеобщее внимание привлечено к работе папанинцев (Папанин, Кренкель, Ширшов и Федоров) на дрейфующей станции СП-1. Строительство Дворца Советов началось тоже в 1937 году. Все знали, что автор его проекта — Борис Михайлович Иофан. Имена вождей и героев знал каждый.

Все эти события, пусть косвенно, пусть чуть-чуть, но как-то касались и меня. Например, о дирижаблях я все знал от Коли Скоробогатова: что они бывают мягкие и полужесткие, что конструкцию цельнометаллического дирижабля будущего предложил К.Э.Циолковский, что дирижабли, когда не летают, находятся в ангарах, а швартуются к причальным мачтам.

Полет восьмимоторного агитсамолета АНТ-20 «Максим Горький» буквально за несколько дней до его гибели я видел сам: он медленно, заполняя низким гулом все пространство, проплывал в небе над Болотной площадью в окружении истребителей-бипланов и разбрасывал листовки. У него на борту была собственная типография. Меня, помню, удивило, что на его крыльях звезд не было, на одном крыле было написано МАКСИМ, на другом — ГОРЬКИЙ.

В первую годовщину со дня смерти моего отца его друзья, собравшиеся у нас дома, подарили мне книгу, которая называлась «Как мы спасали челюскинцев» (это были воспоминания героев-летчиков). На внутренней стороне переплета папины друзья написали трогательное пожелание, чтобы я вырос похожим на отца и на челюскинцев...

Возвращаясь из того времени в нынешнее, я и сам, когда теперь идет речь о 37-м годе, с тоской и отвращением начинаю думать о Большом терроре. Но то, перевернутое, время живет во мне тогдашнем, ярко до ослепления: герои, вожди и подвиги. Оно живо, это время, во мне и сейчас.



## Т Е Н И Г А Р М О Н И И

Одинаково опасно и безумному  
вручать меч и бесчестному власть

*Пифагор*

1 сентября 1937 года, вернувшись после летних каникул в школу, мы увидели, что два места за партами пустуют. Не было Яши Р. и Вилены К. Классный руководитель нам сказала, что они уехали и учиться у нас больше не будут. Но через два дня я увидел на Полянском рынке на трамвайной остановке Вилю с бабушкой. Они молча ждали трамвай ни на кого не глядя. Потом в классе прошел слух, что у них арестовали родителей... О Яше и Виле как-то сразу перестали говорить, хотя перед этим жалели, что Яша уехал, — к нему ребята часто ходили домой. Нас там всегда хорошо встречала его мама, а жил он совсем рядом со школой. Он был обыкновенным мальчишкой, если не считать того, что в анкете в графе «место рождения» он вместо Москвы писал Берлин! Всех сразу начинал почему-то разбирать смех. Но это было в самых младших классах, потом мы привыкли к этому. О Виле говорили мало — она пришла в наш класс в середине прошлого учебного года и ее еще недостаточно знали. Она всегда была тщательно одета, у нее были настоящие косы (а не «крысиные хвостики»), в которых буквально застревало солнце, и, самое главное, она могла не уступая драться с мальчишками. Уже к концу четвертой четверти к ней перестали приставать и даже выбрали в совет отряда.

Гармоничный мир, в котором я жил, не был неподвижным. В нем происходили поступательные (тогда очень любили это слово) движения к общественным идеалам (тоже любимое слово). Я имею в виду вот что. Если, например, первые прочитанные мною книжки о Ленине были искренними, теплыми и понятными, то последующие становились все суше и суше. Это можно сказать и о передачах радио. Я хорошо помню в воспоминаниях о Ленине его родных такую деталь: маленький Володя Ульянов любил ломать игрушки, чтобы посмотреть, — а что же там у них внутри. Это было так понятно! А постепенно все многообразие мира живого человека было сведено к политической биографии. Впрочем, этот процесс политической иконизации касался всех вождей. Вот поэтому, помню, я увидел с удивлением фотографию Сталина с его дочерью Светланой на руках. Это было в книге Марии Остен «Губерт в стране чудес», прекрасно изданной «Огоньком». Эту, большого формата, богато иллюстрированную книгу (в нее даже были вложены игры!), о судьбе немецкого мальчика из Саарбрюкена, эмигрировавшего в СССР, мне подарили у мамы на работе в один из утренников, которые обычно устраивались тогда. Этой книгой зачитывались и Вилька, и Никитка, да и все наши знакомые ребята, но «прожила» она у меня, наверное, всего года два или три. А потом — исчезла. Я думаю, что здесь не обошлось без мамы. Дело в том, что Мария Остен была объявлена врагом народа...

Отец Левки В. — Александр Кузьмич — в свое время служил с Гамарником. Левка очень этим гордился. А потом оказалось, что Гамарник — враг народа. Александр Кузьмич, обычно общительный и разговорчивый с детворой, стал молчаливым и каким-то замкнутым. Вскоре эта семья переехала в другой район. А на их место, в две комнаты, приехала новая семья с двумя мальчишками — тоже Лево́й — он был старше нас с Вилькой, — и Вите́й, который был младше нас. В нашей квартире (тогда я даже не знал, что она называется коммунальной) перед войной жило четыре семьи. Мальчишек было пятеро. Вилен, Николай и Лев погибли на фронте, Витя простудился и умер. Тоже во время войны. Но война была еще впереди и ее тени — тоже. А пока вернемся в тень Гармонии. Шли 37—38-й годы. Для меня это были пятый и шестой классы — обычный возраст, когда появляется критическое отношение к родителям, да и ко взрослым вообще. В то время это критическое отношение было вдобавок даже как бы социально и политически усилено: мы-то уже люди нового мира, а они — взрослые — родились и их учили, — еще до Революции. Поэтому, если в домашних делах авторитет родителей признавался безоговорочно, то в вопросах политики, скажем, я передовым считал себя, а не маму.

Героический поступок Павлика Морозова был для всех моих сверстников совершенно понятным. Хотя мы и не знали нынешних подробностей об отце Павлика (что он давал справки односельчанам, чтобы их спасти, и они уходили в город, избегнув раскулачивания), это ничего бы не изменило: он был для нас кулак, классовый враг, — и все. Вот здесь я подхожу к двум событиям, о которых я теперь могу сказать: слава Богу, пронесло. Или лучше — милостив Бог. Первое событие попроще. Как-то Наталия Сергеевна (она тогда, в конце четвертого класса, была классной руководительницей) мне сказала, что я буду сниматься в кино. И еще, чтобы я почитал книжку про Павлика Морозова, так как она предложила меня на эту роль. Она добавила, что там есть и другие кандидатуры, но она уверена, что пройду я. Конечно, у меня заколотилось сердце, и я несколько дней, наверное, ходил как индюк!.. Потом прошло довольно много времени, и однажды Наталия Сергеевна мимоходом заметила, что съемки переносятся. Я искренне был огорчен. Тогда.

А второе событие было таким. При детях взрослые старались не говорить на политические темы, а тем более спорить. Спор или прекращался, или нас куда-нибудь отсылали, чаще всего гулять. А тут получилось (дело было у Никитки в Раменском), что мы однажды ворвались в гостиную и явственно услышали конец фразы, сказанной Никиткиной бабушкой его маме:

— Сталин — узурпатор!

Бабушка даже покраснелась и на нас не обратила внимания. Мы тихонько выпорхнули из дому. И вот тут у нас состоялся разговор, о котором я не могу вспомнить без ужаса. Мы очень любили бабушку. Она была доброй, умной и веселой, она все знала, понимала и могла все объяснить. Она умела готовить удивительно вкусные вещи, например, суп со снежками. Она любила нас, и мы это знали. И тем не менее...

Мы стали обсуждать, а что же нам делать, если бабушка *так* говорит о Сталине! Первой нашей мыслью было идти в милицию и попросить там, чтобы бабушке объяснили, что так говорить нельзя, что это неправда. Мы не знали, где находится милиция, во всяком случае, близко ее не было. И еще нам хотелось продолжать прерванную игру. Здесь, кажется, Вилька сказал, что может и не стоит ходить, ведь бабушка родилась еще при царе и многое не понимает. И мы побежали играть дальше. Что-то есть в этом эпизоде такое, что не позволило его забыть, и чем больше проходит времени, тем с большим трепетом я думаю: а если бы пошли?

На Старомонетном переулке недалеко от нашего дома в те годы было построено не совсем обычное здание с узкими, частыми по фасаду, окнами. Кованые решетки прикрывали прорези окон первого этажа. В доме явно никто не жил, даже парадного

не было видно, только у ворот рядом с домом перпендикулярно к стене была вывеска с надписью «Берегись автомобиля». По дороге в школу мы часто гадали, зачем же это здание построено, пока кто-то из ребят однажды не сказал, что это склад карт от «Дунаевки».<sup>14</sup> Здание сразу потеряло всякий интерес. Но вот в 37-м году, когда к обычным разговорам о вождях, героях и подвигах прибавились разговоры о врагах народа, рядом с воротами этого здания появилась небольшая вышка, на которой был пост. На посту стоял красноармеец с винтовкой, а ворота опоясались, так же как и вышка под навесом, колючей проволокой. Зимой красноармеец стоял в тулупе, из которого виднелась часть головы в остроконечном шлеме-буденновке, и штык, точь-в-точь как у фигуры часового, которая должна была увенчать театр Красной Армии. Я об этом пишу потому, что в 37-м году проходил первый Всесоюзный съезд архитекторов и проекты Дворца Советов, гостиницы «Москва», театра Красной Армии и театра Мейерхольда мелькали во всех изданиях и даже в витринах на улице Горького. Сейчас мало кто знает, что, скажем, Концертный зал имени Чайковского — это и есть недостроенное здание театра Мейерхольда, — не хватает только башни в несколько этажей со скульптурой. Кажется — во всяком случае я помню такие разговоры — фигура должна была изображать Мейерхольда.

Повторюсь, 37-й год мне запомнился многими событиями-мероприятиями. В начале того года очень широко отмечалось столетие со дня смерти А.С. Пушкина. Один штрих: все школьные тетради выпускались тогда с обложками только с сюжетами пушкинских сказок и его стихами. В том же году отмечалось 750-летие поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Именно в тот год популярность песни «Сулико» достигла апогея. За всем этим, — я прекрасно это чувствовал! — шел как бы подтекст: есть два ведущих народа — русский и грузинский. Почему — понятно: русских большинство, а наш вождь товарищ Сталин происходит из грузин. Любопытно, что всякого рода праздничные мероприятия в те времена, например, демонстрации, детские утренники, пионерские костры и тому подобное, никогда не обходились без лезгинки и «Сулико», впрочем как и не без барыни и «Москвы майской».

Отголоски тогдашнего представления о русских и грузинах я не так давно увидел на станции метро «Боровицкая». Там есть керамическое панно, где на своеобразном дереве дружбы народов СССР, растущим из Кремля, на «первом месте среди равных» стоят русские и грузины. А ведь станция открылась в 1987

---

<sup>14</sup> Картографическая фабрика им. Е.А. Дунаева, революционера-большевика.

году! Трудно писать о том 37-м годе: столько событий! Среди них — и знаменитые теперь судебные процессы. Они были понятны и даже, я употребляю это слово, как бы естественны тогда. Ведь классовая борьба должна была обостряться, Мировая Революция надвигалась (события в Абиссинии и позднее в Испании были для меня тому подтверждением), и к будущей войне надо было готовиться. А как же еще готовиться иначе, как не вылавливать врагов? Поэтому судебный процесс, начавшийся в конце января против Пятакова, Сокольников, Радека, — их фамилии я хорошо помню — были как бы подтверждением правильности генеральной линии партии (очень частое для тех лет словосочетание). Первые дни мы с Вилькой внимательно прочитывали подвалы «Правды». Потом это занятие нам наскучило: никаких живых деталей с нашей точки зрения в отчетах не было. Подсудимые, отвечая на вопросы Вышинского, просто признавали свою вину. Единственное, — запомнилось описание покушения (мы, конечно, считали, что оно было) на автомобиль с Молотовым где-то в Сибири у одной из шахт. Тут мы могли дать волю своему воображению!

От этого и последовавших процессов осталось впечатление как о постоянном повторении комбинаций слов *троцкистско-каменевско-зиновьевский*, а позднее и *бухаринско-рыковский*. И еще, — о бесчисленных *объединенных, параллельных, основных, вспомогательных* и разных других центрах и блоках. Мы даже попытались изобразить их в виде схемы, но потом бросили: ничего не получалось. Процесс маршала Тухачевского и других военных практически совсем не привлек нашего внимания. Во-первых, это были не Ворошилов и Буденный, о которых пели песни. Во-вторых, все обвиняемые признались, как сообщалось в газетах и по радио, и, кроме того, публикации об этом процессе были максимально короткими. Я понимал, что так и должно быть: нужно же хранить военную тайну. Военная тайна существовала изначально, она была, так сказать, данностью, впитанной еще с книжки А.Гайдара, которая так и называлась «Военная тайна».

Слова пропуск, шпион, пароль, измена и другие из этого ряда, были известны каждому мальчишке так же, как и то, о чем *разговаривать не следует*. Мы об этом со взрослыми и не разговаривали, но между собой, — мы так считали, — разговаривать все-таки можно. И мы разговаривали, даже анекдоты рассказывали. Например такой: угадайте, что это за здание, где наверху страх, а внизу ужас? Ответ гласил: это здание на Лубянке, на нем когда-то была реклама Госстраха, а под ней — госужас-НКВД. Мы с Вилькой были пуристами и нас в этом анекдоте задевало только то, что площадь имени Дзержинского называют Лубянкой. Она же была ведь переименована!

Общее отношение ребят к происходящему было совершенно спокойным: «Лес рубят — щепки летят», «Дыма без огня не бывает», «Там разберутся, если случайно забрали, сразу и отпустят». Я думаю, что это была не только ребячья реакция, но и, вообще, большинства.

Если бы кто-нибудь тогда сказал нам, что есть репрессии, есть Колыма, лагеря, пытки и тому подобное, мы бы не поверили. Никто не представлял огромности этого явления. Военная тайна хранилась как следует. Если бы мне в то время сказали, что я живу в период культа личности, я бы рассмеялся, как это и сделали мы с Вилькой, когда прочли книжку Л.Фейхтвангера «Москва. 1937». В ней автор в очень доброжелательном тоне, с известной толикой юмора (лучший друг физкультурников товарищ Сталин) утверждал, что советскому народу очень повезло с выдающимися вождями. В.И. Ленин был безусловно выдающимся человеком, и вот сейчас — такое счастливое стечение исторических обстоятельств — есть выдающийся вождь и продолжатель его дела И.В. Сталин. Одна из глав прямо называлась «Культ Сталина», но мы ее восприняли просто как чуть лукавую улыбку Фейхтвангера.

К концу 37-го года у мамы на работе организовался ФОН. Это слово шуточно обыгрывалось в разговорах взрослых, а на самом деле означало Факультет Особого Назначения. К нам домой для занятий по химии стали приходить ученики. Это были директора и другие руководители — выдвиженцы, с которыми занимались индивидуально (повышение квалификации хозяйственных и инженерно-технических работников). Тогда я, естественно, не понимал, почему именно в том году потребовалось открытие такого факультета. Да мне и неинтересно это было. Зато эти ученики были интересными людьми. Я был очень горд, когда познакомился с Александром Григорьевичем С. Это был настоящий живой большевик, бывший боец Чапаевской дивизии. Можно себе представить, какими глазами я на него смотрел — ведь все мы (даже по несколько раз!) уже успели посмотреть знаменитый кинофильм. Александр Григорьевич был веселым общительным человеком с белозубой улыбкой и чуточку торопливой речью. Одет он был в полувоенную партийную униформу того времени — гимнастерку без следов петлиц, с широким кожаным ремнем с двумя рядами дырочек, брюки-галифе и хромовые сапоги (эта униформа точно воспроизведена на известном памятнике С.М.Кирову в Ленинграде). Он по-дружески тепло относился к нам с Нонной и к Вильке: всегда, когда приходил, нарочито серьезно здоровался с нами, а мы, под строгим маминым взглядом, быстренько улетучивались в соседнюю комнату. Однажды я спросил у него:



— А у Чапаева было как в картине?

— Нет.

— Что, не похоже?

— Не похоже.

— Ну, хоть чуточку-то похоже?

— Ну, разве, чуточку! — и Александр Григорьевич рассмеялся.

Из других маминых учеников мне нравился Ч-ов. Он был моложе и во многом уступал Александру Григорьевичу. Занимался он уже позже, с конца, наверное, 38-го года. Он тоже носил гимнастерку, но хуже подогнанную и настоящую военную, хотя тоже без петлиц. Дело было, конечно, не в гимнастерке, а в том, что на ней была медаль «За отвагу». А получил он ее, участвуя в боях с японцами-самураями у озера Хасан. В это время в школе химию я еще не проходил, поэтому относился к маминым ученикам с известным благоговением. Лишь года два спустя я понял, что исходный уровень их был не высок и химию они учили с самого начала, то есть с седьмого класса, когда она появляется в школьной программе. Это меня, помню, чуточку удивило. Но и только.

В августе 37-го же года состоялся и первый Всесоюзный физкультурный парад. Он проходил на Красной площади, и в нем приняли участие все наши союзные республики. Мне помнится, что именно в то лето исчезли в прессе и по радио упоминания о Красном Спортивном Интернационале, который предлагал в пик Олимпийским играм 1936 года в Берлине (фашисты!), провести под эгидой Красного Спортинтерна Всемирную спартакиаду рабочих спортсменов в Москве. Было немного обидно, что она не состоялась, тем более, что к этому событию была даже выпущена серия почтовых марок. Но тем временем о физкультурном параде заговорила вся Москва. Для того, чтобы дать возможность посмотреть это поистине магически захватывающее действо, на стадионе «Динамо» устроили повторение парада (стадион «Динамо», построенный в 1928 году, в 1935 был реконструирован, и число мест было доведено до 60 тысяч, это был тогда самый большой стадион в Москве). Незадолго до начала учебного года тетя Соня повела нас с Никиткой (Вилька еще не вернулся в Москву) на стадион... Возможно, мне изменяет память, и я был на параде 38-го года, но зрелище и в этом случае оставалось подобным. Зрелище было ни с чем не сравнимым, такого количества абсолютно организованных и экзальтированных людей я до этого не видел. С трепещущим красным знаменем огромных размеров в вытянутой вперед руке шел Серго Амбарцумян — любимец Сталина, самый сильный человек в мире. Он открывал парад. За ним шествовала колонна знаменосцев. Флаги, колеблемые ветром, представляли огромное красочное поле. Мы, конеч-

но, все время выискивали флаги «Спартака» и «Динамо». А дальше шли маршем или ехали на специально оборудованных грузовиках физкультурники, с нечеловеческой слаженностью, выполнявшие разнообразные упражнения. Меня совершенно потрясли человеческие пирамиды, напоминающие *живые*, огромных размеров, *цветы* и одновременно какие-то фантастические вазы. Сейчас я бы назвал эти пирамиды сюрреалистическими, но тогда этого слова у меня не было! Такое впечатление достигалось тем, что человека-физкультурника в этой пирамиде почти невозможно углядеть. Когда вставшие кольцом люди положат друг другу руки на плечи, а над ними встанет другое людское кольцо, а над ним еще кольцо и еще, и когда каждое кольцо начнет согласно сгибать и разгибать ноги и руки и наклонять головы, — получаются невиданные живые формы, вызывающие восторг и одновременно холодные мурашки между лопаток.

Праздничное впечатление многократно усиливается буйством чистых ярких красок — красной, белой, синей, зеленой и еще — цветом загорелой человеческой кожи молодых, красивых и сильных тел. Разговаривать невозможно, — оглушительно гремят марши, — мы только восхищенно переглядываемся. Впечатление от зрелища было огромным и радостным: ты вот еще немного подрастешь, сдашь нормы на значок ГТО<sup>15</sup> (лучше II-й ступени) и будешь таким же! Ты принадлежишь к великой силе — Великому Советскому Союзу, ты его часть. И еще: как хорошо, что уничтожают врагов народа, а то всей этой красоты могло и не быть! Вот такие рождались ощущения.

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАРМОНИИ



... С самого детства  
Нам вера, как знание, досталась  
в наследство...  
... нам казалось, что мы — не такие.  
Что мы не подвластны ни року, ни быту,  
Что тайные карты нам веком открыты.

Наум Коржавин.  
*«По ком звонит колокол»*

Мне опять хочется вернуться в гармоничный мир моего детства. Враги народа были выловлены и обезврежены — да и было-

<sup>15</sup> ГТО — «Готов к труду и обороне», значек для взрослых, который вручался после выполнения ряда нормативов.

то их не так уж и много, как я считал, — и мир продолжал развиваться по открытым нами законам. Ощущение правильности происходящего, его полного соответствия единственно верному учению, то есть истина, которой мы обладали, была всеохватывающей. В самом деле, я знал, что я живу в эпоху ленинизма, то есть в эпоху войн и пролетарских революций. С тех пор, как себя помню, я все время слышал или о военных столкновениях, или о военных действиях, или о военных конфликтах, или просто о войне.

Самое раннее из этих сообщений — о КВЖД.<sup>16</sup> Никаких подробностей я не разбирал, только слова: КВЖД, наши, белокитайцы. Раз есть белые, то все остальное было ясно. В итало-абиссинском конфликте (так он вначале назывался) тоже все было ясным. Абиссиния — последнее в Африке независимое государство, а итальянцы хотят ее сделать колонией. Это неважно, что в Абиссинии есть царь-негус, они еще просто не развились, но они бедные, а на них напал богатый империалистический хищник — угнетатель. Кто-то из взрослых сказал мне, что в Абиссинии еще нет пролетариата, но я считал, что — ничего, мы им, когда они победят, поможем в этом деле. Мое восприятие Абиссинии первоначально питалось изображенными на ее марках носорогом и другими экзотическими животными, а также тропическими растениями и слоновыми бивнями. Эти картинки вместе с короткими замечками печатались в «Пионерке», и там страна называлась Эфиопией, а не Абиссинией, но мама мне сказала, что это одно и то же.

Схема событий в Испании и последующая гражданская война для меня тоже были предельно ясными. Под напором пролетарских и народных масс король Альфонс XIII вынужден был отказаться от трона (приблизительно, как у нас Николай II после февральской революции), Испания стала Республикой. Вот не совсем ясно было, что это была за республика: ясно, что не советская, но и не буржуазная вроде, так как иначе зачем же генералу Франко надо было поднимать мятеж? Ну уж, а когда мятеж поднимают генералы, то тут, конечно, испанский пролетариат вынужден был взяться за оружие. (Напомню, само слово *генерал* имело тогда явно негативный смысл для нас, а генеральские звания в Красной Армии впервые введены были в мае 1940 года). Война приняла ярко выраженный классовый характер. Международный империализм в лице итальянского и германского фашизма стал помогать Франко, а мы — не могли же мы не выполнить своего интернационального долга пролетарской солидарности! — мы стали помогать республиканцам.

---

<sup>16</sup> КВЖД — Китайско-Восточная железная дорога, построенная Россией в 1904—1905 гг.

Все мальчишки бредили Испанией. У меня такое впечатление, что вообще не было ни одного человека, кто бы не восхищался и не любил испанских республиканцев да и всех испанцев. Мы были уверены, что на стороне Франко воюют только офицеры, оболваненные марокканцы и еще итальянские и немецкие фашисты, посланные Муссолини и Гитлером. Испанские слова и географические названия звучали для нас волшебной музыкой. Я купил огромную карту Испании (они продавались в каждом газетном киоске), и мы втроем сидели над ней после каждой ежедневной сводки, сообщавшей о положении на фронтах. Мы даже наши картонные замки в игре называли по-испански: один, например, назывался Санта Крус де Ретомар!.. Об Испании можно писать почти бесконечно, но здесь мне хочется заметить, что по-моему в русской национальной судьбе XX века после Германии очень значительное место, — хоть смотришь, как в зеркало, — занимает Испания. Но об этом — значительно позднее. А тогда мы бросили играть в войну сначала красных против белых, коммунаров против версальцев и стали играть в войну республиканцев против мятежников. Никиткина мама купила всем нам на Серпуховке прекрасно сшитые цвета хаки, даже с кантом, испанские шапочки с кисточкой впереди, и мы почувствовали себя почти республиканцами. Вместе со всеми мы возмущались, когда в апреле 1937 года немецкие и итальянские самолеты, действовавшие на стороне мятежников, разбомбили Гернику и из 7 тысяч жителей этого небольшого испанского городка было уничтожено две тысячи человек. Вместе со всеми мы ходили на митинги, когда был потоплен наш транспорт «Комсомол» с грузами для республиканцев, а команда брошена во франкистские застенки.

В Советский Союз тогда приезжали Рафаэль Альберти и Мария-Тереза Леон, в Барселоне проходил Международный конгресс писателей-антифашистов, на котором выступали А. Фадеев и И. Эренбург. Именно тогда прозвучали знаменитые слова М.Горького: «С кем вы, мастера культуры?». В каждом киножурнале была испанская хроника, а потом вышел на экраны знаменитый в те годы документальный фильм Р.Кармена «Испания в огне». В те же годы в Москве впервые появились прекрасные испанские апельсины. Мне тогда казалось, что иностранные писатели к нам приезжают часто. Во всяком случае пресса, радио и кино представляли каждый такой приезд как события первостепенные. Даже мы мальчишки знали, кто такие Р.Тагор, Г.Уэллс, Б.Шоу, Р.Роллан, Л.Фейхтвангер...

Эффект всегда имеющегося скепсиса в отношении отечественных пророков по-моему был использован на полную мощность.

Действительно, у нас какой-то Бухарин не верит в построение социализма в одной отдельно взятой стране, а тут приезжают люди от *них* и восхищаются нашими социалистическими достижениями! Я прочитал книжку А.Барбюса «Огонь» и знал, что это он сказал: «Сталин — это Ленин сегодня». Единственный, кто подвел, так это А.Жид. Был у нас, все было хорошо, даже с Мавзолея выступал, а уехал во Францию к себе и написал о нас плохо. Подкупили, наверное, — так я думал, — ведь у капиталистов денег всегда много. Вот если бы он был стойким, как наши большевики, тогда другое дело. Ведь Анри Барбюса или Марселя Кашена — французских коммунистов — не подкупишь, а Андрэ Жид — не коммунист. Другое дело Ромен Роллан. Наш советский композитор Дмитрий Кабалевский написал даже оперу в 1937 году по его произведению «Кола Брюньон».

Все как-то в то время делалось очень быстро. Отрывок из «Жана Кристофа» был помещен в школьный учебник немецкого языка всего через год или два после приезда Р.Роллана (конец 1935 г.), а, скажем, материал о Полине Осипенко, участнице знаменитого тогда перелета женского экипажа по маршруту Москва-Дальний Восток (самолет «Родина» АНТ-37, 1938 г.), был помещен в такой учебник еще быстрее. До сих пор помню: «Polin as Kindheit war sehr schwwehr...».

Немецкий я учил с удовольствием — мне очень нравились песни Эрнста Буша — немецкого певца и антифашиста, в 1936 году приезжавшего в СССР. Он выступал с хором наших советских ребят, учеников школы имени Карла Либкнехта. Музыка, слова и исполнение захватили нас с Вилькой до глубины наших мальчишеских душ. Эрнст Буш был нашим кумиром. Советским кумиром был А.П. Кторов,<sup>17</sup> а иностранным — Буш!

И если ты рабочий, то не жди, что нам поможет другой,  
Себе мы свободу добудем в бою своей рабочей рукой!  
Марш левой, два — три, марш левой, два — три,  
Встань в ряды, товарищ, к нам!  
Ты войдешь в наш единый рабочий фронт,  
Потому, что рабочий ты сам!

В школе на уроках пения мы учили эту «Песню единого фронта» и еще «Песню болотных солдат». И эти же песни мы с Вилькой пели, когда просто гуляли, сами для себя. В школе же, в драмкружке, у нас ставилась пьеса про Карла Бруннера, про немецких подпольщиков, боровшихся с фашизмом и расклеи-

---

<sup>17</sup> Артист МХАТ'а А. Кторов потряс нас своей игрой в фильме «Праздник Святого Йоргена».

вавших листовки. Вилька был Карлом Бруннером, а я щуцманом — полицейским. Мы давно знали, что Эрнст Тельман — вождь немецких коммунистов так же, как у нас сейчас вождь Сталин, а был Ленин.

Я должен сказать, что *интернационал* был пятым иностранным словом, усвоенным мною, так сказать, изначально. Но это слово пришло ко мне не как другие слова, а через музыку — «Интернационал» был гимном. Но он был еще и песней, которую пели на праздничных демонстрациях и пионерских сборах, да и просто мелодией, часто звучавшей в радиопередачах и в кинофильмах. Все знали, что Интернационал создали парижские коммунары Эжен Потье и Пьер Дегейтер. Когда я спросил у мамы, почему эта музыка так называется, она мне объяснила, а суть, оказывается, была очень простой: все равны — и негры, и китайцы, и европейцы. Как-то после одной из книжек про индейцев, я спросил еще:

— А индейцы и американцы?

— Тоже, — ответила мама, и добавила, — под эту музыку все поют Интернационал каждый по-своему: по-русски, по-немецки, по-французски. Слова разные, а смысл один.

Надо же так здорово придумать, — радостно удивился я, — все могут петь одну песню даже если разговаривать друг с другом не могут. Конечно, эта песня поможет соединиться пролетариям всех стран! Так, что такое интернационал, я знал точно.

События в Испании тем временем шли свои чередом и показывали всем правоту нашего великого дела. Туда из всех стран — из Франции, США, Англии, даже из Германии и Италии (несмотря ни на что!) поехали добровольцы бороться с фашизмом. Из этих добровольцев были созданы интернациональные бригады, которые в сражениях показывали беспрецедентную храбрость и которых мятежники очень боялись. «И наши тоже поехали», но это почему-то говорилось только шепотом. Но мы-то понимали, почему об этом нельзя говорить громко, — мы проводили политику невмешательства, чтобы фашистские Германия и Италия не посылали туда свои войска. Конечно, наши добровольцы это не войска, но все-таки лучше к этому не привлекать внимания.

В Испании тоже у рабочих был вождь. Это была Долорес Ибаррури — Пассионария! Какая разница, что женщина. У нас же равенство. У нас же ведь тоже есть Надежда Константиновна Крупская, которую мы все знаем и любим. Слова Пассионарии «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях» и испанский лозунг «NO PASSARAN!» стали как бы и совершенно нашими лозунгами.

Мы с Вилькой на сбереженные (мы говорили съэкономленные) от завтраков деньги купили граммофонную пластинку-«ги-

гант» с испанскими революционными песнями («Красное знамя», «Идут стальные колонны», «Союз братьев-пролетариев» и другими, их исполнял Эрнст Буш) и, многократно ее заводя, выучили по-испански текст. И гуляя перед школой, мы их распевали. Испанского языка мы, конечно, не знали, но русские слова нам были известны. Потом к этому пению присоединился Никитка, но он очень стеснялся, так как для него запомнить любую мелодию было почти невозможно. Мы сначала ему не верили, но как-то, когда во время прогулки была с нами и его мама, она с улыбкой подтвердила: «Ничего не поделаешь, Никите медведь на ухо наступил».

Евгения Станиславовна была, как я теперь бы сказал, удивительной женщиной. Блестяще образованная и безукоризненно воспитанная, она очень много времени дарила нам, причем совершенно не выделяя Никитку. Больше всего она рассказывала нам об искусстве и истории, объясняя картины, скульптуры, архитектуру зданий и время, в котором они были созданы. От нее я впервые услышал о легендарной библиотеке Ивана Грозного, об его опричниках и о Малюте Скуратове. Удивительное дело, она была взрослой, а нам это не мешало. Евгения Станиславовна, к примеру, нам рассказывала, как в Смольном институте она с подругами нелюбимым преподавателям подсыпала нюхательный табак, а те начинали чихать, не понимая в чем дело! Дома у Никитки устраивались разные конкурсы, скажем такой: кто из пластилина вылепит самую красивую башню. В этих конкурсах часто главным судьей был уже Никиткин отец.

Это небольшое отступление я сделал для того, чтобы попытаться объяснить, может быть и самому себе, тот интерес, опять-таки «всей Москвы», в 37-м году к скульптуре В.И.Мухиной «Рабочий и колхозница». Я думаю, тут, помимо прочего, дело было в следующем. У страны не было своего *теперешнего*, для того времени, символа. Скульптуры пролетария и крестьянина, созданные И.Д.Шадром, уже устарели. Да и какой теперь крестьянин, когда все стали колхозниками! Дворец же Советов пока только строился. Но самым главным для меня было другое. Во-первых, статуи высотой в пятиэтажный дом у нас никогда до этого просто не было, а во-вторых, впервые в мире такие фигуры были из нержавеющей стали. До этого все бронза да мрамор, а вот мы — из нержавеющей стали! (А потом, как все быстро: чайные ложки из нержавеющей стали всего-то появляться какой-нибудь год назад, а тут — целая громада. Вот это — да!) И еще, эти фигуры, — я чувствовал, — говорили: *вперед и вверх*. Потом в газетах мы с удовольствием читали, что наш павильон на Всемирной выставке в Париже, увенчанный этой скульптурой, вызывал всеобщее восхищение, а стоявший напротив грузный и тяжеловесный

павильон фашистской Германии не шел ни в какое сравнение с нашим. Скульптура, конечно же, нам нравилась. Но у меня были критические соображения, которые разделял и Вилька. Мне казалось, что лучше бы они (рабочий и колхозница) вместе несли общий факел, чем порознь серп и молот. И еще — а где же место у интеллигента? Ведь они же олицетворяют весь СССР... Наши с Вилькой мысленные пожелания словно были услышаны: «Рабочий со звездой», увенчавший советский павильон на выставке 1939 года в Нью-Йорке, представлял уже весь народ. Но он был послабее, чем «Рабочий и колхозница», это даже мы чувствовали.

События на озере Хасан летом 37-го года вполне укладывались в общую схему, о которой я уже писал: приближается мировая война, за которой грядет Мировая Революция. Мировой империализм в лице Германии и Италии действует в Европе, а Япония, воюя в Азии с Китаем, хочет прощупать наш Дальний Восток. Но нас врасплох не застанешь, Красная Армия непобедима и всегда начеку. Мы ответим двойным ударом на удар поджигателей войны. Приблизительно такое же отношение было и к событиям на реке Халхин-Гол и озере Буир-Нур в 1938 году. Здесь только добавлялась интернациональная нотка: мы дрались уже вместе с Монголией. А насчет японцев все было ясно: они попробовали на Хасане прямую напасть на нас — и получили сокрушительный отпор, а теперь решили попробовать через Монголию, — думали, что это слабое звено. Ну и ничего у них из этого не вышло, с монголами у нас настоящая пролетарская солидарность: они с нашей помощью сразу из феодализма переходят в социализм, минуя фазу капиталистического развития.

Я хорошо помню лето 1939 года. Мы провели его в селе Дединово, на Оке. Жили в большом крестьянском доме, где у нас была комната, сданная нам хозяевами. При доме был большой яблоневый сад с малиной, смородиной и крыжовником. Все было естественно чистым. Мама, очень педантичная насчет мытья рук и всякой зелени и фруктов, разрешила нам с сестрой даже есть яблоки немытыми, хотя их надо все-таки было «обтереть». Спал я на сеновале, в сарае, другую половину которого занимали овцы. Вот тогда я как-то само собой научился подражать их блеянию. Однажды случился переполох: я так усердно переговаривался с ними, что они вдруг стали блеять все разом, прибежали хозяева и стали их успокаивать, не понимая причины их поведения. Я-то знал. Но промолчал!.. Сейчас мне чуть-чуть стыдно за это.

В доме была радиотрансляция, и хозяева выписывали газеты. Почему-то я помню до сих пор доклад Ворошилова на сессии Верховного Совета СССР о новом тогда законе о воинской службе. В Армию стали призывать более молодых... Тогда же был



заключен и договор с Германией, начало сближению с которой было положено неожиданным визитом Молотова в Берлин. Видимо, это запомнилось именно неожиданностью: совершенно невероятными были официальные фотографии в «Правде», где были Гитлер, Риббентроп и Молотов! Когда вернулись в Москву, это же захватывающее дух чувство появилось при просмотре кинохроники (киножурнал тогда демонстрировался перед каждым сеансом и назывался он, кажется, «Новости дня», а может быть, «СССР на стройке»). Особенное впечатление на мальчишек таких, как я, производила свастика на немецких флагах, открыто развевавшихся на экранах. Удивление было, это точно. Еще два слова о Дединове. Все его жители любили рассказывать, что именно в их селе строил царь Алексей Михайлович первый боевой корабль русского флота «Орел». Но как я ни пытался узнать, где точно его строили, и есть ли памятник об этом, узнать ничего не мог. Памятника не было. Да и не могло его тогда быть: о Петре только-только начали говорить как о прогрессивном царе после книги А.Н.Толстого, а о других нельзя еще было и заикаться. Ну а флот был царский, там адмиралами были помещики или фабриканты, то есть капиталисты, офицеры были золотопогонниками, и все они угнетали трудовой народ. Какой еще тут памятник! Это было совершенно мне понятно. Тогда я еще не знал, что «Орел», не успев принять под охрану русские торговые суда на Каспии, в июне 1670 года был сожжен на Астраханском рейде казаками Степана Разина. Это так же, как с типично русским пейзажем. Без колокольни и куполов церкви его и представить себе трудно, а тем не менее церкви рушили. Мне еще не приходила в голову мысль, что может существовать исторически довольно прямая связь между сожжением «Орла» и разрушением русского пейзажа, организующим центром которого является храм.

Вместе с дединовскими ребятишками я как-то отправился в соседнее село. Дорога шла по берегу Оки. За одним из главных ее поворотов неожиданно открылся вид на село, к которому мы шли. Солнце было на западе и очень ярко и прямо освещало белую колокольню, возносящуюся в небо, на темной по контрасту зелени. Церковь была на замке. Живописные картины Христа, простершего навстречу нам руки в лучах сияния, а еще, где он был на осле, въезжающим в Иерусалим, и на другой, где, стоя на склоне горы, он обращался к каким-то людям, были написаны масляными красками. Для меня было совершенно непривычным видеть их под открытым небом, а не в помещении, как, скажем в Третьяковке. Картины эти уже стали разрушаться, краски отслаивались, их чешуйки-стружечки сыпались вниз и образова-

ли каемку по периметру всей церкви. Было тихо-тихо, стоял предвечерний час. У меня до сих пор перед глазами какое-то ощущение белой чистоты с голубизной и золотым светом. Да еще плавно летящие фигуры с нимбами и множество крыл. Мы постояли-посмотрели и решили дальше не ходить, а повернуть обратно. Когда я спросил, что сейчас в церкви (для меня не было вопроса, что она может работать), ребята заспорили: один сказал, что там склад зерна, а другой говорил, что какой-то инвентарь. Захотелось пить. Мы свернули с дороги к Оке, выбрали чистенький зеленый низкий участок берега и, встав на колени, стали пить из реки прямо ртом. Вода была вкусной, хотя не такой вкусной и холодной, как в Шабалинской. Потом я еще два раза пил из реки, но сказал об этом маме уже в Москве, чтобы она не беспокоилась. Серьезно попасть мне за это уже не могло. Весной я в Доме Пионеров сдал нормы на значок «Юный Моряк».

1939—40-й год — это был мой седьмой класс — стал для меня как бы дальнейшим подтверждением осязаемой правильности нашего всепобеждающего учения и приближения Мировой Революции.

17 сентября 1939 года Красная Армия перешла польскую границу и стала освобождать Западную Украину и Западную Белоруссию. Что это связано с недавно заключенным Советско-Германским договором — для меня не могло быть и речи. Вся картина представлялась таким образом, что фашистская Германия просто стала воевать с панской (то есть буржуазно-помещичьей и империалистической) Польшей. Это действовал открытый еще Лениным закон неравномерного развития капиталистических стран в эпоху империализма. Польша не выдержала и стала разваливаться, а мы сделали благородное дело — протянули руку помощи нашим братьям — западным украинцам и белоруссам. А то бы они попали к немцам и неизвестно еще, что бы с ними произошло. У нас и другого выхода вдобавок не было, мы и так прождали до 17 сентября, а то, что Польша разваливается, стала ясно чуть ли не на второй день польско-германской войны, то есть уже 2-3 сентября.

О самих поляках я (да по-моему и остальные) особенно не думали. Конечно, жалко их было, как всегда немного жалко слабых, но, — сами виноваты. Общественное мнение, как бы я сказал теперь, было не на их стороне. Постараюсь объяснить почему. Во-первых, поляки еще со времен переговоров в 1938 году о Чехословакии отказывались пропускать Красную Армию через свою территорию (мне было совершенно ясно почему, — Красная Армия была для них классово чуждой, они ее боялись!). Во-

вторых, в 1937 году Польскую компартию Коминтерн распустил, значит, они в чем-то виноваты, дыма без огня не бывает. И еще, — я во всяком случае так думал, — вот ведь поляки, воевали с нами в Гражданскую войну, не захотели войти в СССР, остались белыми, вот вам за это и досталось. Моя мысль в этом направлении развивалась и дальше: если бы поляки, когда на них напала Германия, подняли восстание и сбросили бы свое белопанское правительство, тогда мы бы им сразу и помогли, потому что это уже было бы началом долгожданной Мировой Революции. Да может, — думал я, — тогда и с Германией было бы по-другому. Увидев восставший польский народ немецкие солдаты повернули бы свои винтовки против офицеров и подняли бы красные знамена. А так, — обыкновенная империалистическая война. Хорошо, что хотя бы западных украинцев и белоруссов мы защитили и привлекли на нашу сторону.

Польская кампания, ее называли тогда освободительным походом, была недолгой, 25 сентября она уже закончилась. Газеты были полны снимками радостных лиц встречавшего Красную Армию населения и, еще запомнилось, было много снимков, на которых с армейских грузовиков раздавали газеты. Вот что значит большевистское слово! Сообщений о каких-нибудь серьезных боевых столкновениях не было. Так оно и должно было быть, Красная Армия — непобедимая сила, поляки даже и не смели думать с такой силой воевать, а немцы, опасаясь нас, тоже вели себя очень аккуратно.

Единственным диссонансом и даже удивлением в этой правильной, по моим представлениям, картине мне показались промелькнувшие как бы мимоходом, хотя и с фотоснимками, сообщения о совместных советско-германских парадах в Пинске и Брест-Литовске. Я думаю, что одним из истоков моего предвоенного представления о слабости немцев, кроме естественного превосходства СССР над Германией по населению, были и вот эти промелькнувшие сообщения. Действительно, ведь немцы даже ушли с части польской территории, которая по появившейся в газетах демаркационной линии, должна была быть нашей. Ушли бы они, если бы нас не боялись!

В конце тридцатых годов выходило много книг, авторами которых были немцы-антифашисты. В этих изданиях, помимо уничтожающей критики Гитлера с его книгой «Майн Кампф», было много сарказма и насмешек над тяготевшей к древне-германским мифам нацистской идеологией. Она включала в себя голос крови, Одина, валькирий, Зигфрида, Нибелунгов, чашу Грааля, белокурую бестию и чистоту арийской расы. Так вот, помимо

всего прочего, у меня сложилось впечатление, что мы обошли Гитлера с его нордической хитростью, когда заключили договор в 1939 году.

Между тем, в школе Мария Дмитриевна поручила мне сделать на ватмане карту-плакат, где были бы показаны западные области Украины и Белоруссии, вошедшие в состав СССР. Я с удовольствием выполнил эту работу, — разыскал старые карты, взял новые схемы с линией государственной границы, опубликованные в газетах, — все составил и выверил и даже раскрасил акварельными красками. А потом еще и перед мамой похвалился. Здесь я должен честно признаться, что рисуя карту, я почти не думал о правильности нашего победоносного учения. Радостное чувство было другим. Сейчас, то есть спустя более полувека, я точно могу его определить: радость была одним из самых ранних проявлений моего русского имперского мышления. Оно никогда у меня не было сильным, но что было, то было. Оно впервые обнаружилось, когда я смотрел еще картинки — и в том числе и карты — в Большой Советской Энциклопедии. С удивлением однажды я обнаружил, что дореволюционная Россия была больше, чем СССР. Оказывается, в состав царской России входили и Финляндия, и Польша, и Эстония, и Латвия и Литва, и Бессарабия... Значит, они были наши! Жалко. Лучше бы они у нас и остались. Позднее карту России в дореволюционных границах я часто видел в энциклопедическом словаре LARUS у Никитки (у них была превосходная библиотека на французском и немецком языках), в котором нас интересовали, в основном, изображения броненосцев, пушек, гаубиц, мортир, револьверов и вообще всякого вооружения. Жалко было только то, что словарь был издан до 1914 года. На картах было последовательно видно, как росла Российская империя, начиная с Ивана Калиты, и как каждый царь, а позднее император, увеличивали русские владения.

Вместе с тем, я должен заметить, мое имперское чувство не было рафинированным, оно было связано и с идеей Мировой Революции. Если сравнить звучание идей Мировой Революции со звучанием огромного хора, то это в нем был единичный тонкий голосок.

Освобождение Бессарабии и ее присоединение к СССР (все довоенные карты СССР показывали Бессарабию как территорию, временно оккупированную Румынией), а заодно почти полное воссоединение украинского народа — Северной Буковины с г.Черновицы (совсем полное завершилось присоединением Закарпатской Украины в 1945 г. — г. Ужгород), так же как и восста-

новление советской власти в Прибалтике, были как бы даже вдвойне справедливыми: в Гражданскую войну белые там победили случайно (а, следовательно, и неправильно) и, во-вторых, они же раньше наши были! Все эти действия воспринимались как государственная мудрость и, как я уже объяснил, проявление автоматической правоты социализма, который у нас был в основном построен.

В зимний сезон 39—40 годов в Москве уже выступал приехавший из Львова джаз-оркестр прославленного трубача Эдди Рознера, и москвичи пели популярную тогда песенку «Во Львове идет капитальный ремонт». На Кузнецком мосту продавалась польская посуда. Мама как-то принесла необычную и *не нашу* чашку с блюдцем. Она была из приятного оранжевого стекла с перламутровым переливом, на маленькой фигурной золотистой наклейке что-то было вытиснено по-польски... У нас стеклянные чашки не делались.

Пришла в Москву и польская мода. Женщины стали носить головные платки и косынки. Это было для меня удивлением: как же так, Польша ведь только-только была за границей, буржуями, а у них носят платки? У нас платки носят молочницы, дворничихи и, вообще, деревня. По моим тогдашним представлениям мода — это только для богатых, то есть для буржуазии, и они, я имел в виду капиталистических дам, конечно, должны ходить только в шляпках, с какими-нибудь особенно широкими полями и с перьями. Демократизм их моды был непонятен. Зато была понятной позиция мамы — она не поддавалась на их моду и продолжала носить шляпку!

Подходя к концу этой главы, я хочу себе самому, теперешнему, попытаться объяснить самого же себя, но тринадцатилетнего. Ощущение гармоничности мира и правильности всего происходящего было удивительным. Во-первых, я чувствовал себя свободным. Конечно, если не считать давления родителей. Мой одноклассник Фимка Ф. как-то заметил:

— Я сказал маме с папой, что они, как два сапога-пара, и оба жмут. Думал, что мое остроумие оценят, а они даже не улыбнулись. Не понимают!

А свобода была в свободе выбора. Я не ощущал ни чьего давления: в октябрята я сам пошел, даже просился, в пионеры — тоже, в военно-морской кружок сам, в Дом пионеров — тоже сам. И в библиотеки сам записывался: сначала в школьную (правда, тут мне отец посоветовал), потом в бывшей церкви напротив дома, а когда церковь сломали, записался в ту, которая рядом с

«Красными Текстильщиками»<sup>18</sup> была. И, вообще, кто бы мог мне запретить думать о том, о чем я хотел!

Во-вторых, я ощущал равенство, привычное и даже будничное. Я уже упоминал, что в классе никому просто неинтересно было знать, кто у кого родители и кем они работают. Мало того, я даже толком и не знал, чем занимается Александр Титович, Вилькин отец, или Виктор Никитович — Никиткин! Важны были лишь события, в которых они участвовали, например, в Революции или Гражданской войне. В седьмом классе к нам пришел новый ученик Толька К. Это, пожалуй, был единственный случай, когда мы узнали, кто у него отец и узнали очень быстро. А объясняется все очень просто: Толька жил в Доме писателей, который незадолго до этого построили рядом с нашей школой. Значит, его отец писатель. Только и всего. Правда, Толька К. вызвал интерес у девочек, но по совсем другой причине — он был красив!

Наконец, у меня было еще чувство, я бы его назвал так, *готовность к будущему*. Эта готовность накапливалась исподволь, постепенно переходя из сознательной в подсознательную. Конечно, она была наивной, но и одновременно удивительно мощной. Максимально упрощая дело, можно сказать, что общий пионерский призыв тех лет «К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!» превратился в индивидуальный, личный, мой отклик: «Всегда готов!». Вдобавок я был политически подкован и считал, что у меня не может быть ни пережитков, ни родимых пятен капитализма. Одновременно с этим, если говорить о сознательном, я был убежден в том, что в руках вождя, партии большевиков, государства и народа, проще говоря у нас в руках, есть наука побеждать. И если мое тогдашнее мировосприятие кажется загадочным, то сейчас я в состоянии предложить самому себе отгадку. Она в том, что свою самую обычную искреннюю веру я считал последним достижением науки. Для меня, скажем, расхожее тогдашнее выражение «по последнему слову науки и техники» и сентенция о социализме, который «из утопии превратился в науку», были как бы равносильными. Все верно: вначале было слово, точнее магия слов.

Пусть не создадут все эти рефлексии впечатления, что я был созерцателем. Нет, я был обыкновенным мальчишкой, активно действующим в реальном мире, который я считал гармоничным. То, о чем я пишу, не перечень каких-то внешних событий и, конечно, не семейная хроника. Я пытаюсь пройти путь, по которому шло мое политизированное сознание. В этом весь смысл моих записок.

---

<sup>18</sup> Название фабрики на Якиманской набережной.

# ВОЕННО — МОРСКАЯ СПЕЦШКОЛА



Море смеется у края лагуны.  
Пенные зубы, Лазурные губы...

*Федерико Гарсия Лорка.*  
*«Баллада морской воды»*

... бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет,  
Так что сыпется золото с кружев,  
С розоватых брабантских манжет.

*Николай Гумилев.*  
*«Капитаны»*

... думал полуночным часом  
о славе, о бурных дорогах ее.  
Звезда высока над картушкой  
компа́са,  
Касается румбов лучей острие.

*Алексей Лебедев.*  
*«Компасный зал»*

Один из самых, оказывается, важных своих жизненных шагов я сделал в пятом классе, — именно тогда я поступил в военно-морской кружок. Это было зимой в конце 1937 года. Организовал кружок молодой и одновременно очень серьезный человек Иван К. Его отчества я не запомнил не случайно — с самого начала он потребовал обращаться к себе только как к *товарищу руководителю*. Но зато и к нам он обращался тоже только строго на Вы. Я думаю, что тогда он только-только отслужил на флоте и его какой-нибудь райком в порядке выполнения комсомольского поручения направил к нам в школу.

Осмотрев нас, собравшихся на первое занятие и сидевших за партами, Иван К. первым делом приказал нам построиться в одну шеренгу. Именно от него я тогда услышал настоящее военное слово «ранжир». Занятия он проводил всегда спокойно и строго. Надо сказать, это именно он научил нас основам строевой подготовки, он даже показал, как надо правильно поднимать руку в строю: обязательно левую и под углом в  $135^{\circ}$ . Эту тонкость, как я убедился в дальнейшем, мало кто знал даже из заядлых служак. Строевая подготовка была нужной, мы это понимали, но нам интереснее были другие дела: флажной семафор, устройство военно-морской шлюпки («шестерки») и вязание морских узлов. В кружке занимались вместе и мальчишки и девочки; конечно, нас

привлекала морская экзотика, но и не только она: мне, например, было совсем безразлично, что на эти занятия приходит Сонечка С. из пятого «А» (я учился в пятом «Б»). Кружок просуществовал не очень долго, но он сделал главное — я стал разбираться, как я бы сказал теперь, в морской проблематике. Узнав, что в районном Доме пионеров у нас на Полянке военно-морского кружка нет, я подался в городской, который тогда находился в переулке Стопани, дом № 6. Сравнительно незадолго перед описываемыми событиями московские газеты и радио много и восторженно писали и говорили о новом Дворце пионеров. Его открытие 29 июня 1936 года было очередным проявлением заботы Партии и Правительства и лично товарища Сталина о нашем счастливом детстве. (Я пишу это словами того времени, и они звучат сейчас почти как насмешка, но... тогда в них никакого подтекста не было, они были однозначны).

Дом, а точнее Дворец пионеров и октябрят занимал старинную бывшую городскую усадьбу. В главном корпусе — классическом особняке с лепниной, расписными потолками, удивительным паркетом и лестницей, и, главное, с достаточно вместительным театральным залом — помещались гуманитарные студии и кружки. Там же были библиотека и читальня. Отдельный корпус слева от входных ворот занимали технические лаборатории, справа — находились небольшие вольеры с животными, в глубине территории — довольно густой сад и цветочные клумбы, там было царство юннатов.

Никаких справок для поступления не требовалось, надо было просто показать школьный билет, если, конечно, есть места. В военно-морском кружке — он назывался лабораторией — мест не оказалось, все было занято. Но свободные места были в лаборатории, дверь которой, если пройти дальше по коридору, была рядом. Когда откроешь дверь, сразу как войдешь, слева, в глаза бросался голубой метрополитеновский вагон — уменьшенная точная копия настоящего. Так что весь шестой класс я занимался в лаборатории метро. За это время я освоился с Домом пионеров, а в школе, узнав, что я там занимаюсь, назначили меня позднее даже связным. Это было сделано вполне официально, и я стал приносить в школу пригласительные и театральные билеты. С началом нового (1939-40-го) учебного года, когда объявлялся новый набор, я наконец перешагнул порог двери, которая по коридору была ближе и которая год назад для меня оказалась закрытой. Немножко мучила совесть, но я ее вполне успокоил таким доводом: военная специальность важнее гражданской!

Дело в военно-морской лаборатории было поставлено солидно, это чувствовалось уже как входишь: на специальной доске у



двери бросали в глаза расписания занятий, перечень предметов, литература, списки групп. Мы знали, что в конце курса предстоят экзамены по нормам значка «Юный моряк». Это был оборонный значок вроде БГТО, БГСО<sup>19</sup> и других, но значительно более редкий. Руководителем лаборатории оказался худощавый подтянутый человек средних лет во флотском кителе без нашивок и с ремешком от часов между второй пуговицей и левым нагрудным карманом. Его высоколобое с правильными чертами лицо было обычно сосредоточенным, улыбался он редко, но улыбка была неожиданно доброй и чуточку грустной. Вокруг него все время вертелись ребята постарше нас, его помощники. Они и часть занятий проводили с нами по семафору, морзянке, иногда по морской практике (вязание узлов, плетение матов и кранцев и тому подобное). Сам же он рассказывал о классах боевых кораблей и иногда присутствовал на контрольных занятиях, например на «диктантах», когда передавался семафором — «писался» — какой-нибудь произвольный, но обязательно военно-морской текст. Скорость передачи к концу учебного года дошла до 120 знаков в минуту. Текст надо было записать и потом сдавать на проверку. Подглядывать здесь было невозможно. С самого начала было рекомендовано приобрести книгу-справочник тогдашнего преподавателя Военно-Морской Академии Е.Е.Шведе «Современные боевые средства морского флота». Это была книга! Я несколько месяцев буквально не расставался с ней, брал ее даже в школу. В ней были чертежи кораблей и их данные по водоизмещению, вооружению, бронированию и энергетическим установкам. Я до сих пор прекрасно помню силуэты «Хууда», «Короля Георга V», «Сюркуфа», «Бисмарка», «Тирпица», «Саратоги»... Естественно, в справочнике советские корабли отсутствовали. Но на занятиях нам о них говорили — о крейсере «Киров», о лидере «Ташкент», об эсминцах проекта «7» и «7у», о подводных лодках. Но, — никаких цифровых данных!

30 ноября 1939 года началась советско-финская война. Собственно тогда она называлась боевыми действиями Ленинградского военного округа. Здесь, как и с Польшей, все было правильным. Во-первых, мы имели дело не с финнами, а с белофиннами. Во-вторых, настоящие финны буквально на следующий день, как только Красная Армия освободила Териоки, образовали там революционное правительство и провозгласили Финляндскую Демократическую Республику. Главой правительства стал один из руководителей Коминтерна Отто Куусинен. Новое пра-

---

<sup>19</sup> «Будь готов к труду и обороне», «Будь готов к санитарной обороне».

вительство, всецело опирающееся на поддержку народа, сразу же заключило с нами договор, который и был подписан О. Куусиненом и В. Молотовым 2 декабря в Москве. В договоре было сказано, что мы идем навстречу чаяниям финнов о их воссоединении с карелами в едином государстве и согласны передать для этого районы Советской Карелии (70000 кв. км) с преобладающим карельским населением. А для нас финны в знак дружбы и доверия соглашаются отодвинуть свою границу от Ленинграда. При этом нам отходят всего 4000 кв. км. Ну, кроме этого, нам еще сдается в аренду полуостров Ханко и продаются несколько островов в Финском заливе и финская часть полуостровов Рыбачьего и Среднего на Баренцевом море. В последней статье договора указывалось, что он вступает в силу со дня подписания, и обмен ратификационными актами будет произведен в возможно более короткий срок в Хельсинки.

Эти подробности мне запомнились потому, что дальше все стало развиваться как-то удивительно неправильно: правильные следствия не следовали правильным событиям. Почему-то финский пролетариат, одетый в солдатские шинели, не стал поворачивать штыки против своей буржуазии и переходить с красными знаменами на сторону нового правительства, составленного из братьев по классу. И не стал брататься с нашей Красной Армией. Объяснений этому пока не находилось. Зато появились ежедневные сводки о военных действиях и в обиходе появились новые слова: линия Маннергейма, ДОТ, ДЗОТ, маск-халаты, пулемет-пулемет, «кукушки» (так называли финских снайперов), обмороженные. Я купил большую карту Финляндии, и мы с Вилькой, как раньше на карте Испании, стали наносить линию фронта.

Раз началась война, то появились и герои. В Доме пионеров была подшивка недавно начавшей тогда выходить газеты «Красный флот», откуда мы вычитывали военные флотские новости. И обсуждали их. Например, когда сообщалось, что Героями Советского Союза стали командиры подводных лодок «С-1» и «Щ-311» капитан-лейтенанты А.В.Трипольский и Ф.Г.Вершинин, мы очень живо представляли себе (так нам казалось) их торпедные атаки и уничтожение вражеских транспортов артиллерийским огнем. А вот о капитане 2 ранга Н.П.Египко в газете сразу было написано, что он Герой Советского Союза, без Указа. Мы, поразмыслив, пришли к выводу, что значит он это звание получил в Испании. И, как оказалось, не ошиблись! Я должен честно признаться — для меня важны были не сами фамилии, хотя я их помню до сих пор, а морские звания перед ними, звучавшие как музыка. Зимой в лаборатории появился плакат, на котором были изображены краснофлотец и красноармеец, стоящие на страже Ленинграда.

Мы сразу обратили внимание на новую бескозырку у моряка — на ней появились два белых канта, делавшие ее похожей на бескозырку матросов старого флота. Сейчас я бы сказал Российского Императорского Флота, но тогда не то, чтобы сказать — даже подумать так — было абсолютно невозможно. Каждый предлагал по поводу кантов свои объяснения, но главное состояло в том, что мы гордились, пусть отдаленной, но явной причастностью нашей к флоту. К тем дням относится и одно из моих «морских» удивлений: как же так, почему у моряков пуговицы с якорями, а не со звездами, как в Красной Армии? И еще: у морских командиров на фуражке в центре эмблемы («краба») находится якорь, а не звезда, как у армейских командиров. Правда, звездочка небольшая над якорем есть, но она не вся красная, центр у нее, где серп и молот, — белый. Как-то не совсем революционно! Порассуждав сам с собой, я пришел к такому объяснению: Октябрьская Революция началась историческим выстрелом крейсера «Аврора», поэтому морские традиции есть традиции революционные и флоту якоря на пуговицах нечего было заменять на звезды. Вот, если бы двуглавые орлы — тогда другое дело.

В общественной атмосфере того времени проявлялось нечто — его трудно определить рационально — вроде всеобщего ласкового внимания к морякам и флоту. Именно тогда Леонид Утесов спел «Раскинулось море широко...» и тогда же Краснознаменный ансамбль начал исполнять марш «Варяг». Эти мелодии по популярности могли уступать, пожалуй, только «Чайке» (Милый в море, на просторе, в голубом краю) да «Синенькому платочку», еще не переделанному войной. Частичное объяснение такому морскому феномену, конечно, было: тридцатого декабря 1937 года был образован самостоятельный народный комиссариат Военно-Морского Флота. Со своим новым приятелем по лаборатории Сашей Т. — он жил недалеко, на Большой Ордынке — мы иногда специально проходили по новому Большому Каменному мосту, чтобы полюбоваться только что отстроенным зданием Наркомата. Его необычная башня, похожая отдаленно на боевую корабельную рубку, заметно возвышалась над районом Арбатской площади, Гоголевского бульвара и строящегося Дворца Советов. Башню венчал флагшток с большим военно-морским флагом. Пожалуй не стоит добавлять, что наши сердца восторженно трепетали вместе с бело-голубым полотнищем, на котором были алая звезда и серп и молот.

В Доме пионеров занятия тем временем продолжались, и мы с некоторым страхом ждали экзаменов. На лето готовился шлюпочный поход по каналу Москва-Волга, причем тем, кто сдаст все предметы на «отлично» пообещали место рулевых на флаг-

манском катере «Комсомол». В июне наша флотилия отошла от шлюпочной базы Дома пионеров, располагавшейся рядом с водным стадионом «Динамо» и взяла курс на норд. Волновался я очень — в моих руках был штурвал «Комсомольца». Мы медленно прошли мимо Северного речного вокзала и вошли в канал. Поход был организован как следует, даже «Московский комсомолец» помещал о нем короткие материалы и фотоснимки. На одном из них я узнал себя. Меня сфотографировали с учебной (но ведь этого почти никто не знал!) винтовкой, стоящим в бескозырке и бушлате на баке нашего катера. Надо ли говорить, как я был горд и счастлив!

К этому времени прошло более трех месяцев с тех пор, как закончилась война с белофиннами. Мир, после тяжелейших боев на Карельском перешейке, был заключен не с правительством О.Куусинена — о нем как-то постепенно перестали и говорить, а с буржуазным правительством Финляндии. К нам перешел Карельский перешеек с Выборгом и бывшей раньше финской частью Ладожского озера с побережьем, на севере — нашими стали часть полуостровов Рыбачий и Средний. Кроме того, мы взяли в аренду полуостров Ханко в Финском заливе. Конечно, это была победа. Но не совсем — ведь буржуазное правительство-то оставалось! Объяснение этому факту нашлось не в реальной оценке действительности, а в чисто идеологической области: буржуям удалось оболванить свой народ и воспитать — или привить — ненависть к нам, большевикам. Интересно, за время этой войны исчез значок «Ворошиловский стрелок». И это было неизбежным: если финн хорошо стрелял, его же не назовешь ворошиловским стрелком, он — снайпер. С другой стороны, если мы несли значительные потери от финских снайперов, а они от наших — не очень, то к чему нам ворошиловские стрелки, нам нужны просто снайперы. Впрочем, дело было не столько в значке, сколько в самом «первом маршале». На посту наркома обороны его в мае 1940 года заменил предварительно награжденный Золотой Звездой и получивший звание маршала С.К.Тимошенко. Для себя я тогда заметил, что именно после финской кампании — ее и так называли — в Красной Армии ушли в небытие шлемы-буденовки и появились шапки-ушанки. Тогда же начали появляться пистолеты-пулеметы, впоследствии получившие название автоматов. И, наконец, появилась новая союзная республика — Карело-Финская.

Но вернемся к шлюпочному походу. Ушли мы не очень далеко, всего до Клязьминского водохранилища, так как двое ребят заболели расстройством желудка. Их отправили по домам, а поход, на всякий случай, приостановили. Мы на чем свет стоит ру-

гали заболевших и успокоились только после того, как нам сообщили потрясающую новость: несколько дней мы проведем вместе с испанскими детьми — они жили в то лето на берегу водохранилища. Это были радостные дни: одно дело читать про Испанию или даже смотреть в кино, другое — видеть настоящих живых испанцев! Мы быстро перезнакомились, вместе стали гулять и собирали цветы по окрестным полям, пели песни. Тут в ход пошли и «Интернационал», и «Красное знамя», и «Идут стальные колонны». Мы пели по-русски, а они по-испански, так как еще не очень успели освоить русский. Никто нас специально не знакомил, кто кому приглянулся или просто оказался рядом — протягивали друг другу руку и называли себя. Моими соседями оказались Педро и Аврора. В столовой мы обедали в разные смены, а вечером опять собирались все вместе, теперь у костра (настоящего!) и опять пели песни. Там же я познакомился и с Юлием Грамши, хорошо говорившем по-русски. Оказалось, что он итальянец и живет постоянно в Москве с мамой, а не как испанцы в детском доме. Отец Юлия, один из основателей компартии Италии, в 1937 году умер в фашистской тюрьме в Риме. Юлий позднее, уже в Москве, познакомил меня со своим братом Делио, с которым — кто бы мог тогда подумать — судьба неоднократно сведет меня на будущих дорогах флотской службы.

Я возвратился домой солнечным летним днем с чувством моряка, сошедшего на берег после дальнего плавания. Во двор я вышел в бескозырке и синей форменке и обступившим меня сверстникам чуточку — только чуть-чуть! — приукрашивая, рассказал о своем плавании по Каналу. Что говорить, даже из больших ребят никто и не пытался сказать: «Подумаешь!». Через несколько дней я познакомил Юлия с Вилькой и они сразу подружились. Все вроде бы обстояло хорошо, но как быть дальше? Ведь в Военно-Морское училище берут только после десятилетки, это значит — ждать еще три года. Три года!

И Бог услышал молитвы. Еще с зимы поговаривали, что открываются военно-морские спецшколы, по типу артиллерийских. Я думаю, что каждое будущее событие как бы отбрасывает свою тень в настоящее. По-разному, в том числе и в виде подобных разговоров. И вот 30 августа 1940 года в школьном дворе на Верхней Красносельской улице собралось несколько сотен взволнованных московских мальчишек-старшеклассников. Позади медицинская и мандатная комиссии, конкурс аттестатов за седьмой класс, разные справки и характеристики. У некоторых — из Дома пионеров. Мы с Сашкой Т. ищем свои фамилии в списках, пока еще толком не разбираясь во всех этих взводах и ротах. Есть. Теперь все ясно: восьмые классы — это третья рота, десятые —

первая. Мы — в первом взводе третьей роты, это вроде 8-го «А» по-обычному. Ура!

Однако открытие спецшколы не было просто чудом, оно было реальностью гармоничного мира, в котором я жил, еще одним — очередным — шагом на пути к коммунистическому будущему с его «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Я хотел стать моряком — это по потребностям, а вот сумею ли учиться в спецшколе — это по способностям, тут уж надо постараться, а то отчислят! Поступление в спецшколу было переходом к новому качеству жизни: кружок и лаборатория были делом еще детским, необязательным и как бы не совсем настоящим, а вот спецшкола — дело уже серьезное, настоящее и даже государственное. Именно тогда я нашел доводы для примирения политики Мирового Октября с политикой Абсолютного Государства, раздвоенность которых я начал ощущать. Ход моих рассуждений был приблизительно таков. К мировой революции надо будет идти через мировую войну, в которую превратится уже начавшаяся в 1939 году Вторая империалистическая война. Раз так, то нам, в частности, нужен флот. В «Краткой истории русского флота» у Ф.Ф. Веселаго я прочел, что основателем русского регулярного флота был Петр I. У нас теперь, конечно, новый общественный строй, которого еще не было в истории человечества, и самый высокий моральный дух, благодаря которому мы так успешно победили в Гражданской войне. Но средства ведения войны, например, корабли, самолеты, танки и даже военное искусство — они не зависят от того, белый ты или красный. Чтобы ими овладеть, надо изучить и мировую военную науку (жалко, что у Парижской коммуны не было флота) и свою собственную военно-морскую историю. И вот здесь я первый раз почувствовал, что необходимо отказаться — пусть только частично — от абсолютной данности, усвоенной до этого мною, что до Революции все было только плохим. Это было удивительно. Петр I был император, а сделал хорошее дело — создал флот!..

Если с Финляндией дело окончилось не в духе моих представлений о правильном ходе исторического развития, то события 1939—40 годов в Прибалтике — наоборот, показали всепобеждающую силу великого учения Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Народ, который всегда прав, был главным действующим лицом во всех этих событиях — он заставил буржуазные правительства подписать договор о размещении в Литве, Латвии и Эстонии наших войск и военно-морских баз, а затем, поняв что этого недостаточно, совершил, каждый в своей стране, социалистическую революцию. Вновь избранные парламенты трех прибалтийских республик в августе 1940 года обратились в наш Вер-

ховный Совет с просьбой о приеме их в СССР. Мы, конечно, с радостью удовлетворили их просьбу. И они стали *наши*. Как разумно устроен мир!

Есть много прекрасных запахов — цветущего майского луга, нагретых солнцем сосен, только что испеченного хлеба, только что смолотого кофе, просто кристально чистого запаха свежего ветра — да мало ли еще! — но среди этой палитры одно из самых первых мест для меня занимает радостный до головокружения аромат нового флотского обмундирования. День, когда нам выдали форму, был ни с чем не сравним. Возвращаясь домой, с гордостью и вроде бы случайно, я в трамвае напоказ выставил часть рукава фланелевой с красной звездочкой: смотрите, мол, это настоящая морская форма, а я — моряк. Володька Л., мой новый товарищ, поступил не сговариваясь так же: и у него из свертка торчал рукав со звездочкой. В форме постоянного внимания требовали пуговицы, бляха на поясном ремне и ботинки. Они постоянно должны были сиять солнечным блеском. Много снадобий и рецептов для этого проверилось, но в конце-концов общий выбор остановился к концу зимы на «кроксе» (крокус, паста ГОИ, окись хрома) и несколько позднее — на появившихся таллинском асидоле и рижской ваксе. Последними быстро и удобно было драить пуговицы и ботинки, но безупречный блеск бляхам мог придать только крокс.

О Прибалтике говорили тогда много. Всех, кто там был, поражала чистота улиц. То, что в Таллине и Риге тротуары у своих магазинов и домов моют с мылом, воспринималось как фантастика. В гастрономе на улице Горького весной 1941-го года мы с Сашкой Т. однажды увидели иностранных офицеров (именно офицеров, ведь у нас тогда были командиры). Мы специально подошли поближе из-за любопытства. Офицеры оказались латвийскими летчиками, нас, помню, удивила добротная скромность их форменных плащей и еще погоны. На летчиков приятно было смотреть, и мы порадовались, что теперь они уже наши. В это же время появилось много эстонских и латвийских конфет. У них был отличный от наших, но очень приятный вкус, непривычны были и их размеры — они были миниатюрнее. Мы с Володькой Л., да и почти все наши ребята, направляясь утром на занятия в спецшколу, обязательно покупали эти конфеты на лотке у метро «Красносельская».

Володька, с которым мы познакомились в спецшколе, жил на Полянке в новом доме, который был построен на нашем старом дворе по плану реконструкции. Этот новый дом стоял почти на месте Никиткиного. В трехкомнатной квартире Володька с отцом занимали две комнаты (мать у Володьки умерла), а третью ком-

нату занимал дядя Вася (мы его так звали) — энкэвэдэшник с тремя шпалами в петлицах. Он был тихий, много пил и вид у него был усталый, на кухне он появлялся в галифе и домашних тапочках. Я никак не мог понять, почему он напивается, ведь он тоже, как я считал, все-таки военный. И хотя он к нам с Володькой относился хорошо, это мы чувствовали, Володькин отец отзывается о соседе очень сдержанно. Лев Алексеевич (кажется так звали Володькиного отца) был директором ЦДРИ, и мы с Володькой зимой очень часто там бывали. Именно тогда я увидел воочию Барсову, Утесова, Юрьеву, Михозла, Канделаки, Кусевицкого, Рознера... В ЦДРИ устраивались и разного рода выставки. Выставку плакатов я помню до сих пор, а плакат, получивший первую премию, буквально запечатлелся в памяти. Он очень лаконичен, всего две фигуры, отец и сын. Отец — типичный большевик-рабочий с суровым лицом и опущенными усами и газетой «Правда» в правом кармане пиджака — положил руки на предплечья сына. Сын, чуть выше отца, летчик, стоит почти по стойке «смирно». Он — лейтенант в парадной форме и на его груди Золотая Звезда и орден Ленина. Под плакатом текст: «Горжусь сыном».

Для меня эти две фигуры почти такой же символ того времени, как проект Дворца Советов и скульптура «Рабочий и колхозница». Естественно, я не могу и не берусь говорить о многих и тем более о целом поколении, но я сам и мои знакомые ребята чувствовали себя *новыми людьми*, которым принадлежит прекрасное коммунистическое завтра. Я был полон энтузиазма и уверенности, что мы поднимемся, достигнем сияющих вершин или, по крайней мере, подойдем к ним вплотную. Как летчик на плакате.

Не могу не рассказать об эпизоде, который случился в то время и был для меня по значению несколько похожим на мою первую драку во дворе. В ЦПКиО им.Горького, который попросту называли Парком Культуры, была известная в то время всей Москве парашютная вышка со спиральным спуском. Мне давно хотелось прыгнуть с нее с парашютом, но детям до шестнадцати лет, как это было написано у кассы, прыгать не разрешалось. Теперь же, после поступления в спецшколу, я стал чувствовать себя вполне взрослым человеком и то, что мне до шестнадцати не хватало полутора лет, уже не имело, как я считал, никакого значения. Я недавно тогда познакомился с Верочкой К., она училась с Володькой в одном классе до его поступления в спецшколу, и он-то нас и познакомил. В тот памятный для меня день мы с Верочкой условились пойти в Парк культуры, от которого она недалеко жила. Прождав у входа наверное полчаса, я позвонил ей домой и узнал, что она готовится к завтрашней контрольной



по русскому. В голосе Верочки можно было услышать непри-  
творное огорчение и это меня как-то примирило с неудавшимся  
свиданием. Я тут же решил пойти и спрыгнуть с парашютом.

И вот я на самой верхней площадке. «Чертово колево» совсем  
рядом, а весь парк виден до Воробьевки, люди внизу у вышки  
маленькие-маленькие. У меня просто заглохло внутри. И я...  
струсил. Не став прыгать, я взял коврик и поехал на нем по  
спиральному спуску вниз. С опущенной головой я пошел прочь  
от вышки, противный самому себе.

— Но ведь никто не знает, что ты не спрыгнул,— услышал я  
внутренний голос.

— Так что же, от этого я перестану быть трусом? — ответил  
я своему второму я.

— Ну, не обязательно сейчас прыгать, можно завтра или пос-  
лезавтра.

— Так что же, ходить трусом эти дни?

— Но никто же не знает...

— Нет, не пойдет. Да и перед Верочкой неудобно, не могу же  
я сказать, что прыгал, когда не прыгал.

И я повернул обратно. Тут же мне пришло в голову объясне-  
ние страха: не за что было держаться! А ведь есть же парашют-  
ные стропы, их-то и можно сжимать в руках. И вот я опять на  
площадке, обреченно подхожу к ее краю и забыв о стропях, с  
остановившимся сердцем шагаю в пропасть. Когда я стряхивал с  
коленок песок и опилки, все во мне пело и ликовало:

— Я не трус! Я прыгнул!

— А кто же сомневался?

— Как кто? Ты же сомневался,

— Ничего подобного, я знал, что ты прыгнешь,— это последнее,  
что сказал внутренний голос, прежде чем постыдно замолчать.

Отношение к войне, точнее к будущей войне, было у меня  
положительным, как это не покажется сейчас невероятным. Оно  
походило на состояние радостного ожидания. Это можно объяс-  
нить полным отсутствием жизненного опыта, идеологическим  
максимализмом и просто молодостью, но и не только ими. Решив  
давно стать военным, я с чистой совестью считал, что я так и  
должен думать о войне, как чуть ли не о предстоящем праздни-  
ке. И о смерти я не думал, во мне тогда жило чувство, что я  
родился счастливым и «меня это дело не касается». Вообще, мысль  
о гибели загонялась куда-то на самую окраину сознания. Важно,  
что можно было совершить подвиг и стать героем. Я, естествен-  
но, мечтал о славе. Чтобы вызвать восхищение знакомых девчо-  
нок, ребят во дворе и заслужить похвалу мамы и родных.

Я думаю, что истоки мажорного отношения к войне связаны  
с тем, что мы, мальчишки, с самого пробуждения сознания гото-

вились к «последнему и решительному бою» — это факт, который просто имел место постоянно. В начале тридцатых годов — вероятно в 31-ом или 32-ом — сначала отец, а затем мама, принесли выданные им на работе противогазы. Они лежали в новеньких, шершавых, пахнувших свежей краской, сумках цвета хаки. Я, как и Вилька — его родители тоже получили противогазы — зачарованно смотрел и трогал эти настоящие военные вещи: противогазы ведь одинаковые и для красноармейцев и для гражданского населения. Мне было только непонятно, почему отец смотрел на противогазы как-то иронически, а мама — невесело. Противогазы положили на шкаф в маленькой комнате и забыли, но мы с Вилькой, когда родителей дома не было, доставали их и, наигравшись вволю, даже пугали наших младших сестреноч! Добавлю, что в школе, при сдаче норм на значок «Будь готов к ПВХО»<sup>20</sup>, надо было рассказать устройство противогаза. Оборонные значки были такой же данностью, как и противогазы. Для взрослых это были «Ворошиловский стрелок», «Готов к труду и обороне» (ГТО), «Готов к санитарной обороне» (ГСО) и др. Для детей эти значки имели в названиях дополнительные слова «Юный...» или «Будь готов к...».

Когда в нашем классе мы сдавали нормы на БГСО, надо было ответить, как сделать перевязку, как остановить кровотечение, как наложить шину при переломе... Лучше всех перевязки делала Верочка М., миловидная и очень аккуратная девочка. А воспринималось все это очень романтически, совсем по фильму «Остров сокровищ», который в то время как раз шел на экранах:

...За правое дело  
Спокойно и смело  
Иди, не боясь ничего!  
Если ранили друга,  
Перевяжет подруга  
Горячие раны его.

Никакого нажима при сдаче норм не было, мы сами хотели их сдавать. Особенно ценился значок БГТО. Это был «физкультурный» значок, а обладатель его в наших глазах был обязательно сильным парнем.

В 1940 году, спустя месяца два или три после заключения мира с Финляндией, у нас дома проездом остановился мой троюродный брат Роман Поляков. Я его до этого не видел, мама, правда, рассказывала, что он хорошо рисует и не раз показывала его картинки-акварели с кораблями, когда приходили письма от тети

---

<sup>20</sup> ПВХО — противовоздушная и химическая оборона.

Нюры. А тут появился веселый молодой командир в морской форме с авиационной эмблемой на рукаве кителя. Я очень жалел, что Роман гостил у нас недолго — он рассказывал много интересного о Финляндии и очень понятно объяснял упорство противника:

— Понимаешь, у них всех воспитали в ненависти к СССР. Там, даже когда милостыню подавали нищему, говорили, чтобы он молился против нас.

Я думаю, что Роман, как и я, искал объяснения «неправильному» поведению финнов и не мог предложить ничего, кроме «оболванивания», как это имело место и в Германии при приходе Гитлера к власти в 1933 году. Других причин, мы считали, быть не может. Роман, рассказывая, рисовал разные военные сценки и даже набросал карикатурный портрет «Дуро Ничивойнена», типичного, как он говорил, белофинна. А вот про Испанию Роман ничего не рассказывал, даже когда я его спрашивал напрямую, был ли он там? Он просто рисовал картинки; одна, я помню, называлась «Наступление республиканцев под Гвадалахарой»: там в небе были наши тупоносые «ишачки» (И-16), в центре — развалины дома, слева — наши танки, а на переднем плане справа — бегущий от их огня то ли мятежник, то ли фашист-итальянец с широко открытым ртом. Так я у Романа и не узнал — был ли он в Испании.

Все, что относилось к искусству, особенно в его наиболее массовых видах, было очень военизированным и классовым. «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Щорс», «Пархоменко», «Дума про казака Голоту», «Джюльбарс» и масса кинофильмов подобного рода не сходили с экранов. Когда в 1938 году появился «Александр Невский» с Николаем Черкасовым в заглавной роли, я удивился: главный герой не был пролетарского или рабоче-крестьянского происхождения. Он был князем! Созвучие исторического фильма с тогдашним — предвоенным — международным положением было настолько очевидным, что я подумал: зачем это Сталин предупреждает о рискованности исторических параллелей, здесь-то все ведь верно! Но этот фильм еще задел мою рыцарскую романтику. Фильм переворачивал само слово *рыцарь*. Оно получало обязательное слово-близнец *пёс* и какую-то капиталистическую или империалистическую окраску, во всяком случае не нашу. Получалось такое же устойчивое словосочетание, как буржуазная свобода и буржуазная демократия. Насчет их лживости у меня сомнений не было, но вот рыцаря было немного жалко. Очень любопытной символикой был наделен наш вероятный противник в картине «Если завтра война» — у наших врагов была на касках и на шапках свастика, но не

четырехлапая, как у Гитлера на карикатурах в газетах, а трехлапая. Я искренне был доволен таким тонким намеком — и все ясно и дипломатически не придерешься. Были фильмы и про шпионов и двурушников, такие как «Партийный билет». Валентин Катаев, автор нами всеми любимого «Белеет парус одинокий», написал в 1937 г. повесть «Я сын трудового народа» о бедняке Семене Котко, сражавшимся в гражданской войне за землю и волю и лучшую долю. Она была напечатана в «Пионерке». В драматических театрах эта повесть шла как «Шел солдат с фронта». На этот же сюжет С.С.Прокофьев написал оперу «Семен Котко», премьера которой состоялась летом 1940 года. На военно-героико-классовую тему была и опера И.Чишко «Броненосец «Потемкин», которая мне особенно нравилась из-за своего названия. Одним словом, я уже давно считал, что все у нас готово к войне.

Поступив в военно-морскую спецшколу я знал, что слова Молотова: «У могучей Советской державы должен быть соответствующий ее интересам, достойный нашего великого дела, морской и океанский флот»<sup>21</sup> относятся и ко мне и, признаюсь, был очень горд этим.

В январе 1941 года Верочка К. мне как-то сказала, что война начнется летом. Я возразил:

— Все знают, что война будет. А что летом, это еще неизвестно.

— Вот посмотришь, что летом.

— А откуда ты знаешь?

— Не скажу, — тихонько и одновременно лукаво засмеялась Верочка. Смех у нее был удивительный — как жемчужинки на бархате. Так она мне и не сказала. Из предыдущих наших разговоров я знал, что Верочкин отец имеет непосредственное отношение к делам промышленности, кажется авиационной, и подумал, что про войну просто между собой говорили ее родители.

Я был влюблен тогда в Верочку, и наш роман только начинался. Мое первое понравившееся мне самому стихотворение я написал ей. Она придумала на эти слова мелодию и однажды сыграла ее на пианино. Получилось танго. Это было как маленькое чудо.

После конца учебного года я отправился со спецшколой на остров Валаам, а Верочка уехала в Тбилиси, куда был командирован ее отец.

Но вернемся в предвоенное лето. В том мае 1941-го, незадолго до окончания 8-го класса, я вступил в комсомол. Это было по-

---

<sup>21</sup> Слова из речи В. Молотова на 1 сессии Верховного Совета СССР в 1938 году.

своему радостное и вместе с тем естественное событие. Естественное потому, что я хотел быть передовым помощником партии в деле строительства коммунизма. К концу учебного года в спецшколе я уже мог получить рекомендацию от комсомольской организации, и сразу этим воспользовался. Рекомендация была подписана тогдашним комсоргом школы В. Григорьевым (он учился во второй роте), а билеты нам вручили в Железнодорожном райкоме ВЛКСМ. Все идет как надо в этом лучшем из миров — такова, пожалуй, квинтэссенция моего тогдашнего восприятия окружающего. 14 июня 1941 года наша и вторая рота (то есть ребята, окончившие восьмой и девятый классы) отправились на летнюю практику. До Ленинграда мы добрались обычным поездом, а там нас уже ожидал теплоход «Володарский», на котором мы и прибыли на остров Валаам, его по инерции еще называли и Валамо, это на финский манер. На переходе по Ладожскому озеру я, как и почти все ребята, старался не уходить с верхней палубы. Слегка покачивало, видимо, еще вчера штормило, а сейчас ветер стих и оставалась только зыбь. Было свежо и прохладно. Мне очень хотелось уловить момент появления на горизонте земли — нашего Валаама. В душе я чуточку представлялся самому себе Колумбом.

— Это же озеро, а не море, и, тем более, не океан, — ехидно возражал мне внутренний голос.

— Ну и что же, берегов-то все равно не видно, и в море так, — отвечал я своему постоянному оппоненту.

Для меня это утверждение было важным — настоящего моря я еще не видел. Не считать же, что меня купали в Черном море, когда мне еще не было года и мама со мной была в Ялте. Я просто этого не помнил.

Сказать, что остров был красив, недостаточно. Валаам был северной сказкой. Здесь я впервые увидел сосны на скалах, держащиеся корнями неизвестно за что, разве только за почти незаметные трещины. В тихой воде фиордов эти сосны отражались вместе с колокольнями и монастырскими постройками. На повороте дороги, ведущей к месту нашего расквартирования, мы прочли выбитую на скале надпись: «Сия дорога сооружена братией Валаамского монастыря в 1845 году». Здесь я еще раз подумал: война с Финляндией была справедливой, ведь остров-то раньше был нашим.

Кое-где сохранились следы боев. Невдалеке от палаток, где мы жили, — а они находились рядом с бывшим скитом — мы нашли погон и несколько стрелянных гильз, попадались изредка и целые патроны. Погон переходил из рук в руки: ведь это был настоящий живой погон, откуда-то из совсем чужого нам вра-

жеского мира! Я хочу напомнить, что тогда и подумать было невозможно, что через полтора с небольшим года погоны появятся и у нас. С каким-то немного скребущим душу чувством залезал я в покинутые бывшими хозяевами ДЗОТы, которые тогда, по-довоенному, назывались пулеметными гнездами. Возникал неиспытанный до этого перевернутый взгляд на нас — как бы со стороны противника.

Запомнилась политинформация в солнечное утро 19 июня. Ее проводил старший батальонный комиссар с главной базы. Так мы называли что-то вроде штаба и политотдела, помещавшихся в бывшем Валаамском монастыре и объединявших все военноморские подразделения. Мы сидели под соснами на склоне и слушали; я смотрел на золотые с красными просветами нашивки на кителе комиссара и думал о том, что есть какая-то несурязица в том, что у флотских политработников армейские звания. Запомнились слова комиссара:

— Война начнется со дня на день. Сообщение ТАСС — это для заграницы.

## ВОЙНА



... Начало мировой революции?

*(Запись В.И.Вернадского  
в своем дневнике 22 июня 1941 года)*

... мы подвели итог тоннажу  
Потопленных за месяц кораблей..  
И пели звонко голоса металла  
О том, чем каждый счастлив был и горд:  
Мелодию «Интернационала»  
Играл радист. Так мы входили в порт.

*Алексей Лебедев.*

*«Возвращение из похода»  
(одно из последних стихотворений поэта,  
штурмана-подводника, погибшего  
в сентябре 1941 года на Балтике.)*

22 июня с утра мы пошли, конечно, строем и повзводно, на главную базу. Там в церкви был устроен клуб и нам показали кинофильм «Девушка с того берега». После нас очередь смотреть

картину была, кажется, ленинградским спецам, и мы уже почти пошли восвояси, как тут же были повернуты назад:

— Немедленно, возвратиться! Сейчас будет митинг!

Надо сказать, что митинг у военных имеет мало общего с обыкновенным, то есть гражданским, митингом. На военном митинге его участники стоят в строю. Рядом с нами незнакомые матросы, стоим по команде «вольно», это, пожалуй, единственная поблажка на митингах. Проходит несколько долгих минут, и вот в 12<sup>00</sup> из громкоговорителя разносится по Соборной площади характерный, чуть заикающийся, и поэтому неторопливый и напряженный, голос В.М. Молотова. Он выступает с правительственным сообщением... Война!

— Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами, — эти его заключительные слова, даже интонацию, с которой они были произнесены, я помню до сих пор. Комиссар на политинформации сказал правду, война началась через три дня. Помню и возникшее тогда удивление: почему по радио выступал Молотов, а не Сталин? Ведь Молотов — нарком иностранных дел только, а не председатель Совнаркома...

Я думаю, что судьба сберегла нас тогда, в первые дни войны, не в последнюю очередь потому, что Финляндия — до ее границы было немногим более пятидесяти километров — вступила в войну на несколько дней позднее Германии. Мне кажется, что осторожные и основательные финны решили вначале посмотреть, как у немцев все начнет получаться. К сожалению, у немцев получаться стало сразу.

В июне 1990 года, в преддверии пятидесятилетия Московской Военно-Морской спецшколы, в основном благодаря стараниям нашего бывшего «спеца» Тимура Байдакова, вышла книжка «Мы выбрали море». В ней собраны воспоминания ее командиров и учеников, и хотя она получилась, на мой взгляд, несколько официозной, тем не менее в ней сохранено и ни с чем несравнимое дыхание военного времени, и многие дорогие сердцу каждого из нас подробности флотской службы. Поэтому я не буду описывать ни хронологию войны, ни свое участие в ней (оно было достаточно скромным), а по-прежнему продолжу рассказ о событиях, повлиявших на эволюцию моего политизированного сознания и мировосприятия.

Ни с чем не сравнимым удивлением, от которого побежала первая глубокая трещина по великолепной мозаичной картине моего гармоничного мира, было содержание первых сводок Совинформбюро: мы отступали! Несколько дней можно было соглашаться с тем, что нападение Германии было вероломным, а значит и внезапным. Но я-то знал, что война начнется — и зимой

еще знал, и всего несколько дней тому назад! Что же, Сталин и кому это положено не знали? Но даже не это было самым главным: самое главное — *в Германии не начиналась революция!* Ко всему добавлялось еще нечто почти фантастическое — численное превосходство немцев. И это при наших-то ста семидесяти миллионах населения и при легендарной и непобедимой, самой сильной от тайги и до британских морей Красной Армии. Мы с Геной Н. и Володей К. искали и не находили убедительных объяснений. Задавали на политинформациях вопросы об Эрнсте Тельмане и немецком пролетариате, ведь в Германии рабочий класс составлял большинство, и, следовательно, в немецких войсках рабочих тоже было большинство. Где же их классовая солидарность с нами? К чему мы в конце-концов тогда пришли, было: Гитлеру удалось *оболванить* свой народ всего за шесть лет, в период с 1933 по 1939-й год. Других рациональных объяснений, по крайней мере у меня, не было. Конечно, само собой подразумевалось, что этому оболваниванию способствовали предатели социал-демократы, продавшиеся буржуазии.

А удивления следовали одно за другим. Буквально на следующий день после начала войны мы узнали, что в нашу поддержку выступил У.Черчилль, а еще через два дня и Ф.Рузвельт<sup>22</sup>. Помню, я с удивлением вдруг заметил, что не могу ответить самому себе на такой вопрос: какую же мы войну ведем, раз нас поддерживают империалисты? Ведь не империалистическую же! В 1939 году все было ясно, началась *Вторая империалистическая* война, ее так и называли. А теперь, с 1941-го, когда воевать начали и мы, война стала уже другая, но какая, не гражданская же?

Неясность, как и всегда, была устранена товарищем Сталиным. Его первое после начала войны выступление, которое все с нетерпением ждали, состоялось лишь 3 июля. С войной стало все ясно: она получила название Великой Отечественной войны советского народа. Соответственно общая, так сказать, война после этого стала *Второй мировой* войной. Совершенно непривычным в сталинском выступлении было обращение: вместо партийного и ставшего общепринято государственным «товарищи», прозвучало «Братья и сестры!». В нем мне послышалась какая-то неожиданная человечность и даже некоторая растерянность, были более сильными акцент и взволнованность говорившего. Последнюю подчеркивали звуки наливаемой в стакан воды и хриплость голоса, волнение явно пробивалось через уже ставшую привычной поучительную монотонность речи вождя. Похожую «человеческую» интонацию в выступлениях Сталина я почувствовал

---

<sup>22</sup> Черчилль выступил с заявлением 22 июня, а Рузвельт 24 июня.



еще всего один раз — она была в его тосте, произнесенном в честь русского народа уже в 1945 году, после окончания войны. В той же, третьеиюльской, речи Сталин сказал, что «... решается вопрос о жизни и смерти Советского государства, о том, что быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение». Сталин умел говорить. Слова и «формулировки» были предельно отточенными и появление даже одного нового слова могло свидетельствовать об изменении политики. А тут! «Братья и сестры!», «быть свободными или впасть в порабощение». До сих пор они держатся в сознании, как будто вбиты гвоздем. Конечно, все высказывания Сталина многомиллионно и многократно тиражировались прессой и радио. Все это так. Но было и еще нечто. Магия слова вождя?..

После Валаама мы несколько дней пробыли в Ленинграде. Разместили нас в здании бывшего Адмиралтейства, где находилось Высшее Военно-Морское Инженерное ордена Ленина училище имени Ф.Э.Дзержинского. В обиходе это название сократилось до удобопроизносимого «Дзержинка»; я заметил, что так училище называли и почти все ленинградцы, никто не добавлял и слово *бывшее* применительно к Адмиралтейству. Жили мы в спальном корпусе Дизельного факультета. Помню, нас восхищали такие детали курсантского быта, как турник в коридоре и двухпудовые гири возле него. Война уже шла вовсю: в то лето Дзержинка сделала сразу три выпуска. Первый — обычный после пятого курса. Второй и третий — дополнительные, то есть ускоренные. Лейтенантские звания получали перед отправкой на флоты и фронты курсанты, окончившие четвертый и третий курс. Даже мне, тогдашнему, показались совсем не командирами многие из них, озабоченно спешащие и красневшие от непривычного еще им нашего обращения: «Товарищ лейтенант!». У них был почти девичий румянец... Эти несколько дней в Ленинграде мы грузили какие-то громоздкие ящики и рыли «щели», так тогда назывались не очень глубокие длинные окопчики, в которых можно укрываться от воздушных налетов.

И вот — снова Москва. Бросаются в глаза, особенно в Центре, работы по маскировке. Искажающе перекрашен Большой театр, через Канаву, рядом с настоящим Чугунным мостом, сделан из досок и крашеной рогожи ложный мост, начали разбирать шпалеобразный шатер на красивой башенке МОГЭСа, похожей на кремлевскую, стоящую рядом с «Ударником». И так — по всему Центру. Именно в это время многие московские церкви потеряли вершины своих колоколен. Я не знаю, были ли эффективны эти маскировочные мероприятия, но моральный эффект они давали — в них (как бы) воплощалась потребность действовать, разбу-

женная войной в горожанах. На улицах и во дворах ставились бочки с водой, и рядом с ними — щиты с конусообразными, выкрашенными в красный цвет, пожарными ведрами. Кое-где на таких щитах были багры и клещи с длинными рукоятями. Около этого инвентаря обязательно находился песок в ящиках, а иногда и просто насыпанный в кучу.

Я помню, как мы с Володькой Л. завидовали в те дни Лене Д. — бывшему володькиному однокласснику. Он буквально на второй или на третий день после начала налетов немецкой авиации на Москву<sup>23</sup> прямо на улице затушил зажигательную авиабомбу. Сделал он это, — как он нам рассказывал, — как бы само собой: схватил клещами — и сунул в песок. Немцы тогда применяли в основном зажигалки небольшого калибра, фугасных бомб сбрасывали значительно меньше. Находившиеся недалеко от Лёни люди, в большинстве своем женщины, увидев обезвреженную бомбу, бросились к Лёне и чуть ли не принялись его качать от восхищения. Кто-то спросил, где он живет и как его зовут. Едва ли не на следующий день в московских газетах появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Лёнки медалью «За отвагу». Остается добавить, что Лёня был *спецом*, но не морским, а из авиационной спецшколы.

Между тем сводки Совинформбюро были безрадостными — мы везде отступали. В сводках очень редко сообщалось, что мы оставили такой-то город, просто появлялось новое направление, например, Смоленское или Брянское, и они все, эти направления, перемещались на восток. Часть школьных зданий переоборудовалась в госпитали, на улицах стали появляться раненые. В разговорах все чаще употреблялось слово «окружение», хотя в сводках оно почти не упоминалось. Обиходным словом стало и «эвакуация». Начали привыкать к молчанию радио после несколько раз произнесенного Левитаном: «Граждане, воздушная тревога!». Когда я пишу *радио*, я имею в виду радиотрансляционную сеть, все приемники чуть ли не на следующий день после начала войны были отобраны. Впрочем, тогда их было сравнительно немного. Нужен был — как воздух — хоть какой-то успех.

И этот успех появился: 7 августа наша авиация бомбила Берлин! Тогда в ходу было словосочетание «*морально-политический*». Так вот морально-политическое значение этого события было исключительно велико: подождите, и мы наступать начнем! Моя радость была бы еще больше, если бы тогда я знал, что удары по Берлину наносила военно-морская авиация. Но этой подробности не сообщалось. Впрочем тогда, в начале войны, не успели от-

---

<sup>23</sup> Первый налет был в ночь на 22 июля 1941 года.

метить и то, что наш флот при «внезапном» нападении Германии, не потерял ни одного корабля и ни одного самолета, встретив противника — в отличие от армии — в боевой готовности № 1. Ее объявил на свой страх и риск наш нарком адмирал Николай Герасимович Кузнецов. Последний налет тогда на Берлин был 4 сентября, немцы наступали и нам пришлось оставить остров Эзель, на котором находился аэродром флотской авиации.

Воздушные тревоги в Москве стали обычным явлением. Но вот один необычный налет мне запомнился. Он произошел в самом конце сентября или в первый день октября. В этот вечер я был дома. Мама, Нонна и я сидели за столом и пили чай. Окна, естественно, были зашторены (светомаскировка), радио было включено и сообщало о работе советско-англо-американской конференции по военным поставкам от союзников нам. Вдруг я заметил очень яркие полосы света по контуру маскировочных штормовых (одной из них было просто одеяло). Явно свет проникал снаружи, он был ярче света люстры и немного пульсировал. Радио говорило, тревоги не было, свет от какого-нибудь прожектора к нам никак попасть не мог, значит — на Старомонетном что-то горит. Сказав маме, что сейчас вернусь, — она сидела спиной к окнам, я стремглав выбежал в переулок. Зрелище перед глазами было почти фантастическое: на мостовой против нашего дома ярко догорала зажигалка, а дальше вправо, вдоль переулка, выровненные точно по линейке ослепительно горели еще три или четыре зажигалки! Несколько секунд я простоял в каком-то восхищенном оцепении. Зажигалка у нашего дома, выбросив напоследок сноп искр, погасла. Взяв оставшийся от нее стабилизатор — еще горячий — я медленно пошел домой. В чем дело, почему тревогу не объявляют? Радио работало, тревоги не было. И тут я сообразил: правильно сделали, что тревоги не объявили, ведь идут переговоры с англичанами и американцами. Им надо показать, что не такое у нас уже тяжелое положение, хотя мы несколько дней тому назад и оставили Киев... Иначе они подумают, что нам и помогать уже бесполезно, ведь как-никак, а они капиталисты все-таки.

Положение на фронтах продолжало ухудшаться, хотя и стабилизировалось, но стабилизировалось как наше медленное (по сравнению с первыми неделями войны) отступление. В начале сентября Ленинград, где мы были совсем недавно, такой красивый и, главное, морской город, оказался отрезанным от остальной страны на суше; у него остался только небольшой участок юго-западного побережья Ладожского озера. На юге были немцы, на севере — финны. Западное побережье Ладоги и наш Валаам оказались у них в руках.

1 сентября, как и положено, несмотря ни на что, в спецшколе начались занятия. Мы, то есть наша рота, стали девятиклассниками; правда, мы так себя никогда не называли, мы были, если и не морскими волками еще, то уж во всяком случае и не школьниками. Мы были *спецами*. Но регулярных занятий не получалось, надо было копать противотанковые рвы, разгружать вагоны с разными грузами (от бревен до боеприпасов), нести дежурство в местной ПВО. Сейчас я понимаю, что нас старались беречь, но нам тогда казалось, что мы находимся в гуще событий. 30 сентября началось непосредственное наступление немцев на Москву. Я сознательно пропускаю многие интересные для меня события, так как они находятся в стороне от цели моего повествования, скажу только, что наиболее употребительными словами по-моему тогда были *Совинформбюро* и *эвакуация*, а все разговоры в конце-концов сводились к судьбе Москвы. Но среди тех осенних дней один день оказался решающим. Все москвичи сходились в том, что этим днем было 16-е октября. Поэтому я остановлюсь на нем чуть подробнее, тем более, что в этот день на картине моей светлой гармонии появилось несколько новых трещин.

Утром, как и обычно, мы встретились с Володькой Л., чтобы ехать в нашу школу. Пока мы стояли на остановке, над нами пролетело несколько черных то ли хлопьев каких-то, то ли обрывков; посмотрев на них и друг на друга, мы недоуменно пожали плечами. Трамвая не было и, решив не дожидаться, мы пошли к метро пешком. Ближайшей станцией была «Библиотека им.Ленина», ее все ребята фамильярно называли просто «Библиотека». Пока шли к ней, обсуждали то, о чем тогда говорили все: «Будут или не будут сдавать Москву?». Незадолго до этого мы прочитали «Падение Парижа» И.Эренбурга, и когда с Большого Каменного моста нам открылась великолепная панорама Кремля — ее не портила даже искажающая раскраска Большого Кремлевского дворца — мы решили, что, вообще-то говоря, и Москву можно было бы объявить открытым городом. Хотя и понимали, что этого не будет. Мы — не какие-нибудь французы, чтобы отдавать столицу без боя, мы будем биться до конца. Было ветренно и прохладно, серые низкие облака бежали по небу, не отражаясь в Москве-реке. Когда подходили к Библиотеке, Володька заметил:

— Мы правильно сделали, что пошли, нас не обогнал ни один трамвай.

У входа в метро стояла небольшая толпа. И вот здесь мы узнали потрясающую новость: *метро не работало!* Потоптавшись несколько минут у дверей, люди молча отходили, даже не ругаясь. Молча потому, что говорить было опасно, найдется ка-

кой-нибудь дурак и скажет, что ты паникер или распространяешь слухи, оправдывайся потом. Но один бодрый голос нашелся:

— Метро работает. Только там сейчас сибиряков прямо с вокзала на фронт перебрасывают!

Я подумал, что так оно, наверное, и есть, перевозить с вокзала на вокзал на метро удобнее, чем по улицам. Только много лет спустя я узнал, что метро в тот день не работало совсем по другой причине. Его готовились взорвать, решение об этом было принято накануне. Накануне же было принято и решение о массовой эвакуации.

— Ну, что, поедем на трамвае, — сказал я Володьке.

Оказалось, что не ходят и трамваи, вся Моховая была запружена людьми; толпы продвигались к Центру, было чуточку похоже на праздничную демонстрацию. В памяти возникли мотив и слова припева популярнейшей песенки:

Кипучая, могучая,  
Никем непобедимая,  
Страна моя, Москва моя,  
Ты самая любимая!

Было похоже на демонстрацию, но не совсем, а как во сне. Людей было много, а одеты они были не празднично, только черные, темно-коричневые и темно-серые тона; не было, конечно, и красных транспарантов с лозунгами. У многих были противогазные сумки, надетые через плечо — эти люди или сменились с дежурства или, наоборот, собирались на него. А самое же главное — было очень тихо, непривычно тихо — до звона в ушах. Репродукторы, появившиеся после начала войны на перекрестках и других людных местах, безмолвствовали. Тишину как бы подчеркивало обычно неслышимое, а сейчас очень громкое, шарканье тысяч ног по мостовой, оно поглощало все разговоры.

Чем дальше мы уходили от «Библиотеки», тем гуще носились в воздухе черные хлопья. Все уже знали, что учреждения жгут архивы. Дымки вились из труб и обычных жилых домов (тогда отопление было в большинстве своем печное) — из них тоже летел бумажный пепел. Это значит, — подумал я, — это значит, что немцы могут захватить Москву; значит, все, что мы видим, это паника?..

— Володька, как ты думаешь, это паника?

— Я думаю, не совсем. Если бы совсем, то люди бежали бы.

Вразумив себя этими соображениями, мы дальше пошли быстрее, так как к площади Дзержинского народу заметно прибавилось. На улице Кирова — тоже было немного, но зато на Комсомольской площади — опять целое столпотворение. Здесь вдобавок ко всему была масса грузовиков и легковых автомашин.

Всеобщий гвалт дополняли гудки маневровых паровозов, доносившиеся от всех трех вокзалов. Еще минут пятнадцать ходу и мы наконец во дворе спецшколы. Ребят много, и все они съехались с разных концов Москвы:

— Столицу переносят в Куйбышев, все наркоматы переезжают!

— Точно, вчера весь дипломатический корпус уехал.

— Ребята, по дороге сюда слышал, что в Химках немецкие танки!

— А я слышал разговор, что прорвались их мотоциклисты.

— Недалеко от нас в магазине продукты раздавали! Без карточек и бесплатно.

— На выездах из Москвы на шоссе стоят патрули. Задержали нескольких директоров с деньгами, драпали на служебных «эмках».

— Нашему соседу деньги за два месяца вперед выдали.

.....  
— А Сталин уехал?

— Нет, вот именно Сталин в Москве остается!

— Ну, тогда порядок! А то вся эта эвакуация похожа на сдачу.

То, что Сталин в Москве, было, пожалуй, единственной радостной вестью. И все-таки реальной уверенности в тот день, что Москва не будет оставлена, у меня не было, это честно. Но и страха не было, это тоже честно. Ведь сдавали же Москву в 1812 году, а потом победили.

Вилька вскоре после начала войны поступил в спецшколу, но, проявляя самостоятельность, конечно, в артиллерийскую. Виделись в то лето мы не часто, тем более, что после возвращения из Ленинграда нас — моряков! — отправили на лагерный сбор в Сельцы, — это на Оке. Там мы постигали одиночную подготовку бойца и премудрости действий в составе отделения и взвода. Много ходили и на шлюпках — до постоянных мозолей на ладонях и на том месте, которое называется «мадам сажу». В конце августа нас быстро вернули в Москву, так как в Сельцах надо было освободить место для развертывания польских воинских формирований генерала В.Андерса.

Когда я вернулся, Вилька мне рассказал, как он в июле чуть не погиб. В один из вечеров он дежурил на чердаке нашего дома:

— Вдруг, представь себе, грохот и яркий свет. Мне показалось, что вся крыша поднялась в воздух и повисла, а потом стала медленно падать на меня, и я подумал, ну, сейчас конец! Через несколько секунд понял, что жив, хотя дышать было трудно — нос и рот были забиты пылью. Три дня я потом ничего не слышал, оглох!

Фугасная бомба попала в ту часть дома, где жил Ваня Бадаев, это всего в полусотне метров от места вилькиного дежурства. В доме никто не пострадал, все ушли в подвал соседнего дома, в котором было оборудовано бомбоубежище.

— Теперь я могу по звуку моторов, — продолжал Вилька, — отличать немецкие самолеты от наших: у наших высота звука почти постоянная, а у немцев как бы с подвыванием, то повышается, то понижается, вроде волн.

Последний раз мы с Вилькой виделись незадолго до 16 октября. У нас уже было предчувствие, что скоро надо будет расставаться — обстановка в Москве ухудшалась и упорно поговаривали, что спецшколы будут эвакуированы. Так оно позднее и случилось, а в тот день мы с Вилькой решили стать побратимами. Каждый из нас, уколов палец иголкой, выдавил каплю крови и размазал ее по тыльной стороне ладони. Затем мы прижали эти места наших рук друг к дружке и крепко потеряли их, — именно так представлялся нам обряд побратимства, вычитанный в книжках про индейцев (у Вильки было несколько таких книг — это были дореволюционного издания школьные книги его мамы).

Речь Сталина на московском параде 7 ноября 1941 года я слушал по радио уже в Сибири: наша спецшкола в конце-концов осела в Ачинске, вилькина (2-я артиллерийская) — в Ленинске-Кузнецком, авиационная — в Анжеро-Судженске... Известие о параде воспринималось восторженно: пусть немцы под Москвой, мы всему миру демонстрируем нашу силу, Октябрьская революция непобедима, наши резервы только разворачиваются, победа будет за нами! Вместе с тем в словах Сталина я уловил (как бы это получше сказать) что-то вроде отказа от классового подхода. На самом деле:

«... Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победное знамя великого Ленина».

Одно дело, когда до войны показывали «Александра Невского», это, все-таки, кино. А здесь — речь вождя. Это уже закон, факт и признание заслуг. Словам вождя предшествуют действия, а после произнесения слов сами эти слова уже превращаются в самостоятельную силу, в государственные символы и ритуалы.

В сентябре 1941 года из небытия, точнее чуть ли не из царского «проклятого прошлого», вдруг вернулось и засияло первозданным блеском слово *гвардия*. За массовый героизм, мужество и воинское мастерство в боях под Москвой 100-я стрелковая дивизия была переименована в 1-ую гвардейскую стрелковую дивизию.

зию. В решении Ставки Верховного Главнокомандования (в нем указаны еще три дивизии) что ни слово — то символ, даже фамилия командира первой гвардейской — Руссиянов!<sup>24</sup> Слова Сталина «Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина» были совершенно реально воплощены в новом гвардейском знамени. На нем в центре был помещен портрет Ленина в таком же ракурсе, как обычно изображают лик Иисуса Христа на иконах. Над Лениным в виде нимба полукруглая надпись: «За нашу Советскую родину!». Самое главное для меня было именно в этих словах — они заменили казавшиеся мне священными «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А как же быть с пролетарским интернационализмом? В оборот уже входили выражения «англо-советско-американский боевой союз» и «антигитлеровская коалиция»; но это, так сказать, союзники, а где братья по классу?..

Никакого объяснения, кроме как «оболванивания» и подкупа верхушки рабочего класса — рабочей аристократии — буржуазией, у меня по-прежнему не было. Особой разницы между англичанами и французами, с одной стороны, и немцами — с другой, я до начала войны не видел: те и другие были капиталистами. Но в эпоху империализма, как писал Ленин, у нас появилась возможность использовать их противоречия, обострившиеся из-за неравномерного развития капитализма. Это было, кстати, и хорошим объяснением для договора 1939 года с Германией. Мы их, то есть и англичан, и французов, и немцев, просто обхитрили, использовав их противоречия. Куда там Гитлеру с его нордической хитростью против большевиков! А вот когда немцы напали на нас, — это было нечестно, ведь договор-то надо соблюдать!..

Наше контрнаступление под Москвой началось 5 декабря 1941 года, об этом только спустя несколько дней, когда уже были достигнуты успехи, сообщили газеты. Началось наступление и в Крыму. В последние дни декабря у нас только и разговоров было, что о Черноморском флоте: 29 декабря высаженные с кораблей десанты освободили Феодосию, а 30 декабря — Керчь! Музыка приближающейся победы казалось звучала в названиях кораблей: «Красный Кавказ», «Красный Крым»<sup>25</sup> (крейсера), «Харьков» (лидер)... В сводках Совинформбюро перечислялись морские звания и фамилии моряков. Мы, как говорил Чапаев в фильме, к «чужой славе не примазываемся», но, тем не менее! Победа под Москвой и успешное зимнее наше контрнаступление в конце-концов обрело лапидарную завершенность в словах: «Под Москвой был впервые развеян миф о непобедимости немецко-фа-

---

<sup>24</sup> Генерал-майор И.Н.Руссиянов.

<sup>25</sup> Крейсер «Красный Кавказ» гвардейским стал в апреле 1942 года, а «Красный Крым» в июне того же года.



шистской армии». Так было сказано Верховным Главнокомандующим, которым с августа стал товарищ Сталин.

В январе 1942 года у нас появилась четверка артиллерийских спецов во главе с Борисом Никитиным. Они были в серых шинелях, красноармейских шапках-ушанках, и у них у всех были полевые, то есть защитного, а не черного цвета, петлицы. А у Бориса на них было еще по четыре треугольника — старшина роты! В Москве до войны мы — моряки — как-то несколько свысока относились к своим артиллерийским братьям (впрочем, как и они к нам), а здесь — во глубине сибирских руд — мы с радостью встретили прибывших земляков, засыпав их вопросами о жизни в родном городе. Наше уважение особенно возросло, когда мы узнали, что Борис воевал под Москвой в тылу у немцев, в таком же отряде, как и Зоя Космодемьянская. Борис выделялся своей неторопливой серьезностью, а его врожденная доброжелательность удивительно гармонировала с легким характером и виртуозной игрой на рояле. Володька Р., который до этого был у нас признанным музыкальным лидером, теперь должен был разделить свою славу с Борисом, причем и буквально — они часто играли в четыре руки. Кроме музыкального, у Бориса был еще талант арбитра, он мог примирять даже самых отчаянных спорщиков.

Борис попал в наш класс и совершенно естественно вошел в нашу «могучую коалицию» (так мы себя иногда называли), состоявшую из Гены, Володи К., Аркадия М., Первомай и меня.

Зимнее наступление 1941-42 года было недолгим, особенно в Крыму. Почти до тоски было жалко узнать, что 17 января 1942 года оставлена Феодосия, а 20 мая Керчь. Но ведь не моряки же были в этом виноваты!

Медали за оборону Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда были учреждены 22 декабря 1942 года, а за оборону Москвы — только 1 мая 1944-го. Все-таки несочетаемые слова *Москва* и *паника* 16 октября соединялись. В решете истории остаются медали, песок же подробностей уносит река времени.

После победы под Москвой у меня никогда уже не появлялась мысль о возможности нашего поражения в войне. Уверенность эта была чуть-чуть от сказки, где всегда конец благополучен. Первые трещины, появившиеся на великолепной картине моего гармоничного мира, были все же поверхностными. Внутри мир оставался неизменным. Я приведу два события, которые случились (их, конечно, было значительно больше), чтобы показать это.

Долговязый Вадим Ш., готовый, как и все мы тогда, съесть все, что только съедобно, вдруг то за обедом, то за ужином стал откладывать кусочки хлеба, а иногда и сахар и аккуратно завер-



пела Русланова. Ее «Ах, Самара-городок, беспокойная я...» и «Валенки», ее звонкий и сильный голос, заполняющий весь зал, а не пространство у авансцены, ее чисто русский тембр — я не могу сказать по-другому, — ее свободная манера держаться и владеть залом — ошеломляли!

Была и известная смелость — в Куйбышеве петь про Самару, хотя... что-то уже сдвинулось в общественном сознании. Слово *русский* стало звучать свободно — почти как *советский* — в общественном преломлении, а не только в обозначении школьного предмета или пункта анкеты. Война сделала это, она тогда уже стала повседневностью и тяжелейшей данностью. А как же воевать без России? Именно с началом войны *Россия* вошла в обиходную и даже почти в официозную речь, потеснив аббревиатуру ЭРЭСЭФЭСЭР. Как раз тогда, вскоре после начала войны, А.Н.Толстой написал «Русский характер». В 1942 году появились знаменитое стихотворение Константина Симонова, начинавшееся словами:

Если дорог тебе твой дом,  
Где ты русским выкормлен был...

и призывавшее к беспощадному истреблению фашистских захватчиков. Стихотворение заканчивалось так:

Пусть исплается не твоя,  
А его родившая мать,  
Не твоя, а его семья  
Понапрасну пусть будет ждать.  
Так убей же хоть одного!  
Так убей же его скорей!  
Сколько раз увидишь его,  
Столько раз и убей!

Симонова очень любили. Его «Жди меня» наизусть знали, без преувеличения, почти все! Военные, особенно молодые, постоянно и бесконечно спорили, читая его «Открытое письмо. Женщине из г. Вичута». Симонов был поэтом-властителем дум того военного времени. О нем тогда и анекдоты ходили. Все почему-то знали, что он любил очень известную в те годы актрису Валентину Серову и посвятил ей целый цикл стихов «С тобой и без тебя». Сталин, якобы, прочитав эти стихи, сказал:

— Хорошие стихи. А какой тираж книги?

— Сто тысяч экземпляров, товарищ Сталин.

— Много. Надо бы издать в двух экземплярах. Один ей, один — ему.

Жизнь в Куйбышеве бурлила. Мне запомнилась встреча с раненым под Севастополем моряком. Он рассказывал, чуть заикаясь и почти по-газетному, как оставляли город, но когда ему нужно было узнать, сколько времени, он спрашивал:

— Какое сейчас давление?

В этом вопросе был настоящий флотский, точнее корабельный, шик. Это «давление» вошло в наш обиход сразу.

В самом городе мы были недолго, нас отправили на несколько километров вверх по Волге на Поляну Фрунзе, где мы проводили или проходили «лагсбор», то есть жили в палатках и занимались боевой подготовкой. Сразу выяснилось, что не хватает шлюпок, а какая без них подготовка моряков? — и нас с Сашкой Т. под начальством преподавателя истории С.М. Шпигельгласа направили в Астрахань во «Фрунзе» (так мы называли между собой Высшее Военно-Морское ордена Ленина Краснознаменное училище имени Фрунзе, эвакуированное из Ленинграда). Нам надо было получить две шлюпки-шестерки и доставить их в Куйбышев. До Астрахани мы шли на теплоходе «Максим Горький». Бросалось в глаза, что многие его переборки были исписаны по-немецки, почти исключительно женскими именами с часто повторяющимися словами прощания. До сих пор помню «Lebe wohl, mein Blumchen»<sup>26</sup>. Когда теплоход проходил мимо Энгельса — столицы бывшей АССР немцев Поволжья — я вдруг сообразил, почему появились эти сентиментальные граффити: наверное на «Горьком» отсюда и вывозили немцев. Меня в то время совершенно не удивляло это переселение. Правда, даже самому себе я не решался сказать, что это *высылка*. Чего особенного? Ведь немцы наступают, даже наш теплоход ночью идет затемненным, а шпионы, конечно, среди наших немцев могут быть. И потом: война, все куда-то передвигаются, столько эвакуированных из западных областей! Так что ничего особенного. Правда, я был уверен, что *наших* немцев как увезли, так же организованно и вернут обратно.

Лишь позднее, когда я узнал, что выселяются целые народы, например, крымские татары, это вызвало настоящее удивление. Народ был для меня понятием священным, народ всегда прав, ведь партия служит народу, а не наоборот. Не может народ состоять из одних предателей, а тут переселяют целые народы. Впрочем, об этих делах говорили шепотом...

Во «Фрунзе» нас приняли очень заботливо — там были знакомые москвичи-однокашники из бывших 1-ой и 2-ой рот. Из первой ребят было меньше, часть их них погибла прошлым (1941 г.)

---

<sup>26</sup> Прощай, мой цветочек (нем.).

летом под Ленинградом. Сразу — мы с Сашкой не успели даже сдать продаттестаты — нас повели в столовую. Было жарко, солнце просто палило, и поэтому необыкновенно вкусен был фруктовый суп. Собственно, это был холодный компот из сухофруктов с рисом и без сахара. Мне обед запомнился потому, что холодное первое я ел только дома, когда еще была жива бабушка, — летом она любила готовить окрошку.

Внимательно осмотрев Сашку и меня, наши покровители решили, что бескозырки у нас никуда не годятся и повели нас в швальню<sup>27</sup>. На следующий день стандартные головные уборы наши превратились в нечто несравненное. К ним прикоснулась рука мастера: они отвечали всем требованиям устава и в то же время превратились из гадких утят в прекрасных лебедей, их формы стали совершенными, а о белый кант на тулье буквально можно было обрезать. Позднее в наших бескозырках ребята обычно фотографировались.

В училище везде царил флотский порядок, все делалось быстро и четко. Единственное, что вызывало у меня внутреннюю улыбку (внешне ее было бы неприлично показывать) — это отдание чести офицерами, которые разъезжали между разбросанными по огромной территории зданиям на велосипедах. Я почему-то вспомнил чеховский рассказ «Человек в футляре», там есть место, где Беликов говорит, что преподавателям гимназии и дамам неприлично ездить на велосипеде. Действительно, когда какой-нибудь почтенный капитан первого ранга, отвечая на твое приветствие, отпускает руль велосипеда и поднимает руку к козырьку, его равновесие ездока оказывается неустойчивым!..

От Астрахани военного времени у меня осталось еще несколько воспоминаний. Я, конечно, заходил к тете Шуре. Первый раз мимоходом, когда по делам был в городе (мы, естественно, жили в училище и никуда не могли из него выходить без разрешения), а второй раз уже, так сказать, официально, с увольнительной<sup>28</sup> в кармане. Геннадий (сын тети Шуры и мой двоюродный брат) по этому случаю раздобыл где-то довольно увесистый кусок осетра. Я пишу раздобыл, так как купить было нельзя — уже давно были карточки. Тетя Шура сварила несравненную уху, а точнее похлебку, и я как следует наелся; если мне память не изменяет, я съел три тарелки. Должен сказать, что я бы ограничился и двумя, но тетя Шура настаивала, так как второго не было. Из-

---

<sup>27</sup> Швальня — флотское название мастерской по подгонке и пошиву обмундирования.

<sup>28</sup> Увольнительная записка — документ, выдаваемый военнослужащим срочной службы.

за этого она чувствовала себя неловко, а я ее утешал, говоря, что вот-вот будет открыт второй фронт<sup>29</sup>, и война скоро кончится. Здесь я замечу, что одним из постоянных ощущений военного времени было желание поесть. Все разговоры, связанные с едой, в том числе и воспоминания о довоенном изобилии московских гастрономов, мы условно называли темой № 1. Темой № 2 были девчонки.

Во время этой командировки у меня украли бумажник. Трамваи в Астрахани были по существу единственным городским транспортом и ходили всегда переполненными. Однажды в таком трамвае я висел на подножке. Чувствую, что сзади кто-то лезет в карман. Но ни повернуться, ни отпустить хотя бы одну руку не могу. Даже ногой лягнуть невозможно!.. Расстроен я был очень: ничего существенного в бумажнике не было, кроме комсомольского билета. За его утерю по возвращении я получил строгий выговор с предупреждением. Тогда единственный раз я позавидовал армейцам — у них на гимнастерках есть нагрудные карманы. А какие у нас карманы на фланелевых или форменках? Некоторые ребята шили полотнянные мешочки для билетов, а потом изнутри прикалывали их английской булавкой. Но опять было плохо: часть булавки была видна снаружи, да и сам билет выступал. Пришить карман изнутри тоже нельзя, шов будет виден. И в то же время нельзя терять комсомольский документ! Это потеря бдительности, враг охотится за комсомольскими билетами. Мне было понятно, что окончательное решение можно было найти только одев командирский китель.

Возвращались из Астрахани мы в невероятно роскошных условиях — у нас с Сашкой заботами наших шефов была двухместная каюта. Мы иногда спускались из нее на нижнюю палубу и самодовольно осматривали наш груз — два шестивесельных яла, аккуратно накрытых чехлами. Некоторые пристраивались к нашим шлюпкам — народу было много — чтобы, разложив на парусине нехитрую снедь, перекусить. Мы неодобрительно смотрели на это дело и, стараясь придать себе солидности, выговаривали:

— Осторожнее, груз военный!

И люди, старше нас, вместо того, чтобы ругнуть нас за фанатерию, с пониманием кивали головами:

— Вы, ребятки, не сомневайтесь, мы понимаем, сейчас все уберем и стряхнем...

Особенно много народу стало после Сталинграда. Там наш пароход грузился ночью. В мертвенном свете синих лампочек

---

<sup>29</sup> В Западной Европе.

маскировочного освещения на борт тихо поднимались эвакуированные, в городе была воздушная тревога. В летнем черном бархатном небе вспыхивали оранжевые взрывы зенитных снарядов, совсем как прошлым летом в Москве!

Утром, выйдя на верхнюю палубу, я увидел девушку с золотыми волосами. Они были именно не золотистыми, а золотыми. Я не сразу понял — почему. Так ведь у нее карие глаза! Могу сказать, что больше мне никогда не пришлось видеть такого естественного красивого сочетания цвета глаз и волос. Познакомиться в дороге — пустяк, и я вскоре узнал, что ее зовут Милочкой, что она десятиклассница из Краснодара, недавно занятого немцами, что она вместе с мамой добирается к дальним родственникам в Куйбышев... Надо ли говорить, что об украденном билете я на время перестал думать.

В самом начале осени 1942 года наша рота возвратилась в Москву. Выгрузились мы на Курском вокзале, немудреный багаж был отправлен на грузовике к новому месту нашей службы, а мы налегке, с замиранием сердца, вышли на Садовое кольцо. Редко, когда так строго держалось равнение и так четко печатался шаг, разве что на самых ответственных парадах! И не надо было «подсчитывать ногу» и напоминать об интервалах — все получалось идеально само собой, хотя разговоров в строю было недопустимо много. Бросались в глаза малолюдность улиц и комендантские патрули, очень мало стало легковых машин, иногда встречались новые военные грузовики, каких не было до войны — «Студебеккеры» и «Шевроле». Нас очень занимало, скоро ли у нас будет (и будет ли вообще) увольнение в город: многие из ребят проходили мимо своих домов. (Первый раз нас отпустили в город через два с лишним месяца, на ноябрьские праздники).

У Белорусского вокзала мы свернули на Ленинградское шоссе<sup>30</sup> и продолжили свой марш к Соколу, недалеко за которым в помещении бывшего, то есть довоенного Техникума Кооперативной торговли, помещалось эвакуированное из Выборга Военно-Морское хозяйственное училище. При нем — оно было средним — был организован подготовительный курс для высших военноморских училищ, на который были собраны тогдашние выпускные (то есть десятые) классы двух военно-морских спецшкол — Московской и Горьковской.

В красивом оригинальном здании — красивом целесообразной и функциональной красотой советского конструктивизма конца 20-х годов — нас ждала новая жизнь: мы становились полноправными военнослужащими. Во-первых, мы получили удос-

---

<sup>30</sup> Ленинградского проспекта еще не было, это название появилось в 1957 году.

товарения — служебные книжки краснофлотцев, во-вторых, бантики на бескозырках были заменены настоящими, флотскими ленточками с якорями на концах и, в-третьих, мы приняли присягу. Все эти события были радостными, но в первых двух была и доля огорчения. В служебной книжке нам записали, что служба в ВМФ у нас значится только со дня прибытия на подготовительный курс. Это было несправедливо: что же, мы два года до этого ничего не делали? Впрочем, это огорчение было почти мимолетным; жизнь казалась бесконечной, и если бы кто-нибудь тогда спросил, какие пенсии у командиров и когда можно уходить в отставку, — его бы подняли насмех: не то что вопроса, мыслей таких не было. Зато приятно было прочесть, что на военно-морскую службу мы не призывались каким-то там военкоматом, а пришли добровольно. Это было истинной правдой! Пожалуй, больше тогда огорчило то, что надпись на ленточке «Воен. Морск. хоз. уч-ще», как и якоря на ее концах, были серебряного, а не золотого цвета. Никто не хотел быть интендантом!<sup>31</sup> Это нас задевало настолько, что многие, уходя в увольнение в город, тайком меняли ленточки. У меня, к примеру, была подаренная мне во «Фрунзе» ленточка с золотой надписью «Гидрографическое училище».

Принятие присяги было обставлено торжественно. Каждый, прочитав ее текст и держа в левой руке винтовку с примкнутым штыком, ставил свою подпись. Текст присяги был новым, принятым в 1939 году, и начинался словами: «Я, гражданин СССР...». Это начало мне нравилось больше, чем начало старой присяги, где было «Я, сын трудового народа...» (эти слова я хорошо помнил по одноименной повести В.Катаева, печатавшейся в «Пионерке» в 1937 году). Казалось бы, ну что тут такого, разница небольшая. На самом же деле разница была огромной: раньше на первом месте был *народ*, а теперь стало СССР, т.е. *государство*. Это изменение мне нравилось еще и потому, что понятие «трудовой народ» было несколько сомнительным по отношению к интеллигенции, даже трудовой. Полной ясности о том, входит ли интеллигенция в народ, у меня так до конца и не было. А тут — все ясно: у государства, то есть у СССР, *каждый* его человек есть гражданин.

Перед приемом присяги нас заставили вновь изучать уставы, хотя они нам были хорошо знакомы по спецшколе. Но, тем не менее:

О воин, службою живущий!

Читай Устав на сон грядущий,

---

<sup>31</sup> Нарукавные нашивки у командиров-интендантов и соответственно надписи на ленточках у курсантов были серебряного цвета.



И поутру, от сна восстав,  
Читай усиленно Устав!

Эти строки приписываются Петру I (по крайней мере мы так считали), и я думаю, что они всегда актуальны. Во всяком случае уставы мы знали назубок. Уставные положения о том, что приказ начальника — закон для подчиненного и что приказ должен быть выполнен точно, безоговорочно и в срок, к тому времени для меня давно уже были азбучной истиной. На занятиях нам объясняли, что еще всего несколько лет назад (наверное, до событий на оз. Хасан) существовало положение, по которому выполнялись все приказы, кроме явно преступных<sup>32</sup>. Я вполне одобрял эту отмену: если для спасения, скажем дивизии, надо пожертвовать взводом — ничего в этом страшного нет. И если с точки зрения взвода приказ и может показаться преступным (там могут и не значить, особенно по соображениям военной тайны, что они спасают дивизию), то на самом-то деле просто торжествует высшая справедливость. Ну, а то, что убьют... — так ведь присягали не шадить своей жизни.

Одно положение — это в Дисциплинарном уставе — долго вызывало у меня не то, что удивление, но казалось неверным: коллективные жалобы запрещались. Тут был какой-то отход от коллективизма: от всегдашей правоты МЫ, от «общественного», которое выше частного. Чего только не оправдает любящее сердце, и я нашел этому положению романтически-воспитательное объяснение: если ты считаешь, что ТЫ прав — ничего не бойся и иди смело, борись за правоту.

Готовясь к зачету по уставам, я просмотрел довольно много соответствующей литературы, и помню, мне попались слова М.В.Фрунзе о том, что будущая война «...будет носить характер классовой гражданской войны», что мы «...будем иметь союзников в лагере наших врагов»<sup>33</sup>. Эти слова героя Гражданской войны были явным анахронизмом, — на дворе стояла осень 1942 года. Но ведь Фрунзе-то думал как и я раньше! Это было для меня хоть и запоздалым, но своеобразным утешением. С той же поры я запомнил и его слова о том, что Красная армия является самой дешевой армией в мире.

Распорядок дня в училище соблюдался с точностью до минуты. Но редкие исключения бывали. Речь Сталина на торжественном собрании, посвященном XXV годовщине Октября, мы слушали по трансляции в священное время самоподготовки. Уди-

<sup>32</sup> Я думаю, что это был рудимент гражданской войны, когда «белые» привлекались в Красную армию в качестве «военспецов».

<sup>33</sup> Это М.В.Фрунзе говорил в 1925 году на январском пленуме ЦК РКП(б) в докладе об итогах военной реформы.

вительное дело: есть, скажем, обыкновенная поговорка, но когда ее произносит вождь, она вдруг приобретает особый смысл пророчества. И если это пророчество не сразу, но достаточно быстро осуществляется, то вождь многократно усиливает свой мистический ореол оракула и повелителя судеб одновременно. Положение под Сталинградом в начале ноября было критическим, у нас на берегу Волги оставалось всего несколько сотен квадратных метров. Все содержание речи Сталина в конце-концов сводилось к одному: «Будет и на нашей улице праздник!».

И вот 19 ноября начинается наше наступление, а 23-го группировка фельдмаршала фон Паулюса в составе двадцати двух дивизий уже окружена! Наконец-то все становилось на свои места: «И от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильнее!».

Позднее 19 ноября 1942 года станет праздником — днем артиллерии, но мне кажется, что значение этого дня неизмеримо большее.

Я никак не хотел расставаться со своим довоенно-детским «классовым» взглядом на шедшую войну. В боях под Сталинградом погиб Рубен Ибаррури, сын Пассионарии. Когда я это узнал, помню, еще подумал, что мог до войны видеть его на Клязьме в испанском детском доме. Мы знали, что на фронте против нас действует посланная Франко испанская «Голубая дивизия», тут ничего не поделаешь, что есть — то есть. Но вот ведь Рубен погиб за нас, за наш общий Интернационал, тем самым проявив пролетарскую солидарность. Ведь его никто не заставлял, он сделал это добровольно!

Мое постоянное возвращение к довоенным представлениям было не совсем случайным. Я думаю, что во многом оно объяснялось невидимым, да и невиданным идеологическим (тогда чаще употреблялось слово *пропагандистский*) давлением, которое царило во всей общественной жизни. Особенно квалифицированным это давление было в армии и на флоте. А о курсантах и говорить не приходится: все свое время мы проводили как в монастыре, за четырьмя стенами училища. В город, то есть в увольнение, нас отпускали на несколько часов всего два, максимум три раза в месяц. Но это, так сказать, к слову.

Сталинградская битва принесла, я бы сказал, фундаментальные изменения в общественном сознании. В октябре 1942 года, в разгар боев, издается Указ Президиума Верховного Совета ССР об установлении полного единоначалия в Красной Армии (9 октября) и в Военно-Морском флоте (13 октября)<sup>34</sup> и об упраздне-

---

<sup>34</sup> Напомню, что до 1946 года наркомат Обороны и наркомат ВМФ были самостоятельными.

нии института военных комиссаров, поспешно введенного вскоре после начала войны (16 июля 1941 года).

Мне представляется, что власть слова и символа обладает несравненным воздействием на психику и отдельного человека, и толпы, и народа; они — эти символы и слова, которые я бы назвал сакральными — вызывают огромную энергию действия. Победа под Сталинградом тут же закрепляется введением погон — в Красной Армии с 6 января, а в ВМФ с 15 января 1943 года. Погоны эти — символ победы, добытой в тяжелейших боях! Так они тогда только и воспринимались. Указ о введении погон поражал смелостью и широтой государственного мышления: ведь надо было переступить через догму о том, что погоны могут быть только у *белых* и вообще у врагов, а *красные* тем и отличаются, что у нас погон сроду не было. Для нас, по существу мальчишек, это стало потрясением. Конечно, готовых погон сразу еще не было. Мы с Геней Н. начали проявлять максимальную активность, чтобы их заполучить, хотя и понимали, что все равно, пока организованным порядком их всем не выдадут, надевать погоны нельзя. И Гена совершил почти невероятное. Через какие-то домашние связи он достал две пары погончиков с якорьками золотистого цвета. Если бы кто-нибудь нам решился сказать, что мы становимся «золотопогонниками», мы бы рассмеялись и с чувством самодовольного превосходства ответили бы:

— Надо понимать диалектику исторического развития государства!

После Сталинграда впервые стали с определенностью поговаривать о грядущей победе и об окончании войны. Любопытно: после Москвы появилась твердая уверенность в нашей непобедимости, но она уходила в какую-то неопределенность в смысле сроков. А после Сталинграда появились сроки — годика полтора, ну два, а если второй фронт будет, то и побыстрее!

Зимой в начале 1943 года к нам в училище приезжал Илья Эренбург. Его популярность тогда была необычайно велика, номера «Красной Звезды» с его статьями зачитывались до дыр. Эренбург держался очень естественно и, я бы сказал, благородно открыто, речь его была спокойной, иногда чуточку ироничной, без лозунгов и призывов, к которым мы привыкли. Одет он был просто и удобно, и только покрой и фактура ткани его костюма были «не наши».

Эренбург долго и интересно рассказывал о своем житье в Германии и о чертах немецкого национального характера. Он с полной убежденностью, — а это ведь было только начало 1943 года! — сказал:

— Немцы будут приходить сдаваться в плен строем, под командой своих фельдфебелей или офицеров и аккуратно по счету сдавать оружие. Партизанской войны они, в отличие от нас, вести не будут.

Мы до боли в ладонях аплодировали Илье Григорьевичу за это его предвидение. По достоинству же оценить это предвидение мы смогли только в 1945-м! Но для меня описываемая встреча была еще и своеобразным откровением из-за другого. Он рассказал, как в дофашистской Германии он однажды наблюдал разгон забастовки полицией. Шутцманы окружили бастовавший завод и стали вытеснять рабочих с его территории, оставив всего один выход через главные заводские ворота. Перед этими воротами находился зеленый, хорошо ухоженный газон, и поэтому забастовщикам, выбегающим с завода, надо было дальше двигаться по дорожке перед газоном направо или налево. Там-то и стояли полицейские, которые хватали забастовщиков и тут же запикивали их в полицейские машины. А дальше Эренбург сказал:

— Я стоял и наблюдал за этой сценой. Если бы кто-нибудь побежал через газон, он бы не был схвачен, там просто полиции не было. Но никто не решился пробежать по газону!

Через некоторое время после этой встречи я получил еще один совет в виде своеобразного афоризма, который всегда мне помогал, если я им пользовался. Конечно, этот совет не предназначался исключительно мне. Совет исходил от капитана Зурина, преподававшего нам тактику сухопутных войск. Выправка у него была великолепной, слова, произносимые им, всегда имели четкие окончания, он никогда не позволял себе суетливых движений. Карандаши, которыми он пользовался, всегда были остро отточены. Ко всему прочему манжеты, выглядывавшие из рукавов его кителя, были безупречными. Правда, мне казалось, что он для капитанского звания староват. Впоследствии всему сказанному нашлось объяснение — он служил еще в царской армии, и с началом войны был призван из запаса. Так вот, капитан Зурин говорил:

— Запомните, все сразу надо делать *начисто*. Никаких черновиков! Вы люди военные, у вас никогда не будет времени переделывать.

Вернусь к 1943 году, так сказать, вообще. В середине, 15 мая, в газетах появилось сообщение о роспуске Коминтерна (Третьего — Коммунистического! — Интернационала), которое было принято президиумом его исполкома из-за, как писалось, «изменившихся условий деятельности компартий». Этот роспуск тогда

мне представлялся как формальная уступка нашим военным союзникам, не более того. В сообщении говорилось и о создании Информационного бюро коммунистических партий — Коминформа. Последний просуществовал недолго, но Коминтерн так и не воссоздавался больше. Именно с того времени ВКП(б) перестала даже эфемерно принадлежать и, следовательно, быть подотчетной интернациональному объединению коммунистов, партия стала совершенно самостоятельной государственной структурой. Так было сказано последнее «прости» такой романтической и такой безоглядной идее — идее Всемирной Пролетарской Революции. Это «прости» почти не было слышно в громоподобных потрясениях Второй мировой войны.

Летние указы Президиума Верховного Совета (24 июля и 10 августа) ввели в военный, а точнее во всеобщий обиход слово *офицер*. Эффект был потрясающий, почти такой же, как при введении погон.

Вилька все это время оставался в Сибири, их спецшколу никуда не переводили и нам оставалось только переписываться. У меня сохранилось — видимо, перст судьбы — несколько его писем. Что Вилькино, что мое восприятие окружающего — разницы практически не было. Вилька иногда присылал стихи. На его слова у артиллерийских спецов была даже песенка: «Во глубине сибирских руд спецы московские живут...». Вот отрывки из вилькиного стихотворения лета 1943 года.

<...> Нам не приходится Гамлетом петь:

«Быть

иль не быть

днесь?»

Нам остается вперед глазеть.

Благо,

что путь виден весь.

Наша дорога,

как выстрел, пряма.

Прямо пошел —

герой!

Если ж свернул от большого ума -

Сдохнешь.

И черт с тобой!

Знаем, что труден,

знаем — тернист,

Знаем —

коварен путь,

Но ты ведь матрос,  
а я артиллерист  
И нам ли  
с него  
свернуть?!  
<...> А через год,  
грохоча на путях,  
На запад рванет эшелон.  
За все,  
за все сторицею мстя,  
Пройдет по Германии он.  
И спец не забудет,  
запомнит спец  
(Иль прочь  
отлети,  
голова!)

Дымный,  
кровавый,  
живой  
рубец

На теле твоём,  
Москва!  
<...> Пока!  
До свиданья!

Лапу — хлоп!  
Встретимся, друг, потом!  
Зато уж и выпьем!  
Всемирный потоп  
Покажется жалким  
плевком.

2—6—43 Лен(инск)-Куз(нецкий)

Конечно, насчет «выпьём» — это поэтическая гипербола, Вилька был пуританином, но в остальном — все точно. Так же воспринимали войну и окружающий мир — я не ошибусь — и Гена, и Борис, и Володя, и Май, и Аркадий...

В ходе общих перемен того года училище было переименовано в Интендантское училище ВМФ. Название стало более солидным, но... «нам какое дело!». Мы были снобами и серебряный цвет считали второсортным. Не из-за этого, конечно, но отношение к нам было чуть-чуть не таким, как к остальным: наш подготовительный курс был временным подразделением. Было и еще одно обстоятельство. В самом начале, на второй или на третий день после нашего прибытия, не познакомившись толком с нами и,

видимо, не очень представляя наши настроения, начальник училища капитан 2-го ранга Кацадзе, проверяя, как мы разместились, в очень резкой форме сделал замечание нашему спецудневальному. Само по себе это не имело бы никаких последствий, к строгости мы привыкли и на нее, как это требовал устав, не жаловались, тем более, на то и начальство, чтобы находить недостатки. Но... начальник училища выкрикнул слова, которые, вылетев как воробей, до сих пор (!) у каждого из наших ребят вызывают неудержимый смех:

— Ишь, стоит, понимаэш, во всем суконном, и нэ цэнит!

Во фразе все для нас казалось оскорбительным. Чего нам ценить — интендантство? Мы же будем командирами кораблей, штурманами, артиллеристами, в крайнем случае корабельными инженерами! Или то, что у нас фланелевые и брюки из сукна? Так мы их третий год носим, какая тут привилегия? И что ценить, что мы в тылу, что ли? Так мы давно на корабли просимся, а нас не пускают! Короче, «во всем суконном, понимаэш» стало крылатым выражением. Начальника училища поначалу просто боялись, потом, когда узнали ближе, стали относиться лучше, но забыть случившееся не смогли и потешались все время. Стоило кому-нибудь негромко сказать: «Стоишь, понимаэш, во всем суконном!», — и шеренга, идущая в караул, наряд или увольнение, подавала от смеха. И ничего нельзя было поделывать! Правда, ближе к концу — нашему отъезду — крылатое выражение и его автор отделились друг от друга и стали жить самостоятельно.

В августе наступило время расставания. Из Москвы наш курс был направлен в Баку, чтобы быть распределенным в высшие командное и инженерное училища. Прощались мы с нашими сослуживцами-интендантами тепло. Бывшие хозяева снабдили нас на дорогу по полной норме и самым лучшим тогда довольствием. На прощанье начальник училища и его замполит — бывший полковой комиссар Б. (его совсем незадолго до этого переаттестовали тоже в капитана 2-го ранга) — пожелали нам счастливого плавания.

Добирались до Баку мы долго. Несколько двухосных товарных вагонов, в которых мы разместились, было недостаточно для отдельного эшелона, поэтому на узловых станциях нас нередко отцепляли, и мы ждали попутных составов. После жесточайшего училищного распорядка мы просто опьянели от свободы. Конечно, служба была и в дороге, по несколько раз в день случались и проверки, и на больших станциях мы строим шли в столовую, если таковая оказывалась у продпунктов, но все равно, у меня до сих пор сохраняется ощущение восхитительной свободы и непрерывных солнечных дней, сопровождавших эту дорогу. На-

шим начальником оставался начальник курса капитан морской авиации В.В.Кашкурт. Удивительный человек: за целый год он ни разу не повысил голос, ему ни разу не изменило самообладание, но самое главное — он всегда был справедлив. Я думаю, что в нашей к нему любви заключается секрет, почему он один совершенно спокойно справлялся с тремя сотнями сорванцов, которыми мы тогда были. Мало этого, несколько наших ребят, я думаю, не в последнюю очередь из-за его обаяния, решили идти в морскую авиацию. Правда, тут был еще один важный момент: авиационные училища были средними и из них ребята рассчитывали побыстрее попасть на флот и фронт. Чисто же морские училища, такие как Фрунзе и Дзержинка, после ускоренных выпусков 41-го года, вернулись к обычному четырех- и пятигодичному срокам обучения и их курсантам воевать приходилось только летом, когда шла практика на боевых кораблях.

Чем дальше мы перемещались к югу, тем заметнее падала скорость передвижения, особенно заметно это стало после Сталинграда: как правило, вторые пути не успели еще восстановить после недавних боев — шло наше наступление. Вместе с ним изменилось нечто, если так можно сказать, в народной душе. Это бросалось в глаза на каждой новой станции: исчезло горестно-сосредоточенное выражение глаз, хоть изредка люди стали улыбаться, обращаясь друг к другу. Начало этой перемены я заметил еще в Москве, когда 5 августа был первый салют (в честь взятия Орла и Белгорода). До этого ничего подобного в Москве при советской власти не бывало. Настроение, если его попытаться определить словами, было таким: «Все! Хватит! Пошла Россия, теперь не остановишь!». И действительно, это было первое летнее, почти на всем советско-германском фронте, наступление. И мы уже больше не отступали до конца войны.

Наш переезд из Москвы в Баку, возможно, достоин отдельного описания просто из-за житейски забавных эпизодов, вызывающих хохот, когда бывшие их участники «вспоминают минувшие дни». Скажем, был такой эпизод на станции Кавказская, где молодое виноградное вино, баснословно дешевое по тем временам, закружило головы и соответственно подействовало на не совсем полные желудки храбрых и молодых моряков. Но я возвращаюсь к основной стезе моего повествования.

Денег у нас практически не было, а пристанционные базарчики даже в то время были, особенно поближе к Кавказу, куда как хороши. В дело пошло мыло, его иначе, как всеобщим эквивалентом, мы и не называли. На мыло можно было выменять курицу, каймак, варенец, даже кусок домашней колбасы. К концу пути наши запасы всеобщего эквивалента были исчерпаны,



но мы знали, что при очередной помывке (это слово военное) каждый получит кусочек — величиной со спичечный коробок — хозяйственного мыла: начальство — оно все же настоящее начальство, не только ругает, но и думает.

В Сталинграде на том месте, где раньше был вокзал, наш эшелон простоял часа два. Ни вокзала, ни города за ним не было, были руины. Именно руины, а не развалины. Никакой зелени, ни просто деревяшки: все, что могло сгореть, — сгорело, только битый, в копоти, кирпич. Один из ребят, бродивший по железнодорожному полотну, нашел немецкий «Железный крест».

За Бесланом стали попадаться участки железнодорожных путей, разрушенные немцами с особым варварством. Специальная машина вроде огромного плута прицеплялась к концу состава и при его движении ломала за собой шпалы и карежила рельсы. Такую разбитую установку я увидел на одном из полустанков, немцы ее бросили — видимо, она стала им мешать, когда драть потребовалось побыстрее!

Раз я отстал от эшелона. Я отошел от него по своим делам и вдруг слышу сигнал горна, который обычно давался перед тем, как поезду тронуться. Обернулся, смотрю, а горнист высунулся из вагона и трубит уже на ходу... Какое же неприятное чувство я тогда пережил! Видишь, что твой поезд уходит, а ты его догнать не можешь, до него надо перебежать еще несколько путей. (Мне потом несколько раз такой сон снился и просыпался после него я с тоскливым чувством.) Таких как я оказалось трое. Пошли к дежурному помощнику военного коменданта:

— Мы не виноваты, сигнал поздно...

Старший лейтенант, не по званию пожилой, не давая договорить и не глядя на нас, спросил фамилии, записал их в какой-то журнал, потом поднял голову, посмотрел на нас, устало улыбнулся и произнес:

— Не вы первые, не вы последние. Через полчаса будет следующий эшелон, догоните.

Наконец — Баку. Жара и долгожданное море. Непривычные деревья и запахи, восточная музыка, когда включаешь динамик. Непривычный распорядок дня: подъем в 5-00, отбой в 22-00, это — чтобы заниматься пораньше утром, пока еще не очень печет солнце. Кончилась дорожная вольница. Дзержинка замкнула нас в своих объятиях. Надо сдать конкурсные экзамены. К нам добавилось несколько ребят, по разным причинам не поступившим в предыдущие два года, — они пришли кто с корабля, кто из морских бригад, а кто из армейских частей и просто с «гражданки». Конкурс, хотя и не большой, был. Старшие товарищи (так мы почти без всякой иронии называли курсантов старших курсов)

рассказывали, что рекордным был конкурс в 40-м году — по 25 человек на место.

И вот — опять расставание. Аркадий и еще десяток ребят уходят во Фрунзе; подавляющее большинство остается в Дзержинке, но и здесь Гена и Борис переходят на Кораблестроительный факультет, Володя, Май и я остаемся на Паросиловом — самом многочисленном и, по нашим представлениям, самом морском, правда, теперь в разных классах. Несколько ребят уходят со скандалом в училище морской авиации; два или три человека понуро возвращаются в Москву в Интендантское училище, теперь уже на основной курс.

Расставанию предшествовали нескончаемые споры: кем лучше быть — строевым офицером или офицером-инженером? Этот выбор для меня оказался не менее определяющим, чем выбор, который я сделал в пятом классе. Но если в правильности того выбора я никогда не сомневался, то этот стал позднее вызывать у меня сомнения.

Об этом выборе и вообще о влиянии флотской службы на восприятие окружающего мира я расскажу дальше, а закончит эту главу событие, которое мне видится теперь даже символическим.

Сравнительно незадолго до конца года пошли разговоры, подтвержденные вскоре сообщением о том, что скоро появится новый гимн. Еще когда после окончания первого салюта исполнили песню «Гимн партии большевиков», у меня мелькнула мысль, что лучше было бы в честь такого события исполнить «Интернационал», он же был гимном. Но, вспомнив знакомые слова, я с некоторым удивлением отметил, что они не очень подходят для такого дела. А дальше к сказанному стали добавляться и такие соображения: наши военные союзники — это империалистические государства Англия и США, а не братья-пролетарии, с «Интернационалом» что-то не получилось... Вообще происходило ранее немыслимое: в киосках Союзпечати стала продаваться английская газета на русском языке «Британский союзник»! И еще одно соображение: «Интернационал» создали Эжен Потье и Поль Дегейтер — французы, — а Франция сейчас оккупирована немцами. Мы же выстояли. Конечно, нам нужен новый гимн!

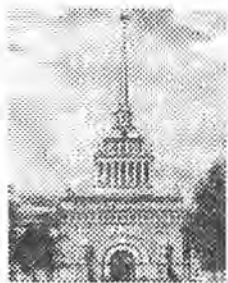
И вот последний день года оказался последним днем государственного гимна. Первое на Земле государство рабочих и крестьян отказалось от «Интернационала». 1944-й год начался исполнением нового гимна:

Союз нерушимый республик свободных  
Сплотила навеки единая Русь!

Я ждал чего-то необыкновенного и был разочарован: музыка нового гимна оказалась музыкой давно известного «Гимна партии большевиков» А.Александрова, и слова оказались только чуть переделанными. «Интернационал» мы знали и даже могли его петь иногда просто так, а вот с новым гимном этого не произошло, правда, это не сразу стало ясно. «Никто не даст нам избавленья», «Своею собственной рукой», «Последний и решительный», «Весь мир... разрушим», «Кто был ничем, тот станет всем» — стали афоризмами. А у нового гимна ни одна фраза не вошла в разговорную речь!.. Слова «Интернационала» — это вдохновение, ставшее классикой, слова же нового гимна менялись несколько раз, и, когда я теперь слышу его мелодию, то в памяти помимо воли возникают только изначальные слова:

... Славься и здравствуй во веки веков  
Партия Ленина, партия Сталина,  
Мудрая партия большевиков!

Не гимн, а символ! Естественно возникал вопрос, а что же делать с «Интернационалом». Все было сделано вполне прилично — «Интернационал» был объявлен официально партийным гимном. До этого такого понятия не было, так как «Гимн партии большевиков» был просто песней, посвященной ВКП(б) и исполнявшейся Краснознаменным ансамблем красноармейской песни и пляски под руководством В.А.Александрова с 1939 года.



## ГАРМОНИЯ И ИЕРАРХИЯ

... светла  
Адмиралтейская игла.

*А.С. Пушкин. «Медный всадник»*

Итак, я настоящий курсант. На левом рукаве появились такие долгожданные звездочка и шеврон. У первокурсника шеврон один. Затем, с каждым курсом, число шевронов увеличивается и к пятому курсу достигает пяти. Для первокурсников их обладатели — почти небожители. Казалось бы, ну какая такая уж разница, на первом ты курсе или втором? Принципиальная и всеобъемлющая! Во-первых, младших командиров своих (то есть

первокурсников) на первом курсе нет: командиры отделений — со второго курса, помкомвзводы — с третьего, а старшина роты — с четвертого. Я, пожалуй, не буду дальше подсчитывать: вторых, в-третьих, в-четвертых... — этому конца не видно, а просто продолжу. На втором курсе командиры отделений уже свои, но помкомвзводы — с третьего, а старшина роты — с четвертого. И только четвертый и пятый курсы имеют своих младших командиров. Почему я начал с младших командиров? Они основа порядка, особенно командир отделения.

Командир отделения сопровождает своего подчиненного практически круглосуточно (кроме лекций, если он с другого курса). Все под его контролем: подъем, зарядка, заправка коек, порядок в тумбочке, содержание обмундирования, строевая выправка, состояние винтовки и палаша, даже успеваемость (это непременно), — одним словом все, вплоть до мытья ног на ночь холодной водой! Я пишу об этом потому, что внутренний распорядок в спецшколе и даже на подготовительном курсе был либеральнее. Я глубоко убежден, что очень строгую, граничащую иногда с бессмысленной, дисциплину можно выдержать только добровольно. Даже такие, скажем, тренировки: для тех, кто утром чуть помедлит и не успеет в строй (а давалось всего пять минут), в драгоценный час отдыха устраивалась тренировка — бедняга под наблюдением командира отделения раздевался, аккуратно складывал обмундирование и ложился в койку. Затем командир отделения включал секундомер и командовал: «Подъем!». После следовал разбор действий подчиненного. Любопытно, что здесь не было и попытки субъективного ущемления личности: было общее дело. Командир-то отделения сам ведь успевал! Военный человек должен просыпаться сразу, и, кроме того, чтобы уметь командовать, надо уметь и подчиняться.

Но дело не только в младших командирах. Любой курсант старшего курса согласно уставу и по Положению о военно-морских учебных заведениях ВМФ СССР является старшим по отношению к своим товарищам с младших курсов. Он может сделать замечание, которое тут же надо устранить, предварительно сказав: «Есть!». Разговаривать со старшекурсником можно только на «Вы»; если курсантов несколько, то он — старший — и автоматически отвечает за всю группу; на любую попытку, конечно робкого, несогласия у старшего товарища есть неопровержимый довод: «Послужите с мое!». Честное слово, для нас командир роты был «безопаснее», чем самые первые младшие иерархи.

Иерархия была во всем. На первом и втором курсах полагалось стричься наголо. Таким образом прическа превращалась в привилегию третьего и следующих курсов. (В спецшколе нас тоже

стригли «под нулевку», так что своей первой прически я заслуживал пять лет.) Известно, что винтовка, если даже она стоит в пирамиде, нуждается в постоянном уходе, впрочем, как и палаш. Винтовки есть только на первом и втором курсах, начиная с третьего остается только палаш. Уже легче! Количество увольнений также растет от курса к курсу, достигая максимума на пятом (в среду вечером, в субботу вечером и в воскресенье днем и вечером). Замечу, что речь идет о *возможности* увольнения, для ее реализация существует целая процедура, не обязательно приводящая к желаемой цели. Увольнение — наиболее ценимая привилегия, некий предвестник свободы, но — привилегия, а не право, так как на увольнение надо было *спрашивать разрешение*. Даже если у тебя не было замечаний.

Четкие ступени иерархии были в прохождении корабельной практики: после первого курса — матросом, после второго — командиром отделения или боевого поста, после третьего — старшиной команды, после четвертого — командиром группы (это уже первая офицерская должность). На пятом курсе была еще одна — дипломная — практика, частично проходившая на каком-либо заводе. Соответственно курсам менялись и классы кораблей: сначала учебный корабль, затем эскадренный миноносец, потом крейсер и, наконец, линейный корабль. Для меня эта цепочка впоследствии выстроилась так: УК «Комсомолец», ЭМ «Жгучий», КР «Красный Кавказ», ЛК «Октябрьская Революция», Ленинградский Кировский завод. Иерархия была разумной — от простого к сложному, но и больше: корабли обязательно принадлежали разным флотам — Северному, Балтийскому, Черноморскому, так что каждый курс, помимо прочего — это знакомство с новым морским театром. Венцом и одновременно идеальным символом соподчиненности частей целому является, конечно, боевой корабль. Все его функции скрупулезно точно, начиная от движения корабля и ведения огня и кончая оказанием помощи пострадавшим, разделены между боевыми частями и службами. Каждый человек на корабле знает, как ему надлежит действовать в любой обстановке. Для этого есть множество расписаний — по приговору корабля к бою и походу, по приему боезапаса, по боевой готовности № 1 («боевая тревога»), по шлюпкам, по постановке на якорь или бочку, по рундукам... На корабле нет ничего лишнего или случайного. Вся полнота власти сосредоточена у первого иерарха — командира корабля. У него не только военная, но и государственная власть. Естественно, последняя возникает в отдельном плавании, в совместном же плавании — она у флагмана.

Среди других естественных законов есть, по-моему, закон усиления гнета централизации с увеличением размеров управ-

ляемой системы. Применительно к флотской службе он почти афористичен: чем крупнее корабль, тем тяжелее служба. Закон действовал и в училище. Паросиловой факультет был самым многочисленным, и коллеги с других факультетов к нашему неудовольствию — у нас была своя корпоративная гордость — позволяли себе называть наш факультет *паростроевым*. Слово *строевой* в обиходе означает дисциплину *как в строю*, то есть наиболее строгую. Нам предстояла служба на надводных, самых крупных тогда кораблях, энергетические установки которых были исключительно паросиловыми (отсюда и название факультета). Наши корпоративные чувства не в последнюю очередь питались именно сознанием того, что у нас всех труднее.

Дизельный факультет был примерно таким же по численности, как и наш, но «дизелей» готовили для службы на относительно небольших кораблях, то есть на кораблях с дизельными установками — на подводных лодках, тральщиках, торпедных катерах. И это сказывалось: у них отношения между собой были менее официальными, чем у нас.

Электротехнический факультет был значительно малочисленнее и либеральнее. Самым маленьким и аристократичным факультетом был кораблестроительный. Замечу, что их называли «корабелями» еще до войны, и широко распространившееся в конце 80-х годов слово *корабел* обязано своим происхождением нашей Дзержинке.

Я не могу утверждать, что понимание неизбежности соподчинения частей целому у меня было врожденным, но легкость, с которой я воспринимал в юности военную службу, сейчас мне представляется поразительной!

Впрочем, объяснения можно искать. Я вырос в полной, иначе говоря, иерархически построенной семье: отец, мать, затем как бы вдали и чуть повыше (право «помилования» и «улаживания») бабушка, потом — я сам и затем сестра, которая младше, но которой я был защитником, по крайней мере во дворе. Внешний мир был тоже похож как бы на огромную семью: был вождь, исповедовавший единственно правильное учение и была победившая революция, которая скоро победит и во всем мире, и еще — все остальные, народ, который пел:

Мы можем петь и смеяться, как дети,  
Среди упорной борьбы и труда,  
Ведь мы такими родились на свете,  
Что не сдаемся нигде и никогда!

С началом войны внешний мир изменился: вместо мировой революции появилась Родина-мать, которая зовет... Вождь ос-

тался вождем, но и стал еще главой государства — Председателем Государственного комитета обороны и, естественно, Верховным Главнокомандующим.

Артиллеристы, Сталин дал приказ!  
Артиллеристы, завет Отчизна нас!  
И залпы тысяч батарей,  
За слезы наших матерей  
За нашу Родину — огонь! огонь!

Трещины, пробежавшие по картине моей Гармонии в начале войны и несколько преобразившие ее, в 1943 году как-то незаметно исчезли. Если детство у меня проходило под кумачевыми лозунгами мировой революции, то юность, бесспорно, освещалась красной звездой абсолютного государства и воинской службы. Это совмещение ведь так символично — государство испокон веков ассоциируется с ковчегом и кораблем!

И еще одно объяснение любви, это слово я употребляю совершенно осознанно, к военно-морской службе: романтика. Она как волшебница превращала тяготы, иногда смертельную опасность, риск и лишения в святое служение правому делу. Идея мировой революции, сказавшая свое тихое «прости», все еще не была похоронена, она была поставлена как бы на «запасном пути»: сейчас надо победить в войне, а после посмотрим, все равно коммунизм исторически неизбежен — он будущее человечества. Иерархическая стройность учения поколеблена не была.

В Баку мне пришлось пережить одно неприятное удивление. От нашего училища, как и от других частей Бакинского гарнизона, постоянно выделялся личный состав для несения патрульной службы в городе. Этот наряд считался одним из весьма нежелательных, так как был «внешним» и подготовка к нему контролировалась каждой ступенью иерархии от командира отделения до чуть ли не помощника начальника факультета по строевой части. Проверялось все — от оружия и формы одежды до знания назубок необходимых статей уставов.

И вот после всех перипетий я стою на разводе. Пуговицы на бушлате ослепительно сияют, ботинки отполированы бархоткой, мизинцем правой ноги чувствую приклад винтовки. Внутренне я готов абсолютно честно и образцово нести воинскую службу. Помощник коменданта города заканчивает инструктаж напоминанием о военном времени, о необходимости задерживать дезертиров, подозрительных, нарушителей формы одежды, не отдающих чести и так далее. И, наконец, он произносит сакраментальную фразу:

— Если плохо будете нести службу и никого не задержите, — сами пойдете на гауптвахту!

При моей склонности к обсуждению начальства, особенно чужого, я тут же подумал, что ведь может быть такой случай, когда не попадется нарушитель просто потому, что его нет. Что же, я виноват буду? И давно молчавший внутренний голос вдруг сказал:

— Если не ты, то — тебя!

— Неверно! — ответил я своему оппоненту.

Кончился развод, мы пришли в назначенное место патрулирования (это было у Баксовета), но внутренний диалог продолжался. Ход моих рассуждений по этому поводу был приблизительно таким: на фронте, в бою, противник — немец, финн или там итальянец, венгр, румын — это враг. Его надо уничтожить, причем быть первым, иначе ты будешь уничтожен сам — ты лично и весь корабль. Борьба за первый залп! А что мне говорит этот помощник коменданта? Чтобы я охотился за нашими, то есть за своими? Ладно, может, конечно, попасться дезертир или шпион — я стараюсь во всю меру моих возможностей увидеть такого. Но если его нет, то почему должны наказывать *меня*? И что же, только чтобы избежать наказания я должен, пользуясь тем, что вооружен, хватать не противника, а просто первого попавшегося? Это же несправедливо. В данном случае принцип «если не ты, то тебя» неверен, это не универсальный принцип: если нет врага я же не могу автоматически стать им только потому, что кому-то кажется, что не может не быть врага вообще. Случаи, когда комендант ходатайствовал перед начальником училища о наказании таких, якобы нерадивных, курсантов, были. К чести нашего контр-адмирала, он никогда не «назначал виновного». Михаила Александровича Крупского любили, но если быть предельно точным, больше глубоко уважали. Он был всегда справедлив, немногословен и спокоен. Но и чуточку... холоден. За все почти пять лет я не слышал, чтобы он повысил голос или стал говорить лозунгами. И еще, нам очень нравилось, что он никогда не выступал ни с какими воспоминаниями, хотя был двоюродным племянником Надежды Константиновны. (Есть фотография, где он с еще одним мальчишкой стоит рядом с Лениным на Красной площади, кажется, в 1918 году.)

Возвращаясь после смены я подумал, что фраза, услышанная на разводе, все-таки случайна: не может быть такого неприятного расхождения между идеей, то есть правильной службой, и действительностью. Тем не менее, в курсантском фольклоре, — а такой существовал, имелась сентенция: «Если виноватого нет, его назначают. Так хочет народ». Только значительно позднее я стал понимать, что помощник коменданта был прав. Он ведь по существу («если никого не задержите, сами сядете») сфор-



мулировал не то, что закон воинской службы, а *принцип* всей нашей системы.

Комендантская служба в Баку была на высоте. Борис на одном из разводов получил от коменданта такие указания:

— Если кого не по форме одетым увидите, — забирать.

— Всех забирать!

— Брата родного, сестру родную, не по форме одетую, — забирать.

— Отца родного — забирать.

— Даже мать родную, не по форме одетую, — тоже забирать!

«Всех забрать!» с бакинских времен вошло как украшение в наш фольклор.

Интересно, что в тот день я сделал для себя еще одно открытие, правда из другой области. Будучи в патруле, даже когда я оставался один, напарник уходил «похарчить» (есть такое флотское словцо!), я чувствовал себя хозяином улицы. У меня было почти физическое ощущение власти, и смотрел я на всех слегка снисходительно и свысока. Мне в голову пришла тогда мысль, заставившая меня внутренне улыбнуться: вот, скажем, завтра я буду идти по этой же самой улице, но этого чувства у меня уже не будет! Я буду одним из многих прохожих... Потом я нашел объяснение или, пожалуй, название этому чувству. Это не магическое «наделение властью» при заступлении на дежурство, а *психологическая поддержка*. Хотя... в любом ритуале, в том числе и разводе караулов, есть что-то от магии, недаром они сопровождаются игрой духового оркестра.

Этот длинный день закончился очень радостно. Подходя к «дому» (нашему спальному корпусу), я услышал в уличном репродукторе рядом с Сабучинским вокзалом ликующий голос Левитана:

— Наши войска... освободили столицу Советской Украины — город Киев!

Было 6-е ноября 1943 года.

К концу года все чаще стали поговаривать о нашем возвращении в Ленинград, всем хотелось, чтобы оно произошло поскорее, особенно «постоянному составу» — почти сплошь ленинградцам (курсанты были «переменным составом»). И вот — 27-е января 1944 года. Левитан своим несравненным голосом передает Приказ Верховного Главнокомандующего — Ленинград полностью освобожден от блокады, в городе первый салют в честь двух фронтов — Ленинградского и Волховского и Балтийского флота. Ясно, теперь после весенней сессии будем в Питере!

Почти у каждого города есть свое лицо. Баку показался мне тогда городом по-столичному оживленным и многолюдным, но в

то же время спокойным и доброжелательным. Он был для меня первым восточным городом: с голубыми куполами мечетей, незнакомой речью, укладом и мелодиями. И контрастами — у входа на вполне европейский Приморский бульвар можно было увидеть чисто восточную, по моим представлениям, картинку: старик, положив на подстилку перед собой пару персиков, торгует. Персики дорогие, прохожие знают об этом и не останавливаются. А старику, похоже, это и не важно: он часами дремлет, сидя скрестив ноги, под ласковым и теплым солнышком!..

Именно в Баку я первый раз посмотрел фильм Александра Корда «Багдадский вор», подаренный им Советскому Союзу в знак признания наших военных заслуг, и увидел, что очарование арабских сказок на экране имеет вполне реальное отражение в чертах города. В том же кинотеатре «Художественный» я смотрел американскую, чуточку наивную, «Песнь о России» с великолепным исполнением первого концерта Чайковского и, по моему, лучший из всех фильмов о военных моряках — английский фильм «Повесть об одном корабле». Кинотеатр запомнился еще одной особенностью: в фойе, где собиралась публика и прохаживалась в ожидании сеанса, стоял какой-то непривычный шорох. Здание «Художественного» было построено перед войной и мало чем отличалось в этом смысле от новых тогда московских — тот же размах и стиль. Но в московских фойе было тихо, а здесь — шорох. Его создавала шелуха от семечек, толстым слоем устилавшая пол фойе!

Один из моих приятелей был бакинцем. Как-то раз я был у него в гостях — его родители жили в Армяникенде — и до сих пор помню почти детски-восторженные разговоры его родных о подвигах орденоносной 416-й дивизии, состоявшей из азербайджанцев. Меня даже угощали папиросами из большой коробки, такой же, как «Северная Пальмира», на которой было написано «416 дивизия». Табак был в папиросах отборный! После я спросил у Юрки Городецкого, почему район так странно называется — Армяникенд? Он мне объяснил, что там когда-то давно начинали селиться армяне, а сейчас просто осталось название. Какая разница — азербайджанец или армянин? И я еще раз невольно вспомнил слова Сталина из доклада, где он говорил, что Гитлер рассчитывал на «драчку между народами Советского Союза», которая, якобы, должна была начаться с войной. Какой же Гитлер дурак, — подумал я, — ведь у нас национального вопроса давно не существует.

Странная штука — человеческая память. Она сохраняет воспоминания независимо от воли своего хозяина: после хождения на шлюпке под парусами наша команда по Приморскому бульвару возвращается домой; нас человек двенадцать, идем строем,

старшина-старшекурсник сбоку; у гостиницы «Интурист» недалеко от нас навстречу проходит английский летчик, это можно определить по его форме; ничего особенного. Но особенное тем не менее было, оно и запомнилось: походка летчика! Он шел не спеша, но в то же время и энергично. В постановке головы чувствовалось достоинство, была заметна выправка; ветер, налетающий порывами с моря, заигрывал полами его синего плаща и заставлял офицера время от времени придерживать фуражку, на его открытом лице в это время появлялась какая-то мальчишеская улыбка. Им можно было залюбоваться, так свободно и естественно он шел — свободной походкой свободного человека.

Здесь мне хочется сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о втором фронте. Разговоры о нем шли чуть ли не с первых дней войны, и вот наконец 6 июня 1944 года он, Второй фронт, открылся! Союзники высадились во Франции. Это было совсем незадолго до нашего отъезда в Ленинград. Все радовались этому событию, но к чувству радости добавлялась горечь и некоторая даже обида: вот высадились, когда мы уже и без вас можем обойтись. Сколько мы людей-то (из-за вас!) потеряли. На готовенькое-то каждый может!

Высадку союзников 10 мая 1943 года в Сицилии мы за второй фронт не считали: масштабы не те, с нашими не сравнить.

Отношение к тому, как воевали англичане и американцы, было очень простым — оно определялось *потерями в живой силе*. У нас потери большие, значит мы и воюем больше и лучше, и честнее. Даже мысли не допускалось, что союзники могут воевать не то, что лучше, а хотя бы так же умело, как мы. Их явное стремление беречь личный состав воспринималось как своеобразный эгоизм и желание отсидеться за нашей спиной. О том, что, заключив в 1939 году договор с Гитлером первыми, мы — тогда до начала мировой войны — поступили эгоистично, не могло быть и речи. Сталин просто выиграл для нас почти два года — и это время капиталисты воевали друг с другом! Война ведь стала справедливой только после нашего вступления: мы первое в мире государство рабочих и крестьян и будущее для всех — коммунизм — можем принести только мы. В конце-концов только наша армия — Красная!

Общественное мнение, точнее пресса и радио, всю войну то косвенно, а часто и прямо, обвиняли наших союзников в затягивании открытия второго фронта. Черчилля упрекали, что он дожидается, «пока не будет пришита последняя пуговица у последнего британского солдата», а американцев — в том, что они воюют в основном тушенкой, а мы тем временем кровь проливаем.

У меня всю войну сохранялось чувство, что, несмотря на все официальные заявления и декларации, даже такие, как Теге-

ранская и Ялтинская, наш боевой союз не будет долговечным, так как он не имеет классовой основы. Мне было невдомек, что «у нас» и «у них» изначально разное отношение к человеческой жизни и личности, что они живут в реальном настоящем времени, а мы, то есть я — в «будущем».

У каждого значительного города есть и свой как бы символ. В Москве — Кремль, в Ленинграде — Петропавловская крепость (хотя, могут быть и другие мнения), в Севастополе — Приморский бульвар с памятником Погибшим кораблям... В Баку таким символом мне представляется Старая крепость с Девичьей башней и, по контрасту с ней, Театр оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова, куда изредка мы ходили. Изредка потому, что в город нас вообще отпускали редко, да вдобавок и денег на билеты не было. После московского Большого мне показалось, что бакинский балет совсем неплох, особенно солисты. А вот кардебалет подкачал: у балерин ножки были чуть-чуть коротковаты.

И вот опять эшелон, теперь путь — на север. Солнечный Баку, прощай! Прощай, хороший город, воспоминания о тебе, чем больше будет проходить времени, тем более и более будут окрашиваться мягкими тонами сентиментального юношеского романтизма.

В отличие от прошлогоднего переезда из Москвы, а прошло всего-то месяцев восемь, к Ленинграду наш эшелон летел как на крыльях: железная дорога работала бесперебойно, вторые пути были восстановлены и, самое главное, фронт далеко отодвинулся на запад. Единственная заминка произошла после станции Бологое. Поезд встал, и нам приказано было рассредоточиться, то есть покинуть вагоны и укрыться в невысоком леске по обе стороны от железнодорожного полотна. Стали говорить, что немцы бомбят или разбомбили путь — он здесь был еще однокольным, поэтому и встали. (Замечу, что Псков еще был у немцев, его освободили в конце июля.) Часа через два с лишним эшелон тронулся, но в Ленинград мы почему-то прибыли не прямым, а через Мгу.

И вот — площадь Восстания. С любопытством мы смотрим на город, от которого теперь неотделима блокада. Я ожидал, что разрушений будет больше. Только присмотревшись, начинаешь понимать, что многие дома — это одни фасады и стены, иногда даже без крыш. Таких домов заметно больше неподалеку от вокзала — на Лиговке и Староневском. После очень оживленного Баку пронзительно чувствуется ленинградское малолюдье. Отсутствуют заборы, есть только классически безупречные чугунные и каменные ограды: с удивлением вдруг осознаешь, что не только заборов, вообще ничего деревянного на улицах нет, даже ни одного табачного или какого-нибудь другого киоска. И тут до меня доходит: ведь если во время блокады согрелись, сжигая

книги и мебель, о каких заборах может идти речь! На Невском, на правой его стороне, если идти к Адмиралтейству, несколько раз встречаются надписи на уровне человеческого роста, нанесенные через трафарет на стенах домов: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

На Адмиралтействе следы от осколков — то ли от снарядных, то ли от авиабомб, видны и прямые попадания. У основания купола, под шпилем, среди венчающих ионическую колоннаду аллегорий стихий, времен года, ветров, богов и богинь, не хватает двух фигур; сам шпиль не золотой, а серый, сначала я подумал, что его покрасили, но оказалось, что с осени 1941 года на него надели громадный маскировочный чехол из мешковины. И тем не менее это — детали, Адмиралтейство по-прежнему восхитительно! Но теперь к этому восхищению добавляется чувство собственника: теперь оно мое, четыре года — целую вечность — я буду в нем жить!

Весь облик Ленинграда удивительно соответствовал начавшему у меня с прошлого (1943-го) года складываться новому мировосприятию. Оно пришло на смену довоенному, принимавшему все как увертюру к Мировой Революции. Это новое восприятие окружающего я назвал бы гармонически-государственным: в его основе лежала идея *абсолютного*<sup>35</sup> и справедливого государства во главе с иерархом. Неважно, в конце-концов, как его называть: монархом, царем, императором, вождем или Верховным Главнокомандующим. Естественно, что образ мышления для такого мировосприятия становился похожим на чисто имперский, хотя так его я в то время не называл, потому что целью нашего государства было, как и у Мировой Революции, построение бесклассового социалистического общества. А дальше, по законам диалектики, государство, предварительно усилившись (закон отрицания отрицания), отомрет, и общество станет коммунистическим.

Здание Адмиралтейства, построенное А.Д.Захаровым в стиле русского ампира и гениально объединившее классичность почти неправдоподобно протяженных трех фасадов (760 метров!) с небесной целеустремленностью готического шпиля, представляется мне образцом общественного здания. Для меня оно еще и символ, запечатленная энтелэхия нашей могущественной государственности, ее идеальное архитектурное воплощение.

Я не буду останавливаться на событиях того лета, даже пропущу корабельную практику на «Комсомольце», который входил

---

<sup>35</sup> Слово *тотальный* тогда (магия слов!) можно было отнести только к Германии.

в состав действующего флота. Ограничусь лишь одной фразой старослужащего матроса (котельного машиниста) с этого корабля. Когда один наш сердобольный курсант (не спец!) спросил, не трудная ли у него работа, матрос, точнее *старший краснофлотец*, посмотрел на него сверху вниз и, немного помедлив, произнес:

— Я служу, а не работаю.

Он должен был демобилизоваться еще перед войной, так что служил уже по восьмому году (срочная служба на флоте тогда была пять лет). Этот ответ вошел в наш фольклор — в нем было все: и гордость за державу, и за флот, и, вдобавок, несравненное чувство собственного достоинства.

Я думаю, что каждый человек становится консерватором уже с самого раннего детства, и в основе этого консерватизма лежат первые привычки, в основе которых в свою очередь лежит детское «а мне так хочется». Во всяком случае я отношу себя к таким изначальным консерваторам — рабам привычек. Поясню: в первом классе (я имею в виду и первый класс и первую классную комнату), я сидел за партой в ряду у окон. Не могу сказать, сами ли я выбрал это место, или меня посадила туда Клавдия Васильевна, но факт имел место. Окно, у которого я сидел, выходило в отгороженную от остального мира часть безлюдного и несколько запущенного бывшего гимназического двора с громадными, в два обхвата, кленами и кустами жасмина и боярышника. Я не могу сказать, что сознательно любовался открывавшимся видом, но я до сих пор мысленно вижу эти могучие, почти черные стволы и сильные, причудливо изогнутые ветви! И под ослепительным снегом, и с зелеными, и с багряными, и с золотыми листьями. Одним словом, с тех самых пор я всегда занимал место у окошка.

В Адмиралтействе наш факультет помещался в западном крыле здания, и окна наших учебных классов выходили на Сенатскую площадь. Кстати, мы ее никогда не называли площадь Декабристов. Наверное потому, что декабристы выходили на *Сенатскую* площадь, а не на площадь собственного имени. Это так очевидно, если смотреть на площадь из окна с метровой ширины подоконником. Она — как сцена с декорациями, оставленными после сыгранной драмы. А если немного еще сосредоточиться, то можно себе представить, как все происходило в известный зимний день 1825 года. Вот здесь 14-го декабря строились в каре прибежавшие в одних сюртуках и со знаменами гвардейцы Московского полка, вот здесь — стояли гвардейцы-гренадеры, а здесь — гвардейский морской экипаж... Вот Каховский стреляет в Милорадовича, который, не уговорив восставших, возвращается к Николаю в Зимний... И, наконец, — залпы картечью в наступаю-

щих ранних сумерках, и — сцена пустеет. Несколько мешала воображаемому представлению только одна деталь: не было памятника Петру I. Точнее, памятник был, но он представлял собой сооружение из бревен, прикрывавших мешки с песком, которыми был заботливо защищен Медный всадник. Еще шла война.

А в училище начался первый после эвакуации учебный год. Не только Сенатская площадь с Невой и зданиями бывших Сената и Синода, которые я теперь каждый день видел из своего окна, но все окружение — Зимний дворец, Дворцовая площадь, начало Невского проспекта, Исаакиевский собор — все ломало мое прошлое представление об Истории, которая, якобы, начиналась с 1917-го года (все, что до него, то есть до социализма — это предыстория). Границы чувственного, если можно так сказать, восприятия истории стремительно отодвигались к началу Российской империи и закладке Санкт-Петербурга. Предыстория не исчезла, она лишь как бы отодвинулась к этому рубежу.

Надписи на тимпанах фронтонов Исаакиевского собора явно принадлежали этой предыстории:

НА ТЯ ГОСПОДИ УПОВАХОМ  
ДА НЕ ПОСТЫДИМСЯ ВОВЕК  
ХРАМ МОЙ ХРАМ  
МОЛИТВОЙ НАРЕЧЕТСЯ

Конечно, к предыстории относился текст надписей, а не сам собор, построенный Монферраном уже после Петра.

Если от собора идти по Алесандровскому саду, который мы называли Сашкиным, и остановиться напротив главной арки-входа Адмиралтейства, то на горельефе над ней (это главный горельеф) можно увидеть аллегорическое начало империи<sup>36</sup>. Здесь Нептун вручает Петру символ власти над морями — трезубец, а рядом стоящая Слава осеняет русским флагом плывущие корабли в окружении морских божеств. На этом горельефе и аллегорическая Россия — молодая женщина с рогом изобилия и геркулесовой палицей в руках.

Если продолжить путь дальше, вдоль фасада, по Адмиралтейскому проезду, то в его конце откроется Дворцовая площадь со знакомым по тысячам плакатов, картин, картинок и кинокадров дворцом. В сознании сразу всплывают слова: «Штурм Зимнего. 1917-й. Октябрьская революция. Начало новой эры».

С благоговением миновав площадь, я прохожу мимо Мраморного дворца с легендарным броневиком в его дворе (филиал Центрального музея Ленина) и по Марсову полюю иду к могилам жертв

---

<sup>36</sup> Композиция называется «Заведение флота в России».

революции. Медленно по солнцу обхожу могильные камни и читаю на них:

не зная имен  
всех героев борьбы  
**ЗА СВОБОДУ**  
кто кровь свою отдал  
род человеческий  
читит безымянных  
**ВСЕМ ИМ В ПАМЯТЬ**  
и честь  
этот камень  
на долгие годы  
поставлен

**БЕССМЕРТЕН**  
павший за великое  
дело  
в народе жив  
**ВЕЧНО**  
кто для народа  
жизнь положил  
трудился боролся  
и умер  
за общее благо

со дна угнетенья  
нужды и невежества  
поднялся  
**ТЫ ПРОЛЕТАРИЙ**  
себе добывая  
свободу и счастье  
все человечество  
ты осчастливишь  
и вырвешь  
**ИЗ РАБСТВА**

**НЕ ЖЕРТВЫ — ГЕРОИ**  
лежат под этой могилой  
**НЕ ГОРЕ А ЗАВИСТЬ**  
рождает судьба ваша  
в сердцах  
всех благодарных  
потомков



в красные страшные дни  
славно вы жили  
и умирали прекрасно

К СОНМУ ВЕЛИКИХ  
ушедших от жизни  
во имя жизни расцвета  
ГЕРОЕВ ВОССТАНИЙ

разных времен  
к толпам якобинцев  
БОРЦОВ 48  
к толпам коммунаров  
ныне примкнули  
сыны петербурга

против богатства  
власти и знанья  
для горсти  
ВЫ ВОЙНУ ПОВЕЛИ  
И С ЧЕСТИЮ ПАЛИ  
за то чтоб богатство  
власть и познание  
СТАЛИ БЫ  
ЖРЕБИЕМ ОБЩИМ

по воле тиранов  
друг друга терзали  
народы  
ТЫ ВСТАЛ ТРУДОВОЙ  
ПЕТЕРБУРГ  
и первый начал войну  
ВСЕХ УГНЕТЕННЫХ  
против всех угнетателей  
чтоб тем убить  
самое семя войны

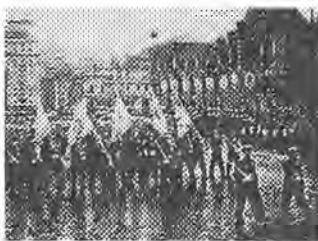
1917 — 1918  
вписали в анналы  
россии  
ВЕЛИКУЮ СЛАВУ  
скорбные светлые годы  
ПОСЕВ ВАШ  
ЖАТВОЙ СОЗРЕЕТ  
для всех населяющих  
землю

Рассказывают, что эти белые стихи А.В. Луначарский написал за одну ночь...

В том — сорок четвертом — году, да и много позднее, у меня не возникало еще вопроса: «Почему не получилось?». Я был уверен, что война скоро кончится, мы вот-вот победим и тогда *все получится*. Просто немцы нам помешали. После потрясения 41-го года картина окружающего мира для меня вновь становилась правильной и соответствующей единственно правильному учению, хотя и несколько стилизованной под русский ампи́р. Как не странно, марксизм и имперское мышление не противоречили друг другу.

Вскоре после начала учебного года я был принят кандидатом в члены ВКП(б). Рекомендации мне дали командир роты, комсомольская организация и преподаватель, читавший лекции у нас на курсе в прошлом году. Почти одновременно с этим меня назначили командиром отделения на следующий за нами, то есть на первый, курс. Я искренне верил: коммунизм — это наше и всего человечества светлое будущее и поэтому надо быть в первых рядах его строителей.

## ПАРАД ПОБЕДЫ



Я знаю, никакой моей вины  
В том, что другие не пришли с войны,  
В том, что — они кто старше, кто моложе —  
Остались там, и не о том же речь,  
Что я их мог, но не сумел сберечь,—  
Речь не о том, но все же, все же, все же...

*А.Твардовский*

Я поднимаю тост за людей простых,  
обычных, скромных, за «винтики»...

... Я поднимаю тост за здоровье  
русского народа не только потому, что  
он — руководящий народ, но и потому,  
что у него имеется ясный ум, стойкий  
характер и терпение.

*И.Сталин (Из тостов на приемах  
в честь Победы в Кремле)*

Впервые за войну новый, 1945-й, год я встречал в настоящей домашней «штатской» обстановке, чуточку похожей чем-то на

довоенную московскую. Это произошло благодаря Марку Ч., пригласившему меня в компанию к своей бывшей соученице (так в Ленинграде говорят) Наташе Д., собравшей под Новый год прежних друзей-одноклассников. С Марком я познакомился в Баку, когда он и еще несколько кандидатов в курсанты попали в нашу роту. Он был ленинградцем и романтиком, первое сразу вызывало уважение — Ленинград стал легендарным, — а второе можно было почувствовать по его благоговению перед всем *морским*, и это быстро сблизило его с нашими ребятами.

В Дзержинку Марк приехал из Алама-Аты, куда они вместе с матерью, полуживые, были весной 1942 года эвакуированы из Ленинграда после самой страшной и безнадежной первой блокадной зимы. Немного оклемавшись, Марк сдал экстерном экзамены за среднюю школу, написал письмо наркому ВМФ Н.Г. Кузнецову и получил от него «добро» на сдачу конкурсных экзаменов. Это вызывало уважение. Кроме того, Марк умел подмечать смешное в действиях начальства, а эта разновидность юмора всегда ценилась. Он отлично имитировал голос и манеры майора Шевкаловича, к которому попал под начало, когда приехал в Баку. Кандидатов интенсивно использовали для несения дежурной и дневальной службы и они, бедняги, постоянно хотели спать:

— Кандидат Сидоров! Сколько заплатил вам Гитлер за сон на посту?!

После сдачи экзаменов и последующих перемещений мы с Марком оказались в одном классе, и это послужило началом нашему сближению. Здесь я хочу сделать небольшое отступление «личного» порядка...

1945 год был для меня годом знакомств, сделавших впоследствии Ленинград вторым, после Москвы, родным для меня городом: я познакомился с Наташей, Ниной и Татьяной. Марк еще до войны был влюблен в Наташу (он писал ей великолепные стихи), и идея устроить встречу Нового года у них была, я думаю, общей. Так я был представлен Наташе и ее подруге Нине, с которой они недавно вернулись из эвакуации. Позднее, кажется в конце мая, у Наташи же, я познакомился с Татьяной. Она была дочерью давнишних друзей наташиных родителей и их связывали почти родственные отношения.

А в сентябре в Москве в отпуске, первом за пять лет, мой одноклассник и сосед по парте (точнее, по столу) со второго по пятый курс Дима О. познакомил меня с Ириной. Димка и Ирина до войны жили на одной лестничной площадке, учились в одном классе, и их матери были очень дружны... Наташа и Нина, но особенно Татьяна и Ирина самым решающим образом повлияли на мою судьбу. Они представляются мне не только обладатель-

ницами почти идеальных женских характеров и обаяния, но и родственными душами по восприятию окружавшего мира со всеми его мифами, идеями, идеалами и уверенностью в грядущем всеобщем счастье.

В феврале 1945 года я получил письмо от Вильки, которое оказалось последним. Оно было веселым и торопливым, он писал о боях, о том, что он командир группы управления огнем, что скоро наверное будет уже не младшим, а просто лейтенантом. И еще: «... когда вернусь — женюсь!». А потом пришло письмо уже из Москвы, где сообщалось, что Вилен погиб в боях за Познань... Два дня я не находил себе места, разговаривать ни с кем не хотелось. Лучше помолчать.

В ту весну победные салюты следовали один за другим, наши войска встречали цветами и объятиями — мы освобождали Европу от фашизма. С ребятами мы всерьез обсуждали вопрос о том, как будет наказан Гитлер. То, что он должен быть повешен или расстрелян — не вызывало сомнения, но всем еще хотелось, чтобы его предварительно в клетке (для того, чтобы преждевременно не растерзали) провезли по всем местам преступлений, особенно по концтранционным лагерям. Я был уверен, что концлагерь — это изобретение Гитлера, точнее немецких фашистов, после их прихода в 1933 году к власти. Ненависть к немцам, начавшим войну и разорившим Украину, Белоруссию, Прибалтику, Кавказ и Крым, дошедшим до Москвы, Ленинграда и Сталинграда была всеобщей. О предвоенных годах говорили как о потерянном рае.

22 апреля наши войска начали занимать берлинские пригороды, 24-го Берлин был окружен, 25-го в районе Торгау (на Эльбе) наши встретились с американцами.

То, что Германия обречена, уже давно не вызывало сомнения, но чей будет Берлин, кто туда войдет первым? Я думаю, что ни у одного из наших ребят (да это было и всеобщим мнением) не было никакой другой мысли и желания, кроме одного: в Берлине мы должны быть раньше союзников! Именно мы должны водрузить знамя Победы в логове врага, потому что для Победы мы принесли больше всего человеческих жертв, не говоря об остальном. Если союзники войдут первыми — победа у нас будет украдена, а превосходство нашего общественного строя будет поставлено под сомнение. Поэтому берлинской операции предшествовала гонка к Берлину, именно этим объясняются большие жертвы последних месяцев и недель войны (с 16 апреля по 8 мая в боях только за Берлин мы потеряли убитыми и ранеными около 300.000 человек<sup>37</sup>).

---

<sup>37</sup> Велик. Отеч. Война Сов. Союза 1941—1945. Кр. История. М. 1970. стр. 504.

Знамя Победы было установлено в ночь на 1 мая на одной из боковых башен Рейхстага разведчиками сержантами М.А.Егоровым и М.В. Кантария<sup>38</sup>. Я понимал, что иначе и быть не могло: только русский и грузин, и только вместе, могли и должны были водрузить Знамя Победы. И сделать это лучше всего было к празднику 1-го Мая. Именно 1-го Мая на параде в Москве я и узнал эту долгожданную новость. Впервые с 1941 года на Красной площади был устроен военный парад, на который мы и прибыли из Ленинграда; как известно, парада, даже если он называется парадом войск московского гарнизона, без моряков не бывает. Я думаю, что Сталин устроил первомайский парад как своеобразную репетицию к параду Победы, чтобы получше его подготовить. (Непонятно, почему этот парад не попал в книгу «Сто военных парадов», изданную под редакцией генерал-полковника Грушевого в 1974 году). Побывав несколько часов дома — до парада нас в увольнение не отпускали — мы сразу возвратились в Ленинград. Приказом наркома ВМФ (№ 190 от 3 мая 1945 года) участники парада были награждены значком «Отличник Военно-Морского Флота Союза ССР». Это была серьезная награда: в училище значок давали только тем, кто защитит диплом с отличием или будет Сталинским стипендиатом или уж как-то особо отличится. Мы смеялись по этому поводу: награду мы заработали ногами! Гоняли перед парадом нас здорово — с подъема до отбоя, — но и результат был: равнение, высота подбородка (глаза — на уровне третьего этажа), взмах руки (вперед до бляхи, назад — до отказа) и, главное, шаг — одновременно твердый и грациозный, все невольно вызывало мысль о совершенстве. Здесь строевая подготовка уже была на грани цирковой.

Военная служба не всегда справедлива: на парад хотелось поехать и немосквичам, но они благородно отказывались от этой возможности в нашу пользу — у нас в Москве были родные. Несправедливость еще больше возрастала при отборе сводной роты на Парад Победы, но тем не менее рота состояла в основном из москвичей, хотя и нам, далеко не всем, удалось в нее попасть. Но я несколько упреждаю события, Параду Победы предшествовал День Победы. Капитуляцию Германии ждали со дня на день, но как-то чуть суеверно и сдержанно, не загадывая дату, хотя после взятия Берлина было ясно, что капитуляция может начаться вот-вот.

9 мая я проснулся до побудки от криков «Победа, победа!». Первыми об этом сообщили под утро радиостанции союзников, а

---

<sup>38</sup> Первыми красный флаг на крыше рейхстага подняли Г.К.Загитов, А.Ф.Лисименко, В.Н.Маков, М.П.Минин (см. ВОВ Сов.Союза 1941—1945. Кр. История. М. 1970. стр. 502).

в шесть часов утра, с началом работы нашего радио, Левитан в полный голос, не скрывая рвущейся наружу радости, подтвердил эту долгожданную весть. Что тут началось! Кто кричал «Ура!», кто плясал, кто обнимался!..

Сразу после завтрака все училище со знаменем, оркестром, с винтовками «на плечо» было выведено в город: мы прошли Дворцовой площадью, улицей Халтурина, Марсовым полем, по набережным и другим центральным улицам и, сделав таким образом большой круг, к полудню возвратились в Адмиралтейство. Маршировали мы в этот исторический день в рабочем платье и бушлатах, а не в обмундировании первого срока — я думаю, что воинские части с оркестрами было приказано вывести на городские площади и улицы немедленно.

Боже, что это был за день! Вдоль тротуаров стояли горожане — в большинстве своем это были женщины — и кричали, махали руками, платками, посылали воздушные поцелуи, улыбались, смеялись, некоторые плакали, а трое или четверо даже кидали срезанные комнатные цветы (других в городе еще не было). Такой всенародной — я употребляю это слово в изначальном смысле — и искренней радости мне не приходилось позднее видеть. (Чутьочку похоже было в день полета Гагарина, тогда тоже была от сердца идущая незапрограммированная радость, но это было не более чем эхо по сравнению с Днем Победы.)

По радио все время передавали «Обращение тов. И.В. Сталина к народу». В нем говорилось о безоговорочной капитуляции Германии, о великих жертвах, принесенных нами, о героической Красной Армии, о вечной славе павшим героям...

В обращении были и такие слова: «Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом».

«... Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией».

В первой фразе меня несколько удивило то, что мы, оказывается, победили германский *империализм*, а не фашизм. При дальнейшем размышлении, — конечно уже после этого дня! — я подумал, что все — верно: нельзя говорить, что мы победили фашизм. Во-первых, фашизм — это ошибочный взгляд на мир, от него надо длительно избавляться; и потом он по происхождению относится к Италии. Значит, надо еще добавлять и немецкий *нацизм* — это национал-социализм! Получается, что *наш* социализм воевал с *их* социализмом! Чужь какая-то... А с империализмом — все хорошо и понятно, война кончилась, и мы возвращаемся на классовые позиции.

Что касается второго отрывка из «Обращения», то он особенно был созвучен моему укреплявшемуся имперскому образу мыслей.

Во второй половине дня было разрешено увольнение почти всем. Марк, Леня С. и я пришли к Наташе, где собралась целая компания. Девчонки разрешили по случаю такого праздника поцеловать их в щечку; каждый говорил, перебивая друг друга; рассказывали анекдоты и неправдоподобные военные случаи, смеялись и читали стихи. Винегрета, тогдашнего коронного ленинградского блюда, было в избытке, и мы выпили за Победу, если мне не изменяет память, по рюмке домашней настойки...

К 23 ч. 45 мин. нам положено было вернуться в училище. Проходя мимо бурлящей, переполненной, танцующей и поющей Дворцовой площади, освещенной десятком мощным армейских прожекторов, мы незлобно ругнули наше начальство, которое считает нас за детей и заставляет — в такой день! — возвращаться так рано. Дисциплина была уже частью нас самих: даже в *такой* день опоздавших из увольнения не было.

Сентенция, которую у нас принято называть лозунгом или призывом, — «Народ и армия едины!» — во время войны была самоочевидной, и инерции этого мощного единства хватило на два-три последующих десятилетия. Правильность и даже афористичность лозунга не вызывали у меня никаких возражений, но форма... Флот-то забыли, флот-то ведь не армия! Для себя я всегда переводил этот лозунг в «Народ и Вооруженные силы едины!». Для меня это был вопрос принципа: находишься армия в день 22 июня 1941 в такой же готовности как флот, мы бы войну закончили не в Берлине, а по крайней мере в Париже, а то и в Мадриде. Так я тогда думал. По крайней мере *потерь таких не было бы...*

День 24 июня, когда состоялся Парад Победы, выдался, к сожалению, пасмурным — с утра шел дождь. На Красной площади, занятой сводными полками, мы по диспозиции оказались рядом с Лобным местом, на котором зачем-то был устроен фонтан. Он работал и здорово шумел, струи поднимались метров до двадцати, — и это, вместе с дождем, создавало впечатление, что на тебя обрушиваются потоки воды. Тем не менее, наше восторженное настроение охладить было трудно!

Накануне был опубликован приказ Верховного Главнокомандующего о Параде Победы, и мы, наконец, официально узнали, что принимать парад будет Г.К. Жуков, а командовать — К.К. Рокоссовский. (Многие из нас думали, что принимать, может быть, будет Сталин — я тоже допускал такую мысль, — но не совсем ясно было, как он будет выглядеть на коне). Этот парад многократно и офиоциозно описан, поэтому для меня представляют собственную ценность его обыденные детали, воспринимавшиеся с точки зрения рядового участника; они делают это событие *моим*.

Сводные полки стояли на площади по отношению к Мавзолею в два ряда: первый ряд соответствовал северной половине бывшего советско-германского фронта, второй — южной. Наш полк — сводный полк ВМФ — стоял рядом и за полком 3-го Украинского фронта, то есть во втором ряду (рядом и за нами была уже рота, несшая вражеские знамена и боевые реликвии). Так что нам видна была тыловая сторона первого ряда. Меня восхитила великолепная непосредственность солдат-фронтовиков: скрытые от взоров начальства, некоторые из них умудрялись незаметно покуривать в кулак, а один, видимо устав стоять, даже снял каску и, положив ее на мостовую, присел. С точки зрения курсанта такие вольности были невозможны.

Пока не началось движение «по торжественному маршу» я все время поглядывал на немецкие знамена и особенно на личный штандарт Гитлера. Эти бесценные трофеи мы видели впервые, и их зрелище потрясало. Невозможно было отвести глаза от ослепительной белизны шелка знаменных полотнищ, касавшихся мокрой, почти черной брусчатки Красной площади. Белый цвет на знаменах был неожиданной доминантой, — я думал, что преобладать должны бы красный и черный, как на бывшем государственном флаге гитлеровской III-ей империи.

После речи Жукова, исполнения гимна и грохота артиллерийского салюта началось прохождение войск. Мне очень хотелось получше рассмотреть Сталина. С жадным интересом — пока мы проходили мимо Мавзолея — я несколько секунд не отрываясь смотрел на его лицо. Оно было задумчиво, спокойно, устало и сурово. И неподвижно. Очень четко выделялись оспины на щеках. Рядом со Сталиным близко никто не стоял, вокруг него было какое-то пространство, сфера, зона отчуждения. И это, несмотря на то, что на Мавзолее было много народа. Он стоял *одинок*о. Я смотрел на него эти несколько секунд, повернув в равнении голову направо, задрав подбородок и касаясь локтем соседа по шеренге, чтобы она, шеренга, ни в коем случае не потеряла идеальной прямизны. Каких-нибудь особых чувств, кроме любопытства, я не испытал — Верховный Главнокомандующий был недосыгаем.

Едва наш полк миновал Мавзолей, как смолк оркестр и над затихшей площадью раздался громоподобный треск барабанной дроби. Наступила кульминация парада: на деревянные помосты к подножию Мавзолея, к его трибунам, к Сталину бросали знамена поверженной Германии.

Радиорепортаж с Парада Победы вели всем известные писатели, поэты и журналисты: Вс. Иванов, А. Твардовский, Л. Кассиль и еще несколько человек. Прохождение нашего полка комментировал автор «Оптимистической трагедии» и киносценария



«Мы из Кронштадта» Вс.Вит.Вишневский. Конечно, во время марша до моих ушей долетали обрывки фраз из динамиков, но внимание было сосредоточено не на них. Позднее текст того комментария был опубликован<sup>39</sup>. В нем есть такие слова:

«Идет батальон курсантов военно-морских училищ — будущие офицеры Большого Флота СССР, те, которые поведут корабли в открытый океан, те, которые покажут флаг СССР в водах и портах всего мира. Привет вам, пролившим кровь в битвах за Россию!»

С Красной площади я уходил окрыленным. Мир был устроен правильно: мы победили. Я чувствовал себя частицей народа-победителя, а что может быть слаще чувства выполненного долга!

Промокли мы до нитки: сняв фланелевую, я с некоторой грустью увидел, что новая белоснежная форменка под ней на плечах и на груди вся в фиолетовых разводах, но зато тельняшка была в порядке — только мокрая. За обедом мы получили праздничные «сто грамм», а затем нам вручили посылки от американских христиан-баптистов. Конечно, это было приятно, несмотря на то, что коробки предварительно были вскрыты (говорили, что не то особысты, не то замполиты изъяли Библии). В посылках оказались: пачка сигарет «Old gold», мыло «Pearl», конфеты, плитка шоколада, сахарный песок, небольшое полотенце и еще некоторые мелочи. Всех нас рассмешило, что во многих посылках находились вязальные спицы и белые перчатки. Это как-то перекликалось с моим представлением о союзниках: ну, кто из наших будет во время войны заниматься вязанием, — воевать надо! — они не совсем себе представляют, что такое война. И белые перчатки не нашего покроя были ни к чему: может быть в них удобно играть в гольф, но у нас их некуда деть (в белых нитяных перчатках мы ходим на парад, но у этих, американских, совсем другие и покрой и оттенок). Так что больше всего я был рад сигаретам, а мама, как я заметил, когда пришел домой — сахарному песку, хотя они с Нонной сказали, что посылка их совсем не интересует, важно что я, хоть ненадолго, дома.

На следующий день для участников парада был устроен прием, на котором Сталин произнес свой знаменитый тост насчет терпения русского народа. Естественно, на прием было приглашено начальство, да и то не все, а нам приказом наркома ВМФ<sup>40</sup> была объявлена благодарность, которая, честно говоря, мне очень дорога.

---

<sup>39</sup> «Морской сборник», № 6. 1985. стр. 66.

<sup>40</sup> Приказом наркома ВМФ Н.Г.Кузнецова от 27 июня 1945 г. всем морякам-участникам Парада Победы была объявлена благодарность.

Приемов в честь Победы было два: 24 мая и 25 июня 1945 года, оба они проходили в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Свой знаменитый тост насчет терпения русского народа Сталин произнес на первом.

Небывало быстро была написана огромная картина, посвященная этому знаменательному приему, ее я увидел в Третьяковке позднее — в сентябре или ноябре. Если мне память не изменяет, она называлась «За русский народ!» (я бы ее назвал пиршеством победителей). За огромным столом в Георгиевском зале Кремля изображены с фотографической точностью Сталин, Молотов, Берия, Жуков, все маршалы, члены Политбюро и Совнаркома, командующие фронтами и флотами, вообще все знаменитости того времени. От картины исходило какое-то жесткое голубоватое излучение. Народа на картине не было... Жаль, что эта картина не экспонируется, она сумела сохранить гипнотическое очарование того года.

После второго приема, 26 июня Указом Президиума Верховного Совета СССР было введено воинское звание Генералиссимус Советского Союза, а 27 июня это звание было присвоено Сталину.

Картина занимала целый зал. Посетители переговаривались только шепотом и передвигались по залу почти на цыпочках: картина подавляла. Рождалась целая гамма мыслей — от восхищения блистательностью победы, до... до «кому война, а кому и мать родна». Именно эта картина невольно и постепенно подвела меня в конце концов к мысли, что для Сталина она, война, и была «мать родна». Но это понимание пришло значительно позднее.

Вернувшись в Ленинград и досдав два пропущенных экзамена, мы отправились на Север догонять наших однокашников, уехавших туда на практику. Добирались в Мурманск кружным путем — через Вологду, — так как участок дороги через Петрозаводск, где недавно шли еще бои, не действовал. В Вологде была пересадка и там произошло событие, которое я до сих пор не знаю как назвать: просто случаем, улыбкой Клио или своеобразным знаменем. Едва мы заняли предназначенную нам половину вагона (это был пассажирский, а не товарный вагон), как вторую его половину, под охраной толстой русской бабы с трофейной винтовкой, заполнили немцы-военнопленные, причем моряки! Забавно, что тогда это соседство — победителей и побежденных — не вызвало у меня ни удивленья, ни конкретной ненависти к бывшему теперь противнику; было чувство снисходительной иронии, несколько высокомерной и барственной: то-то довоевались, сверхчеловеки, будете в следующий раз знать, как к нам соваться!

Я вышел в тамбур покурить. Через несколько, буквально, секунд туда просунулась голова немца, который глазами, мимикой

и жестами дал понять, что ему — вот так! — хочется курить. Я небрежно встряхнул пачку (в родном Адмиралтействе мы получили папиросы перед отъездом, а не обычную махорку) и протянул ему. Взяв папиросу, немец попытался по-русски сказать «спасибо» и добавил по-немецки:

— Danke!

— Bitte,— ответил я благодушно.

Немец несколько недоуменно посмотрел на меня:

— Sie sprechen deutsch?

— Ein bishen.

Затем он спросил сколько сейчас времени и, выпростав руку из рукава тужурки, показал, что часов у него нет:

— Die Uhr ist weg!

Тут я увидел, что диагоналевая темно-синяя тужурка у него надета на голое тело. Часов у меня — победителя — тоже не было, но я знал, приблизительно, сколько времени и ответил. Так мы разговорились.

Мой собеседник оказался флотским унтер-офицером, служившим во время войны на торпедных катерах. Ему было на вид лет тридцать с небольшим. Семья его осталась в Данциге, и он не знал, что сейчас с ней там происходит. На мой вопрос, зачем немцы стали воевать с нами, он ответил, что желания воевать у него не было, но в 1939 году его призвали из торгового флота:

— Das war ein Befehl!

Вытащив из внутреннего кармана тужурки небольшую — 6 × 9 — фотокарточку, он показал мне: вот жена, вот сын и дочка. Я поневоле сочувственно посмотрел на обычные человеческие лица, но вспомнив об Освенциме и душегубках, спросил, почему немцы дошли до таких зверств. Он как-то неопределенно пожал плечами и сказал, что об Освенциме он не знал, а что касается зверств — это дело эсэсовцев. Из разговора мне любопытно было узнать, что у немецких моряков есть железное правило: каждый при возвращении с моря должен сообщить родственникам своих товарищей — моряков с других кораблей — о всех из них, кого видел или знает что-либо.

Я продолжал задавать моему случайному собеседнику вопросы о Гитлере, о политике, о том, что он читает и читал ли он Гейне и Шиллера. Он отвечал, что Гитлер ликвидировал безработицу, что политикой он сам не занимается, что читает мало... Бедняга даже покраснел от напряжения, отвечая мне. Я думаю, что дело было не только в вопросах, но и в моем русском акценте. Затем он сказал, что у них есть образованный матрос, который до службы был типографским рабочим и поэтому должен был бы много читать. Он позвал его. Матрос оказался молодым,

всего года на четыре старше меня, парнем с замкнутым выражением лица. Он очень четко мне ответил, что Германия, которая является индустриальной страной, нуждалась в сельскохозяйственной Украине, что Шиллера он не читал, так как еще был молод, а такие серьезные книги надо читать в зрелом возрасте, а о Гейне он не слышал.

Начинало смеркаться, мои товарищи, с любопытством сначала слушавшие разговор, постепенно разошлись; и я, подумав что в общем-то в газетах правильно пишут об оболваненных немцах, тоже отправился на самую верхнюю полку спать. Утром «немецкая» половина вагона оказалась пустой, немцы вышли на какой-то станции, видимо, там их использовали на работах. За окном медленно плыли великолепные хвойные леса.

Пожалуй из всех корабельных практик, летняя практика 1945 года на Северном флоте была самой морской. У войны была своя инерция и поэтому мы много ходили. В то лето эскадра Северного флота состояла в основном из бывших английских и американских кораблей, переданных нам в августе 1944 года временно, за счет нашей доли трофеев от предстоявшего раздела итальянского флота после капитуляции Италии в июле 1943 года. Флагманским кораблем был «Архангельск», красивый линкор, до передачи нам входивший в состав английского флота и носивший там имя «Ройял Соверин». В состав эскадры входил также крейсер «Мурманск» (бывший американский «Милуоки») и эсминцы, часть которых были отечественной постройки.

Я попал на «Жгучий», полученный в числе других девяти эсминцев от англичан, у которых он назывался «Лемингтон». Англичане в свою очередь получили этот и другие эсминцы в 1940 году от США, где «Лемингтон» имел номер и имя, данные ему при рождении — DD-123 «Туиггс». Силуэт у «Жгучего» был типично американским — в нем преобладали функциональные начала. Имея эшелонное расположение котлов и турбин (два котельных отделения и одно машинное — носовой эшелон и — за ним — такой же кормовой), эсминец был четырехтрубным, причем первая труба была выше второй и они обе стояли отдельно от кормовых двух труб. Мне эти дымовые трубы напомнили почему-то выломанный забор. Не было у «Жгучего» и традиционного для наших эсминцев полубака. Вообще, силуэты советских и близких к ним по стилю итальянских и немецких кораблей были, по-европейски, более элегантными.

Я думаю, что в кораблях, как и в самолетах, автомашинах и других технических средствах, проявляются национальные черты промышленной эстетики. Мне, например, «физиономии» наших и американских грузовиков во время войны всегда казались

куда более добрыми, чем немецкие, угрюмо смотревшие своими фарами исподлобья. Все это я пишу потому, что очень интересно было сравнивать условия жизни на наших и «чужих» кораблях. А отличия, конечно, были — например, наши эсминцы содержались чище, чем английские. Это было заметно и объяснимо: у англичан была недопустимая для нас роскошь — две команды, ходовая и якорная. У нас (тут я всегда вспоминаю М.В. Фрунзе и его слова о дешевизне) была одна команда, которая постоянно и жила на корабле. Поэтому у англичан, по нашим меркам, безупречно содержались только столы для приема пищи да посудные рундуки. В носовом кубрике «Жгучего» находился именно такой стол. Он был просторен, его широкая столешница была выпилена из одного ствола дерева и поколениями моряков выдраена до ослепительного состояния. Английская посуда, особенно белые фарфоровые кружки были, чего греха таить, лучше наших, они были и красивее и прочнее, так как изготовлялись специально для флота. Это в полной мере относилось и ко всему бачковому хозяйству: нашими бачками были, по существу, обычные кастрюли, а у англичан — алюминиевого литья специальные сосуды, похожие на большие гусятницы, но с удобной, как у ведра, ручкой и массивной крышкой. В них, даже при значительной качке, было удобнее нести обед с камбуза по палубе и трапам в кубрик.

Каждый бачек объединяет до десятка едоков, обычно это одно отделение — комендоров, машинистов, минеров, сигнальщиков. Дежурить по бачку — быть бачковым — приходится по очереди всем, кроме командира отделения. Бачковóй должен приносить завтрак, обед, ужин и вечерний чай, а также мыть посуду. Бачкование — самое хлопотное и трудоемкое дежурство. Хороший бачковой должен быть расторопным и накормить своих товарищей раньше других, это сэкономит им время для отдыха и не даст томиться в ожидании за столом, когда соседи уже поели. Трудности возникают и с мытьем посуды: пресная и, особенно, горячая вода в посудомойке дается строго по расписанию и очень ненадолго. Чистота вымытой посуды проверяется корабельным врачом и нерадивому бачковому всегда грозит наказание. Одним словом, бачкование — это черный день! Кажется — ничего не подделаешь, такой порядок идет еще с парусного флота, причем нет принципиальной разницы, что у нас, что у англичан. Но... каково же было мое удивление, когда я увидел, что может быть и иначе!

Иначе — было на «Мурманске», где однажды мне пришлось побывать. Ожидая рейсовый вельбот, чтобы вернуться с крейсера на «Жгучий», и прохаживаясь по верхней палубе, я обратил внимание на одного обедающего матроса: его обед целиком раз-

мещался в высоком подносе, разгороженном на ячейки — для первого, для второго, для хлеба... А бачка — не было. Я спросил:

— Удобно?

— Конечно, удобно. Всего минут пятнадцать на обед — и будь здоров.

Может быть свои собственные проблемы удобнее решать самому, а не общественным путем,— подумал я. Во всяком случае на бывшем американском «Милуоки» в моем политизированном сознании появилась крамольная мысль: — На тебе, буржуазный индивидуализм,— а как удобно!

Я повторю, ходили (в морском смысле, то есть на кораблях) в то лето мы много, и поэтому различных морских историй, граничащих с анекдотами, было тоже много. Например, Борис Никитин, вполне здоровый, попал в госпиталь. Дело было так. Отстояв подряд две ходовых вахты в котельном отделении он совершенно законно пошел спать в кубрик. А тут — тревога. Дежурный по низам, обходя помещения и увидев спящего курсанта, разбудил его сакраментальным вопросом:

— Почему спите, товарищ курсант?

— Живот болит,— чтобы отвязаться буркнул Борис.

— Тогда немедленно отправляйтесь в госпиталь!

И ведь отправили! Так со своего «Достойного» Борис угодил с диагнозом «дизентерия(?)» в госпиталь. А там приключения продолжались. Не успел Борис, как он потом рассказывал, толком разместиться, как в палате появился новый больной, капитан:

— Матрос, не хочешь выпить?

Ну как тут отказаться, тем более когда предлагает боевой офицер? Выпили. Хороши были и джин и виски. Сначала тихонько, а потом и погромче запели. Открылась дверь и появилась сестра:

— Эй вы, дизинтерики! Что тут устроили? Прекратите, а то сейчас же выпишу!

Не выписала. Совершенно здоровым Борис провел в госпитале пять дней. На кораблях с желудочно-кишечными заболеваниями — строго!

Немного похоже случилось и у нас с Марком на нашем «Жгучем». Правда, обошлось без госпиталя. Отстояв ходовую вахту и подозревая, что нам после нее не дадут выспаться из-за тревоги, мы не пошли в кубрик, а забрались в укромное местечко на «теплом ящике» и там придавили. Но нам не повезло: по тревоге командир БЧ-V на этот раз решил обойти свои боевые посты... Пробуждение было очень неприятным, нам с Марком пообещали вызыскание. Дело потом уладилось: помог замполит, которому мы с повышенным энтузиазмом помогли модготовить несколько боевых листов и стенгазету.

День Флота мы встретили на рейде. К этому дню обычно издавался приказ Наркома ВМФ, но в том, 1945 году, приказ был подписан Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Союза ССР. Текст был обычным, за исключением одной фразы. По моим соображениям эта фраза должна была быть произнесена уже давно, до окончания войны. Если еще раз вспомнить, что первыми военными медалями были медали за оборону Ленинграда, Одессы, Севастополя и Сталинграда, затем — за оборону Москвы и Кавказа, и, наконец, за оборону Советского Заполярья, то нетрудно заметить, что в этом перечне только Москва и Сталинград не имеют, так сказать, прямого выхода к морю. Но под Москвой бились и морские стрелковые бригады и особая артиллерийская группа ВМФ, укомплектованная крупнокалиберными корабельными артиллерийскими орудиями, доставленными из Ленинграда, а в Сталинградской битве активно действовали корабли Волжской военной флотилии.

Фраза, которую я так долго ждал и которая появилась в приказе, была: «Флот до конца выполнил свой долг перед Родиной.» Я не удержусь от соблазна и приведу данные, говорящие сами за себя. Общий тоннаж потерь боевых кораблей за войну у нас был меньше, чем у Германии (соотношение 1 : 1,15), потери нашей авиации ВМФ, в действиях непосредственно на море, также меньше немецкой (1 : 1,4)! И еще один примечательный факт: в отличие от Красной Армии, самым неблагоприятным по потерям для Флота был не 1941-й, а 1942-й год, когда и Балтийский и Черноморский флоты несли наибольшие потери в операциях по содействию приморским флангам сухопутных войск.

Но вернемся на палубу «Жгучего». Поскольку был праздник — День Флота — и мы по этому случаю надели чистое рабочее платье, Марк достал свой фотоаппарат, чтобы пофотографироваться. Случайно проходивший в этот момент старпом, увидев, чем мы занимаемся, изменился в лице и, круто повернув к нам, отобрал аппарат, засветил пленку и сказал, что все он вернет Марку только при нашем отъезде в Ленинград.

— Смешно, какие тут секреты, корабль старый да еще полученный от англичан, — заметил Марк, когда мы остались одни, — 1918-го года постройки!

— Конечно, черт знает что, — поддержал его я, — ведь война-то уже кончилась.

Тем не менее, старпом был прав, а мы оба были неправы, и мы знали это, точнее — чувствовали: соблюдение *секретности* было частью *государственной политики*. В спецшколе многие из нас вели дневники; на подготовительном курсе нам уже

настоятельно рекомендовали не делать этого; в училище — просто запретили: а вдруг дневник попадет в руки врага? К концу войны с ленточек на бескозырках стали исчезать названия кораблей: «Парижская коммуна», «Молотов», «Карл Маркс», «Гневный», «Боевой», «Сообразительный», «Смелый»... Их заменили названия флотов. Режим секретности мог только укрепляться. Вместе с государством.

Заполярное лето и море зачаровывали — стоял непрерывный день. Солнце за горизонт не заходило, а только приближалось к нему и, помедлив пару часов, снова, шло на полдень. Если в эти ночные часы случался штиль, и корабль стоял на якоре на рейде, то вокруг него иногда появлялись тюлени. Своими круглыми глазами на почти человеческих головах они не отрываясь и не моргая смотрели на эсминец. Неожиданно какая-нибудь голова бесшумно исчезала, появлялась на новом месте и принималась опять пристально смотреть на корабль...

На первом для нас с Марком переходе из Баренцова моря в Белое, мы специально выжидали момент, чтобы увидеть, как смешиваются их воды — как-то не верилось, что моря могут, как реки, быть разного цвета. Оказывается могут! В Белом море вода имела белесоватый оттенок, но заметить это можно было только по контрасту, когда перед тобой — не смешиваясь — проходят широкие полосы то темных, то более светлых волн. Воздух был прозрачен, прохладен и чист — не надышаться!

В Архангельске мы простояли несколько суток и побывали в увольнении. В городе и Марк и я были впервые, поэтому сначала мы просто решили его осмотреть. Шагая по непривычным для нас деревянным тротуарам мы, взяв генеральный курс вниз по течению Двины, в конце концов оказались у поста СНИС, располагавшегося на берегу в бело-желтом здании старинной постройки с сигнальной мачтой на крыше. У самой воды стояла скамейка и мы уселись на нее, решив передохнуть и полюбоваться откряпшимся видом. Было солнечно, прохладно и очень тихо...

Неожиданно слева, из-за поворота Двины, послышался низкий мажорный звук быстро заполнявший все пространство. Почти одновременно со звуком появился корабль. Было какое-то удивительное соответствие между громадой эсминца и сопровождавшим его звучанием, похожим на гудение огромного шмеля и одновременно — на церковный хорал.

Пеленг на корабль быстро менялся, он, видимо, шел двенадцатиузловым ходом. Мы с Марком встали и, приняв положение «смирно», приготовились отдать честь его гвардейскому флагу. Когда форштевень «Гремящего» и линия моего взгляда соприкоснулись, я внезапно почувствовал, что время, а точнее корабль,



как бы замирает: на полубаке и юте шеренги матросов неподвижны; марево горячего воздуха над трубой стоит вертикально; на мачтах, вытянувшись по ветру, не шелохнутся вымпел и флаги. Разрезанная форштевнем зеленоватая волна с белой полоской пены не опадает, а солнце отражается сразу несколькими, застывшими бликами. Корабль виден целиком, он безупречен в своем совершенстве, он могуч и одновременно хрупок до хватающей за сердце грусти. Мне кажется, что моих щек касается идущее от него тепло.

Это состояние продолжается всего один миг. На мостике возникает движение. Ходовые шары стремительно падают вниз, пенные турбовентиляторов становится выше. Блеснула медь торпедных аппаратов; показывается кормовое орудие и глубинные бомбы у скатов по обоим бортам; становится виден государственный герб на срезе кормы; белеет и увеличивается бурун, поднятый винтами. Эсминец все быстрее уходит вправо; вскоре он пересекает невидимую границу, где река сливается с морем, и устремляется к только ему известной точке за горизонтом.

8 августа Советское правительство объявило войну Японии. В этот же день мы с Марком подали докладные записки с просьбой направить нас на Тихоокеанский флот. Докладные, как положено, мы вручили командиру корабля.<sup>41</sup> Он пообещал, что передаст их нашему руководителю практики. На следующий день пришел семафор — начальство нас вызывало к себе на флагманский корабль. Разговор с заместителем нашего начальника факультета по политчасти, — а он был руководителем, — свелся, примерно, к следующему. Капитан-лейтенант Остаплюк, поблагодарив нас за верность долгу, сказал, что пока мы будем оформлять необходимые бумаги и добираться до Владивостока, война, по его мнению, подойдет к концу и наша цель — еще повоевать — не будет достигнута.

— Хватит с вас, — в заключение добавил он, и заставил нас расписаться еще раз на наших же докладных, где косо была теперь написана резолюция, что нам «Разъяснено».

Забавное происшествие — его можно отнести к серии морских историй — произошло в Мурманске, откуда мы возвращались в родные пенаты. До отхода поезда в Ленинград оставалось несколько часов и мы, разбившись на группы, пошли прогуляться по городу. Едва вокзал оказался позади, как навстречу нам,

---

<sup>41</sup> Командиром «Жгучего» тогда был капитан-лейтенант Чернобай.

видим, направляется патруль. Мы знали, что у нас все в порядке — и документы и форма одежды,— но тем не менее нам без всяких объяснений, хотя и вежливо, сразу было заявлено:

— Пройдемте в комендатуру. Это совсем рядом!

Приходим. Навстречу из-за стола поднимается молоденький лейтенант, явно фрунзак:

— Здравствуйте. Извините что вас забрали, это я приказал. Мне доложили, что в городе есть курсанты из Дзержинки. Я распорядился приводить ко мне всех у кого на ленточках есть надпись «Инженерное училище». У нас, понимаете, мотор у автомашины заглох!..

Мы не очень удивились, что нас задержали: действовала инерция войны — раз нужно, чего церемониться. Я ответил, понимая юмор разыгрывающейся сцены и нашу неуязвимость:

— Если бы у вас турбины были не в порядке или котел... ну, хотя бы для отопления... тогда мы бы — с удовольствием. Вам придется задержать с другого факультета, дизелистов; двигатели внутреннего сгорания — это у них. А мы с паросилового факультета.

— Жаль! Еще раз извините, вы свободны,— с явным разочарованием произнес лейтенант. И уже обращаясь к патрулю, добавил:

— Главный старшина! Продолжайте выполнять приказание!

Заканчивая эту затянувшуюся главу, мне остается пересказать историю, услышанную от матросов на «Жгучем». После разгрома немцами одного из союзных конвоев (возможно и PQ-17), одному английскому транспорту удалось добраться до Новой Земли, где он недалеко от берега выбросился на камни. Команда, оставив судно, на шлюпках высадилась на остров. Когда на помощь подошли наши моряки, чуть ли не первым вопросом у них (то есть у наших) был вопрос, почему же англичане бросили свой корабль.

На это один из английских матросов — у него на бескозырке стояли буквы HMS<sup>42</sup> — якобы ответил так:

— Кораблей у короля много, а я у короля один!

Эта фраза прочно вошла в наш курсантский лексикон. Очень долго я употреблял ее только в ироническом смысле, и еще — как пример их буржуазного индивидуализма. Позднее я понял, что эта фраза имеет куда более глубокий смысл

---

<sup>42</sup> «Хиз меджести шип» — «Корабль его Величества»,— надпись на ленточках у английских матросов.

## НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ МИР



...когда мы патетически восклицаем, что возложили на алтарь Победы миллионы жизней, это не вызывает у меня прилива вдохновения и гордости. И заклинаю я Небо — не приведи, Господи, еще одной такой победы!

*Чингиз Айтматов*

Атомные бомбы, сброшенные нашими союзниками-американцами 6 августа над Хиросимой и 9 августа над Нагасаки, привлекли, конечно, общее внимание. Но я не воспринял это событие как начало совершенно нового периода в человеческой истории. Историческим представлялось — по крайней мере мне — наше объявление 8 августа войны Японии. Было ясно, Япония потерпит поражение и без нас, но эта война представлялась мне своеобразным ответным жестом за открытие в 1944 году Второго фронта в Европе. Тогда союзники помогли нам, сейчас — мы им. Атомную же бомбу я воспринял как давно ожидавшееся *новое оружие*. К концу войны о нем много говорили, ожидая появления нового оружия прежде всего у Германии. Гитлер и немецкая пропаганда представляли его как абсолютное оружие, которое вот-вот будет введено в действие и обеспечит безусловную победу Германии. Когда в июне 1944 года немцы начали обстрел Лондона своими самолетами — снарядами «Фау-1» (V<sup>43</sup>-1), а затем и «Фау-2», и когда оказалось, что именно они и являются этим новым оружием, я испытал своеобразное, «разочарование». Права наша пресса — подумал я, — все это немецкое оружие — просто пропагандистский блеф. А вот американские атомные бомбы и были настоящим новым оружием. Должен заметить, что я не испытал тогда сожаления о том, что бомбы сброшены и погибло очень много людей. Говорить о том, что не надо было этого делать и что исход войны был уже предрешен, стали только через несколько лет, когда испортились наши отношения с американцами. Каждому времени соответствуют не только свои песни, но и свой

---

<sup>43</sup> Первая буква немецкого Vergeltungswaffe — оружие возмездия.

образ мыслей. Тогда не было известно, сколько еще может сопротивляться Япония и скольких жертв это потребует от союзников: лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Меня, помню, тогда занимало другое: не может ли случиться так, что начавшись, атомная реакция вызовет свое лавинообразное продолжение уже в земле, и эту реакцию невозможно будет остановить. Эту проблему мы с Марком обсуждали помню, в самом конце августа, когда вернулись с Севера. Сообщения прессы, связанные с атомными бомбами, были какими-то неотчетливыми, и мы в конце концов решили, что следует подождать несколько дней, а там — будет ясно. Обсуждение мы вели в курилке на втором этаже учебного корпуса, удобно устроившись у открытого окна. День был превосходный, густая и одновременно прозрачная от солнца зелень деревьев и газонов Сенатской площади удивительно гармонировала с белоснежными колоннами, аркой и желтыми фасадами бывших Сената и Синода; война кончилась, жизнь продолжалась и впереди было радостное событие — отпуск, первый за всю войну начиная с лета 1941 года.

За день до отъезда из Ленинграда была устроена *вечеринка*. Сейчас это слово пропало, так же, как, скажем, и складчина. Осталось выражение «пойти в гости», но оно — совсем другое дело; несколько ближе к вечеринке — «соберемся компанией», «междусобойчик» или «сбросимся», но уровень вечеринки был куда как выше. Пить много считалось совершенно неприличным; почти всегда танцевали, как правило под патефон, но нередко для этой цели служило и пианино или рояль; устраивались какие-нибудь общие игры вроде «флирта», шарад и викторин с фантами для прощтрафившихся; интересно, что о политике совершенно не говорили — не потому, что боялись, — а потому, что — неинтересно, политика была практически постоянной. Закуски были легкими, горячее не готовилось, обязательно был чай с лимоном.

Вечеринка перед отпуском мне запомнилась особо потому, что на ней очень пострадал недавно начавшийся мой роман с Ниной. Собственно романом его назвать было еще трудно, но все же: я со «Жгучего» писал Нине письма, и она на них отвечала.

Приглашать танцевать я старался все больше Нину — она была нарасхват — и вот во время одного из танцев я осторожно поцеловал ее в щеку. Мотив того бравурного немецкого вальса с трофейной пластинки<sup>44</sup> под который мы кружились, я слышу, кажется, до сих пор... Нина обиделась и громко сказала, что танцевать больше со мной не будет. Я был искренне огорчен.

---

<sup>44</sup> Пластинки были Наташины, их привез ее отец, офицер-фронтовик.

По поводу этого инцидента у Нины состоялся (об этом я узнал много лет спустя) в тот же вечер разговор с Татьяной и Наташей. Я позднее вернусь к нему, поскольку разговор этот имел, как оказалось, прямое отношение к моей судьбе.

2 сентября Сталин вновь обратился к народу. На этот раз он объявлял о капитуляции Японии и разъяснил: «Это означает, что наступил конец второй мировой войны». Мысль об окончании войны доминировала: «Поздравляю вас, мои дорогие — соотечественники и соотечественницы, с великой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире!»

Говорилось в обращении и о нашем «особом счете к Японии» и о «черном пятне» 1904 года, которое теперь «ликвидировано». 3 сентября отпраздновали второй в том году победный праздник — праздник Победы над Японией. Его я встретил уже в отпуску в Москве.

Мало кто уделяет внимание сравнительно непродолжительному промежутку времени, начавшемуся 2 сентября 1945 года и закончившемуся в начале, а точнее 9 февраля 1946 года. А ведь только эти пять месяцев и были настоящим мирным временем: *врага не было*. Немцы были разгромлены, воевавшие на их стороне финны, итальянцы, румыны, венгры — тоже, японцы — тоже. Врага не было! Удивительное время — время ожиданий и надежд. Перенесенные страдания, а за войну их было — дальше некуда, вызвали какое-то всеобщее, почти религиозное чувство, что за это нам должно теперь воздаться хорошей жизнью. Запах победной свободы, мне казалось, носился в воздухе. Пропаганда и агитация куда-то исчезли. По-прежнему выходил «Британский союзник», в трофейных приемниках без помех звучал «Голос Америки», джаз Утесова исполнял американскую «Песенку ночных бомбардировщиков»; «Джордж из Динки-джаза» и картины с Диной Дурбин не покидали экран...

У меня промелькнула как-то мысль, не коснется ли демобилизация вооруженных сил и нас. В крайнем случае — подумал я — тогда перейду в мореходку (так мы называли гражданские морские учебные заведения). Но никаких намеков на это не было. Прошел даже слух, что довоенная кораблестроительная программа будет возобновлена, естественно, с учетом опыта войны, поэтому морских офицеров будет не хватать. Но тем не менее, конкретного противника не было! С кем воевать: с англичанами? с американцами? — смешно, ведь мы союзники. И потом: Англия слабее нас, американцы толком воевать не умеют, а о Франции и думать нечего — у нее и сил-то нет. А больше в целом мире и нет никого — не считать же Канаду и Аргентину! Я, конечно, упрощаю, но ход моих мыслей был именно таким. Несколько в стороне оста-

валась мысль об атомной бомбе. Но не будут же американцы воевать с нами — как и мы с ними — со своим союзником.

Правда, *классовый* противник из моего сознания никуда не исчезал, им был капитализм, а точнее — *империализм*. Но с ним не обязательно воевать с оружием в руках, против него есть значительно более эффективное, — я был в этом уверен, — средство — учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Мы победили наиболее агрессивного представителя империализма — Германию, с остальными справимся без войны, экономически: у них анархия рынка, у нас — плановое хозяйство. Мы уже миновали стадию, на которой они сейчас топчутся, мы исторически более прогрессивны. Я был уверен, что именно поэтому во всех освобожденных нами странах народы чуть ли не молятся на коммунистов и ставят их во главе своих правительств. Конечно, этому способствует Красная Армия, но, так сказать, морально, мы во внутренние дела не вмешиваемся. В моем сознании, а точнее — уже в подсознании, жила уверенность в том, что только «оболваненные» народы не хотят коммунизма (или социализма, как его первой стадии), что в любой буржуазной или капиталистической, что одно и то же, стране народ немедленно, если дать ему свободу, совершит пролетарскую революцию и сбросит изначально ненавистное ему правительство. Ведь только буржуазное правительство мешает жить народу по принципу «от каждого по способности, каждому по потребности», или, в крайнем случае, «каждому по труду». При буржуазном правительстве может существовать только классовая (для них) буржуазная демократия, противоположная истинной, то есть нашей социалистической демократии. Поэтому все социально-политические процессы, скажем так, начавшиеся в освобожденных нами странах, представлялись мне *естественными* и исторически прогрессивными.

И вот отпуск. Еще в поезде Ленинград — Москва я стал думать о предстоящей встрече с Вилиной мамой. В те несколько часов, когда я был дома после майского и парада Победы, я ее не видел. Возможно, она избегала этой встречи. А теперь — отпуск, впереди — целый месяц. Мне хотелось и как-нибудь утешить Минну Алексеевну, и еще — расспросить о Виле, она ездила к нему на выпускную церемонию в Сумское артиллерийское училище прошлой осенью. И в то же время, я понимал, что ничем не смогу ее утешить, и от этого ожидание встречи было тягостным и горьким.

Сначала мы встретились в коридоре нашей коммунальной квартиры когда в ней было много народу. Я поздоровался, Минна Алексеевна, которая раньше всегда обнимала меня, на этот раз как-то отрешенно посмотрев в мою сторону, только и сказала:

«Здравствуй», и сразу же, не оборачиваясь, ушла к себе. В этот же день мы вновь встретились в коридоре, но уже вдвоем. Минна Алексеевна взяла меня за руку и сказала: «Пойдем!» Мы прошли в маленькую комнату, сели, и тут она разрыдалась! Она плакала и о Виленьке и об Александре Титовиче, который пропал без вести, и об этой ужасной и несчастной войне. Немного успокоившись, Минна Алексеевна рассказала, что Вилю оставляли в училище — он кончил его с отличием,— но он сказал, что «Только на фронт!». Минна Алексеевна плакала, и я тоже не мог сдержать слез... Все последующие годы когда я бывал в отпуску в Москве, мы с ней обязательно садились в маленькой комнате и вспоминали Вилю. Маленькая комната до войны была детской.

Через несколько дней приехал Димка О., которого в Ленинграде задержал не сданный зачет по физподготовке: его заставили тренироваться в прыжке через коня в длину, пока он не одолел это упражнение. Мы договаривались, что сразу после приезда в Москву, он зайдет ко мне. И вот он появляется, но не один, а с незнакомой мне девушкой. Я почувствовал некоторое замешательство, но Димка решительно, не обращая на это никакого внимания, говорит: «Знакомьтесь!»

— Игорь,— щелкнул каблучками я.

— Ирина,— мягким глубоким голосом ответила незнакомка и протянула мне руку.

Втроем мы пошли прогуляться по Центру. Иллюминация после праздника Победы над Японией еще не была убрана, везде было весело и многолюдно. Ирина обращала на себя внимание, да и не мудрено: она была очень хороша собой. Я, естественно, не упустил возможности сказать ей, что участвовал в параде Победы. Ирина, как мне показалось несколько высокомерно, заметила, что летом она была тоже участницей парада Победы, но физкультурного. Он проходил на Красной Площади и его так же принимал Сталин.

На следующий день втроем мы опять пошли погулять, а через некоторое время, решив, что у Димки должны быть свои дела и отвлекать его от них не стоит, мы с Ириной встретились вдвоем. Впрочем, мы все виделись часто или у Ирины, или у Димы, или у меня дома.

У меня никогда не было больше такого счастливого и беззаботного отпуска. Я влюбился в Ирину...

Каждое время имеет не только свои песни, но и свои цветы. То победное время живет во мне огненным разноцветьем астр и хризантем на темно-синем, почти черном небе. Каждая частичка этих радужных цветов пульсирует и ослепительно сверкает, что-

бы затем неслышно погаснуть в темноте. Радость от Победы была ошеломляющей и, в отличие от салютов, стойкой: мы победили, мы все можем! Именно тогда появились площади, проспекты и парки Победы, появилась новая марка автомашин и превосходного качества ручные часы, которые ходят у меня до сих пор. Тогда же возникла и идея соорудить грандиозный памятник Победы в Москве... Победа была ключевым словом.

В один из дней отпуска мама мне сказала, что уже несколько лет, как арестован Филипп Иванович, дядя Филя. Подробностей она не знает, но думает, что никакого преступления он не совершал, а арестовали его просто за то, что когда-то бывал за границей, поскольку был моряком.

Учебный год в Ленинграде начался 1 октября традиционным парадом во дворе Адмиралтейства. На нем небольшую речь произнес академик Крылов. Он был легендарен и стар. На Алексее Николаевиче были высокие — выше колен — русские валенки в калошах, и, вообще одет он был тепло и как-то по-домашнему. Импровизированной трибуной служил грузовик, на борт которого по деревянной сходне подняться ему помогали двое дюжих курсантов-пятикурсников. Я думаю, что он жил в другое время: академик не стал говорить ни о Победе, ни о партии, ни о гениальном полководце. Он сразу заговорил о точности вычислений и заметил, что всякая лишняя цифра — это половина ошибки. Закончил он пожеланием, чтобы мы не тратили времени и усилий для получения четвертого знака после запятой, так как любой закон надежно проявляется уже в третьем знаке.<sup>45</sup>

Снова из окна учебного класса я любуюсь Сенатской площадью и никак не могу оторвать взгляда от памятника Петру. Его только-только освободили от укрытия из бревен и мешков с песком и он предстал в своем первоизданном величии. У нас шли разговоры, что это событие приурочено к приезду в Ленинград Климентины Черчилль — супруги премьер-министра Великобритании во время войны. К ее приезду и мы наводили порядок вокруг нашего Адмиралтейства и внутри его — не исключалось, что высокая гостья посетит училище. Тем не менее, к нам леди Черчилль не пожаловала, но у памятника Петру она была и мы видели как задумавшись, она простояла несколько минут у вновь обретшего после Победы свободу монумента.

Мне открывшийся памятник сначала показался почти неправдоподобным — как сбывшийся сон. Рисунок Медного Всадника был мне знаком с тех пор, как я себя помню, он был среди иллюстраций в мамином наградном собрании сочинений Пушкина.

---

<sup>45</sup> Это было его последнее публичное выступление, 26 окт. он скончался.



А тут — вот он, рядом! Как в сказке. Неожиданной была только змея под копытами вздыбившегося коня: на рисунке я ее принимал просто за часть постамента. Памятник был чудо как хорош, особенно меня поражала органичная слитность фигуры скачущего императора и гигантского камня-постамента. Ни у какого другого памятника я не встречал такого гениального единства идеи, образа и их воплощения. Среди многотысячных памятников Сталину ничего подобного нет, Ленину — тоже, за исключением одного. Это исключение — памятник вождю мирового Октября у Финляндского вокзала в Ленинграде, созданный в 1926 году скульптором С. Евсеевым. Я думаю, что всякий талантливый художник творит, повинаясь таинственному императиву, связанному с постижением истинной сущности изображаемого. В ленинском памятнике есть все: призыв в прекрасное коммунистическое завтра и вера в него, суровая большевицкая непреклонность и угроза массам: кто не с нами — расстреляем; недаром подножием Вождю служит башня броневика с пулеметом, смотрящим вам в лицо. Такое восприятие памятника, естественно, пришло не в том году, а позднее, тогда же памятник воспринимался несколько стилизованной данью истории партии — приезде Ленина в 1917 году в революционный Петроград и апрельским тезисам.

Между тем, происходили события, которые, казалось, должны были сделать мирное время длительным и прочным.

24 октября вступил в силу устав Организации Объединенных Наций, предварительно разработанный СССР, США, Англией и Китаем и подписанный летом на конференции в Сан-Франциско. Мне несколько беспринципной тогда показалась наша охота за голосами в Совете Безопасности UNO<sup>46</sup>: мы получили три голоса — для СССР, Украины и Белоруссии. Это был компромисс, сначала мы хотели получить количество голосов по числу наших тогдашних союзных республик, то есть одиннадцать. Американцы возразили: тогда мы (то есть они) — по числу штатов. Один наш дипломат наконец положил на стол американскую карту, на которой Советский Союз был показан состоящим из России, Украины и Белоруссии. На том и порешили.

20 ноября 1945 года в Нюрнберге начался долго откладывавшийся (в этом наша печать все время почему-то обвиняла американцев) судебный процесс над главными немецкими военными преступниками. Военный трибунал состоял из представителей

---

<sup>46</sup> Первоначально для Организации Объединенных Наций у нас существовала эта аббревиатура, потом она превратилась в ЮНО и значительно позднее — в ООН.

СССР, США, Великобритании и Франции. Было досадно, что среди подсудимых не было Гитлера и Геббельса, покончивших с собой — ведь они были самыми главными негодяями. В первых газетных сообщениях о самоубийстве Гитлера говорилось, что он перед этим вступил в законный брак с Евой Браун — бывшей знаменитой немецкой киноактрисой. Она не была названа любовницей Гитлера, но — его метрессой, а в другом случае — пассивей. До этого таких слов наши газеты не употребляли даже. У меня тогда промелькнула мысль: если Гитлер так поступил, значит он верующий. Но разве может верящий в Бога человек совершать такие чудовищные преступления («душегубки», газовые камеры, концентрационные лагеря...)? Загадка тиранов и диктаторов.

Процесс длился до начала октября 1946 года. Трибунал приговорил двенадцать преступников к смертной казни через повешение. Геринг незадолго до казни успел покончить с собой, семь человек были осуждены на длительные сроки заключения (трое пожизненно), трое оправданы.

Были признаны преступными организациями СС, СД, гестапо и руководящий состав национал-социалистической германской рабочей партии (NSDAP).

Итак, был поверженный враг, были союзники. И всё. Нового конкретного врага не было.

Прочитав только-что написанное, я по какой-то ассоциативной прихоти памяти неожиданно вспомнил, как году, наверное, в 1956-м мой коллега по штабу дивизиона сторожевых кораблей минер Иван Ш. рассказал мне о «международном» инциденте, приключившимся с ним летом того победного 1945 года (Иван занимался послевоенным боевым тралением на Балтике). Побывав в описываемый день в Осло, он затем в гавани, расположенной недалеко от ратуши, стал ждать катер или шлюпку, чтобы вернуться на свой тральщик.

Присев, предварительно спросив разрешения, на скамейку, Иван затем разговорился с сидевшим рядом норвежцем. Конечно, о победе и о только что кончившейся войне. Разговаривали на ломаном английском — Иван не знал норвежского, а «норвег» — русского. Постепенно дошли до Гитлера и Сталина. До того все было хорошо, оба понимали друг друга, но когда норвежец заметил, что между Гитлером и Сталиным нет большой разницы и, виновато улыбнувшись, добавил, что оба они диктаторы, Иван мгновенно вскипел и поднялся с намерением ударить аборигена по физиономии. Встал и норвег. Перебив свой рассказ, Иван обратился ко мне:

— Ты понимаешь, он — черт возьми — сравнил Сталина

с Гитлером! Разве я мог стерпеть такое! Сталин ведь же воевал против Гитлера!

Потасовка была бы неизбежной, но к этому времени подошли товарищи Ивана, которым тоже надо было возвращаться на корабль, и, взяв минера под руки, они, буквально, оттащили его от иностранного вольнодумца.

Мой однокашник Володя Николаев («ВД»<sup>47</sup>) как-то сказал нам с Борисом, что он еще в 1943 году идентифицировал и Гитлера и Сталина — обоих! — как преступных диктаторов. Может быть. Но я так тогда не считал. Я, как и Иван, абсолютным преступником, преступником номер один, считал Гитлера, а Сталина — спасителем человечества от коричневой чумы. Тем не менее, мне казалось странным, что фильм Чарли Чаплина «Диктатор», а о нем много писали и говорили во время войны, так и не вышел на советские экраны. Я считал это тогда случайным и думал, что еще удастся его посмотреть...

Судебные процессы над немецкими военными преступниками шли по всей стране. Прошел такой процесс и в Ленинграде. Я оказался свидетелем его завершения. В тот день в соответствии с Уставом Гарнизонной службы мы были направлены на площадь у кинотеатра «Гигант», чтобы оцепить место казни.

Я хотел об этом эпизоде написать по памяти, сегодняшними словами, но Ирина сохранила мои письма, и я подумал, что лучше переписать просто отрывок из того письма ей, помеченного 5 января 1946 года. Он, по-моему, даже только в наборе слов, сохраняет дух того времени:

<...> Это были восемь человек — среди них один генерал и несколько офицеров, — которые «отличились» во время оккупации части Ленинградской области своими убийствами мирного населения, поджогами, угоном в Германию наших людей и т.д. Сегодня в одиннадцать часов утра их повесили. Все это было торжественно и несколько мрачно. Сам день как-то гармонировал (сегодня была небольшая оттепель, шел мокрый снег, небо было обложено рваными серыми облаками) и с длинной, на восемь человек, виселицей, срубленной из едва обтесанных топором бревен, и похожей на качели; и со «студебеккерами», выкрашенными в темный цвет; и с красноармейцами в стальных шлемах, которые на этих машинах привезли немцев. Резкий контраст с этим представляют толпы народа, собравшиеся вокруг площади: маленькие мальчишки бегают и стараются прорваться вперед, женщины улыбаются, пожилые — стоят серьезно, поджав губы — им, видно пришлось много пережить во время войны и

---

<sup>47</sup> У нас был еще его тезка и однофамилец — «ВИ».

блокады (кстати, об этом напоминают развалины дома на краю площади) и сейчас они видят, как торжествует справедливость... На машине с радиоустановкой прокурор читает приговор и приказывает коменданту привести его в исполнение... Взыли моторы четырех «студебеккеров», быстро набивая скорость они выезжают из-под виселицы, — на ней закачались восемь трупов. Через минуты две они затихают. Вокруг — аплодисменты и свистки мальчишек, все устремляется к центру площади, сминая кольцо охраны; впрочем, мы им и не препятствуем. Видно, как кто-то поворачивает генерала и он начинает вертеться на веревке как мешок. Отовсюду стекаются люди...

Но несмотря ни на что, на душе остается какой-то осадок, настроение тяжелое. На меня произвел самое большое впечатление не сам момент казни, а появление машин с подсудимыми — они сидели по два на дне кузова в каждой машине, руки связаны, сверху накинута плащ, все бледны, некоторые растерянно и жалко улыбаются. И вот они через несколько минут уже перестанут быть живыми существами. Это как-то страшно и немного не укладывалось в сознание. Ну да ладно, хватит об этом, они получили то, что заслужили — собакам собачья смерть. <...>

Замечу, что военная цензура в Ленинграде была отменена лишь с 1 января 1946 года, и я, естественно, еще не знал об этом, когда писал письмо. Если мне память не изменяет, кажется фамилия немецкого генерала была Рейнхарт. Говорили, что будто в последнем слове на суде им было сказано, что он с радостью примет свою смерть в надежде на то, что она послужит будущей дружбе немецкого и русского народов.

Есть разница в непосредственном впечатлении и впечатлении, сохраняющимся в течение многих лет: я до сих пор вижу лицо той женщины лет тридцати, взявшейся за начищенные сапоги немецкого генерала и крутанувшего их, заставив мертвеца вращаться вокруг своей веревки на виселице.

Надежды на продолжительный мир исчезли 9 февраля 1946 года, когда Сталин произнес свою речь на предвыборном собрании в Москве (на следующий день проходили первые послевоенные выборы в Верховный Совет СССР). Было сказано, что «...пока есть империализм, остается возможность войны», кроме того, чтобы защитить страну «от всяких случайностей», нам нужны еще три-четыре пятилетки...

Все становилось на свои места, опустился, едва поднявшись во время войны, железный занавес. Враг был назван, началась холодная война. Ее объявил, как тогда я был уверен, 5 марта

1946 года У. Черчилль в своем знаменитом выступлении в Фултоне. Любопытно, в нем он как бы предвидел нашу перестройку: «...создать кольцо сил — политических, экономических и военных — вокруг района, находящегося под советским контролем... чтобы довести Советский Союз до такого состояния, когда он будет вынужден перестроиться»!<sup>48</sup>

18 марта 1946-го был принят Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР, по которому строительство кораблей в 1950 г. должно быть увеличено вдвое по сравнению с 1940 годом. В Законе говорилось: «Обеспечить строительство в СССР сильного и могучего флота».

## ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА



Помните, с какой силой расцветала в Европе, и не только в ней, коммунистическая идеология. Сразу же после войны она получила мощную поддержку элитарных кругов интеллигенции почти во всем мире, в ней усматривали лекарство от болезней, тяготевших человечество.

*Эдвард Герек*

Конечная цель доктрины освобождения должна состоять в демонтаже советской империи... Этим будут реализованы два основополагающих замысла: предоставление права на самоопределение народам, которым в этом так долго отказывали, и укрепление безопасности Запада.

*«Хэритидж фаундейшн»*

Мне хочется сделать некоторое отступление от сравнительной хронологичности моего повествования. Задавшись целью объяснить эволюцию своего изначально мифологизированного сознания, я должен, — чтобы продолжать рассказ, — объяснить са-

---

<sup>48</sup> См. История СССР, под ред. С.А. Сераева, М., «Просвещение», 1983, т. III, стр. 357.

мому себе, почему так долго сохранялось неизменным мое партийное (марксистско-ленинское) и одновременно имперское (советское государственно-патриотическое) мировоззрение. Среди многих причин, способствовавших этому (тотальная монополия государства на информацию, образование, экономику и так далее), есть два обстоятельства, имевших для меня, пожалуй, решающее значение.

Во-первых. Служа на Флоте, я тем самым уже принадлежал к обособленной и достаточно устойчивой, если не сказать естественно консервативной, государственной структуре. Вооруженные силы, задачей которых является защита военных интересов государства, даже после революций сохраняют свой, так сказать, «нерастворимый остаток», продолжая оставаться вассалом верховной власти и исповедовать идеологию сюзерена.

Во-вторых. С началом холодной войны снова появился враг. Если сначала он был назван только *империализмом*, то очень скоро этот империализм стал американским (английским, западногерманским...), а впоследствии американцы с их союзниками по НАТО стали просто и очевидно *противником*, с не-меняющейся сути дела оговоркой *вероятным*. Появление врага неставляло никаких альтернатив, кроме борьбы с ним.

Вторая мировая война закончилась, если ее рассматривать даже только с классовых позиций (а я так ее и рассматривал), наступившим равновесием между социализмом и капитализмом. Наиболее четко это проявилось в Германии, Корее и Вьетнаме: граница между двумя «измами» пролегла через эти страны, не дав ни одной из двух систем завладеть целиком каждой из них.

Мне кажется, что *холодная война* не самое удачное название для периода мировой истории, начавшегося в феврале 1946-го и закончившегося в декабре 1989 года. Не самое удачное потому что эта война была глобальной по составу ее участников и, кроме того, отнюдь не холодной. Это была война сверхдержав — СССР и США, — поддерживаемых каждая своей коалицией — странами ОВД и НАТО. Во время этой войны были взорваны десятки атомных и водородных бомб, использовалось химическое оружие, применялись практически все виды классических вооружений, особенно самолеты, корабли и танки. Лихорадочно работала военная промышленность, названная с легкой руки Д. Эйзенхауэра военно-промышленным комплексом; разведка и контрразведка сбивались с ног; неистовствовал пропагандистский аппарат. Неподсчитанных жертв у этой войны — миллионы. Это не холодная, а *третья мировая война*, такое название более отвечает сути случившегося.

Захватывались целые страны: мы захватили Восточную Германию, Польшу, Венгрию, Болгарию и Румынию. Югославии удалось ускользнуть... Американцы захватили Западную Германию, Англию, страны Бенилюкса, Норвегию, Грецию и Турцию. Франции, вначале вошедшей в НАТО, позднее удалось уйти из ее военной организации. В периоды потеплений противникам удалось договориться о нейтральном статусе Финляндии и Австрии. Война знала приливы и отливы, перемирия и острейшие кризисы вроде Карибского.

Начавшись, как и обе предыдущие мировые войны в Европе (мы объявили о блокаде западного Берлина, а американцы организовали к нему воздушный мост), постепенно война распространилась на Азию (Тайвань, Корея, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Южный Йемен, Афганистан), Африку (Конго, Эфиопия, Мозамбик, Намибия, Ангола) и Америку (Куба, Чили, Никарагуа, Сальвадор, Гренада).

После победы в 1949 году революции в Китае, он стал нашим вернейшим союзником и был таковым до шестидесятых годов. То был пик наших успехов; казалось, что победа нашей коалиции (стран народной демократии, сил мира и социализма, социалистического лагеря, мировой социалистической системы) почти обеспечена. Но затем следуют события на острове Даманском — своеобразный драматический пролог к невероятным с точки зрения нашего учения войнам между социалистическими странами. Серьезной компенсацией этой нашей неудачи служит поражение американцев во Вьетнаме.

Военно-промышленные комплексы противоборствующих сторон постоянно наращивают свою мощь, вовсю развернуты военные научные исследования, пропаганда и дезинформация ведут нескончаемую дуэль. Космос становится пространством ожесточенного соперничества. Первым за пределы земного тяготения выходит Юрий Гагарин, майор советских ВВС, за ним следуют американцы, тоже офицеры, А. Шепард и Дж. Гленн.

К началу семидесятых годов в войне наступает состояние, получившее определение как «паритет». В 1975 году в Хельсинки заключается перемирие, названное Хельсинским пактом. К этому времени, военные расходы превращают гражданский сектор советской экономики в подсобный, наш глобальный натиск ослабевает, американцы незаметно начинают брать реванш. В 1983 году они отбивают у нас Гренаду, а в 1989-ом вынуждают наши войска покинуть Афганистан. Наша коалиция начинает баснословно быстро распадаться...

Но у этой войны были удивительные особенности:

Воюющие стороны, за небольшим исключением, сохраняли полноценные дипломатические отношения.

Атомные и водородные бомбы взрывались на собственных территориях или далеко на периферии (острова Бикини, Мору-роа, Новая Земля).

Введение войск на территории других государств происходило, особенно в начале войны, исключительно по договоренности с правительствами этих государств.

И, наконец, реальное массированное применение обычных вооружений и ведение боевых действий происходило вне европейского ТВД (я исключаю подавление, скажем восстания в Венгрии и другие подобные события, они являлись все же внутренними по отношению к коалиции).

Мир был провозглашен в первых числах декабря 1989 года. На рейде бухты Марсашлок острова Мальты встали на якорь советский крейсер «Слава» и американский «Белкнап». Президент США Буш и Горбачев (первый и последний президент СССР и последний генсек) должны были поочередно встречаться на этих кораблях и заключить мир, но разыгравшийся восьмидесятилетний шторм вынудил их провести встречу на пассажирском лайнере «Максим Горький», ошвартовавшегося у стенки. Состоялась, пожалуй, самая важная после Потсдама встреча в верхах: президенты объявили о конце войны. Первым сказал это Буш.

Я умышленно лишь в самых общих чертах обозначил ход этой войны, важно подчеркнуть, что начавшись в 1946 году, она объективно существовала, и, кроме того, способствовала долгому сохранению и совершенствованию нашей социалистической системы. И моего мировоззрения. До 1989 года, пусть по инерции, я еще верил во внешнего врага, как главного источника всех наших бед. Во всяком случае, в 85-86-м я еще считал, что такой враг очевиден.

Но вернемся в 1946 год. Он был, по-моему весьма знаменательным: это был мощный всплеск начавшегося в 1943 году утверждения абсолютного (и, конечно, справедливого во главе с генералиссимусом) государства, преимущественно русского в своей основе (Сталин, выступая на встречах с Рузвельтом и Черчиллем, всегда говорил: «Мы, русские...»). В самом конце февраля старые наркоматы Обороны и Военно-Морского Флота были преобразованы в единый Наркомат Вооруженных сил во главе со Сталиным. Не Обороны, но Вооруженных сил! В начале марта I сессия Верховного Совета СССР принимает закон о преобразовании СНК (Совета Народных Комиссаров) в Совет Министров, наркоматы становятся министерствами; само слово министр, замещающая обветшавшего наркома, звучит торжественно и государственно. Именно в 1946 году Красная Армия (РККА) переименовывается в Советскую Армию, на флот возвращается звание матрос вместо прежнего краснофлотец.



После сдачи экзаменов за второй семестр, дня за два до отъезда на практику, черноморцев — то есть тех, кто был направлен на практику на Черноморский флот — послали в библиотеку Петропавловской крепости. Надо было помочь разобрать книги, пролежавшие там всю войну и блокаду. По этому поводу мы иронизировали: начальство только после третьего курса начинает использовать наши интеллектуальные возможности! А то до этого — переноска тяжестей; лесозаготовки, вывоз строительного мусора и — в порядке несения гарнизонной службы — патрули, стояние линейными, участие в оцеплениях. Помогали мы и в тушении больших пожаров — как это было скажем на «Красном треугольнике». Иногда по несколько суток досаждала «водяная тревога» — это когда ожидалось наводнение — могли запретить увольнение в город и, кроме того, надо было спать не раздеваясь. Поэтому работа в Петропавловке казалась просто развлечением, да и от обилия книг глаза разбегались. Руководившая нашей работой девица (чуть постарше нас) нехотя разрешила нам после окончания взять по книжке, предварительно показав эту книжку ей. Самой интересной, как позже оказалось, была книга Отто Вейнингера «Пол и характер», которую взял Ленья С. и которую мы все читали по пути из Ленинграда в Севастополь.

Автор начинал с утверждения, что существуют абсолютный мужчина и абсолютная женщина. Именно они идеально дополняют друг друга. В реальной же жизни каждый мужской организм имеет какую-то часть женских клеток, так же как и женский — мужских. Идеальные пары — это те, у которых общая сумма мужского и женского начал равны единице. Это своеобразный «закон длины волос»: чем короче волосы у мужчины, тем длиннее они должны быть у женщины. Далее О. Вейнингер определяет абсолютно мужской и абсолютно женский характеры: у мужчины основа его — активное творческое начало, у женщины — пассивное и воспринимающее. Затем, используя тот же прием раздвоения, автор утверждает, что есть абсолютные женщина-мать и женщина-куртизанка. Реальная женщина имеет черты и той и другой, при этом сумма противоположных качеств, естественно, составляет ту же единицу. И так далее.

Конечно, это было любопытно, тем более, что каждый из наших парней, наверняка был в кого-то влюблен. Книга читалась с интересом еще и благодаря великолепной методологии изложения и языку. Тем не менее мне книга запомнилась все-таки по другой причине: в ней я впервые, воочию, прочел беспощадную критику Маркса и коммунизма. Вейнингер противопоставлял социализм и коммунизм, считая их самостоятельными и противо-

положными друг другу. Для меня, привыкшего видеть в социализме первую фазу коммунизма, это было совершенно неожиданным. Мало этого, автор через сопоставление христианства и иудаизма соотносил первое с социализмом, а второе — с коммунизмом. При этом активное творческое начало он видел в социализме, в котором главным была отдельная творческая личность, Я, в то время как в коммунизме он усматривал лишь МЫ, растворенное в пассивном т.е. женском начале.

Незадолго до прибытия нашего поезда в Севастополь Леня вырвал из книги еретические антимарксистские страницы, изорвал их на мелкие кусочки и выбросил на пустынном перегоне за окно вагона.

Если попытаться вспомнить впечатления от первых дней в Севастополе, то сразу возникает праздничное ощущение свежести и золотисто-голубого тепла: сияющее в зените солнце; солнце, отраженное морем; прозрачные на солнце аквамариновые волны; благородные — у меня нет другого слова — освещенные и согреты солнцем руины из инкерманского камня. И красивые, как в сказке, корабли. Гриновский город!

Позднее я узнал, что прообразом романтических Гельгю и Зурбагана был Севастополь с его городскими холмами, бухтами и нарядными спусками к ним. Материализация представлений и образов, живших до этого только в воображении, шла непрерывно и как-то почти волшебным образом. Учебный корабль «Волга», приютивший ненадолго нас сначала (корабли эскадры должны были вот-вот вернуться с учений), оказался бывшим испанским республиканским лайнером «Иоган Себастьян Аликано». Крейсер, на котором мне нужно проходить практику — знакомым по военным сводкам и фотографиям «Красный Кавказ», первым удостоившимся гвардейского флага.

Все слышанное, читанное и виденное в кинохронике про Севастополь теперь предстало городом, совершенно разрушенным и, тем не менее, живым и даже жизнерадостным. Следы войны были повсюду. Особенно меня потрясли несколько обгоревших бесформенных железнодорожных составов, сброшенных с рельсов и повисших длинными многометровыми плетями по высоким склонам Сухарной балки. Это было как кошмарный сон наяву: вагонные плети повторяли изгибы ее рельефа.

Практика заметно отличалась от прошлогодней на Севере. Там чувствовалась инерция войны, а здесь этой инерции уже почти не оставалось. За весь период «Красный Кавказ» прошел всего 107 миль — сэкономили мазут. На первом месте была уже не столько боевая подготовка сколько политическая и даже спортивная.

Пожалуй это было самое беззаботное лето за все годы морской службы: нами никто из начальства не интересовался — ни из корабельного, ни из нашего, разве что помощник руководителя практики, молодой лейтенант, преподававший нам в училище бокс и гимнастику. Мы честно выполняли все его требования — прыгали с пяти и семиметровой вышки на Водной станции (это рядом с Графской пристанью), участвовали в массовых заплывах и сдавали нормы поодиночке, гонялись на шлюпках...

В День Флота, отмечавшийся впервые после войны очень помпезно, мы плыли в колонне экипажа «Красного Кавказа». Наш маршрут был от Угольной пристани к Графской, куда как к центру звезды, устремлялись такие же колонны с других крупных кораблей. Мы плыли, строго поддерживая равнение, а первый ряд колонны толкал перед собой портрет Сталина, укрепленный на небольших поплавках. Все это называлось звездным заплывом. Когда все собрались, на Водной станции, естественно, начался митинг, где чаще всего употребляемыми словами были «Сталин» и «победа». Я должен сказать, что тогда это не оставляло никакого тягостного впечатления. Настроение было превосходным от моря, солнца, свежести и еще чего-то, что наверное можно было бы назвать ощущением здоровья. К митингам давно все привыкли, они воспринимались как неизбежный ритуал, необходимый, в том числе, и для поддержания устойчивого уровня военно-морской службы, другими словами, — как элемент политической подготовки.

Командиром крейсера был уже не легендарный А.М. Гушин, герой Керченско-Феодосийской десантной операции, а Чинчерадзе, наследник, так сказать славы гвардейского «Красного Кавказа». Своей крупной головой с мощной нижней челюстью и одутловатым лицом он мне напоминал изображения итальянского дуче. Противоположным и по характеру и внешне был его заместитель по политчасти. Невысокого роста с выступающим из-под кителя небольшим брюшком, замполит был добр и разговорчив.

Я обратил внимание на то, что матросы как-то *жалостливо* к нему относятся. Оказалось, что на корабле он находится последние дни, его *списывают*... Жена у замполита — крымская татарка.

Никаких официальных сообщений о выселении или переселении народов ни в печати, ни по радио в военные и послевоенные годы не было. Я думаю, этого и не могло быть тогда: понятие *народ* оставалось как бы священным. Народ всегда прав и все делается для блага народа, тот же коммунизм строится. Наказывать целый народ — это бессмыслица. Тем не менее, даже до нас, курсантов, доходили какие-то слухи, передаваемые полу-

шепотом, о том, что вот, вроде бы кто-то из бывших татарских князей, в Крыму почтительно встречали немцев и даже дарили им белого коня...

Все это не воспринималось всерьез: если бы такой эпизод был, то в сводках Совинформбюро наверняка сообщили бы, как партизаны расправились с предателями. А чтобы выселять целый народ — не может быть!

И, тем не менее, так было. Об этом мне сказал замполит, когда я зашел к нему в каюту, чтобы взять тему для политинформации (я был комсоргом). Спокойно, как говорят о стихийном бедствии, которое нельзя предотвратить, он сказал о причине своего ухода с корабля. Он понимал, что его жена ни в чем не виновата, но раз Партия и Правительство постановили, то... приказ есть приказ. Он добавил, — как я понял, с некоторым облегчением, — что из Крыма выселены и греки, и караимы, и турки...

Остается добавить что фруктов в Крыму уже почти не было — ни знаменитых крымских яблок, ни знаменитых сортов винограда вроде дамских пальчиков. Переселенные из России и Украины колхозники первым делом стали сажать картошку, которая несколько раз не родилась, прежде чем от нее отказались...

В Москве, где после практики я проводил отпуск, Ирине как-то понадобились мои письма (мы спорили, кто писал чаще и сколько дней письма идут). Она достала стопку их и я на всех конвертах и треугольничках, отправленных из Севастополя, увидел знакомый штамп: сверху — государственный герб СССР, под ним — надпись «Просмотрено Военной Цензурой», а в самом низу — пятизначный номер. (Номера на каждом письме разные). С удивлением я подумал: уже больше года кончилась война, а цензуру до сих пор не отменяют!

В тот отпуск я познакомил Ирину с Татьяной. Татьяна возвращалась с Юга и на день задержалась у своих московских родственников, это было как раз в день первой годовщины победы над Японией. Представляя Татьяну, я ожидал, что они с Ириной понравятся друг другу — ведь они обе хорошо относились ко мне и, в свою очередь, очень нравились мне обе. Но я ошибался! Знакомая, Татьяна и Ирина весьма сдержанно пожали друг другу руки — и Ирина сразу же подвинулась ко мне. Димка, уже знакомый с Татьяной по Ленинграду, не дав возникнуть неловкости, тут же взял ее под руку и со словами, — Пошли скорее, а то салют пропустим! — увлек всех вперед. Прогулка, тем не менее, оказалась неудачной.

Вернувшись после беззаботной практики и еще более беззаботного отпуска под своды родного Адмиралтейства, я почувствовал, что степень идеологизации жизни в училище увеличилась,

возрос — как тогда говорили — накал партийно-политической работы. Это было прямым отражением процессов, происходивших в стране. Начиная с середины августа одно за другим пошли постановления ЦК ВКП(б), направленные на укрепление морально-политического единства советского общества, другими словами — на укрепление идеологии первого в мире социалистического государства, то есть государства рабочих и крестьян. Укрепление этого единства мне представлялось совершенно неизбежным, так как внешний враг был назван и противоборство социализма с капитализмом после непродолжительной передышки опять началось.

Поэтому ничего удивительного не было в том, что основным событием начавшегося учебного года стало изучение постановлений ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», о репертуаре драматических театров, о кинофильме «Большая жизнь», о формализме в музыке...

Одним из поводов для первого постановления была опубликованная (кажется в «Ленинграде») пародия — новая якобы глава из «Евгения Онегина», где пушкинский герой попадает в послевоенный Ленинград и переживает, в частности, массу неприятных приключений в обычно переполненном городском транспорте. Смысл критики заключался в том, что мол нечего зубоскалить: послевоенные трудности ничего не значат на фоне всемирно-исторической победы, которую одержал народ и которую нужно воспевать, а не оплевывать описаниями отдельных недостатков. Приблизительно такой же была суть претензий к Зошченко. Собственно, это было и главной мыслью других постановлений, плюс еще мысль о том, что раз «искусство принадлежит народу», то оно должно быть ему и понятно. Отсюда — никакого формализма допускать нельзя, надо еще классическое наследие сначала освоить...

У меня тогда не было ощущения, что эти постановления — надолго и что за ними последуют более серьезные. Помню, что я отметил про себя угрюмость и полное отсутствие юмора в этих партийных документах. Мне казалось, что критикуя пародии, юмор надо бы иметь. Было еще и какое-то смутное чувство, что опять берутся за интеллигенцию, но поскольку ни об инженерах, ни о преподавателях, ни о врачах и, тем более, о военных речи не шло, я мысленно махнул на все это рукой, хотя вопрос о роли и месте интеллигенции в обществе продолжал меня занимать. Неожиданно ответ на него я получил после одной из лекций, которые читал капитан I ранга Р.

Этот аристократически поджарый и невозмутимый преподаватель начал свою службу еще на царском флоте и чем-то напоминал мне капитана Зурина, но был чуточку барстvenнее, что ли. Очень интересно он говорил об обязанностях и роли инженер-механика на корабле, поэтому после звонка его обступили со всех сторон и продолжали задавать вопросы. Я тоже был среди вопрошавших:

— Скажите, так кто же такой есть офицер?

— Военный интеллигент! — отчеканил капитан I ранга.

У меня как гора с плеч свалилась от его ответа. Одно дело, если к чему-то ты приходишь сам, другое — если этот вывод подтверждает уважаемый человек и тем более преподаватель, читающий официальный курс в высшем военно-морском училище! В тот день я почти расстался со своим *комплексом неполноценности*, вызванным «интеллигентским» социальным происхождением.

На последних курсах училища мое — идеологизированное — восприятие окружающего мира существенно не менялось, я искренне верил в возможность построения коммунизма в нашей стране, в диалектическую необходимость усиления охранной роли государства для этого, и в правильность собственного жизненного выбора — новая война представлялась мне почти неизбежной. Я постоянно ощущал медленно нарастающую военную опасность. Причины ее мне представлялись примерно такими: американцы — империалисты, следовательно, они источник войн, у них есть атомная бомба, а у нас пока ее нет. Они на нас обязательно нападут, как только им удастся пропагандистски «оболванить» свой народ, поскольку классовая борьба на международной арене — это само собой разумеющееся дело. Трумену и Дж. Фостеру Даллесу просто необходимо как можно быстрее уничтожить (я считал это возможным) у американцев память о наших союзнических отношениях в только что кончившейся войне. Неосознанно я считал США государством, подобным нашему, где президент, как и наш вождь, *может все*. Вывод из сказанного напрашивался сам собой: нам необходимо быть в повышенной степени боевой готовности и укреплять вооруженные силы. Собою это и происходило.

Продолжалось поддерживаемое всеми средствами пропаганды упоение Победой, оно охватывало всё и вся и содержало в себе великолепную установку: мы победили, значит все, что партия и правительство (и лично товарищ Сталин) для этого и до этого делали — всё было единственно верным. Но этого мало: все, что мы делаем теперь, мы делаем абсолютно правильно, так как опираемся уже и на опыт (Победа!), который подтвердил и

превосходство нашего общественного строя (социализм!), и нашего всепобеждающего учения, и наших идеологии и морали, и всего-всего.

Это было время, когда мое собственное, личное, мировоззрение было практически идентично мировоззрению, создаваемому официальной пропагандой. Ничего не поделаешь, но *так было!* Объяснить это можно следующим: существовала партийная монополия на правду-истину, охраняемая цензурой и секретностью этими двумя сестрами-близнецами. Но фундаментом все же была школа. Народное образование было стопроцентно партийным, то есть марксистско-ленинским. Конечно, я об этом тогда и не думал, мне оно представлялось самым обычным, так как другого попросту не было. Поэтому эпизоды, о которых я хочу рассказать далее, представлялись мне нетипичными и исключительными. Для их объяснения и оправдания я всячески пытался подыскать что-нибудь подходящее и понятное и для себя и для других.

В сентябре 1947-го в Москве, когда был в отпуске, я зашел к Марии Дмитриевне. Она жила недалеко от школы, на Большой Ордынке. Я еще в предыдущий отпуск собирался навестить ее и порасспросить про школьных ребят, но откладывая со дня на день, так и не успел тогда сделать этого.

На входной двери с несколькими кнопками звонков я отыскал кнопку с фамилией моей бывшей учительницы и позвонил. Открыла Мария Дмитриевна. Увидев меня она и обрадовалась и заметно смутилась, но после короткой паузы решительно сказала:

— Заходи!

Мы прошли в глубь полутемного коридора, минуя двери, рядом с каждой из которых стоял скарб, выставляемый обычно жильцами, и вошли в комнату Марии Дмитриевны. Обстановки почти не было, бедность, даже для послевоенного времени, была необычной. На продавленном диванчике полулежал мальчик-подросток, — я почувствовал на себе его взгляд, — он смотрел, как затравленный зверек.

— Это мой сын, сказала Мария Дмитриевна, он глухонемой. И она ласково погладила его по головке. Мальчик успокоился и улыбнулся.

Мы сели за стол, застланный клеенкой, и Мария Дмитриевна стала рассказывать. Оказывается муж Марии Дмитриевны в начале войны попал в плен. В немецких лагерях он организовывал группы сопротивления и они устраивали побеги, выпускали листовки, одним словом, как могли боролись с немцами. После возвращения в Союз его арестовали и отправили уже в наш лагерь... Мария Дмитриевна, как бы оправдываясь, говорила какой он честный человек, преданный и убежденный партиец.

Слушая этот рассказ моей учительницы, я, пожалуй, впервые задался вопросом, вернее впервые четко его сформулировал: как могут, какое имеют право судить людей, попавших в окружение или плен, люди (энкведешники, особисты, разные уполномоченные), сами не принимавшие участия в боевых действиях! Ведь еще неизвестно, как они сами повели бы себя. Откуда и почему у них это право? Это был первый росток — он рос очень-очень медленно! — мысли о том, что не революция, не государство, не партия и правительство дают человеку дар жизни...

А тогда я пытался утешить Марию Дмитриевну:

— Я уверен, что Ваш муж скоро вернется, это всех проверяют, не его одного отдельно. Все будет хорошо.

Мария Дмитриевна тихонько плакала и говорила, что только эта надежда позволяет ей с сыном жить. И извиняясь, добавила, что ей хотелось бы угостить меня чаем, но к чаю нечего подать, она на днях отправила посылку в Сибирь. Тут я почувствовал, что еще немного, — и я расплачусь вместе с ней.

В этом же сентябре в Москве пышно и торжественно праздновалось 800-летие города. Военного парада по такому поводу, естественно, не было, но в остальном, особенно вечерним салютом и фейерверком, праздник не уступал самому первому Дню Победы. На Советской площади торжественно был заложен памятник Юрию Долгорукому — основателю Москвы. Памятник был заложен на том месте, где раньше стоял обелиск Свободы, или как мы мальчишки называли его до войны, «памятник свободы». На Советской площади (она самая маленькая на главной улице столицы) места даже для памятника Свободе уже не хватило.

Ощущение военной опасности в 1947 году становится постоянным. Сейчас это кажется почти невероятным, но тогда дело обстояло именно так. Позднее мне попался любопытный материал, относящийся к событиям того года и подтверждающий тогдашнее ожидание близкой войны. Кроме того, этот документ объясняет некоторые события под знаменитым золотым шпилем нашего Адмиралтейства. Вот отрывок из беседы И.В. Сталина с Э. Карделем в апреле 1947 в Кремле.<sup>49</sup>

Э. Кардель.

— <...> Мы предусмотрели в наметках пятилетнего плана и создание у нас военной промышленности.

Сталин.

— Да, это для будущей войны очень важно и необходимо!.. Без тяжелой промышленности нет независимости, нельзя вести войну. <...>

---

<sup>49</sup> См. Ю.С. Гиренко. Сталин — Тито. М. ИПЛ. 1991 г., стр. 304, 305. Запись беседы сделана В. Половичем, бывшим в то время послом Югославии в СССР.



В этой же беседе Э. Кардель передал просьбу И. Тито об оказании Югославии помощи в создании собственного военно-морского флота.

Понятно, что в том 1947 году содержание беседы не публиковалось, просто в газетах промелькнуло сообщение о приеме товарищем Сталиным в Кремле члена Политбюро КПЮ и заместителя председателя правительства Югославии товарища Эдварда Карделя.

Летом в длинных и гулких коридорах нашего Адмиралтейства появились жизнерадостные энергичные молодые офицеры с открытыми, несколько смугловатыми лицами. Они хорошо говорили по-русски, но некоторый акцент чувствовался. Это были югославские моряки, форма у них была наша. Отношение к ним у нас было очень доброжелательное — во время войны самыми теплыми (из всех славян), пожалуй, было отношение к югославам, оно сохранялось достаточно долго. Но дистанция между нами была, и вызывалась она тем, что они были офицерами, а мы еще — курсантами, да они и постарше были. Их появление я воспринял как совершенно естественное (истина конкретна!) проявление интернациональной солидарности в борьбе за общие коммунистические идеалы. И еще — как очевидную правильность марксистско-ленинского учения.

Однако события происходили не только в общественной, но и, как тогда говорили, в личной жизни. Мой роман с Ириной постепенно затихал. Мы постоянно переписывались, но виделись редко — два-три раза в году (зимние каникулы, парад — майский или ноябрьский — и отпуск), когда я приезжал в Москву. Татьяна все больше овладевала моими мыслями и чувствами. Я испытывал неловкость и даже вину перед Ириной: я ей объяснился в любви и она мне ответила тем же, сказав, что тоже любит меня. Мы даже целовались тайком в парадном ее дома на Большой Грузинской, когда я ее провожал. И у нас были планы на будущее — после окончания мною училища мы собирались пожениться, Ирина без колебаний соглашалась поехать со мною даже на ТОФ<sup>50</sup> и жить на Камчатке.

И тем не менее... Что-то все сильнее сближало меня с Татьяной. То, что мы жили в одном городе, могли разговаривать по телефону и видеться значительно чаще, чем с Ириной, не объясняет сути происходившего. Сближавшее нас *что-то* было близостью каких-то тонких, если это имеет смысл по отношению к мыслям, совпадений. Так, Татьяна считала, что у каждого человека есть свой цвет и когда мы говорили о знакомых, оказыва-

---

<sup>50</sup> ТОФ — Тихоокеанский флот.

лось, что наши «цветовые» представления совпадают очень часто. От Татьяны я услышал впервые знаменитое Тютчевское «Мысль изреченная есть ложь», она очень любила поэзию и красоту и силу слова. Все это как-то органически сочеталось у нее с блестящей, почти безжалостной, логикой ума и сильным характером. Я думаю, что этому не в последнюю очередь способствовала первая, самая страшная, зима в блокадном Ленинграде, когда Татьяна потеряла мать и деда, погибших от болезни и голода, и двух дядьев, — братьев матери, — летчиков, сбитых противником над Финским заливом. От их большой семьи остались всего двое — отец Татьяны и она сама.

Все, что здесь написано о Татьяне, никак нельзя считать противопоставлением ее Ирине. У Ирины был более мягкий характер и ее романтика (она была очень романтической девушкой) была более мягкой, но это никак не помешало ей после начала войны решительно оставить школу, пойти на военные курсы медсестер и потом некоторое время работать в госпитале.

Одним словом, я не знал, что делать и как выйти достойно из создавшегося положения... И Ирина великодушно сделала первый шаг. Инстинктивно чувствуя мою растерянность, Ирина однажды сказала, а потом еще и повторила в письме, что она познакомилась с одним мальчиком, который ей интересен. И добавила, что мне это должно не быть обидно, так как Татьяна ко мне хорошо относится.

Сейчас, когда прошло столько лет, когда и Татьяна и Ирина были моими женами, когда их нет обеих, я могу со спокойной убежденностью сказать: если бы все повторилось и я вновь оказался перед выбором, я опять бы женился на Татьяне. Теперь я не так и убежден, что выбирал я...

## ЛИШНЯЯ ГЛАВА



Внушение — это «изначальный и неустраняемый феномен, фундаментальный факт психической жизни человека».

З. Фрейд, «Психология толпы и анализ Я»

Лучше иметь хоть какое-нибудь понятие о философии, чем никакого.

*В.И. Вернадский*

Эту главу можно не читать, боюсь, что она будет очень скучно, но какая-то внутренняя потребность посмотреть на себя как

бы со стороны, на двадцатидвухлетнего, до предела политизированного и от этого самоуверенного молодого человека, у меня есть, и поделаться с этим я ничего не могу.

Идейно-политический уровень (так говорили в то время) или степень идеологизации (как сказали бы сейчас) достиг у меня к окончанию училища максимальной отметки. И уровень этот в дальнейшем сохранялся достаточно долго. Дело политического воспитания у нас было поставлено очень серьезно. В училище мы последовательно изучали:

- Историю Великой Отечественной войны, в основу которой легли приказы Верховного Главнокомандующего;
- Основы марксизма-ленинизма;
- Политическую экономию (капитализма и социализма);
- Организацию партийно-политической работы в Военно-морских силах.

Оценки по этим предметам имели подчас решающее значение, в том числе и при назначении на должность при выпуске. В повседневной жизни оценки служили для командования показателем морально-политического состояния любого подразделения, а также оценкой лояльности каждого курсанта в отдельности, то есть мерой его преданности делу партии Ленина — Сталина, идеалам коммунизма и его строительству. В обиходе это считалось просто мерой *сознательности*.

Важность перечисленных выше политических дисциплин усиливалась необходимостью сдачи по основам марксизма-ленинизма (ОМЛ) и политической экономии *государственных* экзаменов, в отличие от обычных экзаменов по другим предметам.

Монолитная логика Маркса меня восхищала и казалась безупречной; помню, как читая «Железную пята»<sup>51</sup> Джека Лондона, я с приятным удивлением отмечал близость моего восприятия марксизма с восприятием его Эрнестом Эвергардом. Как и герой «Железной пяты» я был уверен, что гибель капиталистической системы неизбежна.

Впрочем, чего-либо принципиально нового в курсе ОМЛ я не обнаружил, все основные положения мне были знакомы еще с довоенного детства. *Первичность материи* было просто более солидной формулировкой обычного утверждения, что «Бога нет», а *материалист*, если разобраться, был тот же безбожник. Или, — положение о закономерности смены одной общественно-экономической формации другой и, как следствие, неизбежность за-

---

<sup>51</sup> См. Джек Лондон. Собрание сочинений в четырнадцати томах, т. 6 (М. 1981).

мены капитализма социализмом (первой фазой коммунизма). Это положение означало не только то, что *наша* относительная истина ближе к абсолютной, чем капиталистическая, но было для меня просто другой формой давно известного утверждения о том, что оно, учение Маркса, верно.

Но, все-таки, это частности. Главное состояло в том, что курс ОМЛ будил (или прививал) интерес к философии вообще. Подготовка к семинарам и, особенно, к экзаменам, требовала знания многих первоисточников. Конечно, это были прежде всего работы Сталина, Ленина, Маркса и Энгельса, но — хотя и не в таком объеме — также Гегеля, Канта, Платона... О взглядах других философов, таких, скажем, как Ницше или Бердяев, приходилось узнавать опосредовано — через критику их творчества, содержащуюся в советской литературе. Добавлю, что освоение таких слов и понятий как солипсизм, трансцендентальный, категорический императив и им подобных, несомненно прибавляло уважения к самому себе.

Курс политэкономии был менее интересен, но наличие в нем формул вроде «всеобщей формулы капитализма», выведенной К. Марксом,  $D - T - D'$ , обозначений  $C$ ,  $V$  и  $m$  — постоянной и переменной составляющих капитала, а также прибавочной стоимости вместе с описанием механизма ее образования, придавали курсу определенную весомость в глазах будущих инженеров. Капитализм рассматривался исключительно в рамках начала XIX века, и все, в конце концов, сводилось к его негативной оценке как общества или экономической системы, основанной на безжалостной эксплуатации человека человеком, и потому безнравственного. Политэкономии социализма отводилось совсем немного времени, и у меня в памяти сохранились лишь утверждение о том, что закон стоимости в социалистическом обществе действует лишь в преобразованном виде, а при коммунизме и совсем отомрет.

Если курс политэкономии базировался на Марксовом «Капитале», то фундаментальной основой ОМЛ был, безусловно, Сталинский «Краткий курс».

Я попытаюсь изложить некоторую последовательность из основных и краеугольных «камней» ОМЛ, тем более, что формулировки «Краткого курса» в моей памяти оказались почти нетронуты временем. Этот феномен касается отнюдь не только меня лично, я убежден, что разбуди среди ночи любого из моих однокашников, и каждый, не задумываясь, произнесет: «общественное бытие определяет общественное сознание», «труд из обезьяны сделал человека», «пролетариат — могильщик капитализма», «материя первична, сознание — вторично» и еще добрый десяток подобных постулатов! Это перечисление — не ирония.

Надо отдать должное творцу «Краткого курса»: книга многим миллионам людей на протяжении долгих лет заменила Библию...

Хочу еще раз отметить, что ОМЛ, то есть курс основ марксизма-ленинизма, я воспринимал как естественный и обычный курс лекций, иначе говоря — как определенную сумму *знаний*, а не как символ *веры*.

Итак, есть *материя* — первооснова всего, в том числе и реального *мира*, что нас окружает. Сама наша *жизнь* есть всего лишь одна из форм существования или движения материи. Более того, оказывается она, *жизнь*, есть просто способ существования белковых тел. Другими словами, материя есть объективная реальность, в которой мы живем и которая нам дана в ощущениях. Через ощущения (зрение, осязание, слух, вкус, обоняние и так далее) человек связан с окружающим миром. Мир принципиально материален и независим от нашего *сознания*, которое лишь отражает его. Если сказать иначе, то окружающая нас объективная реальность или *бытие*, в котором мы живем, определяет наше, то есть общественное, сознание. И если сказать совсем коротко, — бытие определяет сознание, а не наоборот!

Сознание является не просто формой отражения действительности, а его высшей формой, присущей исключительно человеку, в котором материя и познает самое себя. Это действительно так: сознание, как и мышление, — продукт мозга, а сам же мозг — орган телесный, то есть сугубо материальный. Тот, кто нормально воспринимает существующий независимо от сознания материальный мир, тот — *материалист*. Тот же, кто считает — пусть в малейшей степени, — что сознание отражает не материальное, а противоположное, то есть духовное начало, тот — *идеалист*. Для материалиста первична материя, для идеалиста — дух. У идеалиста сознание извращено и любой идеализм есть неизбежно дорога к половщине, а любой идеалист есть просто верующий в Бога человек. На самом же деле, и я искренне разделял это утверждение, мир никем не сотворен, вечен, бесконечен и познаваем. Полное знание о мире есть *абсолютная истина*, к ней мы стремимся и постоянно приближаемся. Знание, которым мы располагаем сейчас, а его добывают наука и человеческая практика, составляет часть абсолютной истины и поэтому является истиной относительной.

Для познания мира, чтобы не ждать от него милостей, а взять их, существует только единственный, научный, метод. Этот метод — марксистский диалектический метод. Он требует рассматривать природу и ее явления:

- как единое целое со всеми его взаимосвязями;
- в соостоянии движения, а не покоя;

- в развитии по восходящей спирали и скачкообразно;
- в борьбе противоположностей.

Этот метод — *диалектика* — противоположен метафизическому методу, который умозрителен и не основан на чувственном восприятии (метафизика).

Изложенное представляет собой, правда с почти недопустимой мерой огрубления, сущность марксистского философского материализма — «диамата», — который, в свою очередь, представляет одну из двух частей марксизма-ленинизма. Другой частью является «истмат» — марксистский материализм в применении его к пониманию истории общества. Другими словами, это — диамат, распространенный на изучение истории:

- история закономерна и является точной наукой;
- социализм также точная наука, а не утопия;
- источником всех идей служат *условия материальной жизни общества*; бытие его определяет сознание; теория становится материальной силой, когда она овладевает массами.

Главным условием материальной жизни общества является способ производств материальных благ. Географическая среда и само народонаселение не являются определяющими.

Способ производства материальных благ это:

- орудия производства;
- люди.

Люди в процессе производства вступают между собой в производственные отношения; люди и орудия производства, которыми владеют люди, составляют производительные силы общества.

В свою очередь производительные силы и производственные отношения определяют способ производства. Последний никогда не остается неизменным: в результате разумной деятельности человека (научные открытия, практический опыт) изменяются, то есть совершенствуются, орудия производства (орудия труда и средства производства). Это ведет к изменению производительных сил, а затем — и производственных отношений.

История знает пять типов таких отношений:

- первобытно-общинный,
- рабовладельческий,
- феодальный,
- капиталистический,
- социалистический (коммунистический).

Существенным является то, что изменение производительных сил, и тем самым начало изменения производственных отношений, происходит в недрах предыдущего типа этих отношений. Это происходит автоматически, вне зависимости от сознания и воли людей.

Пяти типам перечисленных выше производственных отношений соответствуют *общественно-экономические формации*, охватывающие все стороны человеческой жизни. Они неизбежно, последовательно и революционно сменяют друг друга. Это положение — закон исторического развития и сердцевина исторического материализма. Все формации, начиная со второй и кончая четвертой (капитализм), основаны на частной собственности и являются поэтому эксплуататорскими.

Капитализм в результате первой промышленной революции (появление паровой машины) и последующего использования электричества создал гигантские производительные силы — орудия производства, и новых людей, новый класс, *пролетариев*.

С появлением нового класса появляется и новая наука — марксизм. И это закономерно. На смену стихии в развитии материальной жизни общества приходит уже *сознательная* деятельность нового класса (пролетариата), который будучи эксплуатируемым и отчужденным от всякой собственности, освобождая себя освобождает и все человечество: будет уничтожена вековая несправедливость между общественным характером производства и частным способом присвоения его результатов — прибавочной стоимости.

Чем быстрее произойдет это освобождение — тем меньше жертв капитализм успеет погубить! Поэтому и необходим переход от эволюционного, то есть стихийного, развития к осознанному революционному, от мирного развития к насильственному перевороту: революционеры — это спасители, а «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым».

Для переворота нужна партия. Такую партию, партию нового типа — коммунистическую партию — создал Ленин в России, куда после смерти Маркса и Энгельса и поражения буржуазных революций в Западной Европе, переместился центр мирового революционного движения.

Поскольку эксплуатация человека человеком возможна только за счет того, что частная собственность (точнее право частной собственности) позволяет сосредоточить гигантские средства производства в руках немногочисленной кучки богатеев-капиталистов, необходимо насильственно (сами не отдадут), отобрать эти богатства, созданные за счет эксплуатации трудящихся масс, и сделать их всенародным достоянием. Став хозяином всех средств производства, народ станет трудиться не подневольно, а сам на себя. Производительность труда достигнет невиданно высокого в истории уровня, общественные богатства польются широким потоком, и будет построено коммунистическое общество, на знамени которого засияют слова: «От каждого по способностям, каждому по потребности».

Несколько слов об «Организации партийно-политической работы в ВМФ». Этот прикладной курс нам читался на последнем семестре (далее уже шла работа над дипломными проектами) и был рассчитан на нас как на будущих командиров-единоначальников, ответственных за все виды подготовки подчиненного личного состава. Главным содержанием лекций были постановления ЦК ВКП(б), приказы, директивы и другие документы, регламентирующие политическую подготовку на флоте. Лекции включали в себя, естественно, и моменты чисто педагогические.

Для политзанятий на кораблях отводился понедельник. Это был «святой» день: после подъема флага матросы, обязательно в чистом рабочем платье, чинно расходились по местам политзанятий. Летом они проводились на верхней палубе, а в другое время и в непогоду — в кубриках и кают-компаниях. Обязательной принадлежностью занятий была карта Советского Союза и указка, которая особенно трогательно, скажем, выглядела на многотонной броне башни главного калибра. Политзанятия никогда не отменялись, только в самых крайних случаях они переносились, да и то, только с разрешения вышестоящего командования. С матросами, не присутствовавшими на основных занятиях из-за вахты или других уважительных причин, обязательно проводились дополнительные занятия. Все эти мероприятия предусматривались корабельным распорядком дня. Особенно строго за проведением политзанятий стали следить после соответствующего постановления ЦК ВКП(б) 1946 года, когда система политического просвещения была организована в масштабе всей страны. Но я уверен, что нигде она не была так хорошо организована, как на флоте.

Марксизм-ленинизм стал, я повторяюсь, моим мировоззрением. Я совершенно искренне был убежден в правильности учения, основоположниками которого были Маркс и Энгельс, а гениальными продолжателями — Ленин и Сталин. Подкупала *простота*, с которой учение объясняло окружающее, а простота у меня всегда ассоциировалась с *гениальностью*, ибо кто не знает известного: «Просто, как все гениальное!» У меня не было никакого сомнения, что коммунизм мы построим обязательно. Я тогда верил в *изначальную безгрешность человека*: стоит человеку получше, подходчивее объяснить идеалы коммунизма — и он от них никогда не откажется, они ведь хорошие и правильные. Среди моих однокашников были неприятные по тем или иным причинам мне люди, но врагов не было, и я был уверен, что коммунистическая идея *вообще всех* сделает если не братьями, то уж во всяком случае *неврагами*. [Как коммунист и большевик (член ВКП(б)), я был атеистом и считал, что «Человек рожден для счастья, как птица для полета», и что покончив с капитализмом, уродующим



человека, мы, наконец, очистим его от всякой скверны. В этом, я считал, и состоит смысл перехода от предыстории и истории, скачок в царство свободы — в коммунизм — где будут жить новые люди.]

Все только что сказанное не означает, что у меня не было вопросов или сомнений. Если с пролетариатом была полная ясность, то с интеллигенцией, крестьянством и просто с народом дело обстояло несколько иначе.

Изначально пролетариат беден и неграмотен. Чтобы сыграть свою историческую роль он должен быть просвещен, иначе он будет бороться только за свои экономические, то есть непосредственно его касающиеся интересы, и только. Его просветителем может стать лишь интеллигенция (у нее знания), поэтому и марксизм в рабочее движение привносится, а не вырабатывается самим пролетариатом.

Из сказанного, казалось бы, следовало, что революционная роль *интеллигенции* по крайней мере сопоставима с ролью пролетариата, не говоря уже о крестьянстве. В конце концов и Маркс, и Энгельс, и Ленин были сами «интеллигенцией»! Так нет, те — классы, а интеллигенция — «прослойка», да еще «дьявольски неустойчивая», какая-то «служанка», — первоначально буржуазии, а теперь — неизвестно и кого...<sup>52</sup>

Какой-то выход из этого обидного противоречия я находил в том, что есть, так сказать, интеллигенция вообще, и интеллигенция прогрессивная, овладевшая марксизмом-ленинизмом. Именно она выстрадала и отстояла это великое учение в борьбе с разного рода ревизионистами, оппортунистами, социал-демократами, уклонистами и другими прислужниками буржуазии — нашими идейными врагами. Короче говоря, прогрессивная интеллигенция — это партийная интеллигенция. Отсюда было уже рукой подать до партии, которая есть «ум, честь и совесть нашей эпохи». Но даже после этого обидность «прослойки» не исчезала... Своеобразным утешением была мысль о том, что при коммунизме, который, как я считал, не за горами, общество будет бесклассовым и вопрос снимется сам собой.

Что касается *крестьянства*, то дело было в следующем: я не мог понять, почему колхозы так долго не становятся совхозами — ведь в них эффективность труда должна быть выше, поскольку они базируются на общенародной форме собственности, которая более совершенна, чем колхозно-кооперативная. Я помню, как этот вопрос мы однажды обсуждали с Геней, возвращаясь по многолюдному, сияющему огнями Невскому проспекту из

---

<sup>52</sup> Тогда я не знал, что В.И. Ленин называл ее еще и «говно».

увольнения. Мы оба не понимали, почему так медлят с переводом колхозов в совхозы, — ведь *сельскохозяйственный рабочий* это как раз то, что нужно не только для социализма, но и для коммунизма. Именно в сельскохозяйственного рабочего должен, по нашему мнению, превращаться сельскохозяйственный пролетарий (то есть бедняки и батраки), бывший главной силой в коллективизации.

Слабость и запущенность колхозов была нам известна, мы ее видели собственными глазами — во время войны нас не единожды привлекали, конечно эпизодически и на короткое время, помогать в уборке урожая и других сельскохозяйственных работах. Поэтому мне казалось, что совхозы помогут справиться с последствиями войны быстрее, поскольку они — чисто государственные предприятия в отличие от колхозов.

Замечу, что слова *крестьянин* и *крестьянство* практически отсутствовали в обиходной речи, употреблялись слова колхозник, колхозница, колхозный (строй) и изредка, когда говорилось о наших исторических достижениях в сельском хозяйстве, — колхозное крестьянство. Никакого сомнения в более прогрессивном характере коллективного ведения сельского хозяйства по сравнению с единоличным у меня не было, как не было и сомнений в изначальной добровольности колхозов.

Еще в классе третьем или четвертом мы с Вилькой прочитали книжку «Джек Восьмеркин американец». В ней в совершенно романтических тонах и так же занимательно, почти как в «Робинзоне Крузо», описывалось создание на пустом месте (разоренная деревня) сельскохозяйственной коммуны. Только Робинзон был один, а здесь — небольшой коллектив. Автомобиль, привезенный бывшим эмигрантом, решал мгновенно все проблемы, и русская исконная смекалка, соединенная с американской деловитостью, за один сезон с революционным размахом, создали процветающее хозяйство и очень симпатичных коммунаров.

На родине отца, в Шабалинской, когда в 1933 и 34-ом году летом мы там гостили, я спрашивал, есть ли в деревне колхоз, и был совершенно удовлетворен, что колхоз есть. Единственное, что меня удивляло, — это то что мои деревенские ребяташки-сверстники верили в Бога, и перед тем, как нырнуть с мостков в речушку — это место называлось омутом — крестились. Жизнь в Шабалинской была вполне благополучной, как она и должна была быть, по моим представлениям, в каждом колхозе. Там даже жнейка была американская (Маккормик, дореволюционная, но это неважно). Это как-то роднило книжные и реальные мои представления о деревне, коммуне и колхозе... Поэтому виденное разорение колхозов во время войны и после нее я связывал исключительно с немецким нашествием. Ни о каких злодеяниях

периода сплошной коллективизации я и понятия не имел, тем более не мог представить себе, что речь идет о миллионах загубленных жизней. Мне казалось, что тогда главными были моральные мучения (как у Нагульного в Шолоховской «Поднятой целине») от расставания с собственностью. Конечно, не с личной, а частной. Коллективизацией, я считал, мы блестяще разрешили крестьянский вопрос. Мы не пошли ни по мучительно долгому «прусскому пути», ни по быстрому «американскому» фермерскому, — они оба капиталистические — а предложили наш коллективный, социалистический, единственно правильный путь. Притом, первыми в мире!

Не до конца ясно было и с *народом*. Все ли, кто живет в стране, являются народом? До революции, явно, не все: зачем бы тогда народникам ходить в народ? Мое представление о народе, а оно сложилось еще в школе, было таким: народ свят, но темен, изначально народ — это крестьяне. Возникающий с развитием капитализма пролетариат — тоже народ («Вышли мы все из народа...»). Царь, бояре, позднее — помещики и фабриканты, вообще капиталисты, — это уже не народ, а его угнетатели. Иначе и быть не может — именно против них народ поднял восстание и совершил Великую Октябрьскую социалистическую революцию. И теперь мы уже все — народ, и народ не темный, а всеобщеграмотный. Отдельный человек, если ему плохо, ни в чем не виноват, — виноват общественный строй, при котором он живет, общественно-экономическая формация. Социалистический строй именно и позволяет впервые в истории создать счастливого человека. А раз так, раз все мы — народ, то и интеллигенция это часть народа. Почему же она не класс, а прослойка? Особенно нелепо это стало мне казаться после окончания войны: ведь воевали-то все!

Кроме сказанного об интеллигенции, крестьянстве и народе, у меня были и еще некоторые сомнения, на которые я сам себе не мог удовлетворительно ответить. Например, почему в США — самой капиталистической стране, лидере капитализма — нет никакой революции и компартия там так малочисленна. Ответ, который давался на лекциях, сводился к тому, что миллионеры-капиталисты за счет своих сверхприбылей просто подкупают верхушку рабочего класса — продажную «рабочую аристократию» — и раскалывают тем самым изначально революционное рабочее движение, сводя его к забастовкам с экономическими, — а не с политическими! — требованиями. (В то время мое представление о капитализме было чисто марксистско-ленинским. Ни о какой «революции Рузвельта» в лекциях и речи не было, тем более, — о внутреннем рынке как стимуляторе и производства и повышения уровня жизни всего народа).

Недоумение вызывала также многочисленность идейных врагов марксизма-ленинизма, точнее — генеральной линии партии, ее ленинского, а позднее сталинского курса. Объясняли это нам и особой требовательностью партии к чистоте учения, и буржуазным происхождением конкретных врагов или, если с происхождением было в порядке, перерождением и частно-собственной психологией, и «родимыми пятнами» капитализма в сознании, и влиянием капиталистического окружения, и, наконец, прямым подкупом агентами иностранных разведок. И тем не менее, перечень врагов партии казался слишком большим, было непонятно, почему они, в конце концов, против коммунизма.

Представление о количестве «врагов народа» у меня связывалось просто с числом фамилий (Троцкий, Бухарин, Каменев, Зиновьев, Рыков...) мелькавших сначала в газетах и радиопередачах, а потом вошедших в учебники и школьную литературу и ставших врагами-классиками, если можно так сказать. Набор этих классических врагов — «врагов народа» — составлял несколько десятков человек. Все они были до своего осуждения видными и теоретиками, и идеологами, и любимцами, и даже вождями (Троцкий!) партии. За каждым из них, — рассуждал я, — стоит группировка, может быть даже до сотни человек, пусть ошибающихся, но последователей. Таким образом, идейных врагов оказывалось уже несколько тысяч. Это было необъяснимо много: неужели они настолько все глупы, чтобы не понимать привлекательности, справедливости и доказанной Марксом неизбежности наступления коммунизма?

С другой стороны, поскольку все они были отщепенцами, выродками, уродами, отрывкой, чудовищами и прочими исключительными явлениями, их как физических людей, — я считал, — не должно быть очень много. Никаких сведений о масштабах репрессий, я этому свидетель, не было; государственная тайна и цензура были абсолютными. Во время войны я, конечно, уже знал о лагерях, но они в моем представлении оказались связанными именно с войной, а не с репрессиями против классических довоенных врагов. Слово ГУЛАГ я узнал впервые только прочитав его у Солженицина...

Если задаться вопросом, что же было самым главным для меня в Великом Учении, то ответ был бы таким: понятие *общественно-экономической формации*, выработанное впервые марксизмом. Оно, это понятие, было его могучей основой, фундаментом исторического оптимизма и почти мистического очарования: формации сменяют друг друга, новая — прогрессивная — неизбежно и революционно меняет отжившую, и за капитализмом следует *автоматически* социализм (первая фаза коммунизма), а затем и полный коммунизм. Все это решающим об-

разом влияло на мировоззрение, наполняя повседневную жизнь уверенностью во всеобщем прекрасном будущем. Собственно и весь марксизм-ленинизм сводился к благородной помощи естественному ходу истории и уменьшению числа жертв капитализма. Поэтому и коммунизм понимался прежде всего как справедливость, честность, бескорыстность, точнее — как *праведность* и, тем самым, — как личностный идеал, а для окружающего мира — как своеобразный подарок исторического развития, как переход от предыстории к истории, делающий счастливыми всех. Это было так просто и так понятно!

Моя мысль забегала и дальше: если смена формаций есть закон истории, то за коммунизмом должна следовать какая-то другая формация. Какая? Этот вопрос я задал однажды капитану Кучину, читавшему у нас на втором курсе ОМЛ. Он был энтузиастом своего предмета и на занятиях очень воодушевлялся, что иногда его подводило — он делал непростительные (конечно не идейные!) ошибки. Как-то, рассказывая о революционной ситуации, он произнес: «Пролетариат хот<sup>ит</sup>, а буржуазия не хот<sup>ит</sup>». С этого недоброго для него дня он стал «Пролетариат хотит», а вся фраза вошла в курсантский фольклор наряду с сакраментальной «Во всем суконном, понимаешь!» Выслушав мой вопрос, обычно добродушно улыбающийся капитан как-то сразу поскупчел, и, пожевав губами, не очень внятно ответил, что надо еще сначала построить коммунизм, а там — видно будет. И добавил:

— Вопрос преждевременный. Его задавать вообще не стоит...

Между тем, ответ у меня был. Я считал, что после победы коммунизма в мировом масштабе, следующий виток исторической спирали будет связан с появлением новой «частной» собственности уже для всего населения Земли как единого целого. Этой собственностью для землян-коммунистов станут пригодные для освоения планеты ближайшего земного окружения. Умножившееся человечество будет их заселять, и став «частной» для человечества, эта собственность будет естественно коллективной для каждого отдельно взятого человека.

Следствием понятия *сменяемости* формаций для меня было принятие *идеи насилия* как средства для скорейшего достижения и утверждения истины. Конечно, речь шла не о репрессиях-расстрелах, а об ускорении прихода справедливой по определению Мировой Революции. Если буржуазия поймет, что у нее нет исторического будущего и отдаст власть добровольно, скажем через парламент, переход к социализму будет совершен мирно, как, например, в Чехословакии в 1948 году. Наших танков там не было...

Вообще, диктатура пролетариата у меня никогда не связывалась с диктатурой одной личности. Это было скорее идеологическое или даже моральное понятие, что-то вроде абстрактно-

гуманитарной (да-да!) категории. Сталин и диктатура тогда были для меня несовместимыми понятиями. В моем понимании насилие и диктатура пролетариата стояли в одном ряду с *приказом*, который отдает опытный знающий командир, чтобы выиграть сражение в справедливой борьбе-войне.

Все изложенное, я думаю, как-то отразилось, если не на характере, то на манере моего поведения — я стал более самоуверенным. Я стал считать, что в любом споре надо добиваться только победы, а не согласия, поскольку последнее не что иное, как соглашательство. Если бы в то время я услышал знаменитое выражение Махатмы Ганди «красота компромисса», я его не понял бы и, ничтоже сумняшеся, назвал бы его автора соглашателем. Интересно, именно тогда у меня сложилось стойкое предубеждение ко всем методам познания, кроме рационалистического. Например, говорить об интуиции — это несерьезно. С легкостью необыкновенной я считал, что интуитивное знание не имеет места быть, и, тем более, предшествовать научному, короче, интуиция — это химера. Так же и искусство я не мог считать средством постижения истины, а о религии — и говорить нечего.

Считая человека изначально безгрешным, я думал, что власть не может иметь самостоятельной ценности, что она — лишь средство для достижения цели (ну, скажем, коммунизма), и самой себе целью быть не может. Деньги же, наоборот, представлялись мне только как недостойная цель, я не видел их нейтральности и возможности с их помощью достигать всякие цели, в том числе и благородные. Я не понимал, точнее, не принимал, что они просто естественны, как и товарно-денежные отношения.

Я верил в ПРОГРЕСС и НОВОГО ЧЕЛОВЕКА.

## БОРЬБА С НИЗКОПОКЛОНСТВОМ



...педагогика и политика — дают нам уроки лицемерия. Политик, чтобы повести за собой, и педагог, дабы воспитать, учат нас пренебрегать своей внутренней жизнью.

*Ортега-и-Гассерт. «Умирание руин».*

В самом конце 1947 года (14 декабря) была проведена послевоенная денежная реформа с одновременной отменой карточек. О реформе много говорили и ожидали ее, не знали только кон-

кретного дня. Все, что можно было купить, было продано, полки в магазинах сияли пустотой, в субботу перед реформой я видел, как из комиссионного магазина на Невском уносили последнюю вещь — пыльную пальму в деревянной кадке.

Если бы не недавно оконченная война, то условия реформы могли бы показаться не совсем справедливыми, так как они фактически уничтожали денежные накопления населения. Но среди моих родных, знакомых и, тем более, однокашников, таких не было. Реформа была для тех, кто жил от получки до получки. Колхозники, а точнее деревня, пострадали от нее больше других, но об этом я тогда и не думал — главное, рабочий класс! Реформа мне представлялась очень справедливой, так как «была» по разным там спекулянтам и преступным элементам, нажившим деньги во время войны.

Менялся (10 : 1) номинал рубля, а это для рабочих и служащих (тогда и в мыслях не было назвать их наемными работниками) было безразличным, так как получка после реформы сразу выдавалась в новых деньгах. Какая-то очень небольшая часть вклада на сберкнижках переводилась в новые рубли, другая часть, тоже не очень значительная, переводилась в новые деньги на льготных условиях (курс 3 : 1), а сверх этой суммы — свободный обмен старых на новые из расчета 10 : 1, и то за короткий фиксированный срок.

Недовольных я не видел: горожане в большинстве своем свободных денег не имели; имевшие минимальные вклады на книжках ничего не теряли; те, у кого были честно заработанные накопления (например, известные артисты), теряли сравнительно не много, ну, а жуликам — так и надо! У меня сберкнижки вообще не было, у Татьяны — было 5 рублей. В магазинах сразу все появилось (по крайней мере в Ленинграде) и это укрепляло уверенность в том, что наступает лучшее время и дальше будет еще лучше. Психологически время для реформы было выбрано блестяще. Даже те, кто что-нибудь и потерял, не особенно горевали: остались живы, победили, жизнь улучшается — подумаешь, что может значить потеря каких-то рублей. Все впереди!

Новые купюры и размерами и расцветкой почему-то напоминали дореволюционные царские деньги. На довоенные они, во всяком случае, похожи не были, с них исчезли рабочий-шахтер с отбойным молотком (один рубль), красноармеец в походном снаряжении (три рубля) и гордый летчик с парашютным ранцем у самолета (пять рублей). Новые купюры стали как бы нейтрально-государственными, на них был только номинал и герб Советского Союза. Впервые (на обороте сторублевой банкноты) появляется державное изображение Московского Кремля, всегда быв-

шего символом незыблемости и мощи Российской империи. Он великолепно уживался с портретом Ленина на лицевой стороне.

Реформа окончательно и наглядно ставила крест на всех разговорах и предположениях, связанных с планом Маршалла. США объявили о нем в начале июня 1947 года и предложили Советскому Союзу в нем участвовать. Спустя дней десять появилась редакционная статья «Правды», в которой предложение отвергалось, так как план, в случае его принятия, нарушил бы наш суверенитет. Затем это же повторил Молотов, страны народной демократии (они еще не назывались социалистическими) нас поддерживали. Хотя я и не знал подробностей этого плана (газеты писали о нем много, но нарочито с классовых позиций и не оставляя места для здоровой экономической оценки), но неизбежное ущемление нашего суверенитета было для меня очевидным и поэтому принятие плана — невозможным с самого начала. Мы сами решим свои проблемы, — считал я — наша плановая экономика и отсутствие частной собственности дают нам преимущество перед капитализмом с его анархией производства и постоянной безработицей. Так я искренне тогда думал.

Реформа являла мощь социалистического государства: вместе с новыми деньгами одним махом были отменены «коммерческие» цены, а тщательная подготовка позволила накопить товарные запасы. О том, что последуют принудительные государственные займы, никто и не предполагал...

Через неделю после реформы, 20 декабря, мы с Татьяной поженились. Был сказочный зимний день: легкий морозец, медленно падающие легкие снежинки, — кругом белым-бело! Из Смольнинского загса мы неспеша прошли по Суворовскому проспекту до Тверской. Дома нас ждал отец Татьяны. Семен Моисеевич торжественно открыл шампанское и улынувшись поздравил нас. Это был самый счастливый мой день — мы с Татьяной любили друг друга, жизнь казалась бесконечной и где-то в глубине подсознания у меня таилась уверенность, что любовь побеждает смерть... На следующий день была свадьба. Она — по нынешним понятиям просто вечеринка — прошла у тети Гали, Татьяниной тетки, у которой сохранилась отдельная квартира. (До войны у родителей Татьяны тоже была отдельная, но после блокады осталась одна маленькая комната, две остальные отобрали.) С каждой «стороны» было по трое приглашенных: Наташа и еще две Татьянины школьные подруги и Гена, Дима и Саня С. — мои одноклассники... До сих пор у меня сохраняется свадебный подарок от Гены — золотистого бархата семейный альбом для фотографий с изображением нашего Адмиралтейства на лицевой стороне переплета.



Между тем кампания, начатая постановлениями ЦК ВКП(б) 1946 года, мною вначале недооцененная, усиливалась. Собственно, ее началом был доклад А.А. Жданова перед ленинградскими писателями. Именно в нем была впервые поставлена как общественная задача, «борьба с низкопоклонством перед Западом». В этой фразе каждое слово было абсолютно не случайным. Дерево «борьбы с низкопоклонством» очень быстро стало давать побеги — борьбу с иностранщиной, борьбу с космополитизмом и безродными космополитами, борьбу за русские приоритеты в науке и технике, борьбу за универсальное советское первородство в прогрессе XX-го века, в том числе и в культуре, которая на Западе была, как и свобода, лишь буржуазной, а потому и ущербной. Слово «запад» стало синонимом сразу и капитализма и империализма, а несколько позднее — и американского образа жизни и отжившей свой исторический срок западной, то есть буржуазной, цивилизации. Последним эхом «задачи» поставленной Ждановым, а точнее Сталиным, потому что именно он был и *идейным* вождем, оказалась борьба с идеологическими диверсиями, продолжавшаяся до середины 80-х годов.

К 1948 году борьба с «низкопоклонством» набрала полную силу и даже стала выходить за рамки здравого смысла. Высмеивалась, например, даже такая традиционная черта английского характера, как приверженность к пресловутому здравому смыслу — наш классовый подход объявлялся более универсальным и прогрессивным. Стали на чем свет стоит ругать Александра Грина и любимые мною «Алые паруса» — за капитана Грея, Ассоль, Зурбаган, Гель-Гью и другие имена и названия явно англо-американского происхождения. Французские булки стали городскими, сыр камамбер — закусочным, кафе «Квисисана» на Невском сначала была переименована в «Норд», а затем вскоре в «Север». Прекратил существование наш училищный джаз: во-первых, запрещенным оказалось само это слово, а, во-вторых, идеологически не выдержанным оказался его репертуар. В нем сохранялись песенки военной поры — «Русский дымок и английский дымок», «Американские бомбардировщики», «Алабама». Над этой чрезмерностью мы посмеивались. Даже ходил анекдот:

— Вы знаете, что рентгеновские лучи были известны в России еще до Рентгена?

— ?

— Ну как же, наш русский Иван испокон веков говорил своей жене: «Я тебя, стерву, наскрозь вижу!»

Тем не менее, все эти постановления ЦК и основополагающие статьи «Правды» мне казались уместными. В них было не-

кое подобие рационального зерна, а, следовательно, и правды, пусть даже только частичка ее. Действительно, мода шла из Парижа еще до революции и до войны, вообще, из-за границы; джаз — тоже оттуда; фокстрот, румба, танго, вальс-бостон — тоже. Да что говорить, наши «газики» были копиями американских «фордов». Теперь же, после Победы, наступает наш черед — пусть теперь *они* берут с нас пример. Без нас они не победили бы фашизм, это мы спасли весь мир. Будущее за социализмом! Кроме того, знаменитый Сталинский тост «За великий русский народ!» несколько освободил подавляемое ранее русское национальное чувство и оно теперь, несомненно, усиливало постановления ЦК.

До войны я временами испытывал неловкость за то, что я русский: русских больше всех и мы, следовательно, больше всех ответственны за царскую «тюрьму народов». Поэтому, чтобы восстановить доверие, считал я, русские должны всем уступать — и украинцам, и татарам, и евреям, не говоря уже о грузинах, армянах, эвенках, ненцах... Их всех вместе — меньше! Впрочем, мое русское национальное чувство удовлетворения было мимолетным — я был уверен, что впервые в истории национальный вопрос в СССР решен окончательно.

Всесильное и всепобеждающее учение наше торжествовало, и бывшие *они* выбирали социалистический путь развития. Идеальным примером для меня были февральские события 1948 года в Чехословакии, когда КПЧ пришла к власти. Это была победа социалистической революции мирным путем, как тогда говорили. Можно эти события назвать и коммунистическим переворотом, но дело все в том, что наших танков там не было!..

С комсомольского возраста я воспринимал партию как чисто политический или, точнее, идеологический институт государства и основную ее роль видел в идейном воспитании строителей будущего коммунистического общества. Поэтому изменения, следовавшие за вроде бы чисто идеологическими постановлениями, о которых идет речь, были достаточно неожиданными. В начале 1947 года любимый нами адмирал флота Н.Г. Кузнецов вдруг становится начальником Управления военно-морских учебных заведений (это вместо Главкома ВМС-то!). На наши вопросы — почему? — начальство растерянно разводило руками и говорило, что, значит, так надо, там в верхах виднее. Прошли какие-то слухи, что якобы во время войны наш нарком был в излишне хороших отношениях с англичанами и американцами... После прибытия в Ленинград Николай Герасимович со свойственной ему обстоятельностью проверил ВМУЗы. Обычно проверка заканчивалась строевым смотром, у нас такой смотр проходил пе-

ред западным фасадом Адмиралтейства, — мы прошли торжественным маршем мимо трибуны, на которой стоял он и несколько человек из командования училища. Рядом с адмиралом флота был М.А. Крупский. Последний раз я видел Николая Герасимовича в 45-м году в Москве. Сейчас он выглядел постаревшим и нездоровым, при его всегдашней великолепной выправке — даже чуточку ссутулившимся. Тем не менее, когда мы проходили мимо, на его лице появилась ободряющая улыбка.

В начале 1948 года Н.Г. Кузнецов перестает быть начальником ВМУЗов, его разжаловали до контр-адмирала и послали чем-то командовать, вроде бы на Камчатку. Одновременно следует какое-то невнятное — по причинам усилившейся секретности — сообщение об аресте адмирала Л.М. Галлера и вице-адмирала Г.А. Степанова. Все они, якобы не боролись с признаками преклонения перед Западом и способствовали во время войны передаче данных о какой-то нашей торпеде англичанам. Всех этих адмиралов я знал в лицо и обвинение их мне представлялось абсурдным: во время войны мы же были союзниками и воевали вместе с американцами и англичанами. Получается, что теперь при желании каждого можно обвинить в «преклонении»... Между тем трудно объяснимые события продолжались. Был снят и назначен с понижением наш начальник училища М.А. Крупский и несколько преподавателей, главным образом с кораблестроительного факультета. Главной причиной называлась та же, но добавлялась еще потеря бдительности и, как следствие, разглашение тактико-технических данных о наших кораблях. Какая-то комиссия засекретила даже учебник электрика флота, где была приведена схема электропривода руля наших дореволюционных линкоров (кстати, «Октябрьской революции»). Все это выглядело почти невероятным, но организационные выводы были настолько ошеломляющими и наглядными, что на ум не приходило ничего лучшего, как уставное положение, что на тяжесть наказания жаловаться не положено.

Ощущение военной опасности продолжало расти. Наши бывшие военные союзники, а теперь враги (империалисты) спланировали против нас свои ряды: в начале 1948 года прошло Лондонское совещание США, Англии и Франции, приведшее через несколько месяцев (после присоединения Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) к образованию военно-политического Западного союза.

Мы, со своей стороны, продолжали укреплять одно из величайших завоеваний мирового пролетариата — мировую социалистическую систему, возникшую в результате разгрома фашизма и выполнения нашей армией своей великой освободительной мис-

сии. В освобожденных странах Восточной Европы прошли народно-демократические революции и в них была установлена «революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». В 1948 году закончился процесс подписания договоров с этими странами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи — договора были подписаны с Румынией, Венгрией и Болгарией. Однако вопрос о послевоенном устройстве Германии оставался не решенным.

В конце июня возник Берлинский кризис, последовавший за сепаратной денежной реформой в западных оккупационных зонах Германии и нашей ответной блокады Западного Берлина. Американцы тут же организовали «воздушный мост» для его снабжения — 380 их самолетов делали по несколько рейсов в день. Сообщения о кризисе стали напоминать сводки о военных действиях... В конце концов проба силы окончилась вничью, стало ясно, что западные зоны, Западный Берлин и вообще западные немцы — это *они*, а Восточная Германия, Восточный Берлин и восточные немцы — это *наши*.

Гролом среди ясного летнего неба прозвучала резолюция Коминформа о положении в компартии Югославии с призывом к «здоровым силам КПЮ» сменить ее руководство. Последовавшая затем в сентябре редакционная статья «Правды» назвала Тито и его окружение уже кликой и пособниками империализма. Чуть позднее он стал американским агентом и шпионом и изображался в виде пса в маршальской фуражке с окровавленным топором в передней лапе...

Не менее интенсивно чем в Европе развивались революционные события на Востоке. В том же сентябре была создана *наша*, не северокорейская, но Корейская Народно-Демократическая республика. Народно-Освободительная армия Китая, созданная в 1946 году вместо Китайской Красной армии и получившая от нас японское трофейное вооружение, успешно освобождала от гоминдановцев одну провинцию за другой. Мирные, но революционные события происходили в Индии, которая став в 1947 году независимым доминионом, готовилась к провозглашению суверенной республики. Британская империя рушилась, несмотря на все старания Черчилля ее сохранить...

Тем временем наши собственные силы все возрастали. Как было сообщено, в 1948 году объем промышленного производства СССР превзошел довоенный на 18 процентов. В этом же году было принято постановление Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) о создании государственных лесных полос и полезащитных лесонасаждениях. И так далее!..

Все перечисленные события с неумолимой логикой заставляли меня постоянно вспоминать и сталинское определение ленинизма как марксизма «эпохи империализма и пролетарской революции» и его же слова о неотвратимости войн при империализме и неизбежности «каолиции пролетарской революции в Европе с колониальной революцией на Востоке» с последующим их слиянием «в единый мировой фронт против мирового фронта империализма».<sup>53</sup> Сталин, словно предвосхищая фракционность И. Тито, в своем знаменитом довоенном труде давал указания и на этот, казалось бы конкретный случай: «Воевать с империализмом, имея в тылу таких «союзников», — это значит попасть в положение людей, обстреливаемых с двух сторон — и с фронта, и с тыла. Поэтому беспощадна борьба с такими элементами, изгнание их из партии является предварительным условием успешной борьбы с империализмом».<sup>54</sup>

Пожалуй именно в том, 1948 году, на пятом курсе, незадолго до выпуска я почувствовал окончательное слияние довоенной идеи «Мировой Революции» с идеей «Абсолютного государства», возникшей, по моим представлениям в 1943-м. Если до второй мировой войны Всемирная революция, похоже, не совсем зависела от нас (могла произойти, но могла и не произойти), то после нашей Победы мы обретали не только возможность, но и *силу* для ее осуществления: капиталистического окружения уже не существовало. Моральное право на силу — я был убежден — у нас было с самого начала, так как имманентную агрессивность (захватническую сущность) империализма ничто не может остановить — я также был убежден и в этом — кроме силы его классового антипода. Мешала атомная бомба, вернее ее отсутствие у нас. У меня даже была мысль об известной исторической несправедливости: пока мы тут насмерть бились с немцами, американцы имели (за наш счет!) возможность спокойно заниматься созданием атомного оружия. Поэтому начинать войну сейчас, сию минуту — считал я — нельзя. Надо заиметь свою атомную бомбу — она у нас скоро будет — и просто серьезно готовиться к решающей схватке. Кроме того, и народу после войны надо передохнуть: огромная радость от Победы была еще не отделена от понимания ужаса понесенных потерь.

После непродолжительной дипломной практики в Лиепайе и работы над дипломным проектом и затем защиты его, возникла неожиданная пауза перед производством нас в лейтенанты. Шли разговоры, что теперь в едином Министерстве Вооруженных Сил трудно с финансами, и нас могут на пару-другую месяцев отпра-

---

<sup>53</sup> И. Сталин. Об основах ленинизма.

<sup>54</sup> Там же.

вить на стажировку мичманами (мичманские звания нам присвоили перед началом дипломного проектирования). Эти финансовые затруднения большинство из нас объясняло проще: армейский сапог наступает на флотский ботинок. Так или иначе, но пауза какая-то получилась. Все было готово — и офицерские личные дела (командир роты заранее дал свой китель с прилаженными лейтенантскими погонами, в котором мы все по очереди сфотографировались), и заранее сшитое офицерское обмундирование, и даже дипломы были готовы — их заполнял наш одноклассник Коля Ч., обладатель несравненного почерка. А отказа не было. Такая желанная офицерская свобода никак не приходила. После восьмилетнего (со спецшколы!) ожидания каждый лишний день промедления был невыносим. Может быть именно поэтому и запомнилась та короткая пауза.

Я, чтобы скоротать время (в город нас по-прежнему отпускали только как курсантов), стал в библиотеке просматривать журналы, до которых в последние месяцы просто руки не доходили. У памяти, видимо, какие-то свои законы: я до сих пор хорошо помню прочитанные в «Новом мире» две статьи — Ф.З.Гладкова и А.Я. Вышинского. Гладков, автор ставшего к тому времени уже советской классикой «Цемент», очень проникновенно писал о необходимости сохранения чистоты русского языка. В частности, он предостерегал от использования суффиксов *-щина*, *-чина* для названия русских земель. В русском языке этот суффикс не нейтрален, в отличие от украинского. Все верно! Когда я слышу нынешнее коверканье названия Орловской или Курской земель, делающее их Орловщиной или Курщиной, я с благодарностью вспоминаю статью Ф.В. Гладкова, прочитанную в том году.

Фамилия академика Вышинского не сходила со страниц газет; выступления ведущего дипломата и юриста, особенно на сессиях ООН занимали целые полосы центральной прессы. Мне запомнились публикации знаменитого обвинителя и прокурора<sup>55</sup> в «Новом мире», суть которых сводилась к тому, что если кто-то потенциально, в силу своей классовой сущности (или принадлежности), может совершить, хотя еще не совершил, преступление, то его нужно заранее покарать. Это будет меньшее зло, чем то преступление, которое он (или они) могут совершить, будучи нашим классовым противником. И, надо сказать, я не видел в этих умозаключениях, которые излагались академически сухо и бесстрастно, ничего ненормального. Логика была, мне казалось, классово безукоризненной, а то, что основной посылкой

---

<sup>55</sup> В 1935—39 гг. Вышинский был Прокурором СССР и главным обвинителем на трех знаменитых московских процессах.

была презумция виновности, — я и подумать не мог. Просто врага надо обезвредить до того, как он успеет сделать свое дело! Профилактика — лучшее для этого средство. Я жил в гармоническом, по моим представлениям, мире и считал неприкосновенность личности пережитком буржуазного права, так как у них государство несправедливо, а у нас, впервые в истории, оно перестало быть таковым. Нет более глухого человека, чем счастливый человек!.. Да еще молодой при этом!

А трагедии разыгрывались рядом. Больно было встречать югославских офицеров. Все они были коммунистами и оказались перед неестественным выбором между пролетарским интернационализмом и верностью родине. Было заметно как они изменились. Никто уже не улыбался, лица замкнулись, иногда на них можно было угадать растерянность. Многие уезжали, часть оставалась, несколько человек отказались от своих орденов.

А жизнь шла. В один из дней я увидел в нашем адмиралтейском дворе много народу в армейской форме. Присмотревшись, можно было заметить, что цвет ее несколько отличается от нашей, и самое главное, совсем другим был покрой, чем-то напоминавший американский или английский. Солдаты были с вещами. Вскоре мы узнали, что это были албанцы. Буквально через пару дней они переоделись и их уже трудно было выделить на фоне наших курсантов, правда по-русски они говорили плоховато. Поэтому разговоры обычно ограничивались вопросом, нравится ли им у нас и как кого зовут. Тем не менее, в этой мимолетности я запомнил одного общительного и симпатичного парня (он, кажется, был у них старшиной) — его звали Ходжа. Появление албанцев у меня тогда вызвало, примерно такие мысли: вот Албания, там никаких наших войск во время войны не было, а ведь пришли к нам! Конечно, наше дело правое, марксизм-ленинизм всех нас, понимающих, объединяет. И еще: жалко конечно, что с Югославией поссорились, но с военно-морской точки зрения Албания ее вполне заменит, базы на Средиземном море у нас останутся...

Наконец пауза заканчивается. Мы выстроились по-факультетно во внутреннем дворе Адмиралтейства. Зачитывается приказ, вручаются дипломы, погоны и кортики, училищный оркестр исполняет марш «Варяг», и мы торжественно проходим мимо капитана I ранга Б.Я. Красикова — нового начальника Училища. Позади восемь долгих лет: спецшкола, подготовительный курс и училище; семь лет казарменного положения; пять лет стрижки наголо под машинку! Наконец-то свобода, офицерская свобода! Вечером, чувствуя себя чуть-чуть неловко в парадных тужурках, мы собираемся в нашем классически строгом, с ионическими

колоннами, актовом зале. На хорах гремит оркестр. Все ослепляет — женские улыбки, лейтенантские нашивки, погоны, ордена начальства и, самое главное, свет надежд на прекрасное будущее.

Из приказа, объявленного утром, мы уже знали, кто куда назначен «для дальнейшего прохождения службы». У меня был диплом с отличием и я имел право выбора флота. Самым правильным и *сознательным* был бы выбор Северного или Тихоокеанского флота — с чисто морской точки зрения это бесспорно. Правильно это и с точки зрения «успешного продвижения по службе» (слово «карьера» было тогда не нашим словом): лучше молодым послужить в суровых условиях, чем делать это позднее. Но когда, перед отправкой материалов для приказа в Москву, командир роты спросил о моем желании, я ответил, что хотел бы служить на Черноморском флоте. Главной причиной такого выбора было беспокойство за здоровье Татьяны. Перенесенная ею страшная голодная и холодная блокадная зима, эвакуация и другие перипетии военного времени давали себя еще знать, — у Татьяны плохо заживала язва желудка. Кроме того меня беспокоила ее возможная предрасположенность к легочным заболеваниям — мать Татьяны погибла в самом начале блокады не столько от голода, сколько от туберкулеза.

Сказанное и было главным в выборе флота. Но была еще и гриновская греза о теплых морях!

Как бы там ни было, с окончанием училища наступала совершенно новая жизнь. Я входил в нее с мировоззрением, которое считал единственно верным, достойным и научно-обоснованным. Если задаться вопросом, что же было главным в этом мировоззрении и что придавало ему гармоничную цельность, то ответ будет совершенно определен: коммунизм как цель общества был мною воспринят и усвоен — с самого юного возраста! — как *личный идеал*. Замечу, что родина, государство, общество и партия в моем сознании не были отделены друг от друга четкими границами.

На самом деле: главное в коммунизме — это отсутствие частной собственности. Для меня ее отсутствие означало, что никакой богач, то есть капиталист, никогда не будет помыкать, управлять или командовать мною. У нас этого уже нет, но потенциально такая возможность еще существует, поскольку капитализм сохраняется во многих странах, а коммунизм не стал достоянием всего человечества. Личное богатство, считал я, изначально несправедливо и основано на присвоении прибавочной стоимости, то есть на эксплуатации человека человеком. Любой частный собственник был для меня синонимом грабителя и абсолютно безнравственного человека. Труд только ради хлеба насущного для семьи и детей мне представлялся недостойным свободного чело-



века, достойной я считал только работу во имя высокого идеала, который и является естественным и изначальным стимулом к труду. Наше государство по определению, считал я, не может быть эксплуататорским, поскольку внутренней его функцией является построение самого справедливого общества на земле. А раз так, раз цель справедлива и благородна, и, как я считал, безусловно достижима, то надо ее побыстрее достичь и уже после этого думать о собственном благополучии. Это не было ни альтруизмом, ни мессианством, скорее такой взгляд был сродни пусть и наивному, но здравому смыслу: для себя можно немного потерпеть, раз есть возможность сделать жизнь хорошей для всех; зачем откладывать это доброе дело, надо поделиться знанием истины с непросвещенными и просто помочь им. В этом смысле я был совершенно искренен перед самим собой, когда в заявлении о приеме в партию писал, что хочу быть в первых рядах строителей коммунистического общества. Все замечаемые мною безобразия, несуразности, глупость, несправедливость и даже жестокость я относил к огрехам, без которых не обходится ни одно великое дело.

Начало моей убежденности, я думаю, проистекает из детских лет, когда родители требовали от меня, так сказать, в меру моих «способностей» и воздавали мне лаской, улыбкой или даже подарком, но иногда и наказанием, «по труду» и «потребностям». Вот теперь можно задаться и следующим вопросом: а что же способствовало очень долгому сохранению этого детского и, по существу утопического мировоззрения? Его еще можно назвать очарованностью коммунистическим идеалом. Причин этой очарованности несколько, и первой я бы назвал доведенную до совершенства государственную систему просвещения-образования и воспитания. Соответственно: Наркомпрос — Министерство образования (среднего, специального и высшего), и последовательность октябренок — пионер — комсомолец — член партии. Плюс к этому сеть партийного просвещения, охватившая практически все взрослое население, и стопроцентная партийность всех средств массовой информации.

Всеобъемлющая секретность была второй основной причиной сохранения незыблемости утопического мировоззрения. Она не позволяла количественно оценить, например, масштабы репрессий, экономических потерь, последствий идеологических, социальных или военных просчетов. Стоило объявить свершившийся факт секретным, и он как бы переставал существовать, будь то гибель одного корабля или выселение целого народа. Железный занавес располагался не только по внешней границе Советского Союза, его холодное касание, я думаю, мог почувствовать любой

житель и внутри страны. Замечу только, что в те годы я не мог оценить степень закрытости общества, которая была беспрецедентной.

Очарованность коммунистическим идеалом имела в себе также веру в то, что трудом, просвещением, образованием и воспитанием, или, что тоже самое, трудом и освоением богатства знаний, можно получить *нового человека*, свободного от ярма капиталистического рабства и, тем самым, свободного вообще, и еще безгрешного. В этой вере было что-то от подсознанием усвоенной убежденности в универсальной целительной силе труда, сделавшего из обезьяны человека. Трудятся у нас все, — считал я, — эксплуатация отсутствует, следовательно скоро исчезнут родимые пятна капитализма и все станут новыми людьми.

И еще одно обстоятельство. После Победы сила и мощь нашего общественного строя, сиречь *государства*, были для меня вне всяких сомнений, а очарование государственной силой и мощью — абсолютным. Если мы сумели победить в такой войне, думал я, то с таким государством уж как-нибудь построить коммунизм сумеем. Такой взгляд на государство, повторюсь, исключал любой проблеск мысли о том, что оно, социалистическое государство, может эксплуатировать, то есть обирать своих граждан. Рядом с уверенностью в неограниченных возможностях государства соседствовало убеждение в правоте общего дела, оберегаемое монополией партии на идеологию и средства пропаганды, оно обеспечивало несомненную и, я бы даже сказал, нравственную поддержку советской власти.

То, что я написал — все правда, я так тогда думал. Но я не могу не добавить, что мой внутренний голос иногда насмешливо спрашивал меня:

— Гегель писал, что Прусское государство идеально. Мы это разоблачили и посмеялись над ним. Что же, пруссаки не сумели, а вот мы, которым оно и не нужно при коммунизме, сумели построить идеальное государство — Союз Советских Социалистических Республик?

Я не стал спорить, история мне на самом деле тогда казалась лишь отражением всеобщей классовой борьбы, а не Великой Книгой Великого Автора.

На этом мне хочется закончить первую половину «романа» о собственной идеологии. Степень моей политической сознательности к окончанию училища была наивысшей. В дальнейшем я не смог сохранить ее на достигнутом уровне.

23 августа 1992 г.  
Москва

## ПЕРВЫЕ ОФИЦЕРСКИЕ ШАГИ



Мой адрес — не дом и не улица,  
Мой адрес — Советский Союз!

*(Из популярной песенки)*

Москва 1948 года поражала обилием погон. Я был даже несколько раздосадован: мои лейтенантские погоны терялись на общем фоне — погоны появились у гражданской авиации, у железнодорожников, у морского торгового флота, у речников; у дипломатов и юристов; даже у студентов горных институтов появились контр-погоны (они так назывались), похожие на погончики матросов и наших курсантов. По-моему, из каждых четырех встречных мужчин трое были с погонями!

На этот очевидный и официальный триумф государства и государственности я обратил внимание давно, когда вышедший в конце 1941 года сборник выступлений и приказов Сталина «Об Отечественной войне советского народа» постепенно стал превращаться в книгу «О Великой Отечественной войне Советского Союза». Книга выдержала более десяти изданий. Государство вполне восторжествовало над народом.

Любопытно, что даже женская мода была созвучна этой державности — в покрое пальто проступали мотивы старинных русских одежд, а образцом для дамских шляпочек, как мне показалось, явно послужили стрелецкие головные уборы. Государство было абсолютным!

Не помню, в это или в одно из предыдущих посещений Москвы, я виделся с Юлием Грамши, он тогда только-что вернулся из Италии. Вместе с Делио они ездили туда, чтобы получить национальную премию за книгу «Тюремные тетради», написанную их отцом. Книга писалась Антонио Грамши в фашистской тюрьме, где в 1937 году он и скончался. Рукопись была привезена в Советский Союз, а после войны тетради возвратились в Италию и были изданы по инициативе ЦК Итальянской компартии.

Помню, я спросил Юлия, что поразило его или показалось необычным в Италии. Он, не раздумывая, ответил:

— Монахи на велосипедах!

Мы оба рассмеялись. Для нас, выросших в Москве, зрелище монаха, едущего на велосипеде, да еще в сутане, могло быть только смешным. До войны в Москве мы монахов вообще не видели, разве что очень редко — попа. Мне казалось, что сан

священника не позволяет ему ездить на велосипеде. Как и учителю гимназии. Юлий рассказывал, что его и брата очень тепло принял Пальмиро Тальятти... Мне же в рассказе Юлия было совершенно непонятно одно: как в фашистской тюрьме, при Муссолини, можно было писать книгу? Юлий ответил, — я сохраняю смысл его ответа, — что у нас и у них — порядки разные, по-разному относятся к человеческой личности.

Я тогда подумал: можно ли себе представить, чтобы Тельман писал книгу в берлинском Моабите или позднее в Бухенвальде? Нет! Еще более нелепым представлялось мне положение, при котором такая возможность была бы у Бухарина, Зиновьева или Тухачевского. Государство должно ограждать свои интересы. А у сильного государства — и сильные вооруженные силы. Кто мог в войне по-настоящему противостоять немецкому солдату? Только русский солдат. А итальянцы, как и румыны, какие они вояки!.. Первых часто называли макаронниками, а вторых — скрипачами. Я думаю, что так представлял себе дело и Сталин, когда по поводу образования ГДР заявил, что в послевоенной Европе только советский и немецкий народы обладают наибольшими историческими потенциями.<sup>56</sup>

Это подчеркивало значение нашей Победы. Ее пафос сливался с торжеством государственности. Прекрасным символом этого слияния для меня представляло обновленное здание Моссовета, надстроенное в 1944 году и украшенное по главному фасаду пусть стилизованной, но по существу первой и единственной триумфальной аркой в честь победы над фашистской Германией.

Своеобразным венцом торжествующей силы и мощи государства стали строящиеся высотные здания. Они как бы говорили: несмотря на громадные потери в войне, государство в расцвете сил, смотрите, какая мощь и красота на века — вперед и вверх! Навершие новых зданий явно получили эстафету от царственных башен Кремля и Петровских имперских шпилей северной столицы. Новые здания попытались сначала называть небоскребами, но в той общественной атмосфере это слово почти сразу умерло. Небоскребы — это у них, у американцев, у них какие-то уродливые вытянутые спичечные коробки, а у нас — произведения искусства.

Но моего любимого Дворца Советов среди строящихся зданий не было. Никто меня не убедит, что семь высотных зданий построить за очень короткие сроки было можно, а дворец нет. Конечно, часть стальных конструкций во время войны была повреждена, а часть просто использована для военных нужд, в том

---

<sup>56</sup> М. Геллер, А. Некрич. История России. Т. 1, стр. 492.

числе для противотанковых заграждений, но... не в этом дело. Время стало другим! Фигура Ленина, будь дворец построен, стала бы на его вершине анахронизмом.

В Москве мы пробыли недолго, наш путь с Татьяной лежал в Севастополь. Но картина столицы и упоенного своей властью и мощью государства у меня прочно связана с этим коротким пребыванием в Москве 1948-го года.

Своеобразным запечатленным символом того времени для меня является одна из мемориальных досок на доме № 2 по улице Серафимовича, бывшей Всехсвятской. Дом этот после постройки называли «Домом правительства», а теперь, с легкой руки Ю. Трифонова, он стал «Домом на набережной». По числу увековеченных фамилий его стены напоминают кремлевскую стену за мавзолеем на Красной площади. На доске, о которой идет речь можно увидеть изображение и прочитать слова: «В этом доме с 1939 по 1946 год жил и работал народный артист СССР композитор Александр Васильевич Александров». Бронзовый композитор смотрит в вечность одетым в мундир с погонами генерал-майора... Государство демонстрировало образцовое слияние материальной формы и духовного содержания. Я воспринимал это как должное.

После заливаемых поздними осенними дождями Ленинграда и Москвы Севастополь встретил нас теплым ослепительным солнцем, ни с чем не сравнимым запахом моря и какой-то античной красотой своих руин. Именно руин, а не развалин. Вокзала не было, вместо него стоял пульмановский пассажирский вагон без колес. Над крайним окном у него висела от руки написанная табличка: «Касса». Рядом с вагоном в подвале разрушенного здания помещалась небольшая камера хранения. Туда мы с Татьяной сразу же сдали наше семейное имущество: чемодан с несколькими татьянинными платьями, тетрадь со стихами, мою парадную тужурку с брюками, белье, и по паре выходной обуви. Мое белье было немецким трофейным. Кроме того, было еще одеяло, полученное, как и белье, в Адмиралтействе уже после выпуска. Неженатым офицерам одеяла не давали: на корабле и так дадут.

В поезде я встретился с Гелием М. и Славой А., которые также ехали со своими женами. Нам было предписано явиться в штаб флота и там получить назначение — кому и на какой корабль. Сдав чемоданы, мы все вместе пошли к ОКосу,<sup>57</sup> который тогда помещался на улице Ленина. Но надо где-то было оставить наших дам подождать нашего возвращения. Податься в городе было некуда, единственный тогда в городе кинотеатр «Луч» (он,

---

<sup>57</sup> Отдел кадров офицерского состава.

как и камера хранения, помещался тоже в подвале — бывшем бомбоубежище), в первой половине дня не работал. Тогда мы облюбовали Приморский бульвар. Сравнительно мало пострадавший, он был очень красив со своей темной лакированной зеленью на фоне светлого и теплого по тону инкерманского камня. Предварительно мы заглянули на небольшой рынок, тоже единственный в городе, расположившийся рядом, — там продавали фрукты. Купив неправдоподобно красивых и вкусных груш, мы уселись напротив памятника Затопленным кораблям. Мир был прекрасен и полуденное солнце сияло в безоблачном небе.

В штабе флота нас встретили довольно равнодушно, и сказали, что пару дней придется подождать, пока все молодые офицеры на съедутся. Сказали еще, что для офицеров есть общежитие (по тогдашней терминологии «чудильник»), но женам ничего предложить не могут. Посоветовали что-нибудь поискать в городе, лучше всего на Корабельной стороне, — там уже появился «частный сектор». Меня немножко удивило, как это официальные инстанции не стесняясь рекомендуют обращаться к *частнику*, но тем не менее к такому положению дел мы внутренне были готовы еще с Ленинграда: в Севастополе после войны — мы это знали — уцелело всего два процента жилой площади. В центре города осталось лишь одно здание почтамта, точнее, остались стены без крыши, но здание можно было восстанавливать. Остальное сохранившееся жилье — одноэтажные частные домики — были разбросаны в основном по окраинам. Тем не менее, до разговора в штабе, где-то внутри у меня была надежда, что об офицерских семьях позаботятся...

Ноябрьский день короток. Мы почти бегом вернулись на Приморский и отправились попарно кто куда на поиски ночлега. Мы с Татьяной пошли на Корабельную и стали, последовательно обходя по улицам дом за домом, спрашивать, не сдают ли хозяева жилье. На наш стук обычно выходила какая-нибудь немолодая женщина и, посмотрев на нас, сочувственно говорила, что или уже сдали, или у самих полно. Некоторые показывали ближайшие дома, где может быть еще могут сдавать...

Обойдя безрезультатно с десяток домиков, мы приуныли, не зная, что и делать дальше. Начало смеркаться, солнце ушло, поднялся холодный ветер, от дневного настроения ничего не осталось. Татьяна уткнула свой носик в воротник пальто и замолчала. На душе было так невозможно плохо, что должно было случиться чудо, другого выхода из этого состояния не было.

— Скажите, вы ленинградцы? — спросила неожиданно откуда-то появившаяся женщина. У нее было доброе и несколько смущенное лицо, на голову был накинута шерстяная платок, кон-

цы которого прикрывали плечи и спину, она придерживала его под подбородком.

— Да.

— А я смотрю, как вы ходите... Вы, наверное, комнату ищите?

— Да! Да! — одновременно и с надеждой отозвались мы с Татьяной.

— Я могу вам предложить переночевать, мы на днях получили квартиру...

Через несколько минут мы сидели с нашей спасительницей у нее на кухне в небольшой двухкомнатной квартире и пили дымящийся чай. Пахло свежей краской, известью и чистотой только что сданного строителями дома.

— Мой муж председатель профкома Морского завода, мы третьего дня переехали. Он еще не приходил с работы. Давайте, я вам налью еще!..

Проведя нас в одну из комнат и извинившись за отсутствие мебели, хозяйка положила на нехоженный пол новый матрац, подушку, одеяло и крахмальные простыни. Все это напоминало какую-то сказку наяву. Едва коснувшись подушки, мы сразу же заснули.

Проснулись мы поздно, комната была залита солнцем, в квартире никого не было. Вечером, сидя уже вчетвером за бутылочкой муската, наша хозяйка под одобрительным взглядом мужа рассказывала:

— Утром нам надо было уходить на работу, а вы так хорошо спали, что жалко было будить. Я подумала, что не можете же вы что-нибудь украсть!

— Мы не можем сдать вам комнату, не обижайтесь. На заводе скажут, вот получили квартиру и сразу же стали наживать!..

Я заверил наших хозяев, что завтра или послезавтра получу назначение. Действительно, на третий день я получил в штабе флота командировочное предписание прибыть на крейсер «Куйбышев», строящийся в Николаеве. Я был назначен на него командиром машинной группы.

Грустно было расставаться с Комарницкими — нашими гостеприимными севастопольскими хозяевами. Я тогда, помню, подумал, что они не просто добрые люди (свет не без добрых людей), но что их доброта — это как бы еще качество тех новых людей, которых создает и воспитывает социализм. Теплоту того прямого человеческого участия я чувствую до сих пор, правда, социализмом я ее уже не объясняю, хотя... Может быть люди после той справедливой войны были добрее.

Гелий получил назначение тоже на «Куйбышев», ему досталась котельная группа. Приехавшие чуть позднее наши одноклассники Назим Г. и Лева З. были назначены соответственно ко-

мандирами электротехнической и турбомоторной групп. Слава с Люсей оставались в Севастополе, он получил назначение на один из кораблей, стоявших на рейде, которыми мы любовались сидя на Приморском бульваре. Его корабль в отличие от нашего уже находился в боевой готовности.

В Николаев мы добирались морем. Сначала до Одессы шли на «Украине», превосходном пассажирском лайнере, полученном от Румынии то ли в качестве трофея, то ли в счет репараций. На резиновых ковриках, лежавших у каждого выхода на верхнюю палубу, можно было прочесть его прежнее название: «Bässarabia». В Одессе мы пересели на небольшой пароход, тоже трофейный, но уже немецкий, переоборудованный, по-моему, из плавучего ресторанчика, он делал регулярные рейсы между Одессой и Николаевом. Вид у этого плавсредства был потрепанный, ходил он с постоянным креном, но зато все остальное выглядело очень импозантно — от фуражки капитана до внушительной процедуры заполнения коносамента. Я тогда в первый раз услышал это слово, означавшее попросту багажную квитанцию.

Ошвартовались в Николаеве мы поздно вечером. Приветливые попутчики посоветовали нам не ломать голову и переночевать в «заизжачім дворе» — колхозной гостинице у городского рынка:

— Там всегда есть места. И доехать просто: сядьте на четвертую марку, она вас и довезет.

Так я узнал, что марка может означать еще и номер трамвая. Мы последовали совету добрых людей и остались очень довольны.

Наутро мы с Гелием пошли представляться новому начальству — командиру ОВСК<sup>58</sup> и затем командиру корабля, обязанности которого исполнял старший помощник. Спросив, как мы устроились, и узнав, что наши жены находятся еще на «постоялом дворе», он сказал, что надо что-нибудь придумать и пригласил к себе нашего теперь непосредственного начальника — командира дивизиона движения. Капитан 3 ранга Борис Николаевич Степанов рыжеватый блондин, чуть-чуть сутулый, как-то по-домашнему произнес: «Пойдемте» и увел нас к себе. Расспрашивая, он одновременно что-то писал.

— Отправляйтесь на завод и передайте эту записку. У них есть гостиница, я думаю, они вас разместят на первое время, а там подыщем что-нибудь в городе. Сегодня устраивайтесь, а завтра к подъему флага быть на службе.

Слова «к подъему флага» надо было понимать не буквально, а «к восьми ноль-ноль», так как экипаж крейсера размещался еще в береговой казарме, а достраивающийся корабль находил-

---

<sup>58</sup> ОВСК — отряд вновьстроящихся кораблей.



ся на, или как было принято в Николаеве говорить, в заводе. Во второй половине дня мы с нашими Татьяной и Зоей перебрались в заводскую гостиницу,— небольшой одноэтажный аккуратный особнячек недалеко от казармы. Нам на четверых отвели довольно вместительную комнату, и мы, разобрав чемоданы, впервые за долгое путешествие почувствовали себя хоть немножко дома.

Явившись утром к «подъему флага» и представ пред светлыми очами командира дивизиона (у Бориса Николаевича и на самом деле были очень светлые голубоватые глаза), мы с Гелием после короткой беседы сразу получили конкретные задания. Чувствовалось, что наш командир был нам искренне рад: у него появились, наконец, помощники. Пока же он был единственным офицером в электро-механической боевой части (БЧ-V), насчитывавшей более сотни человек. Первым приказанием, полученным мною, было:

— Через полчаса поведете БЧ в завод, сегодня занятия по плану там. Проверьте, как старшины их проводят. Обед — на заводе, там есть наша небольшая столовая, перед обедом снимите пробу и распишитесь в журнале. Если понадобятся описания и чертежи — возьмите у военпредов. Я сейчас им позвоню. К 17<sup>00</sup> вернуться в казарму. Ясно?

— Ясно!.. — не совсем уверенно ответил я.

Видимо почувствовав эту неуверенность, Борис Николаевич добавил:

— У Вас будет старшина машинной команды — старшина I статьи Мальцев. Спрашивайте побольше с него.

— Есть!

Казарма и завод располагались довольно далеко друг от друга, почти на разных концах города, идти надо было около часа. Самое главное для меня,— я никого не знал из этих матросов и старшин, поступавших в мое распоряжение, не знал я и дороги, ведущей на завод! Тем не менее, я сделал вид, что ничего необычного не происходит: приказ есть приказ, его надо не обсуждать, а выполнять.

Одев шинель, я вышел во двор казармы. Построенные в четыре шеренги несколько десятков человек с любопытством повернули взгляды в мою сторону. На некоторых лицах я заметил даже доброжелательные улыбки. Это придало мне некоторую уверенность. Повернув строй в сторону ворот, я громко скомандовал:

— Шаго-о-ом арш!

Колонна двинулась. Я быстро сообразил, что на завод они идут не в первый раз, так что мне надо не указывать дорогу, а просто следовать за ходом событий. Немного успокоившись, я мысленно стал сравнивать движение моей колонны с отработан-

ным шагом на курсантских строевых занятиях и передвижениями парадных расчетов. Разница, конечно, была огромной! С напускной сердитостью я скомандовал:

— Взять ногу! Раз-два! Раз-два-а!

Мои усилия немедленно дали результат: строй подтянулся, все пошли в ногу. Это было так приятно! Я тут же спросил у Мальцева, который шел чуть позади меня, какая фамилия у правогофлангового матроса.

— Рябов, товарищ лейтенант!

Тем временем мы подходили к перекрестку и я скомандовал сократить шаг, а потом добавил:

— Рябов, короче шаг!

Долговязый направляющий невольно обернулся. На его чуть плутоватом, но приятном лице было недоумение, тут же сменившееся улыбкой, как только наши взгляды встретились:

— Есть, товарищ лейтенант!

Я с облегчением подумал, что теперь, по крайней мере до завода, все будет в порядке. Не тут то было. Едва мы вошли на площадь перед заводской проходной, как из строя выскочило несколько матросов и, оттопыривая карманы, бросились покупать семечки к торговкам, сидевшим по краю тротуара. Видимо заметив мою растерянность — я уже хотел остановить строй — Мальцев поспешно мне сказал:

— Не беспокойтесь, у нас так заведено, они сейчас догонят.

Внутри завода,<sup>59</sup> прежде чем распустил мое воинство, я строго предупредил, что без разрешения выходить из строя нельзя. Порядок должен быть: заранее спросить разрешение и одному купить для всех (так потом и стали делать). Все последующее за этим переходом в тот день показалось мне куда как более легким!

Вот, наконец, и ярко-красная от свинцового сурика и частично от ржавчины громада легкого крейсера. «Куйбышев» стоит в ковше у заводской стенки под стрелами больших порталных кранов. Впечатление внушительное: водоизмещение корабля 12 000 тонн. Много народу; то и дело вспыхивают слепяще-голубые огоньки сварки; у широкого деревянного трапа будка, в ней регистрируют вес устанавливаемого вооружения и оборудования; у этой же будки стоит толстая баба с ненужной винтовкой без штыка — проверяет пропуск; краны, опуская груз, пере-званиваются как трамваи...

---

<sup>59</sup> В то время завод носил имя Андре́ Марти. В последующем заводу было присвоено имя министра судостроительной промышленности Носенко. Сейчас (1992) — ПО «Черноморский судостроительный завод».

Строить «Куйбышев» начали еще перед войной. Незадолго до оккупации Николаева немцами корабль (точнее, спущенный на воду корпус), вместе с другим недостроенным крейсером этого же проекта (пр. 68) удалось отбуксировать в Потти, где они и оставались во время войны. Последующая кораблестроительная программа предусмотрела их достройку с учетом некоторого опыта прошедшей войны, главным образом по зенитной артиллерии и радиолокации. После этого «Куйбышев» стал крейсером проекта 68-к (т.е. скорректированного). Я пишу об этом потому, что 68-ой проект послужил прототипом большой серии последних в истории нашего флота артиллерийских красавцев-крейсеров проекта 68-бис и его модификаций. Головной корабль этого проекта — знаменитый «Свердлов» — был спущен на воду в июне 1950 года на Балтике, на Черном море первым был «Михаил Кутузов».

Поздно вечером, собравшись четвером за общим и единственным столом в нашей гостиничной комнате, мы живо обменивались впечатлениями о прошедшем дне. По нашим расчетам нам предстояло пробыть в Николаеве несколько больше полугода. Некоторое время мы с Гелием (до переселения экипажа на корабль) будем получать продовольствие по аттестату на руки, так что не продадем, особенно первое время, а там — видно будет. Татьяна и Зоя успели узнать, что с устройством в городе на работу — свободно, строители и учителя везде нужны. Жить можно!

Я был очень доволен назначением на *новый* корабль. Мне кажется, что тяга к новизне сродни любопытству, она заложена у меня где-то очень глубоко внутри и не всегда доступна доводам логики. Я и тему своего дипломного проекта выбрал несколько экзотическую, связанную с полной автоматизацией управления котельной установкой. Таких автоматизированных систем на наших кораблях еще не было. Впервые они появились у немцев на эскадренных миноносцах самых последних военных лет постройки. На одном из этих эсминцев (трофейном «Z-125») я побывал во время дипломной практики в Либаве, точнее в Лиепае, незадолго до защиты диплома. Он уже получил наше название и со своим однотипным собратом стоял в доке. Интересного было много, чувствовалось, что корабли строились во время войны — почти не было бронзовых деталей, одни эрзацы, немцы экономили на всем, но одно обстоятельство меня задело. Условия жизни для личного состава были значительно лучше, чем на наших кораблях: никаких громадных кубриков с подвесными койками; на каждые четыре человека нечто вроде купе (как в железнодорожном плацкартном вагоне): иллюминатор, под ним столик, справа и слева от него по две стационарные койки, верхняя и нижняя, под

койками рундуки. И это — для матросов. Тут ведь не скажешь, что это зажавшаяся буржуазия! Но это, так сказать, а гророс.<sup>60</sup>

Служба на корабле, давно находящимся в строю, конечно легче, чем на новостроящимся. Там уставной порядок надо только поддерживать, а не создавать, как на новом. Корабельные расписания отработаны, каждый знает что и как делать. Есть прецеденты, на которые можно ссылаться, есть даже свой стиль, например, при постановке на якорь или швартовке; особое щегольство исполнения «захождения»<sup>61</sup> горнистом; доведены до автоматизма даже действия аварийной партии на учениях при подкреплении водонепроницаемой переборки на таком-то шпангоуте. План-конспекты частных, общих (по боевой части) и общекорабельных учений подшиты в папки и их можно не составлять заново. Всегда можно сказать: «Делать, как прошлый раз!..» Но! Для продвижения по службе офицер, знакомый с новой техникой, перспективнее.

Мне было приятно говорить, что я служу на новейшем послевоенном крейсере, а не на старой, дореволюционной постройке, калоше вроде линкора. Новое было для меня синонимом таких понятий, как передовое и первое, а следовательно и прогрессивное, революционное, единственно верное и тому подобное. В конце этого ряда сближений, я думаю, должен был стоять идеал коммунизма. Другими словами, я считал что *новый человек* (а я считал себя в душе таковым!) должен по возможности служить на новом корабле. Конечно, если Родина прикажет, будешь служить там, куда пошлют, но тем не менее...

Между тем заботы и обязанности начали расти как снежный ком. Заводские работы шли в хорошем темпе, каждый день приносил что-нибудь новое: сегодня начиналась установка турбогенераторов, завтра — подгонка подушек («сухарей») на главных упорных подшипниках, затем центровка линий валов, опрессовка пожарной магистрали — и так без конца! Ничего нельзя было пропустить, все надо было запомнить, перенять сноровку и опыт первоклассных специалистов, какими были заводские рабочие. Лучшего обучения не придумаешь! Но чтобы оно было эффективным, каждый матрос должен знать свое заведование. Технической документации было более, чем достаточно, но документации организационной — никакой! Была только штатная книга, где перечислялись должности, начиная с командира корабля и кончая, скажем, младшим машинистом-турбинистом. Конечно, это был прежде всего финансовый, а не какой-либо другой доку-

---

<sup>60</sup> Кстати, между прочим.

<sup>61</sup> Сигнал при встрече старшего начальника.

мент, но именно он послужил в качестве отправной точки. Вторым документом стали расписания и инструкции крейсеров-предшественников 26-го проекта. На таких кораблях — «Ворошилове» и «Молотове» — служили до назначения на «Куйбышев», несколько офицеров и старшин (у меня был старшина 2-ой статьи Карпов, присланный даже с «Кирова», головного корабля этого проекта, служивший на Балтике). Взяв за основу боевые и, особенно, повседневные расписания этого проекта, мы начали разрабатывать свои. Замечу, что расписания, о которых я говорю, не существовали в виде каких-то физических документов, они были секретными и пересылать их с других кораблей было бы делом практически безнадежным. Они существовали как *знания*. Первым составленным расписанием было расписание по заведованиям. Результат превзошел все ожидания: интерес к занятиям сразу вырос. Мало того, будущий хозяин-матрос стал не за страх, а за совесть помогать заводскому напарнику-рабочему.

Очень важно было научиться сборке (и разборке, конечно) механизма, устройства, или, к примеру трубопровода, которые потом придется делать самостоятельно. Для такой работы в чрезвычайной тесноте машинного отделения и при подчас гигантских размерах и тяжести даже отдельной детали, необходимо виртуозное владение таями, домкратами и другими подъемными приспособлениями. Требуемая точность доходит до десятых долей миллиметра, например, для осевых зазоров лопаток турбин или масляных зазоров подшипников.

Здесь я должен еще раз вернуться к заводским рабочим. Это были весьма квалифицированные, положительные, спокойные и приветливые люди. Будучи старше нас (я имею в виду матросов и своих ровесников — командиров групп, башен и батарей) они относились к нам чуть-чуть покровительственно, примерно как относятся к младшим в семье. Каждый из них держался очень независимо и солидно, мог совершенно на равных говорить и с директором завода, и с командиром корабля, и с военпредом: с обеих сторон чувствовалось взаимное неподдельное уважение. Короче говоря, именно таким мне представлялся *рабочий класс*, о котором писали корифеи великого учения. Когда какого-нибудь пьяницу слесаря-сантехника именуют рабочим, мне с тех пор это представляется, по меньшей мере, совершенно неуместным.

Единственное, что меня несколько смущало — это то, что мои новые знакомые, как правило, все жили в своих домах, с хорошей обстановкой, с садом и небольшим огородом, одним словом, в достатке. Мне казалось, что это отбрасывает какую-то ненужную тень если не мелкобуржуазности, то некоторого мещанства, на их белые, точнее красные, одежды классического пролетариата.

Но не техника, все-таки, была главным предметом моих забот, а люди, не корабельный, а личный состав. Постепенно приближалась к штатной численность экипажа, естественно, и машинной группы тоже. Число моих подчиненных подходило к семидесяти... Во многом романтические, представления мои о флотской офицерской службе стали быстро меняться. Я сделал сразу несколько неприятных открытий. Очень слабыми оказались старшины, — никакого сравнения с младшими командирами в училище, где они играли, особенно на первых курсах, основополагающую роль во всей повседневной жизни. Там офицер — командир роты — был полубогом. А здесь офицеру — командиру группы — большую часть времени приходилось выполнять обязанности старшины команды и даже командира отделения.

Неудовлетворительной оказалась и вся система комплектования новостроящихся кораблей матросами и старшинами. На них «списывались» люди, от которых по тем или иным причинам хотели избавиться, прежде всего по дисциплинарным, но иногда и политическим мотивам. Идея такого комплектования покоилась на «сознательности» советского человека, по которой с кораблей, находящихся в строю и в кампании, с отработанными организацией службы и экипажами, на новый корабль должны были отправляться лучшие матросы и старшины, чуть ли не отличники боевой и политической подготовки. Но бескорыстная идея не работала и приказы по существу не выполнялись! Они вступили в противоречие с реальными человеческими интересами. Позже я сам стал попадать в подобные положения, когда, скажем, потребовалось послать часть нашего личного состава на крейсер-собрать «Фрунзе»: своя рубашка ближе к телу — и лучших я, конечно, не отдал. Но не списал — по моральным соображениям — и негодяев! А такое искушение было.

Плохим было положение и с мичманами и главстаршинами, вообще со сверхсрочниками. Там где они были бы, на мой взгляд, нужнее всего, — на должностях старшин команд основных боевых частей корабля, — их просто не было. Приходилось на эти должности назначать старшин срочной службы и естественно, перекладывать часть их ответственности на непосредственного начальника — офицера. В основном сверхсрочники были писарями, баталерами, секретчиками и т.п. специалистами без подчиненных. Они могли, оставаясь на сверхсрочную службу, заключать контракт на пять, десять или пятнадцать лет, причем на определенную конкретную должность, то есть их не могли бы назначить на другой флот. Подобных прав выбора у офицеров не было. Попутно замечу, что именно тогда мы с Гелием пришли естественным путем к пониманию градаций тяжести воинской

службы. Самая тяжелая — это когда есть и личный состав и техника. Полегче — когда или только личный состав, или только техника. И, наконец, самая легкая — когда офицер отвечает только за самого себя. Если к последнему добавить возможность каждый день видеть семью (то есть служить на берегу), то такая служба казалась нам пределом возможных желаний.

Совершенно иной была картина с офицерами, — большинство из них было назначено в порядке продвижения по службе или пришли на «Куйбышев» сразу же после училищной скамьи. Все относились открыто доброжелательно друг к другу и я не помню за два года ни одного случая какой-то неприязни, а тем более, конфликта. Что касается офицеров нашей БЧ-V, то взаимоотношения эти иногда заставляли удивляться потрясающей живучести традиций русского флота, описанных еще Станюковичем в его морских рассказах, и мало имевших общего с традициями революционными. Прежде всего это касалось безусловной верности данному слову и некоей, почти неуловимой, аристократичности. Последняя проявлялась от невозможности начальника кричать на подчиненного, до невозможности, скажем, появиться в городе с хозяйственной сумкой или авоськой. Вместо последних должно было быть что-либо приличное — небольшой чемоданчик или саквояж.

Самые младшие — четверо командиров групп — мы были однокурсниками, пятый — командир ремонтной группы Джалал М. — прибыл вскоре вслед за нами. Он был корабелом, на год старше нас по выпуску. Жили мы дружно и весело, часто ходили друг другу в гости. Зоя, Татьяна и Ирина (жена Назима) по-домашнему опекали Джалала и Леву, которые были не женаты. Назим и Джалал — оба азербайджанца, оба из Баку — заметно отличались друг от друга: Назим — импульсивен и горяч, Джалал — всегда невозмутимо спокоен. В те, далекие от нынешних времена, «национальный вопрос» не имел никакого значения, национальность просто придавала несколько своеобразный «колорит» своему владельцу. И только.

Как-то с Джалалом мы разговорились на эту тему:

— Ты знаешь, в каждой культурной азербайджанской семье считается обязательным хорошо говорить по-русски и знать русскую культуру. Для нас — это возможность общения с мировой цивилизацией и культурой. Иначе нельзя. Азербайджан не такая уж большая страна, и азербайджанский язык — не мировой язык, как английский, русский, французский, испанский и китайский — официальные языки Организации объединенных наций.

Затем он добавил, что это практически невыполнимая задача, перевести все литературные источники на азербайджанский.

— Зачем? — добавил он. — Я их читаю по-русски.

Джалал был высок, в меру художав, носил небольшие тщательно ухоженные усы, говорил без акцента, слегка улыбаясь, чувство юмора у него было прирожденным.

Непосредственное начальство — командиры дивизионов — пользовались нашим глубоким уважением, даже почтением я бы сказал. Они имели громадный боевой опыт, особенно Борис Николаевич, во время войны он был командиром БЧ-У эсминца. Николай Иванович Р., командир дивизиона живучести, вскоре был послан в командировку в Италию для приема трофейных кораблей. Забавно было его видеть в шляпе и макинтоше. Впрочем, гражданская одежда выглядела почти как форма — все были одеты почти одинаково! Это была большая команда, в нее попало и несколько наших выпускников, в их числе и Саня Соболев. Ну, а Джалал, тем временем, вполне успешно исполнял обязанности командира дивизиона, иногда напоминая нам, что водит строй на завод только из одолжения нам — как командир дивизиона он мог бы это и не делать!

С командиром БЧ-У Казимиром Алексеевичем мы общались не часто. Он был несколько замкнут и сдержан и почти все дела решал с командирами дивизионов. Основным предметом его забот были техника и документация, отношения с военпредами и, естественно, отстаивание интересов боевой части перед командованием корабля. Необычным было то, что он, капитан II ранга, не являлся членом партии. Это случилось потому, что на флот он пришел в начале войны, сразу после окончания ВУЗа (кажется МВТУ им. Баумана). Впрочем, каждая медаль имеет обе стороны: Казимир Алексеевич на всех политических кампаниях (выборы в Верховный совет, подписка на займ и т.п.) воочию демонстрировал нерушимое единство блока коммунистов и беспартийных.

Большой неожиданностью для меня оказались довольно частые случаи воровства среди матросов. Мое первоначальное представление о них было, естественно, романтическим — в духе Жюль Верна, Роберта Стивенсона, Александра Грина, Константина Станюковича... С другой стороны, матросы представлялись мне прямыми представителями того самого народа, который изначально свят и ради которого все у нас и делается («...за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов»). Поэтому, повторюсь, воровство было для меня удручающе неожиданным.

Денежное довольствие у матросов было совсем незначительным, его едва хватало на карманные расходы при условии, что человек всего раза два за месяц побывает на берегу. А здесь, в казарме, увольнение «на берег» было и более частым и, главное, регулярным. У многих завелись подружки, денег явно не хватало. Стали продавать обмундирование, постельное белье и так далее, а потом, воровать друг у друга. Особенную ценность пред-



ставляли шинели и бушлаты. В конце концов какой-нибудь Иванов, Петров или Сидоров оставался без обмундирования. А дальше в действие вступал приказ о материальной ответственности. Составлялся акт об утрате имущества, в котором как-то объяснялась причина утраты, указывалась стоимость и назывались, точнее назначались, виновные. Сумма утраченного обмундирования с учетом срока носки обычно удерживалась с хозяина, а если его оклада не хватало, то разница покрывалась за счет дежурной службы и его командиров, начиная от командира отделения. Все начальники потерпевшего были виноваты в упущениях по «организации службы».

Борис Николаевич еще вначале предупредил нас с Гелием об этих случаях и даже заметил, что однажды ему самому пришлось платить из собственного кармана. Мы это предупреждение пропустили мимо ушей. И вот настал день, когда сразу несколько шинелей пропало с вешалок в наших группах (они помещались рядом в длинном коридоре).

Воровство, по бедственным последствиям, на корабле можно сравнить разве что с негодным или неудачным командиром — в обоих случаях экипаж теряет боеспособность, люди начинают недоверять друг другу.

Мы с Гелием мало того, что выложили по трети месячной получки, мы еще и чувствовали себя виноватыми... Позднее мы поняли, что подобные удержания были незаконными, так как не мы с Гелием и наши старшины были ответственны за «организацию службы» в казарме. Но я и сейчас думаю, что проще было поступить именно так, а не заводить по каждому случаю длительные дознания, в результате которых виновными оказывались бы всегда старпом или командир или обстоятельства, не зависящие даже от них. В конце концов это привело бы к осложнениям в отношениях между офицерами.

А тогда мы стали назначать дополнительных дневальных, не вводя их в состав суточного наряда. После происшедшего я как-то по-новому посмотрел на своих старшин: примерно так же, как на курсантов младшего курса, когда был в училище командиром отделения. Я стал более *внимательным* и, пожалуй, именно тогда понял полное отсутствие формализма в уставной обязанности каждого командира «изучать личный состав». Оказалось, что не так уж и много людей давно прибыли в Николаев; в увольнение, оказывается, записываются далеко не все, а родственников в городе имеют и совсем немногие. История с шинелями имела закономерное, хотя и довольно неожиданное для меня окончание, но об этом — в следующей главе. А тогда случившееся заставляло все время подгонять события: скорее бы переселиться на корабль!

## В МОРЕ — ДОМА, НА БЕРЕГУ — В ГОСТЯХ



Помни войну!

*Адмирал С.О. Макаров*

Морской офицер должен сочетать привычки джентльмена с умением и навыками простого матроса.

*Адмирал Г. Нельсон*

Интерес к первым страницам газет исчез у меня после войны вместе с исчезновением сводок Совинформбюро. Конечно, я внимательно читал сообщения, постановления и решения партии и правительства, но они появлялись, в общем-то, не часто. Еще более редкими были сообщения ТАСС с ответами тов. Сталина на вопросы (как правило на один вопрос) безымянного корреспондента этого агентства. Обычно же первые страницы были заполнены неотличимыми друг от друга рапортами о выполнении или принятии сообразительств, сообщениями об одобрении трудовыми коллективами «мудрой внешней и внутренней политики нашей партии», письмами труженников заводов и колхозов, а также деятелей науки и искусства, выражавшими свою поддержку подписке на заем, очередному движению, например, за выпуск продукции только высокого качества, или борьбе за мир во всем мире. Эта информация была вполне устоявшейся, менялись только географические названия мест ее отправки. Поэтому любую газету я обычно начинал читать с предпоследней и последней страниц, где помещались международные новости.

Берлинский кризис продолжался... В начале апреля 1949 года двенадцать империалистических государств во главе с Соединенными Штатами Америки подписали Североатлантический договор. Был образован блок НАТО.

Если после окончания второй мировой войны мне казалось, что надо бы строить только совершенно новые корабли, такие, как авианосцы<sup>62</sup> или десантные, то теперь я стал усматривать железную логику в достройке кораблей довоенных проектов: за такой короткий срок даже один авианосец построить было нельзя.

В августе была взорвана наша первая атомная бомба. Сообщение об этом вызвало чуть ли не ликование: как же, и мы мо-

<sup>62</sup> В 1942 г. в Коралловом море впервые флоты (США и Япония) сражались не кораблями, а военно-морской авиацией.

жем! Нас не запугаешь! Я помню, подумал тогда еще, что у американцев атомных бомб пока побольше, и нам надо спешить. Никаких мыслей о безумии этой гонки у меня не было. И дело не в том, что я, если бы даже и захотел, ничего не смог бы изменить. Дело в том, что я считал, что все правильно и по-другому быть не может.

И вот наступает долгожданный день. Два буксира медленно и осторожно отводят «Куйбышев» от заводской стенки. Швартовые испытания закончены. На баке и юте стоит наша — не заводская! — боцманская команда. На мостике начальство: наши командир и старпом, и заводское — главный строитель и ответственный сдатчик. Синее небо безоблачно, солнце слепит бесчисленными зайчиками в Южном Буге. Жарко и весело...

На корабле две команды, — сдаточная заводская, и принимающая, то есть мы, весь штатный личный состав. Крейсер уже несколько дней стоит на рейде, ведутся доделочные работы. Все готовится к переходу в Севастополь, где будут проходить ходовые испытания, сначала заводские, а потом государственные. Корабль преображается. На рыже-красный от сурика корпус, надстройки, башни, мачты и трубы ложится краска дорогого для каждого моряка шарового цвета. Корабль из гадкого утенка превращается в прекрасного лебедя. Теперь это уже боевой корабль, ну, если еще не совсем, то скоро будет, это точно!

Идут свои превращения и у людей, образующих экипаж корабля. В один из этих дней (мы уже стояли на «яме» для размагничивания) ко мне в каюту постучался старший матрос Киселев. Несмотря на серьезность, которую выражал весь вид этого командира отделения, его лицо не могло сдержать радостную и одновременно лукавую улыбку:

— Товарищ лейтенант, можно Вас попросить не заходить сейчас в кубрик?

— ?

— Хотя бы минут десять!

— Что за просьба? Почему?

— Воров нашли!

Отпущенный мною Киселев сразу же убежал, а я стал спеша одевать китель. Подходя к кубрику я услышал возбужденные голоса. Когда я переступил комингс,<sup>63</sup> стало тихо, и я увидел круг из матросов, посредине которого стоял один из них. У кого-то из окружавших его мелькнуло тут же убранный зеркало.

— Что здесь происходит? — спросил я нарочито суровым тоном.

---

<sup>63</sup> Высокий порог на корабле.

Мальцев — его я сразу не заметил — выступил вперед и доложил:

— Нашли воров: Платов и Скворцов, товарищ лейтенант! Они признались. Еще Богуш. Но с ним не успели (он улыбнулся), Вы пришли!..

Как оказалось, первого вора поймал Киселев предшествующей ночью. Ему надо было в четыре утра заступать на вахту, и он проснулся заранее.

— Лежу на боку и думаю: как не хочется вставать! Открыл глаза — и сон как рукой сняло! Смотрю Платов стоит не у своего рундука и достает чужой бушлат, Панькова. А он же ему мал! Я потихоньку вылезаю из койки, и — хватя его за руку. Он испугался и стал шепотом (крутом спят) просить простить его и никому не говорить. Я сказал, что нет. Ну, тут уже появился дневальный и стал будить очередную смену, и я пошел одеваться..

По мере того, как я узнавал подробности, все происшедшее мне больше и больше стало напоминать события, описанные А.С. Макаренко в его «Педагогической поэме»: и там и здесь происходило своеобразное «самоочищение» коллектива. Утром, придя в себя, Платов стал от всего отказываться и сказал, что просто хотел взять чужой бушлат на вахту, так как у своего оторвалась пуговица. Умница Киселев, решив, что дело не только в Платове, а еще и в его сообщниках, стал действовать. Перед обедом, по сигналу «начать приборку» все собрались в кубрике и, заранее условившись, стали в кольцо. Платов очутился таким образом в центре кольца. На прямой вопрос, зачем он воровал, Платов ответил, что он не вор. И тут же получил такую затрепину, что попятился назад. Схватившись, чтобы удержаться на ногах, за стоявших в кольце, он получил вторую затрепину, после чего опять отлетел в сторону. Теперь ему предложили посмотреть в зеркало, после чего дали новую оплеуху. Тут он признался, что украл бушлат. На вопрос, с кем воровал, он сказал, что один. Его опять пустили по кругу и опять дали взглянуть в зеркало. После этого в круге появился Скворцов, здоровый рыжеватый матрос с толстыми губами, а опустивший голову Платов поплелся в дальний угол и опустил на разножку.<sup>64</sup>

Борис Николаевич, когда я ему доложил о случившемся, ответил коротко:

— Молодцы! — и на всякий случай посоветовал побыстрее доложить замполиту:

— Надо докладывать первым. Иначе найдется какой-нибудь дурак и скажет, что была коллективная драка. Тогда доказывай, что ты не верблюд.

---

<sup>64</sup> Складное сидение.

Капитан 2 ранга Журавлев воспринял все происшедшее, на мое удивление, почти равнодушно, лишь спросил, не обращалось ли «это жулье» в лазарет. Потом добавил, что воров обнаружили и в других боевых частях.

Я, естественно, поговорил с Платовым и со Сковрцовым. Воровали они вместе, а Богуш через своих родственников, живших в Николаеве, сбывал краденое. Надо было передавать дело в военный трибунал, но... Платов дослуживал последний пятый год своей службы. После случившегося он обошел всех и у каждого просил прощения. Я разрешил ему просить прощения и перед строем. Он сказал, что никогда в жизни не возьмет ничего чужого и закажет это и детям своим, когда они будут, и внукам. Мы его простили. Да и времени уже не оставалось: со дня на день предстоял выход — первый! — в море, в Севастополь. Платов через короткое время демобилизовался, а Сковрцов и Богуш — они тоже просили прощения — сначала один, а потом другой, были переведены на берег. С ними никто не разговаривал, и они Христом-Богом просили списать их куда угодно. Воровства уже больше не было.

Поскольку мое тогдашнее философское мировоззрение надолго стабилизировалось, события, влиявшие на него, естественно стали более редкими, стала меняться и их природа: они становились всё менее умозрительными и всё более порожденными касанием обыкновенной человеческой жизни краеугольных камней и сверкающих граней Великого Учения. Я был убежден в реальной возможности построения коммунизма и необходимости его защиты от внешних посягательств. Коммунизм я считал целью не столько партийной, сколько народной, общественной, государственной и даже — в смысле календарных сроков — госплановской одновременно. Поэтому все новые положительные явления воспринимались не иначе, как *достижения* социализма, без которого мы были бы обречены на «загнивание». Я был уверен, что свою жизнь можно улучшить только всем вместе, то есть «всем народом». Выделиться на общем фоне и улучшить жизнь так сказать индивидуально, можно, я считал, только путями несправедливыми, проще говоря воровством или обиранием ближнего в самом широком смысле этого слова. Я свято верил в порочность частной собственности, унижающей эксплуатацию человека человеком. У меня не было ни грана сомнения в высшей справедливости нашего социалистического государства, неэксплуататорского по определению. Что же касается насилия, используемого государством против своих граждан, то я понимал и принимал его в академическом смысле, как необходимость

защиты от безнравственного капитализма, представляющего собой противоположную систему.

Удивляться этому не стоит — шел 1949 год, а мне было двадцать три года. Слово *репрессии* публично произнесено еще не было, и их как бы не существовало, поскольку, секретность была всеохватывающей. Тем более, что о «врагах народа» и «вредителях» перестали вспоминать, так как появились военные преступники. Кроме немцев это были «полицаи», бандеровцы, власовцы и им подобные. Это были явные враги и с ними все было ясно. Так же было ясно и с «антипатриотами», «безродными космополитами», «буржуазными националистами», если они «сотрудничали» с американской разведкой. А если не сотрудничали — то «с ними надо разобраться». Если они не агенты международного империализма, — ничего с ними не будет: суд, как и наше государство, справедлив изначально. Какой же дурак будет преследовать невиновных? А у нас, что, дураки? Добавлю, что для меня тогда понятия *социальное* не было, оно было полностью поглощено понятием *политическое*. Не было еще произнесено и слово *кибернетика*. Она еще даже не была обозвана буржуазной лженаукой — ее у нас просто не было, хотя книга Н. Винера с таким названием в 1948 году уже вышла в свет. Не существовало в то время для меня и понятия *сложных систем* применительно к биологическим и социальным явлениям... Поэтому самая обычная наивная вера (в коммунизм и его первую фазу — социализм) представлялась мне несомненным знанием движущих сил истории и справедливого общественного устройства. Короче говоря, я считал, что все мы делаем одно общее благородное дело, в котором аргiori интересы государства стоят выше интересов отдельной личности, так как ей в одиночку не достичь светлое будущее.

Между тем «Куйбышев», успешно закончив ходовые испытания, в конце лета вернулся в Николаев на гарантийный ремонт. И вот, после окончания ремонта мы снова уходим в Севастополь, теперь уже не под красным государственным флагом, а под военноморским. В «столице» черноморского флота нас примут в состав эскадры. Все вроде бы в порядке, но на душе скверно.

Я стою на трамвайной остановке. Только что попрощался с Татьяной. Вечер, льет холодный осенний дождь. Жду трамвай, чтобы ехать на завод, — завтра утром снимаемся с якоря. Становлюсь спиной к ветру — и мой взгляд упирается в освещенные окна большого четырехэтажного дома напротив. Живут же люди! А я оставляю жену жить на частной квартире, чуть ли не из милости, да еще в чужом городе. И в Севастополе ждать хорошего не приходится, с жильем плохо... Впервые я почувство-

вал, как на меня наваливается озлобляющее бессилие: я, оказываюсь, ничего не могу сделать, чтобы у меня был *мой дом*. Я его не могу ни построить, ни купить (откуда у меня деньги!), ни жить в гостинице (мест нет), ни в семейном общежитии или каком-нибудь пансионате (их просто нет)! Я тогда был уверен, мало того, убежден, что *квартирный вопрос* будет разрешен через несколько лет. (Но через несколько лет ничего не изменилось, хотя отменили «квартирные» деньги, позволявшие оплачивать 25—30% от стоимости частного жилья.) А тогда единственным — и очень сильным — утешением было то, что я — не один в таком положении. Я думал, что все дело в недавно окончившейся войне, совершенно не понимая, что квартирный вопрос просто является рычагом государственной политики. В тот вечер, дожидаясь под дождем трамвай, я снова с неодобрением вспомнил М. Фрунзе, гордившегося самыми дешевыми в мире вооруженными силами, не отдавая себе отчета, что у него речь шла о самой дешевой *военной* рабочей силе, которую Лев Николаевич Толстой не мудрствуя лукаво называл пушечным мясом.

А тогда у меня и в мыслях не было хотя бы сопоставить затраты государства на строительство, скажем, кораблей флота с несопоставимо меньшими потребностями в средствах, необходимых для строительства жилья. Словосочетание *военно-промышленный комплекс* еще не появилось на свет. Но и после того, как оно впервые было употреблено Д. Эйзенхауэром, в 1961 году покидавшим пост президента США, должны были пройти более десятка лет, прежде чем я осознал, что ВПК есть и у нас и у него есть собственные интересы. До этого я был убежден, что у нас при плановой экономике сие невозможно, так как государство у нас всенародное. Но я увлекся и забежал далеко вперед.

Отпуск за 1949 год я получил только в декабре, и мы с Татьяной, побывав в Москве и Ленинграде, вернулись в Севастополь, имея несколько дней в запасе. Буквально за день до моего выхода на службу из Ленинграда пришла телеграмма: арестован отец Татьяны. Никаких подробностей не сообщалось. Известие было совершенно неожиданным — всего каких-то две недели назад мы виделись с ним и все было в порядке. Почему-то сразу пришла на ум пословица: «От тюрьмы и сумы никогда не зарекайся». Я подумал, что арест — просто недоразумение и если я съезжу в Ленинград, то чем-нибудь смогу помочь. Кроме того, мне хотелось успокоить Татьяну, она порывалась ехать сама. Мне с трудом удалось убедить ее не делать этого, поскольку она уже ждала ребенка.

Командир корабля, не задавая дополнительных вопросов, решил мне продлить отпуск на неделю. В поезде, лежа на верх-

ней полке, я долго перебирал в уме возможные причины ареста. Никакого сомнения в честности отца Татьяны у меня не было. Участник первой мировой войны, один из первых красных летчиков, а затем командир (то есть офицер), прошедший польскую кампанию 1939 года и советско-финляндскую войну 1940-го, участник блокады Ленинграда 1941—42 годов, человек уже далеко не молодой, он не мог совершить преступление. Непонятно. Наверняка недоразумение, думал я. Где-то на обочинах сознания появлялась изредка мысль о возможных политических мотивах ареста. Но как в свое время в раздумьях о судьбе дяди Фили, я не мог представить себе Татьянина отца каким-нибудь «вредителем» или тем более «врагом народа». Это совершенно не вязалось с «учлётом Гвоздевским», фотографии начала двадцатых годов которого я еще недавно с любопытством перебирал в Ленинграде. На одной из них молодой Семен Гвоздевский, потерпевший аварию при посадке, был запечатлен рядом со своим полуразрушенным бипланом-«этажеркой». По самой сути своей не может он быть преступником: деликатный и добродушный человек, круглолицый, с высоким лбом, чуть вздернутым острым небольшим носом, любитель оперной музыки и поклонник баса Бориса Гмыри. С располагающим обликом очень гармонирует неторопливая и несколько певучая речь, сразу выдающая его украинское происхождение. К сказанному надо добавить очень приятную улыбку и прирожденное чувство мягкого юмора. Одним словом — ничего потенциально вражеского! Правда, его женой была дочь бывшего крупного егорьевского купца Шувалова, но Зоя Николаевна к этому времени уже умерла, да после войны и анкетный вопрос о социальном происхождении заметно потерял актуальность. Так что никакой разумной причины для ареста я придумать не смог.

В Ленинграде я побыстрее отправился на Литейный проспект в «Большой дом» и там в комнате без дневного света стал в очередь к квадратному окошку, проделанному в толстой, судя по глубине проема, стене. Я очень стесненно чувствовал себя в новенькой шинели с блестящими пуговицами и погонами в этой очереди немолодых бедно одетых женщин с застывшими скорбными лицами. Они как-то осуждающе поджимали губы, поглядывая на меня. Но не станешь же объяснять, что у тебя просто нет еще ни штатского пальто ни даже костюма!..

Ничего путного в окошке, куда я просунул голову, узнать не удалось: энкавэдэшник с незапоминающимся, каким-то стертым лицом и голосом без интонаций, сказал только, что обвинение предъявлено по 58-ой статье. На мой вопрос, могу ли я что-нибудь сделать для Гвоздевского, так как я уверен, что он ни в чем не виноват, он устало ответил:



— Ничего.

Он оказался прав, ничего сделать я не смог, но обстоятельства, предшествовавшие аресту, я узнал от его сестры, тети Гали. Семен Моисеевич был начальником транспортного цеха крупного военного завода, одной из служебных его прерогатив было распределение жилья, нужда в котором была исключительно острой. Обычно этим делом занимался «треугольник» — партком, профком и администрация, причем роль последней была, естественно, решающей. Освободилась одна квартира. После скрупулезного рассмотрения списка нуждающихся, в конце концов в нем остались двое, у них и состав семей, и трудовой стаж, и участие в блокаде, и существующие жилищные условия, одним словом, все данные оказались практически одинаковыми. Я уверен, что в этом случае делая выбор, отец Татьяны сделал его в пользу просто более добросовестного и порядочного человека. Результат не заставил себя ждать: через несколько дней его вызвали в особый отдел и предъявили обвинение в ведении антисоветской агитации. Поводом послужило заявление соперника, не получившего квартиру. В доносе говорилось, что начальник цеха Гвоздевский С.М. осуждает политику, проводимую Партией и Правительством под руководством тов. Сталина, в частности неоднократно высказывался, что эстонские хутора нельзя перевозить в одно место и таким образом создавать колхозы...

В те годы личные дела офицеров составлялись в трех экземплярах, один из которых хранился в органах госбезопасности. Этот порядок распространялся и на офицеров, ушедших в запас или в отставку. Так вот, в личном деле С.М. Гвоздевского значилось, что после Февральской революции 1917 года он сочувствовал некоторое время то ли анархистам, то ли защитникам крестьян, то есть эсэрам. Это обстоятельство, хотя никогда ни в какой партии беспартийный Гвоздевский не состоял, послужило весомой добавкой для обвинения его в антисоветской деятельности. Судила его «тройка», суд был закрытым, срок заключения — восемь лет...

Вспоминаю свои впечатления об узнанном: я совершенно не был удивлен приговором. Высказывания насчет колхозов ведь действительно при желании можно посчитать антисоветской агитацией, тем более, что слова были сказаны начальником при подчиненных. Но самое главное, я считал, что отец Татьяны нарушил «правила игры». Разница между собственным мнением и «антисоветской агитацией» очень неопределенна и дает все преимущества недоброжелателю, то есть источнику «сигнала». Поскольку в 1949 году в Ленинграде политические аресты были поч-

ти обыденным делом, я мысленно даже как бы и упрекал отца Татьяны за неосторожность: ведь надо же понимать, с кем имеешь дело! У меня тогда и в мыслях не было осуждать порядки, при которых невозможно высказывать собственное мнение: у нас был враг — лагерь империализма — которому подобные высказывания только на руку. Собственно на этом и основывались «правила игры»: никакой критики, никакого обсуждения, тем более осуждения политики Партии и Правительства и Советской Власти. Только одобрение, прославление и воспевание во имя торжества нашего общественного строя...

Расстроенным возвратился я в Севастополь. Я никак не мог отделаться от появившегося двойственного чувства — косвенной вины и некой ущербности. Вины — потому, что ничего толком не смог сделать; но и еще: мы с Татьяной оказались как бы без вины, но и виноватыми. В этом была неуловимая мимолетность, идущая от образа Павлика Морозова с ее коллизией дореволюционных родителей и послереволюционных детей — новых людей. С ущербностью все было рационально и понятно: графа анкеты «Были ли Вы или Ваши ближайшие родственники...» теперь пустой не будет.

Изрядно промерзнув сначала на Минной пристани, а потом в нашем открытом рейсовом баркасе (зима была редкая для Севастополя — холодная и даже с плавающим льдом в бухте), я, наконец, поднялся по трапу родного крейсера и оказался в обволакивающей теплоте нашей с Гелием каюты. Выслушав мой короткий рассказ, он с сочувственным вздохом заметил:

— Что поделаешь, всякое бывает. Пойдешь начальству докладывать?

— Пойду. Надо троим доложить — Журавлеву, Шиловскому и особняку,<sup>65</sup> — ответил я и пошел по начальству.

Замполит, слушая меня, молчал. На вопрос, нужно ли мне теперь что-нибудь делать, он махнул рукой:

— Напишите краткое дополнение к автобиографии и принесите мне.

После недолгой паузы добавил:

— А дальше — служите, и все тут.

Командир БЧ, пока я докладывал, неспеша достал из портсигара папиросу, закурил, и не дожидаясь моего вопроса о том, что делать, произнес:

— Завтра съемка с якоря в пять утра, идите и занимайтесь своим делом.

---

<sup>65</sup> Особняк (жарг.) — представитель особого отдела.

Особист выслушал меня без видимого интереса, и насчет того, что делать, бодро заметил:

— А ничего. Если что-нибудь будет, я сообщу.

После обхода начальства я почувствовал, впервые за последние дни, облегчение: за всеми словами проглядывало определенное сочувствие и — никакой «морали». Случившееся со мной было делом совершенно обыденным. В дальнейшем я не замечал, чтобы «Дополнение к автобиографии» как-нибудь сказало на прохождении службы. Кроме одного, пожалуй, случая, но о нем — в свое время.

Дел на корабле было невпроворот. После контрольного прохождения мерной мили в режиме самого полного хода и замера диаметра циркуляции последние несколько человек из сдаточной команды покинули крейсер. Началась отработка организации службы — подготовка к сдаче знаменитой задачи № 1 КНК.<sup>66</sup> Знаменитой потому, что это самая объемная и трудная задача — здесь проверяются знания своих обязанностей у каждого матроса, старшины и офицера. Одновременно проверяется вся материальная часть, боевая, повседневная и эксплуатационная документация, а также несение дежурной и вахтенной службы на якоре. Вышестоящий штаб, принимающий задачу (для нас это был штаб эскадры) выступает при этом в роли экзаменационной комиссии, а экипаж корабля — в виде эдаких учеников-первоклашек. На период подготовки на корабле объявляется организационный период, сообщение с берегом прекращается, мало этого, как правило корабль выводится на внешний рейд. Каждый человек должен быть на своем месте, один — за всех, все — за одного. Если хотя бы один какой-нибудь младший кок не знает твердо своей книжки-боевой №, у экипажа целого крейсера могут не принять задачу! Мера личной ответственности выступает совершенно однозначно, корабль становится единым боевым организмом. Для меня, помимо всего прочего, задача № 1 стала на всю жизнь классическим образцом необходимых действий для подготовки любого коллектива, когда перед ним поставлена конкретная цель.

Тогда же я получил и еще один урок для понимания психологии личной ответственности. Оказалось, что истоки ее лежат в разделении окружающего на *мое* и *не мое*. Обходя боевые посты своей группы, я обратил внимание на небольшой участок продольной переборки во втором машинном отделении. Если корпуса главных турбин и вспомогательных механизмов с каждым днем

---

<sup>66</sup> КНК — сокращ. назв. Курса боевой подготовки надводных кораблей ВМФ.

усиливали свои сияние и блеск, то переборка на их фоне выглядела все хуже и хуже. Я спросил у Киселева, заведование которого — огромный циркуляционный насос — находилось рядом:

— Почему переборка в таком виде?

— Это не мое заведование, товарищ лейтенант!

Этот же вопрос я задал другому матросу, чей боевой пост находился тоже рядом с этой переборкой. Ответ оказался очень простым:

— И не мое!

Я взял у обоих книжки-боевой №. Ни у одного переборка не была записана. Виноват я!

Конечно, ошибку я исправил, но усвоил и еще одну истину: значительно проще, как следует все продумав, распределять сначала. Перераспределение всегда сложнее и часто вызывает чувство обиды, по крайней мере у одной из заинтересованных сторон. Раздумывая о происшедшем, я внутренне не был готов признать чувство *собственности* изначальным, хотя для меня было ясно, что в коллизии с заведованиями главным являлось естественное человеческое *моё* и *не моё*: никто не хочет делать чужую работу. Для меня стало аксиомой, что на корабле не может быть ни одной вещи без хозяина; за пределы корабля, само собой разумеется, этот вывод не выходил. Несмотря на очевидный эффект всего лишь временного, по расписанию, обладания заведением, я не мог перекинуть от него мостик к обладанию собственностью, тем более — частной.

Итак, мы готовились сдавать задачу № 1. 24 мая 1950 года дежурный сигнальщик прямо во время обеда передал старпому какой-то семафор. Старпом — он практически перестал давно улыбаться — сурово посмотрел на меня и попросил задержать-ся после обеда в кают-компании. Я подошел.

— В вашем распоряжении мало времени. Из штаба флота пришел семафор; поздравляю, у Вас родилась дочь; берите призовую шляпку и отправьтесь к родному; сейчас я по трансляции вызываю шляпочную команду; к 14<sup>00</sup> вернуться на корабль.

Через несколько минут шестерка уже летела к Артиллерийской бухте, на берегу которой тогда находился роддом. В написанном от руки листочке, приколотом кнопкой к закрытой двери, я прочитал, что вчера у меня родилась дочь. Наскоро написав Татьяне записочку, я почти бегом вернулся к шляпке: времени, чтобы не опоздать, почти не оставалось.

Я никак не мог сначала понять, почему из штаба флота пришел семафор, потом догадался: это устроила наша квартирная хозяйка — она работала в штабе машинисткой. Ее муж мичман-сверхсрочник служил на одном из крейсеров эскадры и мне,

когда я искал жилье, порекомендовали обратиться к нему. Мичман и его жена в разрушенном во время войны доме, от которого остались только стены, на первом этаже собрали квартиру из двух небольших комнат (вода и уборная, естественно, находились во дворе). Эти симпатичные и добрые люди согласились уступить нам с Татьяной одну комнату (метров девяти квадратных), оставив себе другую немногим больших размеров. Вера была старше Татьяны и стала ее даже несколько опекать, ну, а нас с мичманом почти никогда не было на берегу. Дом был расположен очень удобно — на Таможенной улице, что над Минной стенкой: все рядом — все пристани, штаб флота, дом офицеров, Приморский бульвар, единственный драматический театр и единственный кинотеатр. Я был спокоен за жену, когда она находилась в роддоме: Вера ее регулярно посещала и приносила Татьяне зелень и только что появившуюся черешню...

Задачу № 1 мы сдали, и что случалось довольно редко, с первого захода. Поэтому когда Татьяне настал срок вернуться домой, я смог ее встретить и понести мою маленькую дочь — тоже Татьяну — на руках. Когда мы еще не знали, кто родится, мы много спорили, как назвать будущего ребенка. Ни одно мужское или женское имя нас одновременно не устраивало. Наконец мы решили: родится сын, будет Игорь, родится дочь — будет Татьяна! Я был на седьмом небе. Дома нас ждал накрытый хозяевами стол и бутылка шампанского. И, кроме того, я сошел с корабля на целые сутки!

После этого события месяц или даже несколько больше все было хорошо: Танька ела и остальное время спокойно спала, с пеленками тоже больших проблем не было — на солнце они сохли мгновенно. Кстати, *Танька* — это теперь была дочь, а *Татьяна* — жена, впрочем я почти всегда называл ее Ладой, так что путаницы не было. Через некоторое время, естественно, Танька спать стала меньше, но за этот счет стала звонко и громко кричать. Однажды Вера смущенно сказала, что она не высыпается (между комнатами даже двери не было, только одна занавеска) и попросила нас подыскать себе другую квартиру...

Опять начались трудные поиски. Чтобы их как-то ускорить — а мы тогда очень часто бывали «в морях» — я даже стал использовать в личных целях свое служебное положение. Да-да! Если «Куйбышев» возвращался в главную базу (так мы называли Севастополь), а очередь сходить на берег была не моя, я, мысленно разделив город на участки, посылал своих матросов порасспрашивать, не сдастся ли где-нибудь жилье. Так в конце концов удалось найти комнату у Ушаковой балки на Корабельной стороне. Хозяином дома был Котя Блоха. Блоха было его

прозвищем, он хромал и поэтому как бы прыгал, а не шагал. Котя сдавал свой двухкомнатный домишко, а сам жил в сарайчике во дворе, благо лето в Крыму жаркое. В соседней с нами комнате, как войдешь в дом — направо, жили две медицинские сестры из флотского госпиталя. Котя держал их постоянно в страхе и грозил выселить, а когда напивался, то выворачивал пробки и оставлял их без света. Когда он очень напивался, и к тому же меня не было дома, он выворачивал все пробки.

В один из июльских дней, оставив Татьяну дома, чтобы она хоть часок поспала «в спокойе», я, взяв Таньку, спустился к мосткам (причалом это назвать было нельзя) Ушаковой балки. Расстелив одеяльце, я положил Таньку в тень на нагретые солнцем древние камни, под которыми тихонько плескалось море. Танька почти сразу задремала, а я, любуясь панорамой Северной бухты и стоявшим невдалеке «Куйбышевым», стал думать о начавшейся корейской войне.

Еще году в 48-м я пришел к заключению, что вторая мировая война закончилась известным равновесием сил социализма и капитализма: граница между ними рассклала Германию, Корею и Вьетнам. (Судьба Австрии тогда еще не была решена, в ней находились и наши, и американские войска. Я думаю, что проживи Сталин подольше, и ее бы разделили). Наша попытка заполучить Западный Берлин в прошлом году ни к чему не привела. Настала очередь Кореи, подумал я. Газеты сообщали, что южнокорейская армия первой напала на «наших» — Северную Корею. Правда, было как-то не очень понятно, почему южнокорейцы, развязав войну, оказались так плохо к ней подготовленными: всего через три дня армия КНДР заняла Сеул — столицу Южной Кореи. Согласно ленинскому учению о войнах справедливых и несправедливых война со стороны КНДР была изначально справедливой: Южная Корея страна капиталистическая, да ей еще помогают американцы, а в Северной Корее — началось строительство социалистического общества. Мы ей помогаем — и это самый верный признак справедливости: мы помогаем борьбе только за справедливое дело...

Танька начала просыпаться, и, чтобы она не сползла с одеяльца, я стал придерживать ее рукой. И тогда мне в голову впервые пришла мысль, что ничего хорошего нет даже в справедливых войнах: если придется, скажем, нашему крейсеру идти в Корею — допустим такой случай! — Танька может остаться без отца.

Объяснение этой неожиданно появившейся мысли я нашел некоторое время спустя в одной из статей журнала «Польша», начавшего появляться в те годы в киосках «Союзпечати». Статья была посвящена различным периодам человеческой жизни. Там

говорилось, что активный возраст у человека в среднем продолжается до 25 лет. После он уже обзаводится семьей, становится менее свободным и независимым, меняется у него и образ мыслей. Точно! Мне тогда шел двадцать пятый год.

К концу лета нам удалось найти более подходящую комнату, тоже на Корабельной стороне, на площади Геннериха, — названной так в честь героя первой Севастопольской обороны. Комната была вполне приличная и дом был уже нормальным частным домом. Наконец у Таньки появилась своя кровать, до этого ее колыбелью были чемоданы — сначала один поменьше, а потом другой побольше. К нам теперь уже могли заходить даже гости.

Однажды после разбора корабельного учения помощник флагманского инженер-механика словно бы мимоходом спросил у меня, как я отношусь к более самостоятельной работе. Я ответил, что положительно. И вот поздней осенью, когда я стал забывать об этом разговоре, командир корабля вручает мне командировочное предписание, с получением которого я должен убыть в город Николаев к новому месту службы. Приказом командующего флотом я был назначен командиром БЧ-V эскадренного миноносца «Беспокойный».

И снова Николаев, теперь уже хорошо знакомый город. «Беспокойный», в отличие от «Куйбышева», строится на другом заводе — «Заводе имени 61 коммунара».<sup>67</sup> Проект эсминца — опять довоенный, с изменениями, учитывающими военный опыт (проект 30-бис). Прототип и предшественник — эсминец «Огневой» (проект 30), спущенный на воду в Николаеве в предвоенном 1940-м году, достроенный во время войны в Батуми и вошедший в состав Черноморского флота в мае 1945-го. (У этого корабля было прозвище «Дитя завода»). «Тридцатки-бис» начали строить в 1948 году, при этом темпы строительства и количество кораблей были рекордными,<sup>68</sup> ничего подобного в истории отечественного кораблестроения не было. Я упоминаю об этом с единственной целью — чтобы была понятной реальная обстановка тех лет. Ее обычно называли не иначе, как военно-политической.

В связи со сказанным я хочу заметить, что мое индивидуальное сознание не отделялось от общественного, иначе говоря, официального — партийно-государственного. Я еще не пробовал думать самостоятельно, хотя мне и казалось, что я думаю именно так, и что на меня ничто и никто не давит. У моего Я и мысли не было выйти из строя самодостаточного МЫ. Повторюсь, речь идет о целостном восприятии общественной атмосферы того времени.

<sup>67</sup> ПО «Судостроительный завод им. 61-го коммунара» (конец 1992 г.).

<sup>68</sup> За период с 1948 по 1953 год построено 81 единица!

Я не могу взять на себя смелость и говорить от имени какого-то большинства или целого поколения, но мое восприятие окружающего мало чем отличалось от восприятия его моими друзьями, знакомыми, сослуживцами, соседями и просто теми, общение с кем было совсем мимолетным. Если несколько упростить и воспользоваться общеупотребительными тогда словами, а точнее своеобразным унифицированным языком, то окружающее выглядело так:

— впервые в мировой истории мы строим самое справедливое человеческое общество (на основе единственно верного учения — марксизма-ленинизма);

— руководящей и направляющей силой этого строительства является ВКП(б) — партия нового типа, идущая от победы к победе;

— нам исторически повезло: у нас гениальный вождь, величайший полководец всех времен и народов, корифей, отец и учитель, зодчий коммунизма, Генеральный секретарь ЦК партии товарищ Сталин;

— народы мира, все прогрессивное человечество, народы колониальных и зависимых стран, а также простые американцы поддерживают нас в борьбе за мир и светлое будущее всего человечества;

— наш противник — американский империализм — в силу своей исторической ограниченности не может отказаться от частной собственности, от угнетения и грабежа трудящихся, и делает все, чтобы развязать против нас атомную войну;

— мы — исторические оптимисты, мы совершили Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию, победили в Гражданской войне, провели индустриализацию и коллективизацию, одержали невиданную Победу в Великой Отечественной войне, по нашему пути пошли многие народы Европы и Азии, — мы победим и теперь;

— мы против войны, и за мирный переход к социализму, но перед лицом империалистических поджигателей войны мы должны всемерно укреплять нашу армию и флот, стоящие на страже мира и безопасности всего социалистического лагеря, быть в постоянной боевой готовности.

Перечисленное было как бы практической квинтэссенцией марксизма-ленинизма, этого Великого Учения, за знание которого мне всегда ставили хорошие оценки. Оно позволяло воспринимать общую, то есть, конечно, политическую, картину мира цельной и несомненной. Но было еще одно *нечто*, крепчайшим образом нравственно скреплявшее эту целостную картину. Этим *нечто* было неприятие угнетения человека человеком. Разве можно не любить свободу — эту противоположность угнетения! А уг-



нетение — и в этом величайшее достижение коммунистической пропаганды и агитации — было напрямую и уже почти бессознательно связано с понятием частной собственности.

Мне остается добавить, что для осознания происходящего в любом случае необходимы не занятое работой время и независимость. Тогда можно отделить себя от захваченности, увлеченности, сопричастности и зачарованности, и хотя бы попытаться отстраненно взглянуть на то, что происходит. Ни времени, ни независимости у меня не было, я не всегда успевал даже выспаться!

## ПРАВИЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА



...исторический материализм впервые дал оптимистическому мировоззрению научное обоснование.

*(Советский словарь по этике)*

После корабля служба на берегу кажется не просто более легкой, она кажется праздником. Таким праздником для меня стали в Николаеве первые месяц-полтора. Я был предоставлен самому себе и занимался только изучением своего нового корабля — по описаниям и чертежам и «в натуре». «Беспокойный» в натуре изучать было нечего — он был только-только заложен на стапеле, поэтому «натурой» были его предшественники, находившиеся в более высокой степени готовности.

Каждый день, кроме дежурств конечно, я мог быть дома. Это почти как в сказке! У Татьяны был особый дар устроительницы домашнего очага, в этом смысле она абсолютно соответствовала своему имени.<sup>60</sup> В доме появилась приходящая на несколько часов няня и мы, почувствовав свободу, стали вести «светский» образ жизни: ходить в гости, в театр, кино и даже в филармонию, а иногда, с компанией, и в ресторан. Кроме Дома офицеров, популярным был по-южному калоритный ресторан Торгмортранса на главной улице Николаева Радяньской, его в обиходе мы называли «Трансваалем». Именно в тот год я впервые почувствовал, так сказать, родство по духу таких городов, как Севастополь, Одесса и Николаев. Позднее к ним я отнес и Ялту. Права была

<sup>60</sup> Татьяна (греч.) — устроительница, учредительница.

Клавдия Шульженко — ее слава была в зените — когда пела про чудо-города Севастополь и Одессу и про Черное море...

Праздник продолжался недолго: стал прибывать личный состав. Командир «Беспокойного» еще не был назначен и я, инженер-механик, стал на некоторое время командиром корабля. Более того: несколько дней я даже командовал сразу двумя эсминцами: офицеров не хватало. И это — в послевоенное время! Я так до конца постройки «Беспокойного» и не дождался положенного мне в БЧ-V по штату командира электро-технической группы.

Не стану описывать все перипетии превращения «Беспокойного» в боевой корабль, этот процесс походил на тот, что я пережил ранее на «Куйбышеве», правда на этот раз обошлось без воровства. Тем не менее, на одном эпизоде я должен остановиться, позднее будет понятно почему.

В начале лета (1951 года) меня направили на месячную стажировку в Севастополь на однотипный, но уже некоторое время находящийся в строю э/м «Быстрый». Не успел я толком и разместиться на нем, как на следующие сутки к вечеру меня вызвал к себе командир бригады. Стоя вполоборота ко мне и занимаясь каким-то своим делом (по-моему, он собирался на берег), капитан 1 ранга Н. спросил:

— Вы командир БЧ-V «Беспокойного»?

— Так точно!

— Вот что: стажироваться на «Быстром» не будете. На «Боевом» командир БЧ-V ушел в отпуск, перебирайтесь сейчас туда, в пять утра съёмка с якоря.

— Но!..

— Никаких но. Вступайте в фактическое командование боевой частью.

— Я же никого там не знаю. Ни одной фамилии!

— Ничего, доложите командиру корабля, что выполняете мое приказание.

— Вы узурпатор, товарищ капитан первого ранга!

— Узурпатор, — спокойно согласился комбриг.

Я взял под козырек, резко повернулся кругом и, нарочито громко щелкнув каблуками, вышел из каюты. То, что комбриг был не прав, для меня не подлежало сомнению — приказ о стажировке был утвержден комфлотом. Николай Иванович знал это и — тем не менее!.. Я был одновременно и поражен и восхищен изящным цинизмом, с каким все это было сказано. Я почувствовал, как во мне просыпается какой-то холодный азарт, желание выйти — я еще не знал как — достойно из этого неприятного положения. Комбриг был мне симпатичен. Он был худощав, высок ростом, решителен, аристократичен, почти никогда не при-

бегал к мату и обладал оригинальным юмором. Он, например, часто говорил, что старпомов надо регулярно взвешивать: если вес увеличивается — такого старпома надо снимать с должности и наказывать. Он был автором и известного афоризма: «Кто думает о своей карьере, тот не спит в послеобеденный час». И, тем не менее, комбриг, которого я очень уважал, оказался несправедливым. Я был обескуражен: это был тот самый случай — говоря штампом тех лет, — когда форма оказалась не соответствующей содержанию.

Пройдя несколько десятков шагов по Минной стенке, я остановился у трапа «Боевого» и узнав, что командир на корабле, поднялся на эсминец. Представляясь его командиру, я понял, что он решил просто подстраховаться для выхода в море: на корабле находились два штатных офицера БЧ-V, один из которых по уставу обязан был замещать ушедшего в отпуск командира боевой части. А комбригу было все равно. Так я и оказался вместо «Быстрого» на «Боевом». С видимым облегчением встретил меня лейтенант П., когда пару часов спустя, по сигналу «Корабль к бою и походу изготовить», я открыл дверь в ПЭЖ (пост энергетики и живучести): оказалось, что в училище я у него несколько месяцев был командиром отделения!

Все идет своим чередом. Машинно-котельная установка вовремя вводится в действие; испросив разрешения «мостика»<sup>70</sup> на пробные обороты, я прослушиваю главные турбины и докладываю о готовности *вверенной мне* боевой части. Такие же доклады идут от других частей. По боевой тревоге снимаемся с якоря и швартовов и проходим боны главной базы; мы в море. И здесь начинают происходить события, для меня непонятные, но, похоже, не вызывающие удивления у корабельных старожиллов. На мостик приглашаются командиры боевых частей и служб. Старпом кратко разбирает результаты подготовки корабля к выходу в море и цели последующего учения. За каждым замечанием следует выговор или другое взыскание. Они выслушиваются собравшимися потупив головы. После замечания старпома о том, что в кубрике БЧ-V по боевой тревоге были обнаружены несколько спящих матросов, командир корабля объявляет мне 10 суток ареста. Тут уж я не выдерживаю: демонстративно пожав плечами и не сказав «Есть!», ухожу с мостика. На следующий день я получаю еще 10 суток ареста, когда пытаюсь защитить действия матроса-электрика, переключившего во время торпедной атаки часть возросшей нагрузки с одного турбогенератора на другой. Переключение вызвало на мгновение бросок стрелок

---

<sup>70</sup> Главный командный пункт (ГКП) корабля.

на приборах управления и, конечно, было неприятно командир, нервно командовавшего атакой. Но матрос-то действовал, как в бою! После этого наказания у меня среди офицеров появились если и не приятели, то уж, во всяком случае, сочувствующие. Через день я получил еще 10 суток!..

На несколько часов «Боевой» неожиданно возвращается в базу и снова выходит в море. Перед съемкой с якоря мне пришлось осушить трюм в одном из котельных отделений. У борта появляется большое радужное маслянистое пятно. Очень неприятно! Этого можно было бы вполне избежать, предупреди меня командир о возможном заходе в базу заранее. Проходя по палубе и глядя на злосчастное пятно он замечает:

— Если меня накажут, имейте в виду, я вас тоже накажу, только сильнее!

Через неделю я, естественно, знал всех офицеров и большинство сверхсрочников. «Моя» БЧ-V не представлялась мне уже безликой и бесфамильной. Как раз с тех дней началась моя дружба с Иваном Фирсовым, тогдашним штурманом этого эсминца. Всему в конце концов приходит срок: однажды мы ложимся на курс, ведущий к главной базе. Предстоит разбор учений, и на всех кораблях, побывавших в походе, должно появиться большое начальство. Словно сговорившись, несколько офицеров просят меня выступить. Суть дела: на корабле какая-то гнетущая обстановка. Командир, недавно бывший советником в Болгарии, неопытен и самоуверен. Ускользающий порядок он стремится удержать исключительно взысканиями. От него не услышишь ни одного доброго слова. Безлик и неудачен также и его заместитель по политчасти. И как вывод из всего:

— Ты человек посторонний, выступи, тебе больше поверят. У нас уже несколько раз пробовали, только хуже стало...

Я ответил, что подумаю. Жажда справедливости у меня искала выхода! Я знал, что нужно делать и знал силу, могущую быстро разрешить этот, в общем-то довольно тривиальный конфликт. Эта сила тогда называлась парторганизацией или политорганом (отделом или, скажем, управлением), а проще говоря, партией. Просто партией, потому что никаких других партий кроме коммунистической не было и в обозримом будущем не предвиделось.

На партсобрании, посвященном итогам похода, проходившем в кают-компании, за общим столом разместились офицеры, полжив на зеленую суконную скатерть рабочие тетради. За отдельным столиком заняли свои места начальство: вице-адмирал (член военного совета флота), командир корабля, и его замполит.

Разбор начался с доклада командира... Подождав, пока не наступил подходящий, по моему мнению, момент, я попросил слова:

— За десять с лишним лет службы, считая спецшколу, училище и крейсер «Куйбышев», я не имел ни одного взыскания. За десять суток пребывания на «Боевом» я получил тридцать суток ареста. Количество взысканий у любого другого офицера на корабле значительно больше!

Выдержав после этого небольшую паузу, я коротко изложил остальное. Эффект оказался потрясающим, мне даже сейчас неловко писать о нем. Сразу после собрания адмирал взял меня под руку и заставил прогуляться с ним минут пятнадцать по палубе. Полноватый и жизнерадостный, он в основном задавал вопросы и добродушно при этом часто похихатывал. Наконец, сказав: «Ничего, моряк, все будет в порядке!» он отпустил меня.

На следующее утро командир «Боевого» объявил, что с меня сняты все взыскания. Многие взыскания были сняты и с других офицеров, а через пару дней — я не поверил своим ушам! — замполит на очередном совещании произнес:

— В своем выступлении на разборе товарищ Шабалин правильно нас критиковал. Нам надо устранять свои недостатки!

Так с легким сердцем и убежденностью в правоте партийного дела я закончил стажировку и попрощался со ставшим почти родным «Боевым».

Я так подробно остановился на стажировке и своих переживаниях, связанных с нею, намеренно. Мало кто сейчас понимает реальную и многообразную роль, которую тогда играла партия. Основной ролью, естественно была роль политическая, обеспечивающая единство всех общественных устремлений к идеалам коммунизма. Именно *знание* этих идеалов, как я считал научно обоснованных, и дает право партии на руководство всей страной. Это, так сказать, вообще. Если же вспомнить повестки дня партийных собраний, то можно отметить следующее. Даже тогда, когда они явным образом были связаны с одобрением (почти ритуальным) постановлений съездов или других центральных партийных инстанций, на этих собраниях всегда обсуждались конкретные текущие дела. Другими словами, партийные собрания были частью системы управления — своеобразным дополнением и альтернативой, — почти демократической, — управлению с помощью приказа. Конечно, критика была, как правило, косвенной, а демократизм дозированным, но в данном случае они, как-никак, все же имели место. Политработников часто называли не только комиссарами, но, без всякого осуждения, и попами. Это легко объяснимо, так как своеобразной восприимчивой части церковных prerogatives оказалась именно партия. Речь идет не о

доктринальных вопросах, а, так сказать, о прикладной морали, где за партией закреплялась роль третейского судьи и охранителя морального облика своих рядовых членов. Скажем, если партиец решил развестись, а его жена настаивает на сохранении брака и обращается в парторганизацию, то возникает «персональное дело», грозящее партийным взысканием. Последнее обязательно скажется на служебной карьере. Так, к примеру, очередное воинское звание не могло быть присвоено, если есть партийное взыскание. Роль третейского судьи очень четко проявлялась при распределении жилья, которого всегда не хватало. Этим распределением занимались специальные жилищные комиссии при политотделах...

Без всяких комментариев мне хочется здесь рассказать о Лёне С. Он был одним из молодых лейтенантов, не вступившим в партию в училище, и после выпуска оставшимся комсомольцем. Назначен он был на Краснознаменную Балтику и сразу же занялся на трофейном немецком тральщике боевым тралением. Лёня был женат и у него уже появилась двойня близнецов — мальчик и девочка. В свое время, вступая в комсомол и на военную службу, Лёня скрыл, что его отец в 1937 году был расстрелян как враг народа. И вот на флоте Лёня искупает свой грех: подавая заявление о приеме в партию, он и в автобиографии и в пространной анкете пишет правду. Никто его не заставлял делать это, как и вообще становиться членом партии. Поступая подобным образом Лёня рисковал быть изгнанным с флота, что называется, с волчьим билетом. И, тем не менее, он написал! Партия, как Высшая Инстанция (я не могу в данном случае ее называть иначе!), принимает покаяние и не отвергает вчерашнего грешника. Она наказывает Лёню сурово, но справедливо: его списывают с корабля на берег и с Балтики переводят на ТОФ. Но в партию — принимает!

Но пора вернуться на «Беспокойный». Пока я был на стажировке, он был спущен на воду. Я очень жалел, что пропустил это событие, и чтобы как-то утешиться, специально выбрал время посмотреть, как со стапеля сходил следующий за нами, четырнадцатый по счету, «Безбоязненный». Церемония спуска корабля на воду впечатляет. Дело не в бутылке шампанского, которую разбивает о форштевень самая красивая на заводе женщина. Главное наступает после этого. По команде, мгновенно, выбиваются стопорные клинья, и громадный корпус почти готового корабля, вздрогнув как живой, начинает все быстрее скользить по наклонной дорожке стапеля, кормой вперед, к открытой воде. Фейерверк брызг — и под всеобщее «ура!», теряя инерцию, эсминец останавливается, лениво покачиваясь на плаву. Праздник ума и рук человеческих!

Ощущение если не праздничности, то, уж во всяком случае, правильности жизни и общественного строя, у меня тогда было. Эту правильность — в широком смысле слова — подтверждало возвращение из опалы Н.Г. Кузнецова: летом того года он занял должность Военно-Морского министра. Зло было исправлено и правда, как в сказке, торжествовала. Теперь можно было уже мрачно не шутить, что на эскадронный миноносец армейский сапог поставляет подковы и овес. Что же касается узкого смысла правильности бытия, правильности близкой и повседневной, то о ней лучше всего сказать типовым словосочетанием тех лет: морально-политическая обстановка на Э/М «Беспокойный» была здоровой. Не то, что на «Боевом».

Василий Иванович Быков, капитан 3-го ранга, был природным командиром и моряком-романтиком в русской, так сказать, ипостаси этих понятий. Умный с хитрецей, с открытым живым лицом, он часто улыбался и так же часто хмурился, как бы подыгрывая самому себе, дополняя классический образ отца-командира оттенком эдакого мужичка-простачка. Он мог несколько нарочито даже пошуметь, распекая матроса или офицера за упущение по службе, но при этом никогда не задевая достоинства подчиненного. Если упущение или проступок были значительными, он добавлял в сердцах:

— Не наказываю только потому, что меня не наказывали.

Хорошо зная военно-морскую историю, Василий Иванович мог напамять прочитать положения из Петровского устава или его указов, а также при случае вспомнить Ланского, Орлова и других фаворитов Екатерины II. У него определенно была педагогическая жилка: Василий Иванович любил афористические сентенции. Если на совещание кто-нибудь из офицеров приходил без рабочей тетради, он обычно замечал:

— Каждый офицер в любое время должен иметь при себе ..., машинку и записную книжку! — и отправлял провинившегося за оной.

Наставляя интенданта или других получателей необходимого имущества на берегу, он требовал безусловного его получения несмотря на категорический, казалось бы, отказ по телефону:

— Ничто не может заменить личного общения, даже телефонный разговор!

Команда любила своего командира и на «Беспокойном» не было случая, чтобы матрос при виде идущего навстречу ему командира перебежал с одного борта на другой. Конечно, Василий Иванович был требовательным начальником, но известный либерализм у него все-таки можно было обнаружить: повседневную тужурку он носил только с американскими полуботинками. Уставом это прямо не запрещалось, но принципиальные блюстители строево-

го порядка не позволяли себе эдакой вольности. Остается добавить, что Василий Иванович Быков был Героем Советского Союза. Это звание, будучи старшим лейтенантом, он получил в 1944 году на Северном флоте, когда на своем торпедном катере вырвавшись вперед и поставив длинную дымовую завесу буквально под носом у немецкого конвоя, он обеспечил его разгром при практическом отсутствии потерь с нашей стороны. Успел побывать он и в Америке, где по ленд-лизу получал корабли для нашего флота. Иногда он рассказывал, как на одном из приемов видел там А.Ф. Керенского. При этом он не осуждал Александра Федоровича. По тем временам это было почти крамолой.

Заместитель командира по политчасти во многом был противоположен Василию Ивановичу. Георгий Петрович Осин, капитан-лейтенант, был нетороплив, обстоятелен и, я бы сказал, менее словоохотлив. Он был хорошо образован в отличие от многих политработников того времени. На флот Георгий Петрович был призван с последнего курса ВУЗа в связи с войной, но, тем не менее, к своему делу относился очень серьезно и с сибирской основательностью. Помимо текущей работы с личным составом, он увлеченно комплектовал корабельную библиотеку, добывая, где это возможно, классику и редкие книги. Вообще, он любил искусство и был своеобразным меценатом. Специально для того, чтобы подобрать нужных кораблю людей, Георгий Петрович пропадал в Учебном отряде, отыскивая молодые таланты. Для этого он использовал учетные данные матросов по их гражданской профессии. Так однажды на «Беспокойном» появился матрос Радюхин, до этого только что кончивший тогдашнее Ленинградское художественное училище (быв. Штиглица). Через пару месяцев *наглядная агитация* на корабле стала эталонной и к нам по этому поводу стали постоянно приходиться целые экскурсии. Георгий Петрович был очень ровен в обращении со всеми и, будучи человеком самостоятельным, сумел найти золотую середину по разделению обязанностей с командиром в отношениях с личным составом. Коллизий в их взаимоотношениях на мой взгляд не было, а через некоторое время они с Василием Ивановичем просто стали друзьями.

Старпом был несколько менее колоритен, чем командир и замполит, но безусловно человеком был глубоко порядочным и достойным. Мы чуточку посмеивались над ним за известную склонность к нравоучениям, которые продолжались излишне долго по мнению провинившихся. Если разговор происходил в каюте старпома, то для усиления воспитательного воздействия, он мог вызывать вестового и предположить собеседнику стакан чая, продолжая, между тем, свои наставления.



Я не буду перечислять других корабельных офицеров, скажу только еще о моем коллеге Саше Матвееве, командире БЧ-II. Он тоже пришел с крейсера и мы, если считали, что командир не прав, объединяли свои усилия. Делалось это со ссылками на лучшую организацию службы на больших кораблях по сравнению с малыми. Мы, мол, знаем, что и как. В корабельной иерархии командиры артиллерийской<sup>71</sup> и электромеханической боевых частей на эсминце занимают вполне определенное место: у них, в отличие от других БЧ есть подчиненные офицеры и, кроме того, по числу личного состава они вместе составляют процентов семьдесят всего экипажа. На надводных кораблях существует некоторый антагонизм между так называемой «верхней командой» (БЧ-II относится к ней) и «нижней командой» (это, конечно, БЧ-V). Последние считают, и не без некоторого основания, что «верхним» легче живется. Этот антагонизм иногда персонифицируется в отношениях между командирами обеих БЧ. Мы с Сашей решили, что у нас этого не будет: нечего нас разделять, чтобы кому-то властвовать.

За долгую офицерскую службу я пережил несколько общественных подъемов и спадов в отношении к «товарищеским ужинам». Инициатором и дирижером этих кампаний, причем в государственных масштабах, естественно, выступала партия, ЦК которой принимал соответствующие постановления, либо укрепляющие связь партии с народом, либо антиалкогольного толка. В одни времена «товарищеские ужины» разрешались, в другие — строго-настрого запрещались. В последнем случае приходили в ресторан или Дом офицеров в штатском, а уж если было совсем строго — собирались у кого-нибудь дома. В период, о котором я рассказываю, — разрешалось. Выслуга лет в лейтенантском звании тогда была три года. Незадолго до нашего ухода в Севастополь пошла полоса приказов о присвоении «очередного воинского звания старший лейтенант» моим однокашникам. Я — тоже стал старшим лейтенантом. Эти события полагалось отмечать прилюдно. Процедура состояла в следующем: звездочка для погона опускалась в бокал, фужер или, в крайнем случае, в тонкий стакан с коньяком или водкой. Надо было осушить его не поперхнувшись, после чего к виновнику уже следовало обращаться по его новому званию. Естественно, были и другие поводы для ужинов. После окончания швартовых испытаний мы собрались в «Трансваале» с некоторыми военпредами и офицерами николаевского ОВСК. Собственно, мне это мероприятие запомнилось потому, что в конкурсе на лучшую танцевальную пару мы с Тать-

---

<sup>71</sup> Позднее ракетно-артиллерийской.

яной завоевали первый приз. Им оказался живой петух, отправленный сразу же на кухню и через четверть часа украсивший наш столик. Как правило, все застольные мероприятия хорошо организовывались и имели свою мягкую программу, ну, а если кто-нибудь перебирал, то его друзья, наделенные дополнительными обязанностями на этот вечер, брали его под белы ручки и заставляли привести себя в порядок. На следующее утро виноватый был вполне в форме. Все это я написал потому, что для меня словосочетание *офицерская семья* имеет реальный образ, далеко выходящий за пределы понимания семьи как супружеской пары. Одним словом, когда «Беспокойный» выходил на ходовые испытания в Севастополь, он уже имел слаженный и боеспособный экипаж. Это и понятно, во всякой жесткой иерархической структуре тон задается ее верхним уровнем. У нас он был очень хорош, как тогда говорили, по своим деловым и морально-политическим качествам. Позднее ближе узнали друг друга и с искренним участием относились друг к другу очаровательная Полина Быкова, несколько застенчивая и по-комсомольски непосредственная Евдокия Осина, решительная Тамара Матвеева и аристократическая по-советски Римма Октябрьская. Но, как и на корабле, при этом никогда не переходились невидимые границы иерархии. Надо сказать, что это, вообще говоря, не мешало.

Скоре после прихода в Севастополь, незадолго до окончания ходовых испытаний, у меня, наконец, появился второй командир группы. Им оказался старший инженер-лейтенант Сытин. Достаточно было посмотреть на Алексея Васильевича, как в сознании сразу же появлялось: «Вот он, русский интеллигент!» С первых дней стало ясно, что хорошая, *домашняя*, воспитанность у него счастливо сочетается с отличным знанием своего дела, полнейшей ответственностью и, вдобавок, он обладает прирожденным чувством мягкого юмора. Это выяснилось вскоре, когда он заметил, что несмотря на то, что он говорит: «Есть!» и «Так точно!», он не в состоянии за тот вечер, когда он остается за меня на корабле, выполнить все мои распоряжения. Для этого и дня мало! Я рассмеялся и подумал, что он прав. С тех пор, сходя на берег, я напоминал только о делах, которые невозможно было отложить. Мы быстро подружились. И дело тут не в том, что мы оба родились в Москве и окончили одно училище. Была какая-то внутренняя симпатия. Когда оказывалась не наша очередь сходить на берег, мы после вечернего чая оставались в кают-компании пофилософствовать. Леша хорошо играл на пианино и Бетховенская «Лунная соната» с тех пор обязательно возвращает меня к тем, теперь это можно сказать определенно, счастливым временам. Все-таки «Лунная соната» на боевом корабле — это

потрясающе! Изреченное Лешей: «Прекрасное должно быть чутьчку грустным», было для меня откровением созвучности...

Как-то после одного из трофейных фильмов, который мы смотрели на верхней палубе, и где в неаполитанских песнях, исполнявшихся, кажется, Яном Кипурой, часто звучало слово *амиго*,<sup>72</sup> мы решили использовать его для обращения друг к другу.

...После подъема военно-морского флага и последовавшей затем отработки задачи № 1, нам предстоял контрольный выход в море. Задачу должен был принимать комбриг, в бригаду которого вошел «Беспокойный». Мы были полны энергии и стремления получить только самую высокую оценку. На корабле все сверкало от киля до клотика, и каждый, говоря знаменитыми словами адмирала Нельсона, был готов выполнить свой долг. Но комбриг был хмур и замкнут. Несмотря на отличное выполнение экипажем всех упражнений и вводных, выражение его лица не менялось. Такими же неприветливыми, если не сказать кислыми, были лица и флагманских специалистов. Мы терялись в догадках и не могли понять, почему так происходит. Едва «Беспокойный» классически, благодаря командиру, маневровщикам и боцманской команде, ошвартовался, как комбриг, выдавив из себя: «Задача принята», тут же покинул корабль... Позднее мы выяснили, в чем же было дело. Эта история может быть причислена к морским анекдотам: кто-то донес заму комбрига по политчасти, что якобы на мостике «Беспокойного» установлен магнитофон (он тогда был редкостью) и все, что говорит начальство, вплоть до мата, записывается на пленку. Комбриг эту чушь воспринял всерьез. Нас довольно долго держали в черном теле, чаще других, по нашему мнению, посылая в море и заставляя дежурить по «боевому ядру». Во всяком случае, начальство у нас на корабле почти не появлялось. Однако, позднее все, конечно, встало на свое место, и репутация «Беспокойного» в глазах командования была восстановлена. У нас стали часто появляться — особенно летом — не только разного рода инспекции и проверяющие из Москвы, но и корреспонденты, журналисты и просто интересные люди. Глубокое впечатление на меня произвел инженер-капитан 1 ранга Журавлев, один из разработчиков машинно котельной установки «тридцатки-бис» (за эту разработку он стал лауреатом Сталинской премии). Этот веселый и общительный человек очень многому научил меня. Скажу только, что в следующем году БЧ-V «Беспокойного» была признана лучшей и приказом комфлота я был награжден ценным подарком. Бывал на корабле и знакомый Василия Ивановича еще по военному времени фотокорреспондент

---

<sup>72</sup> Друг (ит.).

«Советского флота»<sup>73</sup> Веринчук, фотографии которого, я уверен, украшают семейные альбомы многих бывших членов экипажа корабля. Запомнился мне и молодой Тимур Гайдар, прошедший пару суток на «Беспокойном». Мы с ним подолгу обсуждали флотские проблемы и он агитировал меня поступить на факультет журналистики Военно-Политической Академии, который недавно окончил. Он был очень искренним человеком — и в заботах о флоте и в своих, как и у меня, убеждениях о достижимом светлом будущем, сначала для нас, а затем и для всего человечества.

На этом я останавлиюсь. Все, с кем я общался и к кому испытывал немотивированное расположение, воспринимали окружающее и происходящее в основном так же, как и я, то есть были убеждены в их неизбежной *правильности*. Если согласиться с тем, что в человеческой жизни самыми важными являются семья, убеждения, работа и дом, то ощущение правильности течения жизни легко объяснить: все перечисленное у меня было, за исключением, разве что, дома. Но и тут была надежда на непременно получение государственного жилья. Добавлю еще, что монополия государства на информацию не оставляла сомнений в закономерности происходящих событий и их соответствия предначертаниям классиков — Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.



## НАЧАЛО ПЕРЕМЕН

Он управлял теченьем мыслей  
И только потому — страной.

Б. Пастернак

Политика не знает конечных решений.

(Услышанная фраза)

Секретность — это очень точный индикатор состояния общества. Максимум она достигает в военное время. После Победы ее уровень несколько понизился, а затем секретность вновь стала крепчать. Супостат, повторюсь, был назван — им был американский империализм. В один из осенних дней 1952 года «Беспокойный» потерял свое имя: блестящие, из морской латуни, бук-

---

<sup>73</sup> У ВМФ тогда была своя газета — «Советский флот», «Красная звезда» была чисто армейской газетой.

вы, составлявшие дорогое каждому члену экипажа слово, были срублены с его бортов. Василий Иванович с тоской, которая была написана на его лице, наблюдал эту операцию, а когда исчезла последняя буква, ушел в каюту и несколько часов не показывался на палубе. Не радовался даже матрос из боцманской команды, которому надо было драить эти буквы после каждого возвращения с моря. Теперь название «Беспокойный» можно было прочесть только в секретной переписке, на борту же появилось двухзначное число, менявшееся время от времени. Оно стало нашим бортовым номером. У Георгия Петровича была идея создать гимн для «Беспокойного», он с Лешей Сыгиным говорил о музыке, а со мной о тексте. Теперь это как-то потеряло смысл...

Приблизительно в это же время появилась работа Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Ее значение было не меньшим, чем Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Эта работа относилась уже к «базису» и как бы завершала начатую с верхних этажей «надстройки» идеологическую конструкцию, законодательно и научно (я не беру это слово в кавычки!) гарантирующую переход нашего общества к коммунизму. Эта сталинская конструкция шла от философии, литературы, кино, музыки и репертуара театров, через биологию, генетику, полезащитные лесонасаждения, травополе, почвообразование и повышение надоев, через постоянный примат производства средств производства и укрепление обороноспособности, через великие стройки коммунизма, через языкознание, наконец, — к экономике; к экономике, которая после взятия власти пролетариатом, приобретает преимущественное перед политикой значение. Вся эта грандиозная конструкция служила двукратной цели: во-первых, воспитанию нового человека, который строит коммунизм и будет жить при нем, и, во-вторых, созданию коммунистической материально-производственной базы.

Естественно, что «Экономические проблемы» сразу же стали изучаться в системе марксистско-ленинской подготовки офицеров и, соответственно, на политзанятиях с матросами и старшинами. В этой работе в очередной раз указывалось на бесперспективность для социализма товарно-денежных отношений и на неизбежность замены их — по мере продвижения к коммунизму — продуктообменом. Говорилось и об ограниченности действия закона стоимости и о его преобразованности в условиях социализма. Как военный человек, я был весьма далек от насущных экономических проблем, но не они, пожалуй, представляли главную силу сталинской брошюры. Она была полна уверенности не то что в возможности, а в неизбежности и в недалеких сроках построения в СССР коммунизма в соответствии со знаме-

нитым принципом «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Эта неизбежность превращения из утопии — через науку — в действительность ежедневно демонстрировалась всеми средствами пропаганды и агитации — печатью, радио и кино. «Великие стройки коммунизма» были не метафорой, а имели вполне конкретные адреса: Волго-Донской судоходный канал, Каховская ГЭС, Сталинградская ГЭС, Главный Туркменский канал, Куйбышевская ГЭС...

Одним словом, строительство коммунизма было обеспечено, и притом своими силами. В этом смысле мне представляется классическим примером судьба кибернетики, появившейся не у нас<sup>74</sup> и потому изначально обреченной быть «буржуазной лженаукой». Корифей даже не упоминал о ней, ее рвали менее великие ученые.

Построение коммунизма я не считал утопией, тем более, что оно приняло даже некие формальные рамки в виде научно обоснованных норм потребления необходимых продовольственных и промышленных продуктов в расчете на одного человека. Начнем с этого, — думал я, — а там будем приближаться к обществу неограниченных возможностей, к этой фата-моргане, о которой мы с Вилькой грезили в детстве. После войны уверенность в возможностях техники, избавляющей человека от тяжелого физического труда, была полной, особенно после взрывов атомных бомб. Что касается воспитания нового человека Коммунистического Завтра, то и тут у меня серьезных сомнений, пожалуй, не было. Мои рассуждения сводились примерно к следующему: не только я один служу любимому делу, таких — миллионы, следовательно и они, как и я, работают без принуждения, в том числе экономического. Таким образом все дело сводится — считал я, — к удовлетворенности своим трудом, который становится первой жизненной потребностью. Об этом писал и Сталин, утверждая, что при коммунизме человек не должен быть на всю жизнь прикован к одной профессии. Отсюда было легко перекинуть мостик к отмене товарно-денежных отношений: нужно подсчитать трудозатраты на каждый вид деятельности, взяв за базу простой неквалифицированный труд и переходные коэффициенты. Коэффициент, скажем, для таланта будет большим, а для гения — очень большим. Всё точно подсчитывается, всё справедливо, и все довольны! Но здесь вдруг мой внутренний голос, давно молчавший, напомнил мне одну мысль В. Шишкова из его «Угрюм-реки» о том, что человеку для счастья может, в одном случае, вполне хватить корки хлеба, а в другом — не хватит и всех богатств Сибири. Да... Была еще одна мысль: магазины превра-

---

<sup>74</sup> Книга Н. Винера, выпущенная в США в 1948 г. была переведена на русский язык только в 1958 г.!

тятся в баталерки,<sup>75</sup> где не всегда есть нужное обмундирование, когда срок носки вышел, а если и есть, то нет подходящего размера. Но эту мысль я не стал додумывать.

В этом же году в октябре состоялся XIX съезд партии. Его давно ждали — последний съезд был тринадцать с лишним лет назад, еще до войны. Ждали потому, что съезды — это было известно по истории партии и по истории СССР — всегда имели всемирно-историческое значение и были событиями, определявшими судьбы страны. А для меня это был еще и первый съезд, который я воспринимал будучи уже членом партии. Я ожидал от него чего-то грандиозного, каких-то эпохальных решений, которые, естественно, будут сформулированы в докладе вождя. Ничего подобного не произошло, мои ожидания не оправдались. Свою речь, а не доклад, Сталин произнес только к концу съезда. Она была непривычно короткой и являлась ответом на приветствия. То, что наша партия — это «Ударная бригада» мирового революционного и рабочего движения, новостью не было, утверждение же его о том, что нам надо поднять «выброшенное за борт» буржуазией знамя демократических свобод, мне было не совсем понятным. Если свобода — это осознанная необходимость, то какое «знамя» нам надо еще поднимать, когда мы реально идем к коммунизму?

В новый партийный устав, принятый на съезде, включался раздел «Парторганизации в Советской Армии, Военно-Морских Силах и на транспорте». Это было понятным: обстановка требовала. Съезд переименовал ВКП(б) в *Коммунистическую* Партию Советского Союза (КПСС). Факт переименования для меня лишний раз служил подтверждением реальности и вполне обозримой по срокам неотвратимости наступления коммунизма. Практическим резюме съезда, используя фразеологию того времени, было: наша страна, а вместе с ней и весь лагерь мира, демократии и социализма, что называется, прочно встали на рельсы поступательного движения к коммунизму — светлому будущему всего прогрессивного человечества. Если же короче — вперед к победе коммунизма! Этот лозунг неоднократно с того времени стал использоваться всеми средствами массовой агитации, даже почтовыми марками. Одновременно с этим съезд, на котором в основном говорили об успехах в восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства, как бы гарантировал стабильность этого процесса.

Действительно, мощь Государства представлялась колоссальной — мы могли полноправно делать два дела сразу: вести борьбу

---

<sup>75</sup> Баталерка — помещение на корабле, где хранится вещевое имущество.

на грани войны с империализмом и одновременно строить коммунизм. Общество выглядело абсолютно сплоченным, народ и партия были едины, экономика процветала (цены каждую весну немного снижались<sup>76</sup>), идеалы были прочерчены блестяще и четко. По радио звучала в основном классическая или народная музыка (в большинстве своем русская), чтение газет можно было вполне ограничить одной «Правдой», секретность стала всеобщей и надежной, все зарубежные станции, вещавшие на СССР, глушились.

Когда я вспоминаю общественное благополучие и светлые идеалы тех лет, у меня в ушах звучат два голоса: Ю. Левитана, с мужественным пафосом говорящего о новостях и наших успехах, и М. Александровича, своим ангельским пением уносившего душу к вершинам почти неземной мечты. Предположить обычному человеку, что в лагерных застенках мучаются свыше пяти миллионов без вины виноватых людей, было немыслимо. Брежневские годы «застоя», которые наступят много позднее, покажутся мне стремительно бегущими по сравнению с годами железной стабильности, предшествовавшими смерти Сталина.

«Беспокойный» добросовестно нес службу или, как тогда это называлось, занимался боевой и политической подготовкой. Мы почти все время были «в морях», сдавали самые сложные задачи КНК — артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, торпедные стрельбы, постановку мин, глубинное бомбометание и многое другое, причем на режимах полных и самых полных ходов. По многу суток мы находились на дежурстве по «боевому ядру» — эсминец был в постоянной боевой готовности. Но если это дежурство продолжалось и после прихода в базу, мы часто — я понимаю — и несправедливо упрекали нашего командира за отсутствие заботы о личном составе: «Кораблей много, а дежурить некому!» На берег сходить запрещалось. На это Василий Иванович произносил не улыбаясь:

«О воин, службою живущий,  
Читай устав на сон грядущий!»

Впрочем, мы и сами понимали, что командир тоже хочет побывать дома, и что не поставишь ведь на боевое дежурство трофейные итальянские или румынские эсминцы — разные там «Легкие» и «Ловкие» или наши старые — вроде «Железнякова» или даже дитя завода «Огневого»... Я уверен, что и флот и армия подвержены действию некоего имманентного им закона, который гласит: «Кораблей (или людей) много, а дежурить некому!» Позднее я пришел к выводу, что этот закон распространяет свое действие и на другие иерархические системы.

<sup>76</sup> Подписка на займы возобновлялась также ежегодно.



Остается добавить, что в море были свои прелести — например, особое чувство отрешенности от суеты или ни с чем не сравнимый морской воздух. Он был прохладен и чист и на его фоне особенно контрастно чувствовался тонкий и теплый аромат трав и деревьев, доносимый иногда береговым бризом. Но случались на корабле и другие «земные» радости, правда редко, лишь когда мы находились в отдельном плавании. Как-то мы встретили рыболовецкий сейнер, и Василий Иванович разрешил нашему интенданту обменять надоевшую всем крупу и вермишель на только-что выловленную рыбаками камбалу. Обед получился на славу, лучше ресторанного!..

Заканчивался год 1952-й и наступал 1953-й.

В начале января в «Правде» вдруг появилось сообщение о «врачах-вредителях». Первым моим впечатлением было, что Сталин решил добратся до медицины и привнести в нее марксизм-ленинизм, как это недавно им было сделано с языкознанием и экономикой. Затем пришла мысль, что дело не только в этом — видимо обстановка требует повышения бдительности (аналогично секретности). Тем более, что живой пример демонстрировала врач Л. Тимащук, награжденная вскоре орденом Ленина за разоблачение «убийц в белых халатах». И только позднее, когда о деле арестованных врачей стали говорить вовсю, пришла мысль о том, что в их списке почти одни еврейские фамилии. Впрочем только мысль, так как все эти события никак не сказывались на «Беспокойном»: не было никаких партсобраний или других мероприятий по этому поводу. Правда, Георгий Петрович, кажется, провел раз политинформацию в этой связи, но главная идея была — повышение бдительности, и только.

Среди офицеров «Беспокойного» было три еврея — командиры БЧ-I (штурман), БЧ-IV (связист) и начальник службы И (интендант). Это обстоятельство, естественно, никак и ни на чем не отражалось. В свое время, после образования в 1948 году Израильского государства, провозглашенного Организацией Объединенных Наций, у меня возникала мысль о том, что у советских евреев как-то меняется их невидимый юридический статус — они становятся вроде советских немцев, финнов, турок и других людей, имеющих второе — историческое — отечество. Но, с другой стороны, оставалась, как и была, Еврейская автономная область. Поскольку решение об образовании Израиля было принято только после получения «добро»<sup>77</sup> от Советского Союза, а точнее, от Сталина, коллизия снималась, и «еврейский вопрос», как и раньше, меня больше не интересовал.

---

<sup>77</sup> «Добро» — название буквенного флага Д русского военно-морского свода сигналов; означает: «Да», «Согласен», «Разрешаю».

Первое сообщение о болезни Сталина неожиданно заставило меня подумать о нем как о смертном человеке, поскольку он уже давно перестал быть таковым, превратившись в символ и государственный атрибут. Возникло чувство, что если он умрет, неизбежно начнутся перемены.

Известие о смерти было воспринято, как и положено, с серьезной и несколько торжественной грустью. По команде с флагмана на кораблях сразу же были приспущены флаги. Не сговариваясь, молча собрались в кают-компанию; когда вошел Георгий Петрович, все обратили внимание на его покрасневшие веки, похоже, он с трудом сдерживал слезы. Василий Иванович предложил всем разойтись по кубрикам и некоторое время побыть с матросами...<sup>78</sup> Траур продолжался трое суток, — и три утра подряд кормовые флаги поднимались только до половины фрагштоков. Такого мне, за свою длинную службу, видеть больше не приходилось.

Момент похорон по всей стране должен был быть отмечен звуковыми сигналами. Я несколько волновался за наш паровой гудок (заведование БЧ-V), так как ни разу после государственных испытаний им не пользовались — случаев плохой видимости не было; но все оказалось в порядке, бас нашего «Беспокойного» влился в тревожный хор корабельных гудков, заполнивших пространство над Севастопольской бухтой. Вечером, когда по улице Ленина я шел домой, мне навстречу попался пьяный капитан-лейтенант в расстегнутой шинели. Такое в Севастополе трудно было даже себе представить! Нетвердо шагая, он что-то бормотал про себя, а потом вдруг хрипло закричал:

— Бей жидов, спасай Россию!

Из последующих выкриков можно было понять, что он с Севера. Мне стало и смешно и неприятно: про этот «лозунг» я читал только в школьных книжках, а тут — на тебе! — орет живой человек, да еще офицер. Некоторым утешением, правда, было то, что он с Северного флота, на нашем королевском<sup>79</sup> такое невозможно. Даже после смерти Сталина.

---

<sup>78</sup> Сам я известие о смерти Сталина встретил вполне спокойно. Чувствовалось, что переживания Георгия Петровича несомненно искренны, но я не понимал и не разделял их. Я видел *живого* Сталина и воспринимал его еще с курсантских лет как своего начальника — Верховного Главнокомандующего, которому я был подчинен. Ничего божественного в нем для меня не было. Сталин как живой человек и как символ в моем сознании не сливались. Коммунистическая идея и ее носитель, то есть генсек, для меня изначально были раздельны.

<sup>79</sup> «Королевским» Черноморский флот называли за климат, более строгие порядки и близость к главкомам.

Перемены начались сразу же: Военное и Военно-Морское министерства в ряду неотложных мер «по укреплению коллективного руководства страной» были преобразованы в единое Министерство Обороны. Аналогичные преобразования, начавшиеся с перестановок в Президиуме ЦК КПСС, коснулись и ряда других министерств. Лейтмотивом официозных публикаций газет и радиопередач было: гений умершего вождя заменит коллективная мудрость ЦК. Насчет коллективного руководства я тогда ехидно подумал, что, похоже, оправдывается поговорка «числом поболее, ценою подешевше»: один Сталин заменяется тремя, а то и больше, соратниками — на похоронах с мавзолея речь держали Маленков, Молотов и Берия. Первый стал председателем Совета Министров, а двое других — его первыми замами. На трибуне рядом с ними был и Хрущев, который «сосредоточил свою деятельность на работе в Центральном Комитете». Меня, помню, поразила фотография траурного митинга в «Правде» — на Мавзолее Ленина уже были впечатлены гранитные слова «Ленин Сталин». Как быстро — технически — это было сделано! Будто всегда так и было.

Перемены тем временем набирали силу. Ранее немыслимое вдруг оказалось возможным: не прошло и месяца, как последовало сообщение об освобождении «врачей-убийц» — их дело оказалось фальсификацией, началась реабилитация невинно пострадавших — живых и мертвых. Гролом среди ясного неба было возвращение имен Тухачевского, Вознесенского, Постышева, Блюхера, Бубнова и других «врагов народа», которые были героями в годы моего детства. «Ленинградское дело» тоже оказалось липой. Тут я впервые подумал, что отец Татьяны был арестован для «подкрепления статистики» этого дела и возможно скоро будет освобожден. Восстанавливалась автономия балкарцев, калмыков, чеченцев, ингушей, хотя неясно было, когда и за что они ее лишались, но ни слова не было сказано об автономных республиках немцев Поволжья и татар Крыма. Тем не менее, раскрепощенность стала чувствоваться все больше и больше. Газета «Известия», бывшая бледной тенью «Правды», вдруг стала самостоятельной и интересной, вместо классики и неаполитанских песен по радио зазвучала танцевальная и джазовая музыка; мелодия «Цветущего мая» Полонского стала для меня своеобразным символом 1953 года.

Еретическая мысль о «коллективности руководства» поколебалась в начале июля, когда был арестован Берия, и исчезла через два месяца совсем: Хрущев стал Первым секретарем ЦК. Мысль ушла, но осталось убеждение, что период сталинского «абсолютного государства» уже больше не вернется — начался

новый период, который я для себя назвал вначале периодом коллективного руководства, а потом — руководящей роли партии. «Период партократии или номенклатуры» звучит, конечно, лучше, но таких словосочетаний тогда еще не было, как и не было у меня понимания того, что руководит не партия, а президиум ЦК, проще говоря, политбюро.

А события в том году происходили знаменательные, они как бы давали намет на то, что случится намного позднее. Но кто мог понять это? В середине июня в Берлине, Магдебурге, Йене и других городах ГДР прошли массовые выступления населения против существовавшего режима и, тем самым, антисоветские. В их подавлении участвовали наши танки. Сообщение об этих событиях было очень скудным, назывался только Берлин. «Зачинщики» — рабочие сталелитейного завода — объявлялись агентами американского империализма и реваншистами. Это выступление (если не восстание), в котором участвовало около полумиллиона человек, было «первым звонком» для послевоенной, казавшейся несокрушимой и вечной, мировой социалистической системы.

После смерти Сталина появился анекдот: в Грузии при отправлении поезда Тбилиси — Москва стали объявлять, что поезд отправляется... в Советский Союз! Ходили также слухи о каких-то волнениях, то ли в связи с прекращением строительства памятника Берию, то ли в связи с введением налога на мандарины, но, во всяком случае, поезда из Грузии в Москву часто прибывали с разбитыми стеклами. Здесь мне хочется упомянуть об одном эпизоде, связанным с нашим «Беспокойным» и с боевой готовностью. Кажется, в конце лета наш эсминец, в одиночестве, стоял у Минной стенки в планово-предупредительном ремонте. Готовность к съёмке с якоря — одни сутки. Неожиданно поступает приказание срочно выйти в море. Василий Иванович торопит: «Быстрее, быстрее, в следующий ППР dokonчим!» Снимаемся с якоря не через сутки, а через несколько часов, и идем к Поти. Перед постановкой на якорь — боевая тревога. С рейда открывается великолепный вид на город, Поти как на ладони. Якорь отдан, готовность № 2. Снаряды у зенитных автоматов и универсальных орудий — в кранцах первых выстрелов. Главный калибр развернут на город. Так и стоим в готовности № 2 (а не 3!) более суток. Затем так же неожиданно, как и пришли, уходим в Севастополь. Чем не «внутрисоюзная» дипломатия не канонерок, а эсминцев? Но этот вопрос у меня возник позднее, а тогда — стекла в поездах вскоре бить перестали.

Очередным и несомненным подтверждением мощи нашего самого первого в мире социалистического государства, успешно

строящего коммунизм, был испытательный взрыв первой водородной бомбы. 20 августа об этом сообщили все газеты, особо подчеркивая, что мы опередили американцев.

С приходом на политическую авансцену Н.С. Хрущева меняться стало очень многое, образно говоря, после суровой сталинской зимы наступила, хотя еще и не весна, но — оттепель. Сейчас, — я имею в виду конец 90-х годов, — имя Хрущева связывается прежде всего с разоблачением сталинских злодеяний, для меня же в политике, провозглашенной Хрущевым, самым удивительным было другое: его заявление, что «больше не существует фатальной неизбежности мировых войн». Это *отсутствие фатальной неизбежности* требовало определенного изменения взгляда на происходящее. Одной из моих детских «данностей» была уверенность в неизбежности Мировой Революции, поскольку, наша эпоха — это эпоха ленинизма, то есть «*эпоха войн и революций*». Это было усвоено настолько глубоко, что уверенность в победе коммунизма «в мировом масштабе» мною не мыслилась иначе, как военная победа. Пресловутый мировой империализм — так я считал — добровольно своих позиций не уступит, даже если социализм в результате второй мировой войны и стал мировой системой, а капиталистическое окружение перестало, в виде расхожего понятия, существовать. Рост наших сил увеличивал шансы на мирную победу коммунизма — как, например, было в Чехословакии в 1948 году, — но принципиально, без опоры на силу, я считал такую победу мало вероятной.

Названная *ленинской* политика мирного сосуществования двух противоположных систем также вызывала известное сомнение, поскольку отдавала соглашательством и оппортунизмом. Партия большевиков, — я это выучил, если не сказать зазубрил, — всегда добивалась успеха именно в силу беззаветной преданности чистоте идеи и идеалов. Поэтому нельзя такую политику называть ленинской, ведь именно Ленин в борьбе за власть не знал компромисса ни с меньшевиками, ни с эсерами, не говоря уже о прямых врагах — царизме или капитализме. Один отказ от уплаты царских долгов России чего стоил! В этом смысле сталинская, то есть дохрущевская, политика для меня была *ленинской*, а сам Сталин, несмотря на его культ, отмеченный еще Лионом Фейхтвангером, явлением, по своей сути, вторичным. Сталинизма при жизни Сталина не было, был ленинизм. Тогда я не понимал, что Хрущев повторил гениальный ход Сталина, оставив Ленина как икону. В конце концов я успокоил себя тем, что посчитал произошедшие изменения в деле борьбы за коммунистическое будущее всего человечества тактическими, а не стратегическими. Возвращение же «к ленинским нормам партийной жизни» стало вос-

приниматься после разоблачения злодеяний вождя как несомненное благо. Надо отдать Хрущеву должное: титул вождя он себе не позволил, хотя и называл себя «Коммунистом № 1».

В начале лета прошел слух, вскоре подтвердившийся, что в Николаеве приостановлено строительство тяжелого крейсера «Сталинград» (проект 82). Корабль был почти готов к спуску<sup>80</sup> — закончен корпус, установлены главные турбины и большинство вспомогательных механизмов, практически полностью укомплектован экипаж во главе с капитаном 1 ранга Петровым. Он до этого командовал легким крейсером «Молотов». На нем Петров принимал в 1947 году Сталина во время короткой прогулки-перехода последнего вдоль Кавказского побережья. Это событие послужило основой для почти лубочной картины, копии которой можно было увидеть почти в каждом кубрике и кают-компании: Сталин с проникновенным взглядом, устремленном вдаль и ввысь, с трубкой в руке, стоит на юте;<sup>81</sup> вокруг него свита, соблюдая дистанцию; ближе всех — Косыгин. Мне до сих пор непонятно, почему генералиссимус не поднимался на мостик, точнее — на ГКП крейсера. После смерти Сталина судьбу «Сталинграда» разделили однотипные крейсера, строившиеся в Ленинграде и Молотовске.

Какой-то злой рок в XX веке преследовал, да и преследует сейчас, строительство Русского флота. На самом деле: спущенные на воду в начале Первой мировой войны линейные крейсера «Измаил», «Кинбурн», «Бородино» и «Наварин» так и не были достроены. Строительство последних трех было приостановлено Временным правительством, а «Измаила» — он был головным и находился в 70-процентной готовности — уже большевикам. Перед Второй мировой войной, в 1939 году, были заложены линкоры типа «Советский Союз» (пр. 23) и тяжелые крейсера типа «Кронштадт» (пр. 69), — они так и не были спущены на воду. Аналогичная история происходит со строительством в 1953-м. В 1991 году ситуация повторяется: остаются недостроенными авианосцы «Варяг» и «Ульяновск»... Аукнется в стране, откликнется на флоте.

Корабли, как и люди, имеют свою судьбу. Я знал, что у нашего «Беспокойного» был предшественник, тоже эскадренный миноносец, с таким же именем, только по дореволюционной орфографии он писался «Безпокойный». Он был спущен на воду в 1913 году в Николаеве как и наш, но я никогда не мог предположить, что увижу живого человека с него — в тот период своей жизни

<sup>80</sup> Спуск на воду был запланирован на 7 ноября 1953 г.

<sup>81</sup> Ют — кормовая часть корабля.

я пребывал в спокойной уверенности: случаются только высоковероятностные события. Этим человеком оказался отец Анатолия. Рымарчука, нашего командира БЧ-III. Георгий Петрович сразу же решил использовать представившийся случай на пользу делу — с Василием Ивановичем они пригласили Рымарчука-старшего на корабельный праздник, годовщину подъема военно-морского флага. Рымарчук, бывший минный машинист с «Безпокойного», немного стеснясь, выступил перед личным составом, выстроенным на верхней палубе. Основная его мысль была такой: служить надо всегда исправно, флот есть флот.

— Мы служили как следует, и вам надо служить хорошо, — так он закончил свое отеческое наставление.

Слушая его, я мысленно отметил, что до войны такое выступление было бы невозможным, так как «Безпокойный» в 1920 году ушел с белым Черноморским флотом в Константинополь, а затем в Бизерту. Традиции, взятые во время войны на вооружение Сталиным оказались хорошим оружием. Ответить на многие вопросы старый матрос не мог: он был ранен и списан с корабля еще до 1917 года. Позднее я узнал, что у «Безпокойного» есть своеобразный памятник — мраморная доска, установленная в Бизерте в память русских кораблей, пришедших туда в 1920 году; там среди тридцати шести названий числится и его имя. Андреевский флаг на нем был спущен, как и на других кораблях русской эскадры, в октябре 1924 года после признания Францией Советского Союза. Таким образом, я служил уже на втором «Беспокойном» под советским военно-морским флагом. В 1992 году на третьем «Беспокойном», построенном на Балтийском заводе, поднят опять Андреевский флаг. Может быть в самом деле, происходят события не самые вероятные?..

Какой-то аллюзией к сказанному, хотя и неполной, конечно, был в начале бархатной севастопольской осени 1953 года концерт А. Вертинского. Выступал он на открытой уютной площадке Дома офицеров, — рядом и чуть выше Минной стенки. Достаточно немолодой, он выглядел абсолютно артистичным, и публика, знавшая его только по пластинкам, до 1943 года к тому же и запрещенным, приняла его очень тепло. А когда был исполнен «Бразильский крейсер» — разразился шквал восторга. Мы с Татьяной не спускали с него глаз и отхлопали все свои ладошки — было заметно, как он неподдельно взволнован. Я был уверен, что он переживает не мысленно, а как-то сверхчувственно, свой звездный час долгого возвращения к лику любимой Родины. Яркие огни ramпы почему-то никак не мешали ярким звездам на теплом южном небе... Позднее я узнал слова Д.Д. Шоста-

ковича о Вертинском: «Ты думаешь, я или Шебакин самые музыкальные люди? Самый музыкальный человек в России Вертинский».

Между тем обстановка на флоте, или лучше сказать общая атмосфера, менялась медленно — главным для нас, как и всегда, была *полная боевая готовность*. Всего один эпизод. Как-то «Беспокойный», находясь в отдельном плавании, встал на якорь недалеко от Кавказского побережья. Заканчивался обед, и тут неожиданно зазвенел сигнал боевой тревоги. Не учебно-боевой, а именно боевой. Почти сразу же в кают-компанию заглянул командир:

— Поторапливайтесь!

Я в это время уже выходил и почти столкнулся с Василием Ивановичем:

— Зачем во время обеда-то? Ведь только что учение провели.

Командир непривычно пожал плечами:

— Я здесь не причем. Приняли «воздух» фактический, — и добавил без свойственного ему юмора, — неужели война?

Моей первой мыслью было: как же там в Севастополе Татьяна с Танькой? Она же в обычное время волнуется, а тут и знать не будет, где я... Затем сразу же пришло привычное — немедленно запустить резервный дизельгенератор и экстренно готовить машины. С облегчением подумал что один из главных котлов работает, а второй — еще горячий. На ходу успел услышать, как командир БЧ-II приказывал подавать боезапас — к орудиям. К счастью, вскоре последовал сигнал отбоя. Оказалось, что радио было то ли отдано, то ли принято ошибочно.

Со своим «Беспокойным» я распрощался в октябре 1953 года, пойдя, как у нас говорили, на повышение — я был назначен дивизионным инженер-механиком, то есть становился штабным офицером (это про них я до этого говорил: нача-а-альство!) Корабельный состав соединения представляли поступавшие один за другими из Николаева вполне современные (послевоенный проект) сторожевые корабли, первым из которых был «Горностай».

Если очень кратко — и неизбежно упрощенно — сформулировать мое отношение к происходившему, то можно сказать следующее. Я был готов к войне; может быть и без особой охоты, но с явным осознанием необходимости выполнения своего долга. Кроме того, я был убежден, что наш советский образ жизни (так стали говорить) достоин и защиты и распространения.

В житейском смысле 1953 год для меня был удачным: я впервые получил государственное жилье (комнату в трехкомнатной квартире) и, также впервые, отпуск не в самом конце года, а летом!



## ОТДЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ



Дьявол скрывается в деталях.

Поговорка

Меняются времена, меняются и флаги. И это не метафора, а очевидное проявление перемен, которые идут сами по себе, независимо даже от воли вождя. Перемены подспудно начались еще после войны, при Сталине. Взять тот же сепаратизм. Стремление к суверенизации было очень заметным, оно только называлось по-другому: предательством, национализмом, буржуазным конечно, (это у НАС), сепаратизмом, национально-освободительным движением и исторически-закономерным крахом империй (у НИХ). В нашем абсолютном государстве, казалось, есть и абсолютные средства борьбы с этим предательством и идеей интернационализма — от исключения из партии конкретных руководителей, до высылки, то есть ссылки, целых народов, правда, не очень многочисленных. Я помню, как ходило что-то вроде анекдота о том, что Сталин хотел выселить всех украинцев, которых недолюбливал, да потом махнул рукой, — уж очень много их было.

До войны флаги всех союзных республик были одноцветно-красными, но вот в ноябре 1949 году у Украины — у первой! — появляется новый флаг с лазуревой третьей нижней части красного полотнища. Второй оказался в этом ряду Грузия, она в апреле 1951 года получает голубую горизонтальную полосу и такого же цвета солнце на свой красный флаг... Последней оказалась РСФСР: своего флага с вертикальной синей полосой у древка она удостоилась только 9 января 1954 года. Позднее появилось решение Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из Российской Федерации в состав УССР. Особого значения этому тогда никто не придавал: СССР был вечным и нерушимым, а передача воспринималась, по крайней мере мною и теми, кого я знал, просто с точки зрения удобства административного управления — Киев поближе. Но что-то меня все-таки кольнуло. Я подумал о недопустимости одним росчерком пера решать такие вопросы. Если после I мировой войны проводились плебисциты, скажем, в Сааре и Верхней Силезии, то в случае с Крымом — сам Бог велел. У меня не было сомнения, что «все как

один» одобряют эту передачу, но для порядка провести плебисцит надо бы, и дело даже здесь не в Верховном Совете во главе с Ворошиловым — он тоже «все как один» — а в Хрущеве. Если для действий Сталина я мысленно всегда старался подыскать положительные объяснения, то это был, пожалуй, первый случай, когда мне ни для Хрущева, ни для Ворошилова делать подобного не захотелось. Кроме того, я впервые почувствовал, что в данной ситуации я не на стороне СССР, а на стороне РСФСР. Считать сказанное началом какого-то прозрения, — ни в коем случае! Я по-прежнему был убежден не только в правильности исторического материализма, но и в познании нами самой сути истории. Промелькнула, правда, еще смутная мысль о том, что Хрущев кого-то хотел задобрить и преподнести, пусть и формальный (так я считал), но подарок к 300-летию воссоединения Украины с Россией, помпезно отмечавшийся в том, 1954-м году.

Мысли о том, что партия не может управлять каким-нибудь политическим процессом, я не допускал. Замечу, что политическими считались все процессы — социальные, национальные, военные, государственные и, само собой, экономические («политика — это концентрированная экономика»). Понятия, что за *незнание надо платить*, у меня не было, как не было и мысли о том, что у диктатора, вождя или «Коммуниста № 1» всегда есть возможность платить *чужими* судьбами, а у «массы» — *расплачиваться своими*. Эта мысль в голову мне не приходила. Так что за свою строптивость Украина первой получила не только флаг от Сталина, но еще и Крым от Хрущева... Несколько нарушая хронологический ход событий, просто упомяну, что позднее, летом 1957 года украинские товарищи в критические дни работы пленума ЦК обеспечили триумф Хрущева, осудив «антипартийную деятельность Молотова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова».

Существенных изменений в моей морской службе при переходе в штаб плавающего соединения не произошло, не произошло таких изменений и в моем мировосприятии, оно менялось очень медленно. Если его определять из сегодня, то есть из времени, когда я пишу эти строчки (1993 г.), то его следует назвать мировоззрением энтузиаста и умеренного революционного романтика, а сам же я считал себя тогда просто реально мыслящим человеком, убежденным строителем коммунизма и еще — даже несколько критически мыслящей личностью. Тем не менее, и мировосприятие и мировоззрение менялись, причем первое чуть активнее, потихоньку подталкивая второе. Происходило это все как бы случайно, под влиянием отдельных событий, неожиданно запоминающихся и накапливаемых памятью.

Вот о таких событиях, точнее о части их пойдет речь и далее.

С букваря в меня вошла вера к печатному слову. Если напечатаны «А» или «Б», то это взаправду есть и А и Б, и если такими буквами — из азбуки — напечатано какое-нибудь слово, то это слово всегда есть правильное слово. Как и составленное из слов предложение, когда оно напечатано, всегда изначально правдиво. В 1955 году вышел, впервые после войны, хорошо изданный, в твердом переплете, иллюстрированный каталог почтовых марок СССР. Открываю его, и с удивлением обнаруживаю, что пропали две серии марок, одна, выпущенная в ноябре 1943 года, посвященная Тегеранской конференции глав трех союзных держав, и другая — увидевшая свет в июне 1944-го — ко дню Объединенных Наций. На этих марках в символическом единстве были представлены флаги СССР, США и Англии, причем на марках первой серии был помещен еще и лозунг «Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза!» с указанием его автора — И.В. Сталина. Понятно, что с началом холодной (а по мне, так III-ей мировой) войны, после борьбы с космополитизмом и преклонением перед иностранщиной эти марки стали как бы не ко двору, но не дать им даже порядковых номеров — вроде бы их и совсем не было — показалось мне чистейшей глупостью: вот ведь они лежат в моем альбоме, их же можно посмотреть! А в то же время официальное издание о них не упоминает, значит, их вроде бы и нет, да и не было. Это неприятное удивление послужило для меня началом мыслей о том, что так можно поступить с любым фактом или событием и, более того, что так уже и делалось, и не где-нибудь, а в официальных изданиях...

Несравнимо более серьезным было то, что случилось в Севастополе 29 октября 1955 года. Выполнив в море все мероприятия по плану боевой подготовки, рано утром наш дивизион СКР<sup>82</sup> около двух часов простоял на внешнем рейде — нам не давали добро на вход в главную базу. Причина оказалась ясной только тогда, когда миновав боновое заграждение мы вошли в бухту. Моим первым впечатлением было: у Павловского мыска, почти там, где начинается Южная бухта, рядом с постоянным местом стоянки линкора «Новороссийск», находится какая-то очень крупная подводная лодка. Приглядевшись внимательнее, я обнаружил, что у нее нет рубки, а переведя взгляд к корме, с удивлением увидел очень большое перо вертикального руля и лопасти двух громадных гребных винтов, которые почему-то более, чем на половину диаметра возвышались над водой. «Лодку» облепило несколько кораблей БО,<sup>83</sup> спасателей и буксиров. Все это быс-

---

<sup>82</sup> СКР — сторожевой корабль.

<sup>83</sup> БО, «большой охотник», противолодочный корабль.

тро проплыло перед глазами как в дурном сне, — мы быстро шли к Нефтяной пристани. Чтобы узнать, что же происходило, я поднялся на мостик. Вахтенный офицер каким-то не своим голосом произнес:

— «Новороссийск» перевернулся.

Все молчали. Через некоторое время начальник штаба приказал:

— Принимайте полный запас топлива. И побыстрее, сразу опять выйдем в море.

Пока принимали мазут, стали известны некоторые подробности. «Новороссийск» вчера выходил в море на артиллерийские стрельбы, к 18 часам вернулся в базу и встал на якорь и бочку напротив Госпитальной пристани. В 1 час 30 мин. ночи в носовой части корабля произошел взрыв, в 4 часа 15 мин. линкор перевернулся вверх килем, есть много жертв.

Я сразу подумал о знакомых офицерах, прежде всего об одноклассниках Юре Городецком — командире дивизиона живучести — и Ефиме Матусевиче — командире электро-технического дивизиона. Живы ли? Этот же вопрос относился к судьбе моего соседа по квартире — мачмана Гриши Давыдова — старшине одной из трюмных команд «Новороссийска». Ответов пока не было...

Быстро закончив прием топлива, наши сторожевики вскоре заняли положенные места в походном порядке, сопровождая крейсер, взявший курс на Ялту. Там на его борт поднялись министр судостроительной промышленности и еще несколько официальных лиц. Сразу же вернулись в Севастополь.

Я не буду описывать трагедию случившегося, она, после тридцати с лишним лет умолчания, в мае 1988 года стала достоянием гласности,<sup>84</sup> тем не менее, я хочу кое-что добавить. Начну с секретности, сопровождавшей эту катастрофу. Объясняется она достаточно просто, стоит только вспомнить общественную атмосферу того времени. Это время не было мирным временем. Гибель линкора для нас означала военную потерю, о которой ничего сообщать не следовало. Конечно, линкор не иголка, потерю его не утаишь, но засекретить — положено. Такова была логика того, по существу военного, времени.

Я до сих пор нахожусь в убеждении, что «Новороссийск» можно было спасти, не вмешайся в действия его экипажа вышестоящее начальство, особенно назначенный тем летом исполнять обязанности командующего Черноморским флотом вице-адмирал В.А. Пархоменко. Катера и баркасы стали подходить к линкору

---

<sup>84</sup> Очерк «Взрыв», Н. Черкашин, «Правда», 14 мая 1988 г.

вскоре после взрыва. Кто только не поднимался на его палубу! Были все — и строевое начальство, начиная от Пархоменко и кончая начальником штаба эскадры, бывшим нашим комбригом Н.И. Никольским; и политработники всех уровней; и флагманские специалисты; и начальники различных управлений флота... Но! Распоряжались почти все, а в командование кораблем не вступил никто. Мало этого, старпом, оставшийся фактическим командиром линкора (штатный командир был в отпуске) и обязанный командовать поврежденным «Новороссийском», оказавшись в постыдной роли мальчика на побегушках, так как Пархоменко ко всему прочему оставался на верхней палубе на юте, так и не решившись подняться на ГКП линкора.

В этом «коллективном руководстве», конечно, были и светлые головы. Опытными офицерами, людьми долга и чести были начальник Технического управления флота и флагманский инженер-механик дивизии крейсеров капитаны I ранга В.М. Иванов и С.Г. Бабенко. Это они вместе с Юрой Городецким и Ефимом Матусевичем находились на командном пункте БЧ-V и были заняты фактической борьбой за спасение корабля, а не имитацией ее на верхней палубе.

Обстановка на корабле докладывалась комфлоту постоянно, в частности о том, что слабые итальянские водонепроницаемые переборки выходят из строя одна за другой и все время увеличивается свободная поверхность воды на броневой и других нижних палубах линкора. О наступающем предельном крене корабля Виктор Михайлович вынужден был лично доложить комфлоту. Уже потерявший контроль за своими действиями и растерявшийся вице-адмирал обругал матом каперанга и начал кричать на матросов, обвиняя несуществующих «паникеров и трусов» во всех грехах и грозя им расстрелом. Между тем сам-то он уже находился на верхней площадке наружного трапа, что и спасло ему жизнь. А Юра, Ефим и вместе с ними Виктор Михайлович погибли, как и еще 627 человек, до конца выполнив свой воинский долг. С.Г. Бабенко чудом уцелел, выплыв из-под опрокинувшегося корабля.

Жив оказался и мой сосед Гриша Давыдов, правда по счастливой случайности, — его как народного заседателя на несколько дней откомандировали для работы в суде на берегу. С раннего утра он участвовал уже в спасательных работах. Как тяжелому водолазу ему и дело досталось тяжелое... Через несколько суток после катастрофы он на ощупь, по новым рантовым офицерским ботинкам отыскал тело своего командира: Юра Городецкий стал их носить всего за несколько дней до гибели. И еще одна из подробностей рассказанного мичманом стоит у меня перед гла-

зами: горсть наручных часов, стрелки которых остановились в одно и то же время — в 4 часа 15 минут. Эти часы Гришу попросили сдать в ремонт немногие из его спасшихся матросов, попавшие затем в госпиталь.

Гибель «Новороссийска» не только унесла остатки моих иллюзий о том, что в нашем передовом социалистическом обществе «наверх» проходят самые умные, порядочные и одаренные люди. Я стал понимать и то, что личный состав (не только погибшего линкора) представляет собой часть пресловутой *массы*, пушечное мясо в толстовском смысле этого слова, а не сумму самостоятельных человеческих жизней. Кроме того, очевидней стала работа властного механизма государства, частью которого являются вооруженные силы. Короче говоря, по моим представлениям, после случившегося должен был бы состояться суд над бездарными виновниками гибели корабля. Была же создана только комиссия под председательством заместителя председателя Совмина СССР В.А. Мальшева, достаточно авторитетная, но она занималась преимущественно, если не по существу, фактами и причинами так сказать научно-технического порядка, приведшими к катастрофе, а не мерой ответственности должностных лиц за гибель людей. Суда не было, виноватых наказали в партийном и дисциплинарном порядке. Хрущев не мог из-за этого случая позволить себе роскошь портить отношения с военными, — это я вполне понимал, но я не мог объяснить несправедливость распределения наказаний: основная вина была взыскана на Главнокомандующего ВМС Н.Г. Кузнецова, а командовавший с 1951-го по июль 1955 года Черноморским флотом С.Г. Горшков, ответственный за всю организацию службы на ЧФ (она никак не изменилась за три месяца после его ухода в Москву на повышение), наказан не был. Мало того, через два месяца после случившегося, он был назначен главкомом ВМС!

«Новороссийск» (итальянское название «Джулио Чезаре») вошел в состав советского ВМФ в феврале 1949 года после раздела — как трофейного — итальянского флота между союзниками по второй мировой войне. Точная причина взрыва до сих пор так и не установлена. Многочисленные мнения, в конце концов, сводятся к двум: 1) диверсия итальянцев (сверхмалая подводная лодка) и 2) подрыв на немецкой ящичковой<sup>85</sup> mine, оставшейся в Северной бухте. Первая версия достаточно обоснованна, но я бы сказал, она имеет несколько романтически-детективную окраску, я же с самого начала разделял и разделяю вторую, — по той простой причине, что уже после гибели линкора в бухте

---

<sup>85</sup> Фугасы в деревянных корпусах, установленные немцами как мины перед оставлением Севастополя.

были обнаружены аналогичные немецкие мины. И это после стольких тралений и контрольных бомбометаний! Выводы, сделанные государственной комиссией, наиболее вероятной причиной назвали взрыв мины, хотя не исключили и возможность диверсии. Позднее я узнал, что в работе комиссии, продолженной после Севастополя в Москве, участвовал Борис Никитин. Наши взгляды, как оказалось, совпали, но об этом мы узнали друг от друга при встрече много лет спустя.

Не могу еще раз не вернуться к идиотизму секретности, точнее сверхсекретности, этой дочери революционной бдительности. Таблицы и расчеты непотопляемости, выполненные одним из наших НИИ ВМФ, засекретили. И это ведь для трофейного корабля! Поэтому хранились они в секретной части, которая на «Новороссийске» находилась в носу линкора и сразу после взрыва оказалась затопленной. Они вполне могли бы пригодиться на КП БЧ-V, хотя и Юра и Ефим отлично знали корабль, их доклады многочисленному командованию о предельном крене были абсолютно точными. Остается добавить одну деталь. Однотипный с «Новороссийском» итальянский линкор «Кавур» при сходных обстоятельствах перевернулся и погиб в 1940 году у итальянцев в итальянской бухте Таранто. Боевые качества этих старых линкоров, прежде всего их артиллерии, были достигнуты в ущерб живучести.

Наступивший после гибели «Новороссийска» период стал на флоте своеобразным периодом несправедливой реакции. Вместо того, чтобы честно отдать долг погибшим морякам, никто из которых не покинул ни своих боевых постов, ни командных пунктов, предпочтя исполнение долга личному спасению (Юрий Городецкий тому пример), появившийся приказ нового главкома ВМС сводил смысл трагедии к вине личного состава, не затрагивая по существу вины флотского командования и своей собственной вины. И начался, как мы говорили, *зажим*. Корабельная служба становилась физически почти непереносимой: в матросских кубриках и офицерских каютах приказано было после отбоя задраивать иллюминаторы, увеличивалось количество строевых занятий, сокращался процент увольнения на берег, вводилось непредусмотренное Корабельным уставом чередование офицеров при сходе на берег и убытии в отпуск, например, командира корабля и командира БЧ-V, и многое другое. Единственным положительным, с моей точки зрения, моментом было повышение требований к знанию устройства корабля, что косвенно укрепляло престиж электромеханической боевой части.

Назначенный вместо Пархоменко новый командующий Черноморским флотом В.А. Касатонов в качестве новой метлы принял железной рукой наводить «твердый уставной порядок», при-

меня вошедшую тогда в обиход «тройчатку»: снять, разжаловать, наказать. Снимали с должности, разжалывали в звании и наказывали в партийном порядке. Устав предусматривал за один проступок только одно взыскание, но устав был «не догма, а руководство к действию», поэтому оказывалось, что в нем реальные только обязанности, а не права офицеров и матросов.<sup>86</sup> Повод для наведения порядка мог быть любой: окурок, обнаруженный проверяющими в какой-нибудь щели на обочине пирса (его вполне могло занести просто ветром), не тот цвет рабочего платья у матроса (интендантство выдавало на корабли синее и белое беспорядочно, поэтому, особенно у молодых матросов, оба комплекта могли оказаться одного цвета), слишком независимый — по мнению проверяющих — ответ офицера также мог быть истолкован как показатель низкого уровня дисциплины.

После одной из очередных проверок флотской комиссией знакомый старпом с крейсера «Михаил Кутузов» — он незадолго до этого служил на нашем соединении — с горечью заметил:

— Если бы я служил на царском флоте, я сейчас бы подал рапорт об отставке и уехал в свое имение. А тут я должен терпеть откровенное хамство и молчать, у меня ничего нет: ни квартиры, ни права на пенсию, ни даже гражданской специальности. Ничего!

Сделав несколько шагов взад-вперед по небольшой каюте, он добавил:

— Да с партийным взысканием меня вообще никуда не примут!..

Со времени этого разговора прошло очень много лет, но я его помню совершенно отчетливо, именно в таком виде выступила для меня при социализме *проблема собственности*. Ее еще можно назвать проблемой экономической независимости или даже проблемой свободы выбора. Я же тогда ее воспринимал только как случайное появление просто *плохого человека* на определенной ступени государственной иерархии. О пороке социализма и мысли не было.

В те годы очень популярной эстрадной песенкой была песенка про «Мишку и его улыбку», один из куплетов которой кончался словами:

«...Самая нелепая ошибка,  
То, что ты уходишь от меня.»

Матросы последнюю строчку переиначили, и получалось:

«...Самая нелепая ошибка,-  
На подводной лодке барабан!»

---

<sup>86</sup> Поистине: людей у государства много, а кораблей мало, единица для него — корабль, а совсем не человек.



В этих словах было своеобразная аллюзия с происходившим: солдатский сапог все сильнее стал давить флотский ботинок. Убедительным, буквально наглядным, примером служит документальный фильм о параде Победы 1945 года. Первоначально он шел полтора часа, потом его стали урезать и «улучшать». Последняя редакция, которую показывали бывшим участникам парада в 1993 году, занимала уже всего 42 минуты. Более половины вырезанного материала связана с флотом: Николая Герасимовича Кузнецова вроде бы как и совсем не существовало, сводный наш морской полк показан лишь мельком, в основном последней шеренгой, одни спины, от первоначального сопровождавшего текста и смысла почти ничего не осталось. Надо сказать, что еще на самом параде мне показалось несколько обидным, когда Г.К. Жуков не поздоровался отдельно с моряками — ведь флот тогда, а тем самым и сводный полк ВМФ, были отдельной единицей, принадлежавшей и другому наркомату и имевшей собственного главнокомандующего...

Итак, в январе 1956 года Н.Г. Кузнецов был снят с должности, разжалован до вице адмирала и получил (это выяснилось несколько позднее) партийное взыскание. Об увольнении из Вооруженных сил без права на восстановление Н.Г. Кузнецову в совершенно недопустимой форме сообщил тогдашний министр обороны Жуков. Удивляться грубости не стоит, это был и хрущевский стиль, да и черта, свойственная Жукову в обращении с подчиненными. Незадолго перед этим в Севастополе Н.С. Хрущев, проводя совещание о дальнейших судьбах ВМФ СССР, одному из знакомых мне командиров, человеку грамотному профессионально, безапелляционно заявил:

— У вас каша в голове!

В хамстве маршала Жукова я думаю, был не только «стиль», но и внутренняя невозможность простить адмиралу флота начало войны: подготовленность флота и неорганизованность армии. Как известно, гнев — плохой советчик. Через полтора года был снят и Жуков.

XX съезд КПСС стал выдающимся, — в изначальном смысле этого слова, — историческим событием, но эта историчность росла для меня постепенно, а тогда, в феврале 1956 года, когда он проходил, масштабность события была как бы затуманена привычной округлостью фраз и однотипностью сообщений о съезде и в газетах, и на радио, и в дозированной кинохронике. Словосочетания «всемирно-исторический», «строительство коммунизма», «борьба за мир» и еще тому подобные, употреблялись и к факту подписания Варшавского договора и к съезду колхозников-ударников, скажем, Рязанской области. Кроме того, постановление

ЦК «О преодолении культа личности и его последствий» было опубликовано только в конце июня и было оно достаточно безобидным. Только в секретном докладе Н.С. Хрущева, — который был зачитан членам партии позднее, появились и конкретные преступления, и их детали, и стал угадываться масштаб совершенных злодеяний. Но и здесь оставалась известная округлость выражений, отсутствовали точные цифры и существовал своеобразный мощный подтекст: культ вроде бы и возник случайно... Сами слова *культ личности* как бы снимали вину со Сталина и политбюро и переводили вопрос в философско-теоретическую плоскость. Для меня было бы понятнее — *культ Сталина*, как это было сказано у Л. Фейхтвангера, еще в 1937 году, поскольку *личность* у нас всегда была на втором плане, а на первом был коллективизм. Такое же лукавство проступало в оглуляющем утверждении, что Сталин руководил военными действиями «по глобусу», вроде бы он и картой пользоваться не умел; оставалась и какая-то недоговоренность, — знал ли Сталин всё, то есть знали ли, что Берия, а до него Ежов, пытались действовать самостоятельно и поставить органы ОГПУ — НКВД и их преемников, над партией. Но ведь партия у нас руководила всем!.. Удивительным собственно было одно: как все это оказалось возможным? Ответ оказывался наивно простым и лежащим на поверхности: объективных причин не было, надо было в свое время только выполнить завещание Ленина. Сталин же оказался плохим человеком, но и он не смог помешать святому делу строительства социализма, а в начале своей жизни даже очень много и полезного сделал, пока не стал нарушать ленинские нормы партийной жизни и коллективного руководства. Одним словом, Сталин представал случайной аморальной личностью, оказавшейся по простодушию остальных ленинских соратников во главе руководства партии, но никак не изменивший здоровые силы и возможности самой партии.

Я так тогда все и воспринял, Сталин перестал для меня существовать как моральный человек. Что же касается того, что я был у него в подчинении, когда он был Верховным Главнокомандующим, — начальников не выбирают, так же как я и не выбирал его Генеральным секретарем. Идеалы коммунизма по-прежнему оставались и святы и казались достижимыми. Не обязательно же начальник должен быть хорошим человеком. Но покатился под гору тот *первый камешек*, который привел в конце концов к сходу громадную лавину мировосприятия, до этого застывшую в состоянии утопического самолюбования. Для этого потребовалось около тридцати лет, а тогда была радость, что дядю Филю и отца Татьяны теперь, правда, с унизи-

тельными проволочками и без извинений. Настоящая реабилитация пришла позднее.

На анализ сталинского культа у меня в ту пору не было ни знаний, ни жизненного опыта, ни просто свободного времени. Я очень жалею, что ни с Семеном Моисеевичем (он приехал сначала к нам в Севастополь, так как жилье в Ленинграде пропало), ни с дядей Филей, когда я бывал в Москве, не удалось без суеты поговорить и, тем более, записать их рассказы. Жизнь мне тогда казалась еще почти бесконечной...

Куль и развенчание Сталина вошли в судьбы миллионов людей и я неизбежно (как один из этих миллионов) буду в своем повествовании возвращаться к ним еще неоднократно.

Очень заметным событием 1956 года был приезд в Советский Союз Джавахарлала Неру. Удивляла и покоряла его манера держаться и говорить, естественность, спокойный тон и краткость публичных выступлений, их доброжелательность. Сандаловая палочка, с которой он не расставался, делала его обаяние особенно человечным. Мы, я имею в виду моряков, оказались как бы сопричастными его визиту, поскольку часть его он провел на штабном корабле ЧФ «Лена». Это была белоснежная трофейная яхта гросс-адмирала Деница, полученная после раздела германского флота. «Лена» все время стояла рядом с Минной стенкой и никогда не выходила в море, а тут вдруг и она отдала швартовы!

Резким контрастом выступлениям Неру были зачитываемые по бумажке, не глядя в глаза собеседнику, длинные тексты-шпаргалки наших официальных лиц. Когда Неру говорил, было сразу ясно, что он отвечает за сказанное и что он думает. Это потрясало! У наших же всегда чувствовалось, что главным была «формулировка». Корни ее по-моему уходят глубоко в историю русского самодержавия, а расцвет приходится на советское время, особенно на 1937 год, когда от партийной формулировки, включая запятые и порядок слов, могла зависеть человеческая жизнь. Формулировка символизировала единство партийного слова и дела! Живая речь должна была застыть до формулировки, чтобы не было разномыслия в понимании. Так было и с выступлением и репликами Н.С. Хрущева на совещании в Севастополе: «каша» и другие более крепкие выражения получили в газетном тексте округлость *формулировок*... Я думаю, что впервые именно с визита Неру — потому он так и запомнился — я стал испытывать какое-то чувство неловкости, а потом и стыда за наших лидеров. При Сталине этого чувства не было, надо отдать ему должное.

Одним из заметных событий «отттепели», — периода, получившего такое название по одноименному бестселлеру И. Эрен-

бурга, увидевшего свет после смерти Сталина, — явился VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. У меня оставалась пара дней до конца отпуска, и в самом конце июля 1957 года я побывал в Москве. Татьяна немного поворчала, что я еду один — у нее отпуск был короче, — но я пообещал рассказать подробно о своих впечатлениях. Удивительным оказалось *разноцветие* фестиваля в самом буквальном смысле этого слова. Оформление советских праздников (флаги, плакаты, транспаранты и прочий антураж) было всегда одноцветно-красным, цвет у нас, как и в византийской культуре, играл после слова важнейшую роль. А тут — цветущий майский луг: и зеленый, и белый, и голубой, и желтый, и, конечно, красный, но последний не доминировал. Увиденное потрясло: надо же, как смело, и как ново, — и мир от этого не рухнет! Такой праздничной Москву я еще не видел. В ЦПКиО им. Горького («Центральном парке») была открыта международная выставка живописи и скульптуры. Я не поверил своим глазам — более половины полотен были выполнены не в реалистической манере, а как говорили в просторечии, были абстрактными! После знаменитых постановлений ЦК 1946 года начинало казаться, что видишь не явь, а сон. Авторами «абстрактных» картин в основном были иностранные художники, но сам факт их показа вызывал какое-то несколько радостно-тревожное чувство обновления. Еще одно впечатление, так сказать, живое: в том же Парке культуры мы — я был с сестрой — познакомились с двумя молодыми, лет двадцати с небольшим, западными немцами из Саарбрюкена, шахтерами. По-русски они почти не говорили, и мы перешли на мой немецкий, его вполне хватило. Оказалось, что приехали они на свой страх и риск, какую-то поддержку им оказал профсоюз, но, по всей вероятности, по возвращении администрация их уволит. Когда я услышал такое, мне показалось, что я возвращаюсь во времена моей юности: вот она международная пролетарская солидарность и настоящий интернационализм. Люди, явно рискуя своим благополучием, приехали в страну социализма, отечество трудящихся всего мира — Советский Союз! С этими симпатичными и жизнерадостными парнями мы обменялись сувенирами, у меня до сих пор хранится их значек — миниатюрная шахтерская лампа, подвешенная к двум перекрещенным молоточкам.

Была, конечно, масса и других впечатлений от фестиваля, но они не имеют прямого отношения к данному повествованию. Вернувшись в Севастополь я узнал, что меня опять не отпускают в академию. Регулярно, с тех пор, как у меня возникло право поступления в нее после окончания Инженерного училища, я подавал по команде рапорт, и каждый раз под тем или другим пред-

логом регулярно получал отказ. В том году я подошел к предельному возрасту для поступления, у меня в запасе оставался всего один год. Я решил не ограничиваться непосредственным начальством и обратился к прямому — контр-адмиралу П.С. Колеснику, командиру дивизии ОВРа,<sup>87</sup> под флаг которого наш дивизион был переведен из дивизии крейсеров. Это был знаменитый во время войны моряк-катерник, очень суровый и не терпящий возражений человек с неторопливыми движениями и весьма немногословный. Его побаивались и часто терялись под его, несколько исподлобья, взглядом, глаза у него были редкого желто-зеленого цвета и почти никогда не моргали. Он был отцом шестерых детей и, поговаривали, что он иногда здорово выпивает.

Последние год-полтора я стал чувствовать, что мне становится почему-то неинтересно служить, хотя служба шла хорошо. Я не имел взысканий, приобрел хороший профессиональный опыт, пользовался авторитетом, как было записано в аттестации, но повторяюсь, чего-то не стало хватать. Может быть романтики и перспектив. Эту тягу к переменам разделяла и Татьяна, хотя мы понимали, что в Ленинграде — академия была там — нас ждет, если я поступлю, опять бесквартирье и связанные с этим жизненные неудобства.

И вот я стою перед адмиралом и довольно горячо и длинно излагаю свои соображения, почему мне непременно надо быть в академии. Он не перебивая слушает, потом неспеша встает и когда я уже решил, что — всё, что я говорил зря, он вдруг произносит:

— Хорошо. Я попрошу от имени комфлота написать отдельное представление.

По инерции я пытаюсь привести еще один довод в свою пользу, но он перебивает:

— Не надо, списки уже отправлены, повторяю, на вас пойдет отдельное представление.

Вскоре оказалось, что в Москве многие фамилии из общего списка вычеркнули, мне же в ОКОСе<sup>88</sup> было объявлено, что я допущен к конкурсным экзаменам и должен отбыть для этого в Ленинград. После памятного разговора с адмиралом я сформулировал нечто вроде неременного кредо для личного успеха: не надо быть первым, а надо быть единственным. В том смысле, что отдельным, необщим, конкретно представляемым, чтобы начальник за фамилией, которая в списке воспринимается как иванов — петров — сидоров видел и Иванова, и Петрова и Сидорова. И еще один вывод. Его, когда Танька стала подрастать, я

<sup>87</sup> ОВР — охрана водного района.

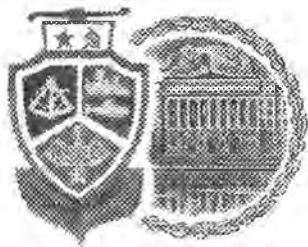
<sup>88</sup> ОКОС — Отдел кадров офицерского состава флота.

представил ей в виде правила: не выясняй отношений в железнодорожной кассе, иди прямо к начальнику станции, если хочешь что-нибудь решить.

Начальник штаба бригады эсминцев, с которым я служил ранее и с которым поделился своей радостью, поздравив меня, заметил:

— Вы думаете, почему вас так долго не отпускали? Анкетные данные! Дело было в отце вашей жены. Вам повезло, другие времена настали.

## АКАДЕМИЯ



В мире нет таких сил, которые могли бы остановить поступательное движение советского общества к коммунизму

*(Учебник политической экономии,  
1954 год)*

Para bellum — готовь войну

*(Латинская пословица)*

И вот я снова в северной столице. Не без некоторого трепета переступаю порог громадного пятиэтажного здания, построенного в 1949 году в стиле освоения классического наследия. Его мрачноватый гранитный фасад выходит на набережную Адмирала Ушакова. Солнечные блики, отраженные Большой Невкой, играют в зеркальных стеклах зело высоких дверей. Это Военно-Морская Академия кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова. У Академии есть интересная особенность: свой возраст, то есть год основания, она может выбирать по своему желанию. Вот данные по разным источникам. Во-первых, это 1701 год, когда после надстройки Сухаревой башни в Москве, Петром I в ней «взамен уничтоженных стрелецких полков была размещена «Математическая и навигационная школа» — первое в России высшее специальное заведение, готовившее штурманов, геодезистов и проч.». Во-вторых, это может быть 1715 год, когда «Навигацкую школу перевели совсем в Санкт-Петербург и превратили ее в Морскую Академию». Впоследствии она именовалась и Морским шляхетским корпусом, и Морским училищем, и т. д. Затем: «Военно-морская академия ведет свою историю от Высших офицерских классов, созданных в 1827 году при Морском кадетском корпусе». В 1922 году: «Петроградский Совет объявляет о создании Военно-морской академии

Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Старая Николаевская морская академия прекратила свое существование». Наконец: «В 1945 году по решению правительства инженерно-технические факультеты академии выделены в самостоятельную академию кораблестроения и вооружения им. А.Н. Крылова»...

Мне даже подумалось, что высшее образование на Руси, как и в остальной Европе изначально бывшее церковным, затем, в отличие от последней, в своей светской ипостаси у нас стало военным: первые военно-учебные заведения (артиллерийские) были основаны Петром I в 1698 году. Единственное исключение — Славяно-греко-латинская академия, основанная в правление царевны Софьи Алексеевны на одиннадцать лет раньше. Наши университеты появляются только после учреждения Академии наук (1724 г.) — Академический (в Санкт-Петербурге, 1726 г.) и Московский (1755 г.); первые же университеты в Западной Европе открылись в XII—XIII веках. Может быть в этом кроется одна из причин постоянного боевого радикализма русской интеллигенции?

Но я отвлекся, трепет возникал еще и от того, что число собравшихся после всех «отсевов» кандидатов должно будет после сдачи экзаменов еще уменьшиться вдвое. Каждый второй, таким образом, возвратится с позором восвояси. На подготовку к экзаменам давался месяц, и еще один месяц — на саму сдачу, экзаменов же было шесть: высшая математика, теоретическая механика, сопромат, иностранный язык, боевые средства ВМФ и термодинамика.

После окончания училища прошло девять лет, за это время я, естественно, ни один из учебников не держал в руках, обходясь, если это было необходимо, справочниками. Позволить себе роскошь заранее готовиться на корабле, по-моему никто просто физически не мог. Из Севастополя мы приехали вдвоем с Витольдом Евгеньевым, с ним мы лейтенантами служили вместе на «Куйбышеве», он тогда был командиром группы управления БЧ-II. Пару дней спустя появились еще знакомые черноморцы — Коля Лысенко и Юра Тихомиров...

Надо было все начинать с самого начала и прежде всего самым рациональным образом распланировать время. Никогда я не работал с такой интенсивностью и умственным напряжением. Я был убежден, и до сих пор считаю, что это так, что к экзаменам лучше всего готовиться вдвоем, — не одному и не втроем, а именно вдвоем с подходящим напарником. Появляется возможность обсуждения неясностей и обмена мыслями, взаимоподдержка, а отсюда и чувство уверенности, другими словами, слабости каждого уменьшаются, а сильные стороны взаимно возрастают.

Мы с Витольдом решили, что 2/3 первого месяца мы посвятим исключительно математике — она основа всего остального.

За это время надо сделать два «крута», то есть два раза письменно проштудировать весь курс, одновременно устно «докладывая» друг другу — для тренировки! — вопросы программы. И обязательно использовать все консультации — не только для выяснения темных мест, но и для знакомства с преподавателями. Распорядок дня был очень строгим: подъем в 7<sup>00</sup>, все время было рабочим, исключая прием пищи, минут пятидесяти послеобеденного сна да прогулки перед сном после 22 часов. Математика была на всех факультетах, а другие дисциплины — разные, поэтому пунктуально выполнив свой план, мы с Витольдом к обоюдному огорчению разделились, но методику подготовки сохранили. Моим новым напарником стал Коля Лысенко — мы вместе поступали на один, машиностроительный, факультет.

Несмотря на такую, я бы сказал сверхцелеустремленную занятость и отстраненность от всего, радостным громом среди ясного неба 4 октября воспринялось сообщение о запуске первого искусственного спутника Земли. Он, конечно, *должен* был быть нашим советским и оказался таким! Это был общий отклик и как бы вздох удовлетворения: все идет у нас правильно, мы самые первые в мире, вот она, еще одна победа, будут и другие. Слова Хрущева «Наш народ первым проложил путь к социализму. Он первым проник в космос, открыл новую эру...» были совершенно адекватны царившему настроению единственной правильности избранного пути. Услышав первый раз о спутнике, я тут же подумал еще и о Жюль Верне и его «Из пушки на Луну». В памяти автоматически даже всплыли цифры второй космической скорости — 11,2 километров в секунду и слова любимого в детстве марша: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть, пространство и простор!...»

Среди событий, происходивших в это время, было и еще одно, конечно, несравнимо менее значительное, но запомнившееся мне как иллюстрация к успехам мировой социалистической системы. Этим событием было посещение Академии китайской военной делегацией во главе с тогдашним министром обороны КНР, героем Корейской войны, маршалом Пын Дэ-хуаем. В Академии был факультет, где обучались морские офицеры социалистических стран, в том числе и китайские, естественно. Выглядел маршал великолепно, ему совершенно нельзя было дать его пятидесяти-девяти лет. Густые темные волосы без признака седины, холеное лицо и вельможная сдержанность движений впечатляли... Когда он вошел в библиотеку, офицеры, занимавшиеся там, без всякой команды встали, приветствуя его. Он слегка поклонился. Несколько сопровождавших маршала человек, и это бросалось в глаза, выглядели так же великолепно и так же неопределенен был их



возраст,— им можно было дать и двадцать пять и за сорок одновременно.

Читать в газетах о том, что социализм стал мировой системой,— это одно, а видеть перед собой китайского министра обороны, воевавшего с нашим общим противником — американским империализмом,— это совсем другое дело. В первом случае куда не денешься от привкуса пропаганды, а во втором — перед той-то реальностью, данная, так сказать, в человеческих ощущениях.

Между тем, подошел первый экзамен. В билете, если мне память не изменяет, был вопрос об использовании формулы Грина для решения задачи Коши, другими словами, нахождение интеграла для дифференциального уравнения, описывающего движение потока, скажем, жидкости или тепла на каком-то заданном участке. Тогда я все это знал и получил пятерку. Победа! Число соперников после первого экзамена сократилось сразу почти вдвое. Второй экзамен — теоретическая механика — тоже пятерка. Сопромат — четыре. Боевые средства флота — тоже четверка, но тут пятерок практически и не ставили: принимающими были выпускники училища Фрунзе, которые считали, что инженеры в принципе не могут знать «не свой» предмет на более высокий балл. Следующим был немецкий язык, всего три дня на подготовку. Какой-то словарный запас у меня в памяти сохранился, но вот правила грамматики я почти все забыл. И здесь мне помогли немецкие коллеги,— в академическом общежитии, которое еще называлось спальным корпусом, все слушатели жили вместе. Меня тут же познакомили с Алексом Н. и Рольфом Х., хорошо говорившими по-русски, а они — с Эрихом Х., бывшим школьным директором. Он сразу же подыскал для меня несколько учебников и, кроме того, предложил в любое время обращаться к нему с вопросами для консультации. Я «погрузился» в немецкий. В результате — пятерка. Вечером я пригласил своих наставников в «Зеленый глаз» — придворное кафе, располагавшееся рядом с нашей обителью — и мы отметили этот успех. Для меня, помимо всего прочего, незамысловатый этот ужин был, как и встреча с Пын Дэ-хуаем, своеобразной демонстрацией, только более сильной, той же реальности человеческих отношений, на этот раз с немецкими товарищами по оружию. Себе, извинившись, я в качестве закуски к коньяку заказал лишь стакан сливок — у меня разболелась голова, пить не хотелось, да и оставался еще экзамен по термодинамике. Запивать коньяк сливками или даже молоком, я считал своей находкой и личным рецептом. Оказалось,— ничего подобного: Алекс, увидев такое сочетание, заметил, правда, чуточку удивленно:

— Второй раз встречаюсь с этим, первый раз видел в Буэнос-Айресе.

Мне ничего не оставалось, как ответить, что мир тесен.

К последним экзаменам стала наваливаться нервная усталость. В комнате, где мы, кандидаты, размещались, нас было пятеро. Первый месяц все спали как убитые, потом стали замечать, что сосед у Витольда похрапывает, Витольд даже иногда толкал его койку ногой. Перед последним экзаменом Витольд два раза уже запустил в «будьздоровчика», — так мы называли храпуна — подушкой!

И вот, наконец, я уже не кандидат, а слушатель, радость была настолько большой, что не оставила и следа от накопившихся за два месяца напряжения и усталости, теперь можно было перевести дыхание и оглянуться повнимательнее вокруг. Теснота мира, по крайней мере теснота флотского мира, бросалась в глаза. Знакомых оказалось много: и Гена Надъярных, и Делио Грамши и Леша Сытин и еще несколько сослуживцев и однокашников — это было, так сказать, в порядке вещей, но вот предполагать, что я вновь попаду под начало (пусть косвенное) Аркадия Варфоломеевича Кацадзе, я никак не мог. Он стал каперангом и начальником строевого отдела академии. Я опять стал первокурсником и, как всех первокурсников, нас в первую очередь стали ставить в наряд, то есть на дежурство по Академии. На дежурстве полагалось выполнить ряд установленных ритуалов, в том числе церемонию встречи начальства. Начальник академии и начпо<sup>89</sup> относились к этому делу без особого интереса, но начальник строевого отдела — это был его «хлеб» — напротив, с максимальной истовостью.

Когда появлялся Кацадзе, надо было все рассчитать так, чтобы остановившись в трех шагах от него на вполне определенном квадрате мраморного пола вестибюля, громко и четко доложить о состоянии дежурства и представиться, а затем и сопровождать его, пока это будет необходимо.

Все так и происходит, я иду с ним в дежурное помещение, отвечаю на вопросы, а потом, когда он собирается уходить, говорю:

— Товарищ капитан 1-го ранга! Вы, конечно, меня не помните, но мы вместе служили в Москве, я был на подготовительном курсе, а вы были тогда начальником училища.

Нарочито серьезное выражение его лица сменяется улыбкой, потом вновь серьезнеет, и гортанным голосом со своим характерным акцентом он произносит:

— Спасибо за службу! Будэтэ отмечены в приказе! — и пожимает мне руку.

Действительно, на следующий день по академии был объявлен приказ. В ответ на вопросы одноклассников я скромно заме-

---

<sup>89</sup> Начальник политического отдела.

тил, что просто хорошо нес службу, а, кроме того, мы с А.В. Кацадзе вместе служили. И подумал при этом: слабый я человек, — мне бы надо пойти и попросить отменить приказ как несправедливый: никакой благодарности, я не заслужил. Но почему-то я не пошел!..

Три года учения в Академии были одним из лучших периодов в моей жизни — впервые я каждый день мог бывать дома, отвечать только за себя и общаться с дорогими и близкими мне душевно людьми. Единственным, что отравляло жизнь, было безквартирье. Дело даже не в том, что жилищный кризис был всеобщим. Первые полгода после переезда из Севастополя Таньку пришлось даже поместить в школу-интернат, так как комнатка, где мы разместились с Татьяной была очень маленькой. Ее нам сдали хорошие знакомые тети Гали. Потом удалось подыскать на год, пока хозяева не возвратятся из Германии, комнату побольше, в ней можно было уже поставить кровать и для Таньки. В общем, за три года мы сменили четыре квартиры. Все эти неудобства компенсировались только надеждой: потерпим, дело это временное, вот после академии все устроится и будет хорошо; тем более, что и в 1955-ом и в 1957-ом были приняты постановления ЦК и Совмина СССР о развитии жилищного строительства. Первое было знаменитым постановлением «Об устранении излишеств» в архитектуре и строительстве. Именно с тех лет берут начало пятиэтажки, распolzшиеся по всем городам и весям 1/6 части земной суши и позднее названные «хрущёбами». Но именно тогда был сделан гигантский шаг вперед: впервые за годы советской власти жилищное строительство стало массовым и в обиход вошло понимание необходимости иметь для семьи *отдельную квартиру*, а не комнату.

Повторюсь, это было счастливое время. Мы часто собирались то у Наташи, то у Нины — у них также появились семьи, — то у нас с Татьяной, несмотря на трудности, о которых я только что сказал. Появились новые друзья и по академии. В том или ином составе мы компанией шли и на премьеру, скажем, «Идиота» со И. Смоктуновским в Товстоноговском БДТ, и на гастроли Гамбургского театра, привезшего в Ленинград «Фауста», и в Эрмитаж на очередную выставку, и в не самый плохой из ресторанов на Невском. Все это было более или менее доступно, все работали, хотя денег до получки едва хватало. Вообще, эти и последующие пару лет я назвал бы временем больших надежд и ожиданий, общественного обновления, — казалось, что оттепель переходит в весну.

У Н.С. Хрущева был фейерверк инициатив и начинаний, часть которых вошли в историю, а часть канули в лету. Здесь были и

освоение целины и строительство сибирского Академгородка; отмена обязательной ежегодной подписки на займы, и открытие нового конкурса на проект Дворца Советов и Пантеона (мавзолей Ленина предполагалось убрать с Красной площади); замена сталинских премий ленинскими и сокращение рабочего дня в субботу; создание совнархозов и бригад коммунистического отношения к труду; замена пятилетки семилеткой и учреждение международного конкурса имени Чайковского, давшего миру Вана Клиберна; поношение «Доктора Живаго» и его автора и открытие первой американской выставки в Сокольниках; создание бюро ЦК КПСС по РСФСР и выпуск первой российской — при советской власти — газеты «Советская Россия»... Но особенно были впечатляющими внешнеполитические инициативы и акции. Наиболее сильными из них были: подавление народного восстания в Венгрии, объявленного контрреволюционным мятежом; совещание представителей коммунистических и рабочих партий 64 стран мира, поддержавшего решения XX съезда КПСС и подтвердившего, что «основным содержанием нашей эпохи является переход от капитализма к социализму»; победа Кубинской революции, поставившая «остров свободы» на путь социализма; беспрецедентный визит «главы самой мощной социалистической державы в Соединенные Штаты Америки, самую мощную капиталистическую страну», наконец, стучание башмаком по пюпитру в зале заседаний Организации Объединенных Наций...

Весь этот противоречивый перечень скрепляло одно — искренняя, по моему убеждению, вера Хрущева в возможность достаточно быстрого построения коммунизма не только в СССР, но и в странах социалистического лагеря. Он даже выдвинул положение о том, что к коммунизму мы все придем «более или менее одновременно». На время, проведенное в академии, приходится «второе дыхание» моего чувства правоты и неизбежности победы социализма (и коммунизма, конечно) над капитализмом. Особенно этому способствовало то, что о победе этой с уверенностью говорили не преподаватель марксизма-ленинизма, а к примеру, немец из Альтенбурга и китаец из Шанхая. Интересное чувство испытываешь, когда на происходящее можно посмотреть глазами иностранца, — я думаю, что утверждение «Нет пророка в своем отечестве» является истиной универсальной.

Наши иностранцы — их тогда называли «демократами», — от принятого в то время общего для стран Варшавского договора названия «страны народной демократии», — учились на год дольше чем мы, и ко времени моего знакомства с ними хорошо говорили по-русски. С немцами я разговаривал по-немецки, а они со мной — по-русски. Для меня это окончилось освобожде-

нием от занятий по иностранному языку. Попытался я подступиться к китайскому, но потом махнул рукой — трудно, поэтому с Душэном мы говорили по-русски. Общим для всех моих приятелей было впечатление о быстром улучшении уровня жизни в СССР, происходившим буквально на глазах, это во-первых. Во-вторых, была уверенность в правоте марксизма-ленинизма и в теоретическом и в практическом его значении. Ежедневно общаясь, мы постоянно задавали вопросы друг другу, сравнивали жизнь в наших странах и обсуждали происходящее.

Самым старшим был Эрих, он был основателем, нетороплив и философичен:

— В ГДР уровень жизни повыше. Но ничего не поделаешь. Если граница проходит по середине улицы, то обычный немец будет выбирать сторону, где жизнь лучше. Западный Берлин стал витриной мирового капитализма. Нам трудно в этом соревновании.

До прихода Гитлера к власти Эрих состоял в компартии и находился в ней до ее роспуска, с началом войны был призван на флот и служил на крейсере. Он рассказал интересную деталь: бывшие коммунисты не допускались непосредственно к оружию, скажем, он не мог быть артиллеристом или минером. Из общих впечатлений, которыми делился Эрих, мне, запомнилось одно его замечание:

— У вас, как мне кажется, отношение к отдельному человеку и человеческой жизни несколько более безразличное, чем в Западной Европе.

После войны Эрих был назначен директором школы, затем, после создания Volksmarine, ему, как моряку и коммунисту, не имеющему родственников в Западной Германии, предложили вернуться к флотской службе, что он, верный партийной дисциплине, и сделал. Оказывается, у них можно было заключить контракт на срок и в 10 лет с соответствующим правом на долю от полной пенсии. Я сразу сравнил это с положением о прохождении службы у нас и подумал, что действительно у них (даже в ГДР) значительно больше думают о человеке.

Алекс был в какой-то мере противоположностью Эриху — он был более подвижен, легкомыслен и предпочитал, я бы сказал, земные радости небесным. Бывая у нас в гостях, он иногда вместо глубоко философской беседы шел к плите готовить блюдо, которое называл «мясные голубцы». Для этого ему требовалась говяжья мякоть, которую он нарезал на плоские, величиной с ладонь, листы. На каждый из них надо было положить пару ломтиков шпига и продольно нарезанных кусочков соленого огурца. Начинка закручивалась, каждый лист перевязывался ниткой, и эти своеобразные голубцы, отправлялись на сковородку. Кон-

кретное торжествовало над абстрактным, а рюмка коньяка или водки только подчеркивала этот триумф.

Рольф был моложе всех и, естественно, более радикален:

— Ваша армия двинется на запад, а наш флот к ее приходу успеет провести десантную операцию и встретит ее в Бресте! — речь шла, естественно, о французском Бресте.

Меня давно интересовало, как же так случилось, что Гитлер сумел прийти к власти. Теперь появилась возможность узнать об этом, так сказать, из первых рук. Общим и главным в ответах моих собеседников было: ему удалось уничтожить безработицу. Кроме того, пожалуй впервые, Рольф обратил мое внимание на то, что Гитлер провозгласил пусть и национал, но *социализм*. Был принят закон о единстве партии и государства. Для меня было откровением узнать, например, что медицинская помощь и лекарства при Гитлере стали бесплатными.

С Рольфом у меня сложились несколько более тесные отношения, чем с остальными. Оказалось, что у нас есть общее увлечение — филателия. Здесь я пока замечу, что именно с коллекции почтовых марок у меня началось постепенное осознание общности судеб России и Германии. С марок может быть потому, что они, являясь атрибутами государственности, представляют страну идеологически и пропагандистски значительно более образно, чем, скажем, те же деньги. Сближению с Рольфом способствовала также поездка в Ленинград его жены Моники (они незадолго до этого поженились), так что мы познакомились уже семьями. В моей библиотеке с тех пор хранится подаренная ими книга «Der Atem des Meeres». И еще остался рецепт приготовления настоящего немецкого кофе. Любопытно, что узнав мой любимый вариант — кофе с лимоном — они назвали его «кофе по-русски».

Цзы-Душэн отличался удивительным тактом и доброжелательностью. Стройный и подтянутый как и Рольф, он был более мягок и склонен, я бы сказал, к поэтическому восприятию революционной романтики (после революции в Китае не прошло и десяти лет), он даже предложил рассматривать нашу с ним дружбу как символ братства китайского и советского народов. Национальные характеры — это отдельная тема для обсуждения, но здесь я хочу отметить, что для меня оказалась неожиданной глубокая пунктуальность китайцев, более органическая и «классификационная», чем привычная для русских классически-литературная пунктуальность немцев. Очень интересным было и общение с Делио Грамши. У него собралась масса фактов, которые совершенно не укладывались в представления, сложившиеся у меня. Например, оказывается, Иосиф Броз Тито мог избить гор-

ничную в гостинице «Москва», когда ему показалось, что пропали часы, оставленные им на прикроватной тумбочке. Найдя их вскоре, он даже не подумал извиниться. Или случай из другой области: оказывается, прежде чем стать членом гитлеровской национал-социалистической партии, Геббельс предлагал свои услуги, в частности по ведению пропаганды, немецким коммунистам и дело не выгорело только из-за величины гонораара...

Между собой, я имею в виду не только «демократов», мы часто обсуждали «строительство материально-технической базы коммунизма». Была уверенность, что наступление коммунизма будет происходить постепенно, путем отмены платы, скажем, сначала за соль, потом за почту, потом за хлеб, транспорт, спички и так далее, по мере того, как мы будем перегонять США по объему производства на душу населения. Все это не казалось утопией, может быть потому, что вокруг были симпатичные единомышленники, про которых знаешь, что ни красть, ни доносить они никогда не будут.

Если обобщить влияние «академического» периода на мое мировоззрение,— он бесспорно укрепил международную составляющую несокрушимости единственно-правильного учения, это несомненно. Что же касается внутренней составляющей, то есть нашей, советской социалистической действительности, то здесь дело обстояло иначе. Проще всего это пояснить на конкретном примере.

Есть в северной столице превосходный образец архитектурного конструктивизма конца 20-х годов, известный у старожилов как «Дом политкаторжан» (Петровская набережная, 1/2). Он был построен<sup>90</sup> как дом-коммуна исключительно для идейных, в абсолютном значении этого слова, революционеров, бывших при царе политкаторжанами или ссыльнопоселенцами, убежденными поборниками идеалов коммунизма. В доме не предусматривалось отдельных квартир в теперешнем понимании: на первом этаже располагался общий гардероб, столовая, обширная гостиная, библиотека и т.д. На крыше был устроен солярий и видовая площадка, имелся в доме даже театральный зал на пятьсот мест. Одним словом, это было реальное воплощение утопии и снов Веры Павловны, отвечавших духу эпохи революционного романтизма. Первые жители составляли дружную семью-коммуну энергичных, веселых и одержимых борцов-единомышленников. Осложнения начались с появлением детей — комнаты «коммунаров» не были приспособлены ни для приготовления пищи, ни для стирки пеленок, ни, вообще говоря, для нормальной жизни нормаль-

---

<sup>90</sup> Архитекторы Г.А. Симонов, П.В. Абросимов, А.Ф. Хряков.

ной семьи. Но это — полбеда, беда пришла позднее, когда начались партийные чистки и террор: к 1941 году в доме осталось менее десяти процентов первоначальных жильцов. После войны и блокады их практически и вовсе не оказалось, дом превратился в обычный, да к тому же с не очень удобными квартирами, дом! Таков оказался результат эксперимента, авторами которого была сама реальная действительность.

Остается добавить — если говорить о широкомасштабных социальных явлениях, что абсолютное, почти не знающее исключений, большинство детей большевиков-революционеров получали высшее образование и не пополняли ряды передового класса могильщиков капитализма, класса диктатуры пролетариата, то есть рабочего класса, они превращались в *эту самую, которая*, — в интеллигенцию! Вообще, в период, о котором идет речь, я стал сознавать, что дело с классом-гегемоном обстоит как-то не совсем в духе предвидений основоположников марксизма-ленинизма. Это *как-то* проявилось в том, что я честно должен был сказать самому себе: для меня немец, китаец, поляк, кореец, итальянец и прочая и прочая, с которыми меня объединяют общие взгляды на тот же социализм, куда как ближе мне, чем пьяница-гегемон с того же Кировского или другого ленинградского завода.

Видимо, подобные настроения уже носились в воздухе. Ответом на них стало провозглашение в партийной прессе (а вскоре вошедшие и в руководящие документы КПСС) нового нашего достижения, — превращения государства диктатуры пролетариата в государство «общенародное». Оно как бы подтверждало и правоту классиков и корифеев (теоретически государство при коммунизме должно отмереть) и одновременно вечную живость и творческую сущность Великого учения. Тем не менее впервые, пусть и словесно, был сдвинут один из краеугольных камней его, каковым является необходимость диктатуры *пролетариата*. Невозможно было не отдать должного идеологическому изяществу, с каким это было сделано. Аргументы в основном сводились к следующим.

У государства две функции — внешняя и внутренняя. Со внутренней функцией после провозглашения XX съездом положения о том, что «Социализм в СССР одержал полную и окончательную победу», все ясно: вместо диктатуры пора переходить к *общенародному* государству и общественному самоуправлению. Вместе с тем внешняя функция остается, несмотря на то, что в странах народной демократии ликвидированы возможности реставрации капитализма, а в рамках всей социалистической системы «обеспечена полная победа социализма». И мало того,



что вторая функция сохраняется, — она усиливается из-за агрессивности мирового капитализма во главе с США.

Таким образом снималась социальная напряженность, роль партии (общественная организация) возрастала, роль государства усиливалась, поскольку только оно могло быть гарантом военной безопасности перед лицом такого сильного противника, каким являлась НАТО во главе, опять с теми же США. То есть, фактически ничего не менялось, разве что появившиеся через некоторое время народные дружины по охране общественного порядка, стали демонстрировать эту самую общенародность государства. О том, что еще в начале 30-х годов сохранялись бригады содействия милиции и не вспоминали. Надо отдать должное непревзойденной силе и эффективности аппарата, созданного еще в августе 1920 года, первоначально в виде скромного отдела пропаганды и агитации ЦК партии. Он быстро прибрал к своим рукам все средства влияния на общественное сознание, обеспечившие партийное сопровождение жизни каждого советского человека со дня его рождения и до гробовой доски. Но все дело в том, что такое сопровождение казалось мне с самого детства естественным, я был убежден в правоте и научной обоснованности марксизма-ленинизма и нашего долга донести эту правоту до народов всего мира.

Я понимал, что запретить идеи невозможно, но запрещение публикаций идейно *не наших* материалов считал вполне в порядке вещей. Приговор Нюрнбергского трибунала и международное осуждение гитлеризма были для меня подтверждением правильности такого моего взгляда, а существование тотальной цензуры в виде Главлита казалось совершенно естественным. Я в те времена не мог и подумать, что можно сблизить, например, такие события, как костры из книг после прихода Гитлера к власти и составление десятилетием раньше лично Н.К. Крупской проскрипционного списка книг для советских школ. Мне казалось, что сжигать книги Канта или Маркса — это варварство, а уничтожать Священное писание или книги Л. Чарской — это правильное дело... Да и Надежда Константиновна представлялась мне просто доброй старушкой, женой и товарищем Ленина по партии, а не самостоятельной фигурой, вступившей на путь революционной борьбы еще до знакомства с Ильичем.

Всякая идеологическая новация, как это и было в случае с общенародным государством, обязательно сопровождалась ссылками и цитированием Ленина. Имя Ленина и производные слова от него, заполнили всю прессу, было принято специальное решение ЦК об издании нового, названного полным, собрания сочинений создателя нашего советского государства. Кажется именно с тех времен я стал с известной долей осторожности от-

носиться к ссылкам на его работы: за свою жизнь он написал так много, что взаимоисключающих цитат можно было подобрать сколько угодно, например, в «Государстве и революции» и в «Очередных задачах советской власти». И про каждую сказать, что в ней выражена гениальная ленинская мысль или предвидение... Так обстояли дела с моим мировосприятием к концу трехлетнего академического курса. Сдав на пятерки экзамены по марксистско-ленинской философии (обычный и, на всякий случай, кандидатского минимума), я, несмотря на критическое отношение к частностям, безусловно знал (точнее, верил), что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Может возникнуть вопрос, почему так долго (мне уже исполнилось тридцать четыре года) шел процесс прозрения, постижения действительности? Помимо всего прочего потому, что в нем, — в прозрении, — *я не испытывал необходимости*. Я был поглощен своим делом и житейскими заботами, как и окружавшие меня и, смею думать, так же относившиеся к происходящему, люди. Мы, как и в войне, в строительстве коммунистического общества рассчитывали, что победа будет за нами.

Выпускники академии направлялись в центральные учреждения, в НИИ и на преподавательскую работу или в аппарат военной приемки министерства обороны. Для надводников, к которым принадлежал и я, выпуск пришелся не на самые лучшие времена, символом флота становилась подводная лодка. Во время визита в США Хрущев даже похвалился: «Мы в этом году пустили на слом свои почти законченные крейсера». Решение это было во многом импульсивным. Американцы часть своих линкоров вывели в резерв и использовали их, когда возникала необходимость. Линкор «Айова», к примеру, блестяще сыграл роль защитника интересов США на Ближнем Востоке.

Сначала мне предложили место старшего преподавателя в Севастопольском инженерном училище, своеобразном аналоге Дзержинки; я согласился, но вскоре оказалось, что на кафедре в этом случае создавался бы перевес надводников и вместо меня взяли подводника, хотя и не очень подходившего по специализации. Была возможность остаться в Ленинграде в НИИ ВМФ, но на должности младшего научного сотрудника; я отказался — мне подходил срок для получения звания кавторанга. Через некоторое время — предложение в НИИ министерства обороны на должность начальника лаборатории, в Калинин. Я подумал и согласился. Это было разрешением давнего шутивого спора с Татьяной: она любила Ленинград, я — Москву, а это назначение было бы шуточным компромиссом. Но это — а *propos*, основными же причинами были две. Первая, — совершенно новая

область работы, вторая — мне хотелось, чтобы Татьяна уехала из Ленинграда. Несколько месяцев назад мы похоронили ее двоюродного брата, здорового и молодого человека, совершенно неожиданно умершего от лейкемии. Среди родных и его знакомых упорно поговаривали, что он «схватил» дозу радиации. Такая опасность для Татьяны существовала реально — она работала в отделе капитального строительства Ленинградского военноморского района. Незадолго до окончания мною академии Татьяна вступила в КПСС. Воспитание и мировоззрения у нас были очень близкими и, кроме того, «оттепель» способствовала этому шагу. Но главным, конечно, было преодоление комплекса дочери репрессированного ранее отца.

## СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ



Одна из главных целей теоретического исследования в любой области знания состоит в том, чтобы найти точку зрения, с которой предмет представляется наиболее простым.

*Дж. У. Гиббс, физик-теоретик*

После академии мне опять пришлось учиться, точнее, доучиваться. Математика, бывшая общетеоретическим предметом, теперь становилась, так сказать, рабочим инструментом для исследований, невозможных ранее и ставших возможными только с появлением электронных вычислительных машин. Ключевым словом стало: *кибернетика*. Из Золушки, гонимой и обзываемой всего несколько лет назад «лженаукой», да еще и реакционной, она превратилась в Принцессу, за которой тянулся целый шлейф прилагательных: математическая, техническая, советская, биологическая, военная, медицинская и прочая и прочая. На нее даже стали возлагать надежды как на средство «изыскания наиболее рациональных путей перехода от социализма к коммунизму».<sup>91</sup> Именно в те годы появилось *математическое моделирование* как метод исследования с помощью быстродействующих ЭВМ при-

<sup>91</sup> См. сб. «Философские проблемы кибернетики», Соцэгиз. М., 1961.

кладных задач (невоенного и военного) характера, связанных с функционированием *сложных систем*. У прикладной математики с ее вычислительными методами вдруг появилась масса молодых побегов с экзотическими названиями теорий массового обслуживания, расписаний, игр, линейного, квадратичного и нелинейного, программирования, очередей, распознавания образов, сетевого планирования... Собственно, все это было связано с распространением кибернетического подхода к пониманию *управления* большими или сложными системами, каковыми являются объекты, начиная от ракетного комплекса и кончая человеческим обществом.

Разработка программ математических моделей, предназначенных для определения эффективности сложных систем, и было заботой лаборатории, начальником которой я стал. Собственно, лаборатория только создавалась, и я был ее первым начальником. Алгоритмы, блок-схемы, случайные числа, критерии согласия, язык моделирования; программы, с их отладкой, контрольным счетом и расчетом вариантов; сбой машины, повторный счет, запись на магнитную ленту — все было захватывающе новым и все требовало безотлагательного освоения. Я с головой погрузился в этот новый для меня мир, мысленно повторяя риторический вопрос А. Эйнштейна: «Почему возможно такое превосходное соответствие математики с действительными предметами, если сама она является произведением только человеческой мысли, независимо от всякого опыта?» Я целиком разделял и восхищение Г. Герца: «Трудно отделаться от ощущения, будто эти математические формулы существуют сами по себе и имеют собственный разум...»

В институте царил какой-то непривычный для меня ранее дух освоения нового. Я убедился, что этот дух если и не брат, то уж, во всяком случае, близкий родственник духа свободы. По-настоящему ценя новизну знаний, руководство не скупилось на проведение своих и участие в сторонних конференциях, семинарах и обсуждениях, для меня оказалась совершенно непривычной простота и быстрота оформления командировок: никого не надо было убеждать и просить!

За короткое время я побывал на математическом съезде в тогдашнем Ленинграде, где видел и слушал А.Н. Колмогорова и А.А. Ляпунова; участвовал в первой всесоюзной конференции по вопросам программирования в новом тогда Сибирском отделении академии наук, где среди математических «звезд» выделялись М.А. Лаврентьев, А.Г. Аганбегян и еще целая плеяда блестящих математиков и кибернетиков; побывал я и в Киеве в институте кибернетики. Я уж не говорю о том, что к нам часто наведывались многие светила из Московского университета, чи-

тавшие лекции по отдельным вопросам и даже ведущие небольшие курсы, в частности по алгоритмическим языкам (Алгол-60, Кобол и некоторые другие). Перечислять можно долго, но я хочу здесь отметить то обстоятельство, что заметно стали раздвигаться, так сказать в рабочем порядке, рамки моего восприятия действительности — от масштаба корабельного соединения, к уяснению проблем противостояния с вероятным противником в пределах Северного полушария. То, что несколько лет назад представлялось самодостаточной силой, становилось лишь небольшой частицей в потрясающей мощи противоборства двух общественных систем. С грустной улыбкой я вспоминал, например, горячие и наивные споры на корабле о введении каких-нибудь знаков отличия, вроде аксельбантов или чего-нибудь в этом роде, для плавсостава, чтобы подчеркнуть тяжесть корабельной службы по сравнению с береговой. Какое это имеет значение! В масштабах полушария отдельная человеческая жизнь как бы стиралась, имела значение суммарная мощность группировок боевых средств, — и только. Что там отдельный человек, когда речь идет о целых странах и миллионах человеческих жизней, поскольку критерием эффективности первого атомного удара является ущерб, наносимый противниками друг другу. А он измеряется числом уничтоженных стартовых позиций баллистических ракет, а также числом уничтоженных промышленных центров и соответствующей доли населения страны, исчисляемой миллионами...

Но возвратимся к математике и моделям. Меня заставил глубоко задуматься философский смысл теоремы Гёделя о *неполноте*. Гёдель доказал, что всякая аксиоматическая теория или система неполна, то есть в такой теории всегда не хватает внутренних оснований — или первоначально принятых аксиом — для доказательства непротиворечивости теории или системы. Если максимально упрощать, то это звучит примерно так: метр нельзя измерить метром. Конечно, речь у Гёделя идет о математических теориях и системах, но для меня с самого начала знакомства с теоремой возникло ощущение правомерности приложения ее выводов и к марксизму-ленинизму, поскольку он ни что иное, как теория, да еще научная! Во всяком случае, именно с той поры знаменитое Ленинское выражение «Учение Маркса все-исильно, потому, что оно верно» стало мне казаться недостаточно доказательным...

Уже довольно давно, я стал чувствовать, что мне не достает образа, в котором воплощалась бы «аксиоматика» Великого Учения — все его краеугольные камни, данности, основные черты, особенности, утверждения и положения. Детский образ государства-крепости, окруженной классовыми врагами-капиталистами давно исчерпал себя, а нового не было. И вот математика-кибер-

нетика как бы протянула руку, сказав: государство, общество, народ, этнос, союз людей с его классами и институтами — это же сложные системы!

— Очень сложные,— добавил мой внутренний голос,— потому что человеческие системы, первоначально созданные для одних целей, могут поставить сами себе новые цели, отличные от задуманных.

Приблизительно в это же время в популярном тогда журнале «Наука и жизнь» мне на глаза попала одна статья, где говорилось о разделении полов как о частном случае усложнения и увеличения многообразия в процессе эволюции жизни на земле. Это совпадало с моими мыслями о том, что увеличение многообразия является обязательным спутником прогресса, и о том, что многообразие для своего сохранения требует все более тонкого и точного соответствия происходящим изменениям. Автор статьи писал, что мужчины — это разведчики, новаторы и испытатели, их и рождается несколько больше, чем женщин, потому, что они чаще гибнут. Женщины же, напротив, олицетворяют естественное охранительное и консервативное начало.

Статья вызвала у меня много мыслей и сопоставлений. Ясно, что информация, знания и сознание — это необходимые условия жизни человеческого общества. Последнее располагает оперативной (неустоявшейся) информацией в виде новостей, гипотез, теорий, изобретений и тому подобное. Это с одной стороны. С другой — фундаментальной информацией, проверенной и долговременной, которую мы называем вечными истинами и вечным ценностями. И вот тут мой внутренний голос неожиданно произнес:

— Интеллигенция — это ведь и есть чувствительный элемент в сложной системе, называемой человеческим обществом!

Тут же вспомнилось высказывание Ленина о дьявольской неустойчивости интеллигенции. Прав Ленин, он точно отметил это качество, но дело-то в том, что неустойчивость и есть свойство чувствительности! Антенну локатора не заменит никакой булыжник или монолит. А дальше все пошло складно: за интеллигенцией идет квалифицированная, то есть наиболее восприимчивая часть рабочих. Менее квалифицированная часть — соответственно более консервативна, она, занимая промежуточное и переходное положение, примыкает к более фундаментальному крестьянству. Это, конечно, очень грубая картина, самое первое приближение, но лиши общество интеллигенции — и оно ткнется в стену тупика, не понимая, что с ним происходит. Из того, что общество есть система живая, следует, что оно не может нормально развиваться без интеллигенции, которая никакая не «прослойка» меж-

ду кем-то, а необходимая и самостоятельная часть этого общества.

Просматривая свои старые записные книжки, я нашел в них выписанную ленинскую цитату: «...пролетариат не только вырабатывает свою собственную интеллигенцию, но и берет себе также сторонников из числа всех и всяких образованных людей».<sup>92</sup> Я выписал эту цитату потому, что она была созвучна моим мыслям о том, что без интеллигенции — нельзя, нельзя уничтожать всех «умников», — тогда общество или погибнет, или, как ящерица, будет отращивать новый хвост — новую интеллигенцию. Хотя, подумал я тогда, на это ведь уходит масса лишнего и невозвратного времени и, кроме того, она, интеллигенция, не может быть по определению, — как говорят математики, — частью какого-то класса, она должна быть аксиоматически самостоятельной частью общества как единого целого. Вроде РЛС<sup>93</sup> кругового обзора, спутников, метеорологических и разведывательных служб и других компонент сложных математических моделей. Я, конечно, понимал всю рискованность сопоставления социальных и военных систем, но тем не менее именно с того времени берут начало мои мысли о том, что уменьшение многообразия — это признак регресса; что если бы классовая борьба была движущей силой истории, то все бы истребили всех, на чем история и кончилась бы; что согласие между элементами сложных (вообще действующих) систем необходимое условие их работоспособности. Мне очень понравилась, и поэтому запомнилась, услышанная позднее фраза о том, что история мужчины и женщины не есть история склок, а есть история единения. Остается добавить, что непосредственным поводом возврата к размышлениям об интеллигенции было принятое по инициативе Хрущева решение одного из пленумов ЦК КПСС о перестройке партийных органов по производственному принципу, начиная с обкомов и крайкомов. Они разделялись на промышленные и сельские, что по идее отвечало как бы рабоче-крестьянскому, классовому, составу партии. Прочитав об этом я с раздражением подумал: а как же с интеллигенцией? Опять?! Это разделение явно противоречило и программе и уставу партии принятым всего пару лет назад XXII съездом, где указывалось, что коммунистическая партия, партия рабочего класса, стала партией *всего советского народа*.

Добавлю, что к обретению образа сложной системы относится также появление еретической мысли о том, что Ленин опять неправ, когда все время учит распознавать «главное звено, ухватившись за которое можно вытянуть всю цепь». Сложные системы

<sup>92</sup> Ленин. ПСС., Т. 6., стр. 389.

<sup>93</sup> Радио-локационная станция.

принципиально отвергают такую простоту. Системный подход требует учета всех деталей. Боевые качества сверхотличного истребителя-перехватчика останутся неиспользованными, если не будет соответствующих параметров у наземных средств РЛС и других служб обеспечения, не говоря уж о квалификации пилота. Продолжением этих мыслей стало постепенное отрицание идеологии упрощения, изначально присущей большевизму, или, что то же самое, ленинизму. Положенное в основу мировосприятия, оно, это упрощение, ведет к неучету части объективной реальности, которая становится мнимой и как бы не существующей.

Эта противоречивость, непоследовательность и недоговоренность, а точнее, раздвоенность были характерными признаками хрущевской оттепели и самого Хрущева. Но этой раздвоенности остро в те годы я не чувствовал. Социализм, — а я в нем жил! — был для меня закономерно следующей, более прогрессивной, формой, следовавшей вслед за капитализмом. Одним из основных преимуществ этой новизны мне представлялась возможность более быстро и эффективно достигать цели, возникающие перед государством и обществом. Последние для меня мало чем отличались друг от друга. Так было, — я считал, — с индустриализацией и с коллективизацией, когда партии удавалось сконцентрировать все силы народа на этих, единственно правильных, задачах, так это было во время войны, так это происходит и сейчас (атом, ракеты, космос. вообще НТР<sup>94</sup>). Такой возможности концентрировать силы и средства у капитализма нет. А мы, после решения задач в области военного дела и космонавтики, перейдем и успешно выполним задачи в области повышения благосостояния народа, жилищного строительства и прочая и прочая. По порядку будем ставить и решать, — переходя от социализма к коммунизму...

Космический полет Гагарина в этом смысле просто подтверждал только что сказанное. И какой это был праздник! В нем было явное продолжение Дня Победы: та же стихийная радость и гордость за нас всех — мы всё можем, мы самые передовые, первый человек планеты в космическом пространстве — наш!

12 апреля, сразу же после сообщения о полете, в актовом зале института был установлен огромный отражательный экран, вокруг которого началось целое столпотворение. Начальство, обычно строго следившее за соблюдением распорядка дня, на этот раз тоже оказалось у экрана. Все, затаив дыхание, наблюдали за восторженными лицами москвичей, мелькавшими в телевизоре. Ликующий голос диктора звенел! Гагарин был героем, но он был и обычным человеком, никаким не начальником,

---

<sup>94</sup> Научно-техническая революция.



министром или партийным секретарем, — просто одним из многих, можно даже сказать *одним из нас*, и это вызывало симпатию, идущую прямо от сердца. А тут еще такая, гагаринская, улыбка! Первый раз на экранах во время официальной передачи можно было увидеть самодельные, наспех от руки написанные и поэтому такие непосредственные и трогательные, плакатики и флажки, излучавшие чистый восторг: «Ура Гагарину!!!»

Однако самое большое впечатление на меня произвели слова Гагарина, сказанные им вскоре после полета:

— Земля-то, ведь она маленькая!

Именно с того времени Земля представляется мне космическим кораблем, экипажем которого является все человечество. Небольшим и хрупким кораблем в безбрежной Вселенной...

Года два спустя Ю.А. Гагарин приезжал к нам в институт. Я очень жалею, что в это время находился в какой-то командировке, но у меня есть драгоценная реликвия тех лет — две почтовых марки, выпущенные к первой годовщине гагаринского полета. На их купонах поверх типографского факсимиле Гагарина стоит собственноручная подпись самого Юрия Алексеевича. Марки с этим автографом мне передал один из моих коллег, непосредственно с ним работавший.

Не могу удержаться и не привести здесь анекдота времен оттепели. Армянскому радио задают вопрос: что такое космополит? Ответ: зам. космонавта по политике! О 1946 годе вспоминалось с облегчением и некоторой долей иронии.

Вернусь к противоречивости хрущевской оттепели. Это были годы ракетно-ядерного противостояния между нами — странами ОВД — и НАТО, прежде всего США. Боевая подготовка личного состава вооруженных сил велась с учетом неопременного использования противником атомного оружия, чего, надо заметить, при Сталине не было, мероприятия по ПАЗ и ПХЗ<sup>95</sup> на кораблях стали отрабатываться уже после 1953 года. Испытательные и одновременно демонстративные взрывы атомных и водородных бомб следовали один за другим. Американцы в 1945-м первыми взорвали атомную бомбу, — ладно! — зато мы первыми — водородную, в августе 1953-го. Долго ждать не пришлось — в марте 1954-го американцы взрывают аналогичную на Бикини... Таков был *modus vivendi*, да и само мышление того времени. И касалось оно отнюдь не только собственно военных дел. Любопытно, что решение о массовом строительстве пятиэтажных зданий, а не 9—12 этажных, было принято Хрущевым отнюдь не по эконо-

---

<sup>95</sup> ПАЗ — противоатомная защита, ПХЗ — противохимическая защита.

мическим соображениям (пятиэтажки даже несколько дороже), а потому, что в случае атомной атаки жители быстрее смогут покинуть небольшие по высоте дома, чтобы укрыться в убежищах».<sup>96</sup> Апогеем, но не прекращением, атомной истерии был Карбский кризис 1962 года.

Одновременно со всем этим шла сильнейшая пропагандистская кампания за мир и разоружение, противником которых, естественно, был мировой империализм, во главе с Соединенными Штатами. Пропагандистское пространство до отказа было забито лозунгами о мире: Миру мир! Мир и счастье детей неотделимы! За мир и дружбу! Защита мира есть дело всех народов мира! За разоружение и международное сотрудничество! Paix! Peace! Paz! 𐰽𐰺𐰍𐰏! Мир! Мир! Мир! Конгрессы, конференции, съезды, форумы...

За всем этим стояла нехитрая мысль: МЫ-то хорошие, а вот ОНИ нам угрожают и хотят уничтожить, враг не дремлет! Выход, — только один: наращивать нашу атомную мощь, быть бдительными и пресекать идеологические диверсии. (Последнее выражение появилось именно при Хрущеве). Противоречивостей у оттепели была масса, но я остановлюсь еще на двух, поскольку они сыграли заметную роль в «растрескивании» моего тогда еще все-таки цельного и гармонического мифо-идеологизированного мировосприятия.

Большую положительную роль в работе института — позднее он стал называться В/Ч<sup>97</sup> — играли партийные конференции и партсобрания. Если на служебных совещаниях критика принимаемых командованием решений не допускалась, то здесь она была возможной не только теоретически («критика и самокритика — движущая сила»), но и на самом деле, особенно когда речь шла о научных или производственных проблемах: все мы офицеры, коммунисты, и тем самым равны, пусть хотя бы до известной степени. Поэтому критиковали, конечно аргументированно и вежливо, даже начальника института. Но существовала грань, которую переходить было нельзя — все решения съездов, пленумов ЦК и других *вышестоящих* инстанций принято было только одобрять, в первую очередь относящиеся к вопросам идеологии.

Эта грань была перейдена одним нашим полковником на партконференции, посвященной итогам XXII съезда партии. Он

---

<sup>96</sup> В.Ф. Проmysлов: «И тогда вызвали меня на Старую площадь», Вечерн. Москва, 16 июля 1992 г.

<sup>97</sup> Войсковая часть, — это результат усиления степени секретности и повышения бдительности.

в своем выступлении заметил, что славословия в адрес Хрущева превосходят всякую меру и «осудив культ Сталина мы стали возрождать новый культ — культ Хрущева». Свое замечание он предложил внести в виде дополнения в проект решения конференции. Состоялось голосование. Предложение подавляющим большинством было отвергнуто, но все таки, кажется двое, его поддержали и еще несколько человек воздержались. На конференции, как это было положено, присутствовали представители вышестоящих инстанций. Возмездие за вольнодумство не заставило себя долго ждать, — через пару дней в институт прибыл начальник политуправления. Генерал-лейтенант с холемым неподвижным лицом и абсолютно бесстрастными глазами тигрового цвета объявил, что мы теряем политическую бдительность. Полковника исключили из партии и тут же уволили в запас. Те, кто его поддержал и даже те, кто воздержался при голосовании, получили партийные взыскания и другие неприятности, начальнику нашего политотдела вскоре было предложено уйти в запас... Но все-таки времена были уже не сталинские. Полковник написал жалобу в ЦК и после долгого хождения по мукам и инфаркта был в партии восстановлен, о воинской службе, конечно, речи больше не было.

Эта история оказалась эмоциональным поводом для прямого сомнения в правильности происходившего: за что осудили полковника? почему имеет место двойная партийная мораль? В только что принятом «Моральном кодексе строителя коммунизма» ведь говорится, в частности, о правдивости и нравственной чистоте! Чтобы в дальнейшем не возвращаться к «Кодексу», скажу, что он произвел на меня впечатление недостаточности, если не сказать убогости: написано все правильно, есть даже какое-то сходство с христианской моралью, но разве это можно хоть отдаленно сравнить хотя бы с несколькими строчками из библейского текста! Помню, тогда же мелькнула мысль, что никакая политическая биография Ленина не может соперничать с описанием жизни Христа. И еще: богостроительство, создание «пролетарской религии», которое в свое время отстаивали Луначарский и Горький, не так уж несовместимо с социализмом, и дело вовсе не глупое.

Вторым событием, похожим на случай с полковником, был для меня разгон Хрущевым в декабре 1962 года в Манеже выставки «30 лет МОСХ»,<sup>98</sup> часть картин которой были выполнены не в стиле социалистического реализма, то есть были абстракционистскими и формалистическими, а следовательно и буржуаз-

---

<sup>98</sup> Московское отделение Союза художников.

ными, идеологически порочными и так далее. Вся пресса — тогда исключений не было — обрушилась на ни в чем не повинных художников. Особенно доставалось, по-моему, Э. Белютину и Э. Неизвестному. Я эту выставку видел до посещения ее Хрущевым и порадовался тому, что там были картины авангарда 20-х годов, то есть те, что обычно не выставлялись и в просторечии хохом обзывались *абстрактными*. Для меня с детства эта абстрактная живопись была равноправной частью живописи вообще и я, как мне казалось, понимал ее. Скажем, я хочу передать состояние человека, когда ему скучно. В реалистической манере это можно было бы передать изображением какого-нибудь собрания — партийного, профсоюзного, просто лекции, это неважно, — с докладчиком на трибуне или на кафедре, и несколькими фигурами в зале или в аудитории. Кто-то дремлет, кто-то рисует чертиков в блокноте, а кто-то, не выдержав, откровенно спит. Аналогичное впечатление скуки я могу достигнуть изобразив только одних чертиков (или что-нибудь вроде этого). Как символ, они для меня мгновенно воссоздали бы всю обстановку, и образ скуки явился бы не менее эффективно, чем в первом случае. И та и другая картины вполне могут называться одинаково: «Скука». В этом смысле для меня вполне равноправны изображения зимы на картине любого из наших передвижников и, например, на картине «Палитра зима» (автора, к сожалению не помню), виденную мною на выставке исландских художников в Эрмитаже, когда я учился в Академии. На ней нет конкретного рисунка, но есть потрясающая гамма зимних красок, обобщающих сам образ зимы. От картины веет морозцем и пахнет хвоей, узнается метель и солнечный блеск снега, хотя, повторюсь, ничего не *нарисовано*, зима абстрактна.

Разгон выставки в Манеже меня очень огорчил, Хрущев действовал просто как вельможный невежда. Я думаю, что каждый человек обладает критерием для эстетических, этических и моральных оценок. Рассматривая обстоятельства и поступки я ставлю себя на место действующего лица и спрашиваю, как поступил бы я сам. В данном случае, ставя себя на место Хрущева — как и в случае с ботинком в ООН — я получал от своего внутреннего голоса однозначный ответ:

— Нет! Так поступать нельзя.

Хрущев верил в торжество и близкую достижимость коммунизма, в этом у меня не было, да и сейчас нет сомнения, но оказывалось, что у нас разные представления о коммунизме. Вот в чем было дело! Он любил часто называть себя «Коммунистом № 1», а я, да впрочем и почти все мои знакомые, предпочитали называть себя *членами партии*, потому что *коммунизм был для*

нас *понятием почти святым*, и называть себя коммунистом было бы очень нескромно. Несколько позднее стали известны слова, сказанные Хрущевым в Манеже: «Да, я ликвидировал культ, но в области культуры полностью разделяю позицию Сталина».

Тем не менее, двойственность и противоречивость и Хрущева и оттепели не затронули глубин моей убежденности. Неинтеллигентность или неталантливость лидеров не имели, на мой взгляд, принципиального значения, — идея Учения была верной и она вела нас неизбежно к желанной цели — построению справедливого, сиречь коммунистического, общества. Двадцатилетний срок для его строительства, определенный новой программой партии, казался мне тогда — по молодости — почти бесконечным, и я думал, что его вполне хватит для этого благородного дела. Уж для создания материально-технической базы — без сомнения, тем более, что и опыт и силы были! Победа в войне и образование мирового социалистического лагеря, продемонстрировали несомненную мощь социализма.

Образ сложной системы помогал этой уверенности, поскольку позволял, как мне казалось, мысленно охватить всю картину происходящего. А все элементы системы, то есть реального социализма, действовали непротиворечиво и обоснованно, и все общественные процессы текли в направлении положенной партией и принятой народом цели. Народ и партия едины! Этой целью был коммунизм — следующая за социализмом более высокая фаза общественного развития, светлое будущее всего человечества. Элементы моей умозрительной сложной системы были очень обобщенными, а уровней иерархий у нее было мало. Например, понятия союза людей, этноса, нации, человеческого общества — все это было *народом*. Таким же нерасчлененным понятием было и понятие *партии*. Оно включало в себя и рядовых коммунистов и номенклатуру с элитой (бывших профессиональных революционеров и их преемников), и политбюро во главе с коммунистом № 1. Частная собственность и прибавочная стоимость — синонимы эксплуатации человека человеком — оставались для меня понятиями не системными и даже не экономическими, а сугубо нравственными. То, что прибавочная стоимость и стоящая за ней частная собственность являются непревзойденными стимулами к труду, а следовательно и источником общественного богатства, признать я тогда, ну, никак не мог! Труд — по Марксу — я считал просто первой жизненной потребностью. Я думаю, что это вполне объяснимо — ведь я занимался любимым делом и к тому же трудным.

Я еще помню, у меня тогда возникало желание написать киносценарий, прототипом для образа главного Героя которого был

бы Вилен. Основной коллизией должна была быть коллизия между любовью и долгом. Действие, предполагалось, происходит в Соединенных Штатах во время войны, где Герой оказывается для получения вооружения по лендлизу. Здесь он знакомится с дочерью русского богатого эмигранта и они влюбляются друг в друга. У Героя появляется возможность, конечно, санкционированная «сверху», — скажем, нашим послом, — остаться и работать на общую победу (тогда мы были союзниками) на берегу и с молодой женой. Герой выбирает море и зыбкую надежду на возвращение после войны. Но, и это очень важно для понимания внутреннего мира Героя, сделать решительный выбор ему невольно помогает отец Героини, абстрактно очень хороший человек, но... *частный собственник* и капиталист, а следовательно и эксплуататор. *Долг побеждал любовь*. Так оно было и на самом деле и без всякой частной собственности: Вилен выбрал фронт, а не тыл, хотя у него в Москве была девушка из параллельного нашему классу, которую он любил — Люля Перфильева...

Повторюсь, я жил, не отдавая себе в этом отчета, в мире обобщенных понятий. Для меня тогда *наша цель* (коммунизм) была целью для всех и всеобщим благом, а средства его достижения были праведными изначально и сами по себе. У И. Эренбурга в его книге «Годы, люди, жизнь» есть один эпизод, который поразил тогда меня и показался даже крамольным, я помню был удивлен, что его вообще напечатали. Суть в следующем. Находясь в США, Эренбург однажды у какой-то бензоколонки встретил безработного, который ему заявил, что социализм ему не нужен. Этот энергичный рыжий американец ирландского происхождения, не отказавшийся от угощения, предложенного писателем, — у него не было денег, — тем не менее принципиально не хотел социализма:

— У вас, — сказал он, — нельзя стать миллионером. А я им уже дважды был. Да, я разорился, снова завел дело и снова разорился, от меня даже жена ушла, но я встану на ноги и буду миллионером!..

Эренбург, отдавая должное своему случайному собеседнику, в раздумьи как бы соглашается с ним, говоря, что, пожалуй, этому рыжему авантюристу социализм действительно и не нужен.

Удивительное дело, не имея четких границ, — кроме как «от каждого по способностям, каждому — по потребностям», — утопический и нерасчлененный, глубоко личный по своим представлениям, мир коммунистической утопии, тем не менее, плавно переходил в окружающую реальность. Планировался «научно-обоснованный» выпуск, в конкретных цифрах, стали, чугуна, нефти, угля, проката, зерна, поголовья скота, школ-новостроек и

других материальных и культурных ценностей. И все это — для построения самого передового и совершенного общества в истории человечества, самого нужного для всех, в том числе и для рыжего эренбурговского американца. Так я тогда думал.

Но образ или модель *сложной системы*, идейная основа которой была несколько созвучной идее «общественного договора» времен Французской революции, начал жить во мне самостоятельной жизнью, с течением времени постепенно все усложняясь и усложняясь. Он, этот образ, помог мне вначале окончательно избавиться от представления о пролетариате как избранном классе, а позднее начать понимать, что прибавочная стоимость и частная собственность это не столько «мера эксплуатации» и ее источник, сколько необходимые условия нормальной жизни человеческого общества и, в этом смысле, они понятия *сугубо системные*.

Образ общества как сложной системы живет во мне и сейчас. К моему удовольствию похожий взгляд на общество я заметил и у знаменитого хирурга и кибернетика Н.М. Амосова, прочитав его блестящую статью «Реальности, идеалы и модели».<sup>99</sup>

## ИНЕРЦИЯ



Отсутствие того, что человеку неизвестно, не может сделать его несчастным.

Э.-М. Ремарк, «Тени в раю»

Уход Хрущева с поста «Коммуниста номер один» и приход к власти Брежнева прошли без общественных потрясений. Все выглядело вполне прилично, поскольку коллективное руководство, провозглашенное Хрущевым после смерти Сталина, голосованием, то есть демократически, приняло решение об его уходе, а сам он с этим решением согласился. Важнейшим — я тогда это отметил — было появление прецедента: генеральный секретарь уходил на пенсию. Это было так необычно, — вождь, и на пенсии! Конечно, Хрущев не был вождем вроде Ленина и Сталина, но все же!.. Одновременно со сказанным, его шаг вызывал глубокое сочувствие и как бы «отпускал грехи» за допущенные в

<sup>99</sup> См. напр. «Литературная газета», 5 окт. 1988 г.

его правление несуразности. Он оказался живым человеком, а не монументом самому себе.

С приходом Брежнева «в идеологическом разрезе» мало что изменилось, пропагандистские лозунги вначале оставались прежними: материально-техническая база коммунизма, необходимость догнать и перегнать Америку по молоку и мясу, укрепление мировой системы социализма, борьба за мир и поддержка народно-освободительных движений в Азии, Африке и Латинской Америке, и так далее, — все это оставалось, разве что не так энергично повторялось. Затем была высказана мысль, постепенно ставшая новым пропагандистским лейтмотивом: мы построили развитый социализм, он имеет собственную экономическую базу и на ней независимо и необратимо развивается; давайте с этим делом разберемся, а то уж больно спешим — то кукуруза, то совнархозы, то отдельные обкомы... Одним словом, волонтаризм! Надо научиться пользоваться преимуществами сверхонного, прежде всего в экономике, которая должна быть экономной.

Как-то потихоньку сникли уверения в том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Темп общественной жизни стал спадать. Срок для того, чтобы разобраться с преимуществами установлен не был, но были продекларированы два новых наших достижения — «единый народно-хозяйственный комплекс» и «единая общность — советский народ». Эти достижения не требовали, понятно, каких-то срочных действий. Наступало время, впоследствии названное *застоем*. Но это случилось потом, а в те годы период был возглашен как период укрепления руководящей роли партии. В конце концов это укрепление блестяще отразилось в статье 6-ой Конституции СССР, названной Брежневской.<sup>100</sup> «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза». Так завершилось преобразование абсолютного государства Сталина в партийное государство, начатое Хрущевым и доведенное до конституционного вида Брежневым.

Внешнеполитические проявления, особенно вначале, принципиально также не отличались от хрущевских, но были как бы смягченными. Если возведение Берлинской стены (1961 г.) и Карибский кризис (1962 г.) были непосредственным, лоб в лоб, противостоянием с противником, то ввод в 1968 году наших, вместе с ГДР и Польшей, войск в Чехословакию был, с этой точки зрения «семейным делом» и непосредственно Западу не касался, хотя, как считалось, последний был во всем виноват. Потому, что под-

---

<sup>100</sup> Конституция была принята 7 октября 1977 года.



держивал и подстрекал силы антисоциалистические, правоаппортунистические и контрреволюционные.

Военные столкновения с Китаем в 1969 году на острове Даманском были неожиданными, но они тоже были как бы внутренними, происходившими в социалистических рамках. Объяснение им было простым: мы с культом Сталина справились, а у них культ Мао Цзедуна продолжается. Мы — более передовые, а они отстали. Идеологическая основа конфликта была очевидной: на экранах телевизоров показывали толпы хорошо организованных фанатиков-китайцев «вооруженных» красными цитатниками Мао. Они обвиняли нас в ревизионизме, хором кричали лозунги и живой стеной, выбрасывая все разом вверх и вперед руки с красными книжечками, буквально наваливались на наших пограничников. Позднее к цитатникам добавилось огнестрельное оружие. Что же касается открытия огня, то по-моему, мы были первыми. Впрочем, другого выхода, чтобы остановить вакханалию, я не видел. Происходившее представлялось мне каким-то досадным недоразумением, поскольку и СССР и КНР были странами социалистическими... Меня все время не покидало беспокойство за судьбу Цзы Душэна, — он же четыре года провел в СССР и у нас учился, то есть у «ревизионистов». Хорошо, что наша переписка прекратилась до начала их «культурной революции», но это утешение было слабым.

Описанные события относятся, если можно так сказать, к *стратегии*. Ее можно называть и военной, и идеологической, и политической, и государственной, и даже политэкономической, — тогда это не имело значения, — она была *одной и единой*, то есть *партийной*, поскольку главный враг (или его образ) оставался классовым и звался он мировым империализмом. Для меня это был *реальный* противник — военный блок НАТО во главе с США. Война, как ее ни называй — идеологической, холодной или третьей мировой — шла.

Если стратегия, а она имела дело с нашей философией и идеологией, была относительно стабильна, то *оперативное искусство* было более подвижным. Поскольку «близкое коммунистическое завтра» отодвигалось, нужны были новые акценты в борьбе за мир и усиление военного могущества. Задача была *двуединой* и вполне прикладной — обеспечить сплоченность перед противником. После Хрущева пропагандистский акцент стал все более переноситься на военную сторону этой *двуединой* задачи, постепенно приобретая черты всеобщего военного культа. Истоки явления лежат еще в знаменитом ленинском лозунге о том, что только та революция чего-нибудь стоит, когда она умеет защитить себя. Брежнев, с его классически советским официальным

рабоче-крестьянским социальным происхождением и послужным списком одновременно *гражданского* и *военного* политработника, как нельзя лучше соответствовал требованиям упомянутой *двухединой* задачи.

У Хрущева была неудачная попытка День Победы, оставляя его праздником, перевести из нерабочего в рабочий день. Возмущение было почти всеобщим, и праздничный день вновь стал нерабочим. Брежнев усвоил чужую ошибку. Через несколько месяцев после прихода его к власти Москва становится городом-героем. В следующем, 1966 году, героем Советского Союза становится и сам Брежнев, переименованный XXIII съездом КПСС из первого в *генерального* секретаря ЦК.

8-го мая 1967 года из Ленинграда, с Марсова поля,<sup>101</sup> в Москву на бронетранспортере торжественно доставляется вечный огонь и Брежнев собственноручно зажигает факел на могиле Неизвестного солдата. Военный культ ритуализируется. В этом же году открывается знаменитый мемориал и монумент «Родина с мечем» в честь Сталинградской битвы. Вечные огни один за другим появляются по всем городам и весям.

В Калинин у нового памятника героям, павшим в Великой отечественной войне, также был зажжен огонь. В торжественных случаях, по революционным и военным праздникам включалась запись, и трепетное живое пламя сопровождали удары человеческого сердца, запечатленные магнитной лентой. Мало у кого из пришедших к монументу не появлялись на глазах слезы. (Надо отдать должное одному из начальников подразделений нашей в/ч, предложившего и идею с записью и реализовавшего ее вплоть до установки динамиков).

Военный культ очень умело сочетался с борьбой «за мир во всем мире». Поддержка и того и другого были искренними, ибо прошедшая война затронула буквально каждую семью. Ветераны войны и трудового фронта, — тогда еще совсем молодые, — составляли как раз то самое молчаливое большинство, которое определяло общественное настроение. Этим настроением было: *«Все что угодно вытерпим, лишь бы не было войны!»*

Борьба за мир, позднее ставшая называться борьбой за разрядку международной напряженности, ознаменовалась, с моей точки зрения, двумя очень важными событиями: первым в истории СССР и США визитом в 1972 году президента Р. Никсона в Москву, когда среди других документов был подписан договор о взаимном ограничении систем противоракетной обороны, и от-

---

<sup>101</sup> После революции 1917 года оно было переименовано в площадь Жертв Революции (до 1944 г.).

ветным визитом Л.И. Брежнева в следующем году. В Вашингтоне им в числе многочисленных соглашений был подписан также и договор об ограничении подземных ядерных испытаний. Последний расширял заключенный Хрущевым после Карибского кризиса договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах — в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

Я упоминаю об этих событиях не в последнюю очередь потому, что они, пусть косвенно и отдаленно, но коснулись моей повседневной работы. Пришлось пересматривать некоторые исходные положения для конкретных математических моделей сложных систем. Это уже было проявлением *тактики*. Такого рода пересмотр для меня лишний раз свидетельствовал о честности нашего правительства, поскольку во взаимной пропагандистской борьбе наши противники часто обвиняли нас в нарушении договора по ПРО.

Не боясь повториться, еще раз отмечу, что массовая поддержка и военного культа и разрядки были несомненными. Именно в желании избежать новой, теперь уже непременно атомной, войны и находится исток и консолидации общества и самоотверженного энтузиазма народа, которые позволили нам достигнуть к середине 70-х годов военного *паритета* с США. Результатом военных усилий стала блестящая политическая и, конечно, дипломатическая победа социалистического лагеря. В 1975 году в Хельсинки был подписан Заключительный акт общеевропейского, плюс США и Канада, совещания, по которому границы, возникшие в Европе после второй мировой войны становились неизменными, то есть международно признанными. До этого Запад их таковыми не считал.

По какой-то не совсем понятной прихоти памяти мне представляется плакат, появившийся и широко распространенный в те годы. На нем изображен улыбающийся Ленин с приветливо поднятой рукой и красным бантиком на лацкане пиджака: «Правильным путем идете, товарищи!»

Рассказывая о событиях общественных, я сознательно опередил последовательность личных событий, для которых первые были все таки лишь фоном. Сделал я это сознательно, так как и те и другие стали менее синхронизированы, это во-первых, и во-вторых, — значение событий личных постепенно стало все более возрастать. Я имею в виду их влияние на восприятие социальной реальности. Можно сказать — и социалистической реальности.

Мне везло с непосредственными начальниками — все они были, как правило, людьми умными, честными и порядочными. Лишь в единичных случаях попадались те, у кого командирская строгость могла перейти в самодурство, или кто был недалеким

или плохо воспитанным человеком. Одним из самых безупречных начальников был Владимир Леонидович Иваненко. Это он приезжал в Ленинград и предлагал некоторым выпускникам Академии работу в НИИ. В Калинин Владимир Леонидович оказался моим начальником отдела. Иваненко был киевлянином и тоже, в свое время, ходил в «спехах», но только артиллерийских. Войну он прошел «от звонка до звонка» без перерывов, за исключением пребывания в госпитале. Закончив Артиллерийскую академию и получив назначение в Калинин, он сразу же получил и задание подобрать кадры на открывшиеся вакансии по новому научному направлению, связанному с моделированием на ЭВМ боевых действий сложных систем.

Владимир Леонидович был несколько выше среднего роста, смугловат, худощав и немножечко сутул. У него была характерная украинская внешность, казалось, что он двойник одного из репинских казаков, писавших письмо турецкому султану. Это сходство еще больше усиливалось, когда Владимир Леонидович надевал папаху (он был полковником). Я как-то сказал ему об этом. Он улыбнулся и ответил, что этим сходством его донимали однокашники в академии. У нас сложились очень хорошие отношения, постепенно перешедшие в дружбу семьями, но эти отношения никогда не переходили в амикошонство. Если с чем-то сравнивать, то, пожалуй, они напоминали отношения в офицерской среде, о которых можно прочесть у Куприна или Леонида Соболева. Владимир Леонидович был скромен, сдержан и никогда не выходил из себя, во всяком случае внешне это было трудно заметить. Превосходный математик, в Киеве он еще школьником до войны занимал первые места на математических олимпиадах, Иваненко прекрасно сочетал качества ученого и офицера, его уважали и у него учились, — четкой постановке задач, алгоритмизации, выбору оптимальных методов решения.

Некоторые взгляды на окружающее, да и характеры у нас с Владимиром Леонидовичем были во многом противоположны. Я был, если упрощать, оптимистом-романтиком, а он — он был старше меня — умудренным жизнью и войной реалистом и даже немного скептиком. Но это нам совсем не мешало, даже наоборот. После того, как Вычислительный центр перевели в новые просторные помещения, Владимир Леонидович и я получили на двоих комнату с большим окном и двумя письменными столами. Как и в других отделах, это помещение стало называться кабинетом. Я к этому времени стал заместителем начальника отдела и общение с Владимиром Леонидовичем стало совсем непосредственным и тесным.

Как-то перед очередной офицерской учебой, а тема ее имела отношение к экономике, мы, готовясь к собеседованию, вспомнили про товарно-денежные отношения. В ответ на мое, заученное еще со школьной скамьи, замечание об их отмирании, Владимир Леонидович спокойно произнес:

— Деньги, — это величайшее изобретение человечества.

Я был ошеломлен, такая мысль мне просто не приходила в голову, да она и нигде не была напечатана! Доверие к нашему печатному слову у меня еще не было поколеблено...

Естественно, мы обсуждали не одни товарно-денежные отношения. Многие суждения Владимира Леонидовича были для меня своеобразным откровением. Так, ничтоже сумняшеся, я считал лучшим средством убеждения или просвещения беседу или лекцию, в более широком смысле — проповедь. Он же был убежден в другом:

— Воспитывает по-настоящему *только личный пример*.

Мы много говорили и о войне, и не только как о «продолжении политики другими средствами». Однажды мой постоянный собеседник заметил:

— Право на территорию как на жизненное пространство завоевывают, а не получают изначально от кого-то. Нет ни одного народа, с сотворения мира живущего на одном месте. Вся история говорит об этом.

Я хотел возразить, напомнив о несправедливости немецкого «*Drang nach Osten*», но сразу подумал, что ведь и мы, восточные славяне, частично вытеснили, частично ассимилировали тех же угро-финнов, живших до нашего прихода на обширных землях Восточной Европы.

Обмениваться мыслями, подобными приведенным, можно было только при безусловном доверии друг к другу. В «официальном плане», скажем, в каком-нибудь докладе или лекции перед личным составом, при общении с высоким начальством, вообще, *при исполнении служебных обязанностей*, такое говорить было нельзя: это особенность того времени, факт который имел место. Эта двойственность не была ни двуличием, ни рефлексивной раздвоенностью, это были неписанные правила игры, которые выработались естественным образом. Постепенно и незаметно в сознании и подсознании, по крайней мере у меня, все краеугольные камни, основные черты и данности Великого Учения становились догмами, догмами ритуальными, определявшими официально-общественное поведение. Я думаю, что такая двойственность или раздвоенность имеют место всегда и в любом обществе, но в описываемое время их величина была максимальной.

У меня еще не появлялось мысли о том, что традиция и ритуальность являются тенями религии и, вообще, веры. И что знание не нуждается в силе.

Примерно в это же время я окончательно увидел ограниченность *приказа*. Не в смысле курсантского фольклора — «Получив приказ, поспеши сказать „Есть!“, но не спеши его выполнять: приказ могут отменить», — нет, я убедился, что приказ принципиально не всегда может быть исполнен. Поводом стал случай, когда подчиненная мне сотрудница, инженер-математик-программист, трижды не смогла выполнить задание — разработать программу. Не потому, что она не хотела или у нее не хватало формальных знаний, — дело было в том, что разработка требовала творческого подхода. Случай не был исключительным, похожие явления бывали, но здесь невозможность представала в чистом виде — трижды подряд. Стало совершенно очевидным, что требовать творчества, так же, как и энтузиазм, по приказу нельзя, хотя Верди и написал «Аиду» по заказу в честь открытия Суэцкого канала!

Поскольку приказ представляет собой одну из форм диктата, мои мысли по этому поводу незаметно стали переходить в раздумья о диктатуре вообще, о диктатуре пролетариата, о революционном насилии и его роли в истории, о насилии как таковом, о протравлении и непротравлении злу насилием, о Ленине и Л.Н. Толстом... Я понемногу становился противником силовых приемов и избегал их, если это можно было сделать, так как их эффективность обычно была недолгой. С детства впечатленное: «Насилие есть повивальная бабка истории» уступало с детства же идущей уверенности в том, что *насилие мило не будешь*. Я никогда не верил, что можно «привить любовь», скажем к той же военно-морской службе, любовь или есть или ее нет, это чувство не подчинено рассудку. Тем не менее, убежденность в необходимости «власть употребить», когда это необходимо, оставалась прежней. Непонимание правомерности силы мне представлялось, — и я и сейчас в этом уверен, — чистой воды маниловщиной. Власть без силы смешна, хотя сила без законной власти может быть разрушительной. Нет, не насилие вращает колесо истории!

Уверенность в правильности всего происходящего меня никак не покидала. Мы все вместе, я считал, делаем одно общее дело. И дело это — справедливое, даже святое, потому что мы строим самое совершенное и лучшее в человеческой истории общество. Я знал, конечно, что у нас в стране не всё благополучно: там — воруют, тут — несправедливость, где-то еще — глупость явная и махровый бюрократизм. Но это мне не очень ме-

шало, во-первых потому, что в непосредственной близости таких явлений не было, а во-вторых, я считал, что со временем мы справимся с этим всем общими усилиями, как тогда говорили, в масштабах всей страны. Страна представлялась мне как бы оркестром, дирижировала которым Партия в лице Политбюро ЦК или даже одного Генерального секретаря. При этом каждый оркестрант должен честно выполнять свой долг и свою роль. Мысли о том, что я могу что-либо путное сделать в невоенной области, у меня не было. Все важнейшие решения, принимаемые ЦК КПСС и Совмином казались мне естественно верными по своей природе. По существу на государство были возложены все надежды. Только оно все сможет: и в магазинах все будет, и квартиры у всех будут, а со временем — и машины, и дачи и, вообще, все что надо. По научно обоснованным нормам! Справится оно даже с бюрократизмом, о смертельной опасности которого еще на заре советской власти предупреждал Ленин.

Еще с курсантских лет меня возмущала наша советская неспособность быстро внедрять изобретения и вообще научно-технические достижения в народное хозяйство. Вскоре после войны, например, почти все тогдашние ленинградские газеты писали об изобретении шагового (или зубцового) электродвигателя, обладавшего рядом преимуществ перед прежними двигателями. Его никак не могли внедрить в производство. Позднее он был выпущен в Западной Германии и оттуда появился уже у нас. Тем не менее рассуждений и публикаций о второй промышленной революции, позднее она стала называться научно-технической, было хоть отбавляй. В этом смысле, что можно было возразить против решений скажем XXIII (1966 г.) или XXIV (1971 г.) съездов партии, в которых говорилось о необходимости повышения эффективности производства и ускорения научно-технического прогресса или об органическом соединении достижений НТР с преимуществами социализма?

Мне также представлялся достаточно демократичным механизм выдвижения кандидатов на выборах в различные органы власти, при которых в списках был *только один* кандидат. Механизм этот во многом компенсировал недостатки «выборов без выбора», его суть лучше пояснить на примере. Объявляются, скажем выборы народных заседателей. Из нашего политотдела по этому поводу я, как начальник отдела, получаю указание подобрать подходящую кандидатуру, например, беспартийную женщину. Я приглашаю секретаря парторганизации и председателя профбюро и втроем мы прикидываем, кого можно назвать. Выбираются, конечно, очень достойные кандидатуры: чтобы поль-

зовались уважением, чтобы репутация была безупречной, чтобы были передовиками производства и активно занимались общественной работой. Так образуется первоначально список из нескольких фамилий. Далее начинался очень трудоемкий этап — надо было получить согласие возможного кандидата, не задев самолюбия других. В конце концов на общее собрание выносилась одна фамилия, и кандидатура выдвигалась официально, то есть передавалась в политотдел, а оттуда в райком партии. Случая, чтобы с кандидатурой не соглашались, я не знаю. О том, чтобы в кандидаты мог попасть человек недостойный, — не могло быть и речи, ведь мы все хорошо знали друг друга. Единственный грех наш состоял в том, что мы не выдвигали лучших — ведущих — сотрудников, они были необходимы для основной работы.

Такая же процедура имела место и при выборах в местные советы, но «поиск» кандидатов происходил уже в масштабе Вычислительного центра или Института, принцип же оставался прежним. В те годы верхом демократизма и в КПСС и в стране мне представлялась возможность занесения в списки для голосования хотя бы *двух* фамилий, тогда бы выиграл человек с лучшими моральными качествами, что и было самым главным, поскольку политических различий у кандидатов быть просто не могло. О том, что какая-нибудь политическая кампания могла бы проходить без партийного руководства, я и подумать не мог. Надо заметить, что внутриполитическая жизнь СССР была мало интересной, передовицы газет никто не читал, интересны были только внешние события да и последняя страница, в них была хоть какая-то жизнь, а все остальное — застывшая идеология. Единственной газетой, формально не подчиненной партии, была «Литературка» — орган Союза писателей СССР.

Но все это было настолько привычным, что перестало привлекать к себе внимание. Больше всего меня занимал «квартирный вопрос», разрешившийся только к концу 1963 года, когда я впервые в жизни получил отдельную двухкомнатную квартиру, освободившуюся в доме, построенном в соответствии с хрущевской программой жилищного строительства. Кончилась жизнь на два города, любимые жена и дочь теперь находились постоянно со мной, служба была интересной и перспективной, я искренне гордился своим делом и с радостью утром шел в институт и с радостью же вечером спешил домой. Для меня, как в детстве и как в отдельные периоды корабельной службы, наступила полоса счастливой жизни, точнее — счастливых ожиданий.

Тем ужаснее было то, что произошло через год с небольшим.





## ПРОСВЕТЛЕНИЯ

Наука и религия — это сестры, а не враги.

*Вернер ф. Браун немецко-амер. физик*

Поставив точку в конце предыдущей главы, я подумал о том, что мой роман с идеологией стал походить на летописание. Поэтому в дальнейшем я постараюсь, сохраняя хронологичность — она неизбежна, — как бы укрупнить сито отбора событий.

Выражение «меркнет свет среди бела дня» всегда воспринималось мною как метафора, пока в один из летних дней 1964 года не был поставлен окончательный диагноз и не была подтверждена необходимость срочной операции для Татьяны. Случилось то, что я считал невозможным изначально. Основа этой невозможности, похоже, находилась в твердо усвоенных школьных постулатах о том, что человек рожден для счастья, как птица для полета, и что мы — исторические оптимисты. Была еще, тоже почти детская, надежда: горе и радость распределены равномерно. Несправедливо человеку, оставшемуся в живых после ленинградской блокадной зимы 1941—42 года, еще раз подвергаться смертельной опасности. Была у этой мысли о невозможности и рациональная составляющая — молодость, Татьяна только что исполнилось сорок лет... Но диагноз был как приговор: рак.

Последние три дня перед операцией мне не с чем сравнить — так темно и отчаянно было на душе. Даже солнце, привычное физическое яркое солнце, потускнело.

Незадолго до случившегося я прочел в одном из научно-популярных журналов прогноз событий до конца XX века. Победа над раком ожидалась к концу шестидесятых годов. Это был, пожалуй, основной *реальный* довод, которым я мог утешать Татьяну и себя. И еще — была надежда на волю, на усилие души, которое может побороть любую болезнь. Что-то вроде описанного в научно-фантастическом романе И. Ефремова «Лезвие бритвы» психического феномена преодоления неизлечимой болезни. Такая надежда имела, Татьяна была очень сильной духом, ее энергия и твердость характера позволяли думать, что подобное может быть произойдет и в ее случае.

Операция прошла благополучно. Прогноз на будущее был хорошим — метастазы не были обнаружены... Но безоблачная жизнь счастливых ожиданий для нас уже не возвращалась больше никогда.

Весной следующего года мы с Татьяной по путевке отдыхали в Звенигороде в санатории Министерства обороны. Юг для нее теперь был заказан, но весна в средней полосе России была так хороша, что это совсем не воспринималось как потеря. Тишина вокруг была полной. Слышно было как тает снег на солнышке: весело и звонко. Эта тихая звонкость напоминала нам такой же еле слышный хрустальный звон от таяния плывущих льдин на Неве. Его мы с Татьяной услышали однажды в весеннюю, почти белую, ночь, когда любовались ледоходом с Университетской набережной. Мы почти забыли о нем, но вот он повторился здесь в тающем снеге!

Татьяна еще не совсем оправилась от операции и предпочитала иногда полежать, поэтому побродить по окрестностям санатория мне часто приходилось одному. В одну из таких прогулок я обнаружил за хозяйственной постройкой у оврага груды белосерых крупных обломков. Подойдя поближе, я понял, что это остатки разбитой статуи Сталина. Узнавались складки знаменитой шинели и фрагменты сапог Великого Полководца всех времен и народов, часть руки Великого Учителя и Мыслителя, сжимающая свернутые в трубку листы своих трудов... Это были бранные останки одной из многочисленных копий знаменитого гранитного оригинала, установленного в 1939 году при открытии Всесоюзной сельско-хозяйственной выставки у павильона механизации. Но головы нигде не было видно. Я подумал, что это хорошо, иначе увиденное выглядело бы просто кощунственно. А потом пришла такая мысль: если бы историк из будущего мог бы одним взглядом окинуть СССР году эдак в 1953, то он подумал бы, что вот ведь верующие люди жили, только после 1917-го года зачем-то заменили храмы этими статуями.

Однако, церкви строились на подаяния, а монументы Вождя на средства госбюджета. Додумывать эту мысль применительно к Ленину мне, честно говоря, тогда было как-то неловко, да и просто не хотелось. Все сказанное к нему не имело отношения, он был тогда еще свят. Между тем, девятый вал сооружения памятников Ленину, так же, как и последняя волна разрушения церквей приходится именно на эти годы. Они начались «при Хрущеве». Так, к примеру, в 1957 году Большая Калужская улица была переименована в Ленинский проспект и началась ее перестройка (тогда еще говорили *реконструкция*). На Калужской площади среди прочего снесли здание церкви Казанской Божьей Матери (в нем помещался кинотеатр «Авангард»), а посередине уже совсем новой теперь площади через несколько лет появился памятник Ленину. Тогда мне было жалко не саму церковь, а ее большое и красивое здание в византийском стиле, и детские вос-

поминания об «Авангарде», где я иногда смотрел кино. Знаменитую картину 30-х годов «Семеро смелых» я как раз увидел там.

Из надломленной ветром ветви березы, стоящей у входа в санаторную столовую, прямо на асфальт дорожки капал сок. Его было так много, что лужица не просыхала даже на солнце. Эта картина березовой капли постоянно возникает передо мной при воспоминании о той весне.

У Татьяны в медицинской книжке было записано, что она «выписывается из санатория с улучшением». Со стороны было трудно заметить, что Татьяна перенесла радикальную операцию, — держалась она великолепно. Пожалуй только я, — у нас не было друг от друга серьезных секретов, — знал о ее страданиях. Мы всячески старались, чтобы наша дочь о болезни узнала или догадалась бы как можно позднее. Так что внешне мало что изменилось в нашем образе жизни, мы всячески старались делать вид, что все неприятности как бы прошли. Татьяна продолжала работать и даже продвигаться по службе, через пару лет она стала начальником (я подтрунивал и называл ее начальницей) Нормативно-исследовательской станции объединения «Калининстрой», обеспечивавшей строительными нормативами всю область. Мы оба решили говорить о болезни только в прошедшем времени и как можно реже. Регулярное медицинское наблюдение постепенно стало привычным и воспринималось как профформа.

Изменение взглядов на окружающую действительность и возникновение критического отношения к марксизму-ленинизму шли у меня параллельно и, как я уже говорил, очень медленно. Своеобразными ступеньками в этом процессе были впечатления от увиденного в разного рода поездках, командировках, экскурсиях и тому подобных путешествиях. Остановлюсь только на трех.

Летом 1966 года мы с дочерью по туристической путевке отправились путешествовать по Латвии. Я не буду перечислять красоты и очарования этой дорогой моему сердцу прибалтийской республики, скажу лишь об удивлениях, которые мне пришлось там испытать. Самым главным были удивительная ухоженность и обустроенность Латвии по сравнению с Россией, по крайней мере с ее центральными областями, и особенно — в деревнях. Таких фундаментальных сельских домов и хозяйственных построек у нас я почти не встречал. В хорошо мне знакомых деревеньках Жерновке и Долматово, что под Калинином, дома колхозников выглядели форменными живопырками и развалюхами, почти курятниками по сравнению с латвийскими домами, заботливо построенными не на одно поколение. Пожалуй, тогда мне впервые стало обидно за Россию, контраст нельзя было не заметить. Я попытался объяснить себе его тем, что в наших деревнях

почти не осталось молодежи. Поэтому колхозники пенсионного возраста строили сараюшки на живую нитку, лишь бы на лето сдать их дачникам. Но, с другой стороны, если бы кто-нибудь собрался и выстроил настоящий дом или избу, его обвинили бы в стремлении извлекать *нетрудовые доходы*, и тогда последовали бы соответствующие *оргвыводы*, начиная от штрафа и кончая лишением приусадебного участка, поскольку земля-то колхозная. Все это представлялось мне нелепым парадоксом и недомыслим, а отнюдь не пороком общественного устройства. Я был уверен, что положение вот-вот исправится принятием умного постановления ЦК и Совета министров. Ни о частной собственности, ни о национальном характере, точнее о судьбе России, у меня мыслей не возникало.

Во время одной из экскурсий, входивших как мероприятие в туристическую путевку, наш экскурсовод на перекрестке полевых дорог недалеко от Кандавы показал нам одно любопытное местечко. Углы полей, выходявших к дорожному перекрестку, пару лет назад здесь засеивались кукурузой. Делалось это специально для приезжего начальства. Кукурузы было всего несколько рядов, за ней росли традиционные овес и рожь, но их не было видно! Остается добавить, осмелился так поступать в годы хрущевского повального насаждения кукурузы всего лишь один директор совхоза (или колхоза) герой социалистического труда. В отличие от других, хозяйство сохранило высокие доходы, а сам он стал знаменит на всю Латвию. Помню, что тогда увиденное показалось мне не только смешным анекдотом, но и симптомом неблагополучия в сельском хозяйстве. Неблагополучие это явно проявилось для меня в 1963 году, когда в тогдашнем Калининском ко всему прочему исчез белый хлеб. В булочных был только черный. Именно тогда стали говорить, что в Калининском снабжение московское: все продукты привозятся из Москвы. Тогда же в ходу был анекдот: в магазин входит покупатель и спрашивает белый хлеб, продавец отвечает, что его нет, и добавляет:

— Вот ведь Романовы, царствовали в России триста лет, а запасов на какие-то сорок с небольшим не сумели оставить!

Следующей поездкой, впечатления от которой оказались очень глубокими, была двухдневная экскурсия во Владимир и Суздаль (в 1968 году). Для меня снова, как в 1944-ом в Ленинграде, произошло что-то вроде рывка в глубь истории. Тогда это было движением от 17 года к петровским временам, а теперь — от Петра к XII веку, ко временам Владимирской Руси.

Опять история оказалась доступной чувственному восприятию непосредственно, а не книжно. Удивительно, — допетровское время в какую-то пару дней обрело живую образность.

Автобус останавливается у Золотых ворот, и мы выходим на свежий воздух. Стоит тихий солнечный осенний день. Когда я начинаю осознавать, что Ворота построены более восьмисот лет тому назад, приходит мысль: ведь я люблюсь ими так же, как и наши предки. А времени-то сколько прошло! Мало того, я могу дотронуться до каменной стены и положить свою ладонь на теплую каменную плиту, которую держал каменщик восемь веков тому назад. У меня вдруг открывается какое-то внутреннее зрение и я мысленно вижу целую череду Золотых ворот. Золотые ворота Константинополя, ведущие к Августейону, Золотые ворота Киева, открывающие путь к Святой Софии, и вот эти, Владимирские Золотые ворота, через которые мы сейчас пройдем, направляясь к его знаменитым соборам... Москва и Санкт-Петербург — это уже всё позднее. Доносятся слова экскурсовода о татарах, бравших Владимир приступом в 1238 году. Тех татар давно уже нет, а Ворота стоят.

Большое впечатление на нас с Татьяной произвел один, казалось бы пустяковый экспонат во Владимирском музее. Это была женская сережка, найденная при раскопках в слое земли, соответствующем времени до татарского нашествия. Золотая сережка имела совершенную форму, но мало этого, на ней были укреплены миниатюрные, в виде цветочков ландыша, подвески, куда помещались несколько капель благовонных масел. Серьги с духами! И это — более восьми веков назад! Велика магическая сила вещей! В одночасье рухнуло мое, полученное еще в школе представление о дикости и отсталости наших предков. Не только дореволюционных и допетровских, но и куда более древних.

Чем дальше продвигаемся мы по городу, тем удивлений становится все больше. Увиденное, я не могу подыскать другого слова, потрясает. В оцепенении я стоял в Успенском соборе сначала перед сохранившейся частью фрески 1189 года, а затем — у фресок, писанных Андреем Рублевым и Даниилом Черным. Особенно выразительными кажутся глаза апостолов, ангелов, старцев и вообще всех лиц, изображенных в композициях Страшного суда и Преображения. Я чуть не отстал от экскурсии, залюбовавшись каменной резьбой на белых, с теплым кремовым оттенком, фасадах Димитриевского собора. Здесь красота соединялась, говоря по современному, с информацией. На трех фасадах собора разместились резные каменные картины, среди которых мне оказались доступными Крещение, Вознесение Александра Македонского и поклонение сыновей князю Всеволоду III («Большое гнездо»); князь сидит на троне с наследником на коленях. В каждой центральной закомаре соборных фасадов находится довольно крупное скульптурное изображение глашатая Божествен-

ной премудрости, сотворившей мир — царя Соломона.<sup>102</sup> Значимость этой фигуры подчеркивают стилизованные резные звери, птицы, мифические чудища и роскошная растительность, расположенные по обе стороны и ниже престола библейского царя. Все это создает великолепную и целостную картину мирового порядка и лада, где нет кровопролития и где «Всякое дыхание да хвалит Господа».

Я несколько увлекся. У меня нет возможности более или менее подробно описать все виденное во Владимире, Боголюбове и Суздале. Дело в другом: за дни этой поездки у меня впервые начало складываться понимание *огромной* роли церкви в нашей культуре, государственности, искусстве, национальном характере, короче — в нашей истории.

Я уже писал о своем отношении к религии в детстве. Церковь для меня была просто культовым зданием и только; о Церкви как явлению всемирной истории я и не задумывался. Взрослея, я стал нехотя признавать положительную роль церкви в распространении письменности на Руси, но понятия культуры и цивилизации у меня никак не были связаны с нею. Они связывались скорее со *всеобщим прогрессом*, французскими энциклопедистами, марксизмом-ленинизмом, да еще с некоторыми античными философами. Культ и культура для меня были понятиями антогонистическими. Картины на библейские сюжеты я воспринимал только как повод для художника изобразить и представить человеческие чувства, и еще — показать свой вариант реконструкции древних сооружений и пейзажей, например, той же Вавилонской башни. «Христос в пустыне» или «Что есть истина?», картины художников Поленова и Н. Ге, находящиеся в Третьяковской галерее, мне казались лишь прекрасными реалистическими изображениями смертельно уставшего человека и образного представления такого понятия, как *риторический вопрос*. Сами сюжеты были для меня фрагментарными и не складывались в какую-либо целостность; это и понятно, — Библии я не читал. Школьным обучением я был настолько предубежден, что не испытывал к этой книге никакого интереса. И не только потому, что в те годы практически невозможно было приобрести Библию. Я знал, что мама где-то хранит бабушкино Евангелие, но был убежден, что оно не представляет собой реальной ценности, потому, что как и вся Библия, состоит просто из вымыслов, а сам Иисус Христос придуман церковниками.

Чем дольше продолжалась неспешная поездка, тем большим оказывалось погружение в историю. Красота церквей, соборов,

---

<sup>102</sup> Это мнение философа князя Е.Н. Трубецкого, есть и другое мнение, что это царь-псалмопевец Давид.

монастырей и их стен, палат и хором, неиспорченность исторического пейзажа, особенно в Суздале, завораживали. Самая красивая церковь на Руси — храм Покрова на Нерли — действительно оказалась несравненной. Я попытался сосредоточиться и взглянуть на церковь глазами ее современника. Вот здесь в какой-то момент я понял, почувствовал, осознал, увидел — все сразу! — что храм — это воплощение идеала Прекрасного, осязаемый образ и символ Божественной красоты мироздания, торжество иерархии соподчинения и единства Вселенной. И если раньше религия представлялась мне, условно говоря, Успением, то теперь я впервые почувствовал, что в основе ее находится Воскресение. Этому впечатлению немало способствовали белые облака в глубоком синем небе, зеленое раздолье вокруг и веселые речные отблески, игравшие на церковных стенах. Воздух был прохладен и чист, и кругом было тихо-тихо.

История была *живой*. Скажем, Василий III для меня был просто одним из московских великих князей, упоминавшимся пару раз в школьном учебнике. А теперь я стою в суздальском Покровском соборе, где окончила свой земной путь его первая жена Соломонида Сабурова. После двадцатилетнего бездетного брака она насильно была пострижена и, как «старица София», сослана в далекий тогда Суздаль. С тех пор прошло четыре с лишним века, и вот я вижу очень ветхую, ростом с маленького ребенка, куклу в дорогой шелковой рубашечке и свивальнике. Она извлечена в 1934 году из-под небольшого надгробия рядом с гробницей Соломонида. По легенде Соломонида-София вскоре после заключения в монастырь родила сына Георгия, который сразу же якобы умер и тут же был похоронен. *Якобы* потому, чтобы спасти живого...

Мне всегда казалось, что раньше, то есть до меня, до нашего времени, все было хорошо. Во всяком случае, лучше, чем сейчас. Я думаю, что это связано с тем, что от прошлого, если оно сознательно не разрушается, остаются лучшие песни, стихи, книги, произведения искусства, лучшие здания, дворцы и сооружения. Остальное становится ненужным и незаметно исчезает. Об этом явлении очень точно сказал Чехов. Его мысль: хорошо там, где нас нет, поэтому хорошо и прошлое.

А прошлое кипело страстями отнюдь не уступающими нынешним. Был бы у Соломониды сын — и не было бы у Руси Ивана Грозного! То есть, государь всяя Руси был бы, конечно, но... не такой, не сын Елены Глинской. И, может быть и Сталину не с кого было бы брать пример, несмотря на всю предопределенность развития производительных сил и производственных отношений.

Короче говоря, впечатлений от этой поездки оказалось очень много, но главным было сначала удивление, а потом осознание громадной роли церкви в нашей отечественной истории. Пришло понимание крещения Руси как вхождения в европейскую цивилизацию после бесписьменности язычества. Ко времени строительства того же Успенского собора,<sup>103</sup> мы уже были составной частью *христианского мира*, еще не расколовшегося тогда окончательно на свои западную и восточные части. Строить собор «Бог привел мастеров из всех земель» сообщает летописец. По преданию, своих умельцев прислал даже Фридрих Барбаросса — император «священной Римской империи германской нации». Так что собор помимо русских строили предшественники современных немцев, французов, чехов, а также греков, армян, грузин... Здесь я впервые узнал, что Грузия приняла христианство на три столетия раньше нас. По своему невежеству я думал, что дело обстояло совсем наоборот.

Обратный путь; за окнами сменяют друг друга леса и перелески, поля, деревни, луга, Клязьма и речки помельче, изредка видны люди; и в то же время почти ничего не меняется — Восточно-Европейская равнина, средняя полоса России. Сидя с Татьяной в мерно покачивающемся автобусе мы стараемся хоть немного упорядочить увиденное. Вспоминая Третьяковскую галерею: хронологически ее экспозиция начинается с икон! И тут мысли перебивают одна другую:

— С паперти оглашались царские указы, а народ собирался на соборных площадях!

— Это вполне осязаемая структура государственного управления!

— Опера — это от церкви!

— Библиотека — от церкви, школа — от церкви, университет — от церкви!

— В конце концов, вся академическая наука — от церкви!

— Церковь — это стройная система управления обществом!

— Управление Пропagанды и агитации ЦК — от церкви!

— Монастыри — это, помимо прочего, военные крепости!

— Церковь — это и филармония и концертный зал, и музей, и место встреч молодых людей при домострое-то!..

И, наконец, первый итог раздумий: за что же так попирает церковь? Ведь она могучая часть *Древа жизни человеческой* на земле.

Третьей поездкой, о которой я должен рассказать, была поездка с нашими хорошими знакомыми, только-что купившими «Запорожец» и пригласившими съездить с ними в Ленинград. Я

---

<sup>103</sup> Заложен в 1158 г.



с удовольствием согласился, тем более, что была обещана остановка в Новгороде, в нем я еще не бывал, а посмотреть этот древнейший русский город мне давно хотелось — я надеялся увидеть что-то необыкновенное, даже чудесное, что-то вроде оживших сказок, былин, легенд и преданий. Все в конце концов так и оказалось, но первое соприкосновение с реальностью было унижительно разочаровывающим. За дорожным знаком с надписью «Новгород» мог бы начинаться *любой* городишко или рабочий поселок, но не *Господин Великий Новгород*. Совершенно безликие, стандартные, агрессивно-убогие жилые и промышленные здания никак не могли подходить под это гордое наименование. Неприятное впечатление понемногу стало уходить, буквально на второй план, когда мы въехали в центр города. Место в гостинице нам удалось получить почему-то без всяких трудностей.

Первой моей мыслью, когда я увидел Софийский собор, была мысль о несправедливости: такой город, такой собор — ровесник, если не предшественник<sup>104</sup> киевской Софии, — и всего один купол позолочен! А ведь золотых куполов в Москве, в бывшей столице Санкт-Петербурге, в Киеве — не пересчитать...

Подходим к главному входу в Храм. Врата называются Сигтунскими. Почему? Начинаю расспрашивать. И как во Владимире, история становится *живой*. Оказывается, ворота — это трофей, увезенный новгородцами в 1187 году после успешного морского похода на древнюю шведскую столицу Сигтуну.<sup>105</sup> Ворота великолепны, я люблюсь ими, но они наполовину для меня «закрыты»: из двадцати шести ячеек с отлитыми из бронзы рельефами на библейские сюжеты, я могу угадать далеко не все. Вот это — Адам и Ева, вот это, похоже, сцена Благовещения — здесь голубь над плечем у женской фигуры, вот здесь, наверное, Христос на ослиати... Целый иконостас, а я не в состоянии его воспринимать — не знаю Библии! Тем не менее, не могу оторвать глаз от ворот — до чего же хороши! Умели новгородцы выбрать достойный трофей: Господь-то один, и если он даровал им победу, то значит и вратам в Новгороде лучше, чем у шведов!.. Пожалуй, похожего по силе эмоционального воздействия *трофея* после победы над Германией у нас нет. Вернее, он не обозначен: розовый гранит, приготовленный Гитлером для памятника своей несостоявшейся победы, пошел на отделку дома № 9 по улице Горького. Среди множества мемориальных досок, укрепленных на этом

---

<sup>104</sup> Первый (деревянный) собор построен в 989 г. Каменный, взамен сгоревшего — в 1045—50 гг. Софийский собор в Киеве возведен в 1017—1037 гг.

<sup>105</sup> Сигтуна находится в 60 км от Стокгольма.

здании, нет памятного знака о том, на чем — и каком! — грани- те они висят.

Памятник тысячелетию России, расположенный рядом с Софийским собором, заставил забыть о никудышних современных окраинах Великого Новгорода. Я глядел на памятник с восхищением и любопытством, сделал много снимков и часа два не мог от него отойти. Дело было не только в потрясающем впечатлении от гениального творения М.О. Микешина, здесь присутствовала и другая причина: я не знал более *трети* людей, чьи фигуры олицетворяли историю *моей* родины. А я-то считал себя, — чего греха таить, — образованным человеком!

Особенно много таких лиц было среди композиций «Просветители» и «Государственные люди», да и среди «Военных людей и героев» тоже. Причина незнания была простой — почти все эти люди были людьми духовного звания. До этого я даже не слышал о святых Антонии, Феодосии, Кукше, Платоне и других наших просветителях — преемниках равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. То же можно сказать и о Сильвестре и Гермогене, так же, как и о Довмонте и Авраамии Палицыне...

Я смотрел на фигуру Рюрика и в моей памяти всплывало всё, что к нему относилось: и школьное, — что он не известно, был ли на самом деле; и более позднее, — что он личность полумифическая и легендарная, дань «нормандской» теории; и что он варяг, и что и без него наша история вполне обойтись может. Я любовался Рюриком и славянскими цифрами — кириллицей с титлом — на его щите <sup>ЛѢТА</sup> **СТО**.<sup>106</sup> Я понимал, что мужественное лицо основоположника русской государственности — дар прозрения создавшего его скульптора, но... что поделаешь, Рюрик обретал реальность, такую же, какую для меня ранее приобрел Владимир Ильич на башне броневика у Финляндского вокзала.

Вечером я долго не мог уснуть, памятник вызвал целую лавину мыслей. Самой первой из них была горькая мысль, — мне стало стыдно за наше советское государство (и за себя, конечно), но больше за нашу систему просвещения. Оказывается, меня обманывали и не дали знать нашу же историю, недаром до войны ничтоже сумняшеся на революционные пролетарские праздники памятник обшивали фанерой с классово-выдержанными лозунгами. Правда, во время войны очень многое изменилось и восстановление Новгорода после освобождения его в январе 1944 года началось с восстановления разбитого и подготовленного к выво-

<sup>106</sup> Соответствует году 862-му.

зу в Германию памятника. Не с жилья, но именно с памятника, об этом тогда писали все газеты. А потом — СССР оттеснил собственно Россию и ее историю, и о памятнике забыли.

Как-то неожиданно пришла мысль о Херсонесе — и разом сомкнулась цепочка событий. В свое время в Севастополе на меня очень большое впечатление произвели раскопки Херсонеса. Мы с Татьяной, совершенно очарованные, бродили по его открывшимся улицам двухтысячелетней давности, с благоговением осматривая сохранившиеся остатки храма, городских стен, домов, бассейна и других античных построек. Меня тогда еще поразило смысловое созвучие клятвы херсонеситов, хотя оно и начиналось словами «Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом...», присяге, которую мы принимали, поступая на военную службу. Но при всем при этом Херсонес оставался для меня исторически как бы обособленным от русской истории, хотя я знал, что Корсунь брал Владимир Красное солнышко. И вот по прошествии двадцати лет после первого знакомства с Херсонесом, через Новгород с его удивительным памятником, я неожиданно почувствовал, что Херсонес стал *своим*: Ольга и Владимир смотрели на меня с высоты тысячелетней России.

После Новгорода я окончательно отказался от своей детской данности о том, что Октябрьская революция есть всеобщее благо и начало истории, что все, бывшее до нее, лишь всего предыстория. И более того, я стал активно сомневаться в правоте английского философа и педагога Джона Локка, утверждавшего превосходство разума над чувством и считавшего, что душа до всякого опыта является *tabula rasa*.

Новгородскому памятнику я обязан и еще одним появившимся ощущением — мне перестала казаться бескрайней наша страна, если мерить расстояния конными переходами. Расхожее словосочетание «на бескрайних просторах нашей Родины», с детства прожужжавшее уши, было метафорой, а не достоверностью. Земля для наших предшественников была дорого оплаченной и конечной. Об этом они знали не имея железных дорог, самолетов и орбитальных станций. Понятным стала и первостепенная роль коня в песнях, сказках, былинах, вообще, в народном искусстве и фольклоре. Описанное ощущение было сродни моему давнишнему удивлению, что в морях нельзя плыть куда захочешь. В морях, как оказалось, есть свои дороги, называемые рекомендованными фарватерами. Все это привело меня позднее к уяснению фундаментального факта: *выбор реальности* есть одно из основных прав и одновременно свойств человеческой натуры. Так же, как и обязанности.

## ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ



...москвитам не разрешается даже иметь кораблей, чтобы никто не сбежал таким путем.

Антонио Поссевино. 1561 г.

Вероятно самое сложное в мире для человека — просто наблюдать и принимать окружающее. Мы всегда искажаем картину нашими надеждами, ожиданиями и страхами.

Дж. Стейнбек, «Русский дневник»

К описываемому времени я стал замечать своеобразное раздвоение окружавшей меня реальности. Первой реальностью — *истинной* — была сама жизнь. Второй — ее можно назвать относительной или *выбираемой* — была реальность, воспринимаемая через идеологию. Она требовала видения мира таким, каким он «должен быть» исходя из ее постулатов. Идеологий, вообще говоря, очень много — здесь и красная, и белая, и зеленая, и космическая, и общинная, и идеалистическая, и материалистическая, и пещерная, и так далее. Моя идеология и тем самым вторая реальность была *партийной*. Она соотносилась с первой реальностью как социалистический реализм с просто реализмом, она была отражением действительности в партийном зеркале. Я считал его не только правдивым, но и дающим возможность заглянуть в будущее. Что-то вроде *зеркала русской революции*, в котором отражался Лев Николаевич Толстой и писатели-критические реалисты. Их мы «проходили» по литературе на уроках у Александры Федоровны. Для меня они были не критиками царской тюрьмы народов и ее *очернителями*, а линейными предшественниками «инженеров человеческих душ» — членов союза Советских Писателей, мастеров социалистического реализма.

Партийная реальность базировалась на изначальной своей самодостаточности и единственной правильности. Последнее давало ей как бы и безусловное право «изменять мир», поскольку Маркс и марксизм-ленинизм его уже «объяснили». Оставалось только ускорять да направлять его развитие, то есть строить коммунизм. А к этому я был готов и предназначен всем общественным воспитанием как *новый человек*. Я и сам искренне считал себя таковым с самого детства, когда мир кажется гармоничным и цельным.

Раздвоенность я считал устранимой через высшее воздействие идеологии на реальность. По-другому это можно сказать и так: я верил в возможность искоренения зла, или, что одно и то

же, в коммунизм. Именно отражение царства Божьего на земле, не понимая и не отдавая себе отчета в этом, я видел в зеркале нашей революции. И социализм и коммунизм были неотделимы от нее. Я был уверен в этом.

Государственная всеохватность партийной реальности, воспринималась как ее объективность; субъективная ее правильность также имела место, поскольку в партию я вступал самостоятельно. Я никогда не сомневался в правильности собственного выбора. Особенно в молодости! Повторюсь: я про себя не говорил, что я есть коммунист, так называть себя я считал нескромным, поскольку коммунистическое общество еще не было построено. Другое дело — социализм, он был реален, прописан в конституции и даже развит, но называть себя социалистом было нельзя. Это было бы неверием в возможность достижения его высшей фазы — коммунизма и, кроме того, отдавало оппортунизмом — буквально смертельным грехом социал-демократии и Социнтерна. Поэтому иначе, чем членом партии, я себя не называл.

К началу семидесятых годов многие из моих детски-марксистских данностей естественно перестали существовать, я уже не считал всё бывшее до Октябрьской революции только плохим и не ждал победы Мировой революции в обозримом будущем. Тем не менее, наш Октябрь я по-прежнему считал явлением определенно положительным.

Аналогично данностям разрушались и выветривались краугольные камни Великого учения. Часть из них основательно потрескалась, а такая глыба, как мессианство пролетариата и необходимость его диктатуры, явно превратилась в щебень.

Причиной всему сказанному и было это самое постепенное раздвоение реальности. Оно давало неприятный эффект несовпадения следствий из одного и того же постулата. Например, давно провозглашенное и усвоенное положение о самом передовом в мире (колхозы и совхозы) сельском хозяйстве никак не вязалось с отсутствием мяса и сливочного масла в калининских магазинах. Да и в Москве выбор продовольственных и промышленных товаров был небогат и не соответствовал даже вывешиваемому на стенке магазинов *ассортиментному минимуму*. В те годы ходил такой анекдот — некто спрашивает у армянского радио:

- Есть ли у нас коммунизм?
- Да, есть, но только в Кремле.
- А развитой социализм?
- Есть, в пределах Московской кольцевой дороги.
- А что же на остальных просторах?
- Просто социализм!

Осознание раздвоенности развивалось медленно, мне никак не хотелось расставаться с грёзой о светлом будущем всего че-

ловчества. К тому же и времени для философских раздумий не было, его едва хватало на выполнение служебных обязанностей. Тем не менее, именно эта раздвоенность много лет спустя привела меня к пониманию первостепенной важности факта: настоящая, истинная реальность не раздвоена, а единственна. И — едина.

Раздвоенность, о которой я пишу, была по существу взрослой ипостасью моих детских удивлений. Постепенно пройдя через логику, она коснулась области чувств, а затем и самой души. Особенно болезненно я ощутил это касание, когда оно проникло в ту ее нежную и таинственную область, где обитают мечтания. Здесь давно жила моя детская греза — иметь свою яхту. Яхта должна была быть вроде той, которую мне дарила бабушка, но теперь она уже имела ясно очерченный образ с конкретными размерениями и тактико-техническими характеристиками.

Касание реальности к мечте оказалось болезненным потому, что я понял: эта мечта не станет явью, при социализме у меня собственной яхты не будет. И дело не только в ее баснословной дороговизне, превышающей стоимость нескольких автомашин. (Приобретение машины на мое офицерское жалование даже при работающей жене потребовало бы нескольких лет жесточайшей экономии на всем, включая питание). Нет, яхту можно было бы заполучить на коллективистских началах, прецедент такой имелся. Организовав свой яхтклуб, мы через ЦСК<sup>107</sup> ВМФ, после закрытия польской промышленной выставки в Москве получили несколько небольших килевых яхт и швертботов. Подобным образом можно бы приобрести при случае через ОФИ<sup>108</sup> и крупную яхту, списанную из какой-нибудь в/ч, заплатив за нее по остаточной стоимости. Купили же некоторые из моих сослуживцев таким образом полуразбитые такси «Победа», восстановив их позднее почти до первоначального блеска.

Такая процедура была вполне коллективистской и относительно недорогой, кстати, подобным образом иногда можно было приобрести списанную — все имеет свой срок службы! — учрежденческую мебель, канцелярское оборудование, книги и прочее. Хотя, часто эти вещи просто сжигались по акту, чтобы никому не достались — во избежание злоупотреблений, поскольку были государственным, лично никому не принадлежащим, имуществом.

Таким образом с дороговизной яхты можно было бы как-то справиться. Я даже сформулировал своеобразную социалистическую закономерность: если хочешь что-нибудь приобрести, со-

---

<sup>107</sup> Центральный спортивный клуб.

<sup>108</sup> Отдел фондового имущества.

здай общественную организацию, при ее развале имущество, с учетом износа, можно приобрести в личное пользование. Самое главное при этом — знать кто, когда и где будет проводить распродажу. Собственно, это был прообраз проводимой впоследствии приватизации, хотя этого слова тогда не было в употреблении. Кстати говоря, КПСС формально в советское время числилась всего-навсего общественной организацией.

Но вернемся к яхте. Мне, даже если бы яхта имелась, невозможно было на ней выйти в плавание, мне не дали бы разрешения, прежде всего по режимным соображениям. Но допустим, что удалось бы это как-то уладить, и, все равно, ничего бы не получилось. Ни у кого в СССР официально личной яхты не было. Даже у Генерального секретаря, председателя президиума Верховного совета или Председателя совета министров. Были у них яхты, но.. государственные. Личная яхта была уже за пределами «научно-обоснованных» норм потребления! Личная яхта относилась бы к средствам производства и тем самым, как частная собственность, подлежала бы реквизиции, конфискации или национализации. Ведь нет же личного трамвая, грузовика или танка. Ей негде было бы ошвартоваться и получить электропитание с берега, никто бы не имел права заправить ее государственным топливом, так как другого и не было, и тому подобное. Короче говоря, личная яхта может быть только у капиталиста-империалиста!

«От каждого по способностям, каждому по его труду» и «от каждого по способностям, каждому по его потребностям» — эти принципы, социализма и коммунизма соответственно, жили во мне с октябрьского возраста. В них ясно было всё, кроме *по потребностям*. Спорили о них мы очень много, особенно в молодости. Лет двадцать спустя после описываемых размышлений, мы с Борисом как-то раз прогуливались по Тверскому бульвару в Москве и вспоминали былое.

— Еще на первом курсе я спорил с Геной, — заметил Борис, — я ему говорил, предположим, что наступил коммунизм, а мне для работы нужны два рояля, или, кому-то — два автомобиля. Никто же не даст!

— Нельзя два рояля, — подтвердил Гена.

— Так какое же тут «по потребностям»?

Я так долго остановился на пресловутой яхте потому, что это было разочарование, нет, не в теоретических принципах, а в практической идеологии коммунизма, того коммунизма, который должен быть уже вскоре построен, как то обещали Хрущев и программа КПСС. Личная яхта была несовместима ни с идеологией, ни с духом и моралью ближайшего светлого будущего: будь как все! Тем не менее, разочарование с яхтой не было истоком разочарования в социализме. Я успокоил себя тем, что если у меня

яхты не будет, то в далеком будущем, когда коммунизм «победит в мировом масштабе», мои правнуки смогут иметь собственные яхты, если захотят.

Истоки разочарования, сейчас я это могу определить, оглядываясь на далекое «назад», лежали в экономике. Зимой 1969 года возвращаясь с Татьяной из санатория в Светлогорске, мы проездом на пару деньков задержались в Ленинграде. В первый же вечер на Петроградской стороне собралась наша старая — середины 40-х годов — компания, и после первых рюмок, начав с анекдотов, мы как всегда, стали спорить о политике. Один из спорщиков, преподаватель университета, утверждал, что в холодной войне мы потерпим поражение. Американцы, мол, и НАТО просто разорят нас, мы экономически не выдержим гонку вооружений. Я горячо возражал, правда, мои возражения были скорее идеологическими. Сейчас я могу сказать, что мой собеседник оказался прав, с тем может быть уточнением, что разорили нас не ОНИ, а МЫ сами.

Между тем, здоровье Татьяны ухудшалось, не помогла и вторая операция, надежды на выздоровление уходили... Когда Татьяна была рядом, когда я мог ее видеть, говорить с ней, погладить ее руку, коснуться ее щеки,— всё было еще ничего, но если ее не было около, наваливалась такая тоска, что внутри все разрывалось и я не мог остановить постоянный внутренний стон. Я не находил себе места, спасали какие-нибудь неотложные и сиюминутные дела, даже — мытье посуды: здесь был виден сразу *положительный* результат. О смерти мы никогда не говорили, не столько из суеверия, сколько заботясь друг о друге, я старался ободрить ее, она — меня.

Именно в это время у меня вновь возникли раздумья о Боге и религии. Зачем же понадобилось отнимать веру в Божественное чудо? — спорил я со своим мысленным коммунистическим собеседником.— Ведь эта вера усилила бы сопротивление болезни и, тем самым, пусть хотя и чуть-чуть, но смогла бы поспособствовать выздоровлению. А еще — можно было бы помолиться, сняв с души, пусть частично, огромную тяжесть. Ее бы воспринял Господь, одному ее нести — это уже на пределе человеческих сил. Собеседник неуверенно ответил, что наука в будущем найдет средства борьбы с раком. Зачем же отняли последнюю возможность, когда все безнадежно,— продолжал я мысленный спор,— возможность совершить молитву? Кому это понадобилось? Собеседник не отвечал...

И вот Татьяны не стало. Она не верила, что умрет. Ее последними словами были:

— Как хочется спать, давайте поспим...

.....



Похороны. Холодный ясный мартовский день. Николо-Малицкое кладбище. Ярко освещенные солнцем стволы сосен с темной зимней хвоей. Черeda пришедших проститься, как живая траурная лента. Беззащитные нежные цикламены на голубом крупнозернистом снегу. Траурный марш и чистый голос трубы, уносящийся в высь поднебесную.

Смерть Татьяны была и смертью моей веры в любовь, которая якобы может все победить. Эта вера жила во мне, притаившись с самого детства, даже после смерти бабушки и отца. После смерти Татьяны она исчезла, пришло понимание любви как огромной независимой силы, могущей и одарить счастьем и обернуться неизбывным горем. Одновременно с этим пониманием возникла и как бы шкала сравнительной оценки событий в человеческой судьбе. Высшая степень горя или радости помечена на ней необходимостью изменения образа жизни.

Все сказанное повлекло и перемену многих устоявшихся стереотипов восприятия окружающего мира. Например, выученная еще в школе фраза Сталина "Эта штука сильнее «Фауста» Гёте: любовь побеждает смерть", увековеченная им на последней странице одной из сказок М. Горького, потеряла всякий смысл, а сталинское «незаменимых нет» превратилось в откровенное кощунство. Татьяна была яркой личностью — подстать своему имени — она была превосходной и устроительницей и учредительницей. Марк Червяков как-то заметил, что таких, как Татьяна, — одна на тысячу. В этом есть существенная доля правды, всю свою недолгую жизнь Татьяна презирала, как она его называла, «стадное чувство» и считала совершенно невозможным следовать принципу: «Мне — что, я — как все».

После смерти Татьяны мое сознание, во многом сохранявшее коммунистическую нормативность, усиленную образованием, стало все быстрее замещаться сознанием реального мира, идеология в котором уходила с переднего края. В соотношении «Я и МЫ» первое стало лидером, не в смысле эгоизма, конечно, а в осознании неповторимости каждого человека. Я как-то быстро «повзрослел», хотя об этом и смешно говорить, ведь мне тогда уже исполнилось сорок пять лет. Если мои детские удивления постепенно привели меня к ощущению раздвоенности, о которой я писал выше, то теперь у меня появился даже своеобразный охотничий азарт поиска этих раздвоенностей и уяснения их причин.

Если бы меня до всего случившегося спросили, может ли нормальный здоровый человек заболеть исключительно от одних нематериальных, то есть душевных, переживаний, то я не поколебавшись ответил бы, что нет. Теперь же этот «бытовой» мой материализм исчез. Я узнал по собственному опыту, что переживания души (тогда слово «стресс» еще не вошло в обиход)

очень просто переходят во вполне физическую боль: я два раза попадал в госпиталь, последний раз незадолго до кончины Татьяны, с язвенным кровотечением. Это было своеобразным прозрением, я на себе почувствовал нерасторжимость психического и физического, или духовного и материального мира. Я, конечно, понимаю известную натянутость такого перехода от быта к философии, но что было, то было; таким или приблизительно таким был переход к последней. Я не стал беспокоиться, ведет ли это изменение взглядов к объективному или субъективному идеализму, основной вопрос философии — отношение сознания и материи — явочным порядком решил тогда в пользу дуализма. Возможно, что тогда я не давал просто себе отчета в этом.

Как и у других начальников, одной из моих служебных обязанностей было проведение занятий-семинаров по марксистско-ленинской подготовке, мы их называли просто политзанятиями. Несмотря на все сказанное, я проводил их совершенно искренне и убежденно, считая социализм формой, неизбежно следующей за капитализмом, и, кроме того, в твердой уверенности, что партия является передовой (в смысле объективного знания) силой общества и что общественная собственность выше частной. Поскольку почти все сотрудники, за исключением нескольких операторов, были людьми с высшим образованием, сдавшими государственные экзамены по основам марксизма-ленинизма, темы, рекомендованные для политзанятий, касались главным образом НТР и сопутствующих ей процессов, таких, например, как повышение роли интеллигенции в обществе и т.д.

Оживленные дискуссии велись, как впрочем тогда и во всей прессе, о замене в экономике показателя *себестоимости*, существовавшим у нас с 20-х годов, новым универсальным показателем. Он должен был бы учитывать последние достижения кибернетики (*обратная связь*), математики (моделирование на ЭВМ), а также других, в том числе естественных и гуманитарных наук. Поиски этого *показателя эффективности*, своего рода философского камня для управления социалистической экономикой, продолжались буквально до последних дней Союза Советских Социалистических Республик или, точнее, его Госплана.

Для руководителей политзанятий обычно проводились, иногда очень интересные, обзорные лекции. Именно там официально я узнал о А. Сахарове. Хотя он осуждался, но попутно приводилась невольно и какая-то часть правды о нем. Меня поразила привлекательная парадоксальность его мысли о том, что если бы у русских капиталистов после революции нормальным образом выкупить их собственность, то это было бы в несколько раз дешевле, чем вести Гражданскую войну, не говоря уже о людских потерях...

В этой связи я хочу привести один эпизод, явно повлиявший на мое, уже упоминавшееся, *повзреление*. На одном из занятий речь пошла о Гражданской войне и корниловщине. Наведя накануне в энциклопедии справки, я, говоря о Корнилове, назвал его имя и отчество — Лавр Георгиевич — и сказал, что это был боевой генерал, отличившийся в I-ой Мировой войне и павший в 1918 году в бою с красными под Екатеринодаром. Только и всего, но *так* сказать о генерале Корнилове в то время было почти крамолой. Однако сделал это я не случайно: на занятиях присутствовал в качестве проверяющего секретарь нашего парткома и мне, из почти мальчишеского озорства, захотелось, в свою очередь, проверить, обратит ли он на крамолу внимание и, самое главное, доложит ли о ней «по инстанции». Доложил! На следующий день, после совещания в политотделе (проверялись, оказывается все группы) секретарь подошел ко мне:

— Игорь Дмитриевич! Вы очень хорошо провели занятия, я в этом и не сомневался, но зачем вы Корнилова называли по имени-отчеству! Об этом в качестве моего замечания я доложил начальнику политотдела.

— Вы же понимаете,— возразил я ему,— надо знать, что белые были сильным противником и тем самым достойны определенного уважения.

— Может быть, но вы в следующий раз все-таки не называйте их по имени отчеству — это слишком.

На том и разошлись. Начальник политотдела меня не вызывал.

Нравы были пуританскими, что и говорить, и проявлялись не только в борьбе за идеологическую чистоту в политике, идеологизировано было всё. Пример: одна из моих новых сотрудниц однажды пришла на работу в брючном костюме (дамские брюки только-только стали входить в моду). Буквально через десяток минут ко мне заходит секретарь парткома и спрашивает:

— Что будем делать?

— Что-нибудь случилось?

— Как же, ваша Р-ва пришла на работу в брюках!

— Ну и что?

— Надо бы ей сказать, чтобы она сходила домой и переоделась.

Я взял подполковника под руку и попытался ему разъяснить, что бороться с модой, даже буржуазной, не только смешно, но и самоубийственно опасно. После некоторого раздумья он согласился со мной. Через полгода мы с ним смеялись, вспоминая этот случай. Но это был другой секретарь парткома, не тот, с кем мы говорили о генерале Корнилове.

Политотделы, как носители партийных функций в Вооруженных силах, обладали, конечно, большим влиянием, но еще более

значительным влиянием обладали особые отделы, правда, спектр их интересов был на уровень выше и естественно уже. Их представителей — особистов — побаивались, а все *рекомендации* исполнялись безоговорочно.

Только что сказанным я хотел предварить небольшую историю, происшедшую через некоторое время после «случая с Корниловым». В один из декабрьских дней меня вызвал к себе мой непосредственный начальник. Проверив, плотно ли закрыта дверь, он сказал:

— Игорь Дмитриевич, Л-ва ваша сотрудница?

— Так точно!

Речь шла о студентке-дипломнице, защищать свой проект которой предстояло в моем отделе, она приехала вместе с мужем, таким же дипломником.

— Нужно ее уволить, — и несколько помедлив, продолжил, — ей ошибочно оформлен допуск.

Я сразу же представил себе, какой это будет удар для Л-ых, недавно приехавших к нам из одного сибирского университета.

— Но она на сносях, — я нарочно употребил это слово, чтобы снять официальность разговора.

— Ничего не могу поделать, приказ надо выполнить.

— У них ведь нет нигде своего жилья, кроме комнаты в нашем общежитии!

— Ее отец украинский националист, их вообще не надо было брать, это тамошнее упущение.

— Да, но ведь зима за окном, куда она поедет в Сибирь рожать, студенческие общежития не пустуют, а снять квартиру им не на что.

— Я сталинист и считаю такую рекомендацию обязательной, как всякий приказ. Настоящая причина увольнения не должна быть названа. Вы сами большой начальник и решайте как все сделать. Я больше к этому вопросу возвращаться не буду.

Вернувшись к себе я задумался. Слово *сталинист* еще не приобрело тогда определенно негативного значения, хотя XX съезд партии уже давно прошел. Мой начальник был на десять лет старше меня и называя себя сталинистом, хотел этим, я думаю подчеркнуть то, что он пережил 37-ой год и знает, как опасно шутить с *органами*. Он как бы передавал мне свой опыт и, опять-таки, следуя своему опыту, устранился от всего дальнейшего.

Как же быть? Ничего путного не приходило в голову, мне просто казалось несправедливым отправлять Л-ых обратно. Позднее появилась мысль, так сказать, об общественной пользе: зачем озлоблять людей против советской власти, врагов у нас и

так достаточно. С этой мыслью я и направился к начальнику политотдела, рассчитывая на понимание и поддержку. Генерал, выслушав меня, в сущности сказал то же самое, что и мой начальник, так что я вернулся ни с чем.

И вот тут мой внутренний голос, долгое время не подававший признаков жизни, вдруг громко произнес целый монолог.

— Что же это ты? Читаешь лекции на политзанятиях, воспитываешь подчиненных, ссылаешься на «Моральный кодекс строителя коммунизма», а сам? Боишься?

Я непрерывно расхаживал взад и вперед по комнате, ответа у меня пока не было. Потом появилось, наконец, решение: пойду к особняку — так мы обычно называли начальника особого отдела. На следующий день я был у него. Внимательно выслушав мои соображения, он задал, в отличие от предыдущих начальников, всего несколько конкретных вопросов:

— Тема диплома секретная?

— Нет, чисто математическая.

— Хорошо, а вы можете эту дипломницу посадить работать в отдельном помещении?

— У меня несколько таких студентов как она, все они работают в отдельном помещении.

— То есть требования режимности соблюдаются?

— Конечно.

— Вы правы, незачем озлоблять людей. Пусть защищается здесь, а потом устраивается в городе, тем более, что у ее мужа допуск остается и он работать у нас сможет. А ей скажем, что нет вакансий.

Услышав это, я облегченно вздохнул и с удовольствием посмотрел на улыбающееся лицо майора. А он, после небольшой паузы, как само собой разумеющееся, напомнил:

— Все обстоятельства вы коротко изложите в рапорте и подпишите его, конечно.

— Служба есть служба!

Написав рапорт, на следующий день я снова явился к своему непосредственному начальнику: рапорт должен подаваться по команде, то есть «по инстанции». У меня еще сохранялась надежда, что мое ходатайство будет поддержано. Но нет:

— Хорошо, вашей подписи достаточно. Я подписывать не буду.

— Есть!

Щелкнув каблуками я вышел, спустился на первый этаж и тут же отдал рапорт особисту. Он прочитал его и сказал, что все в порядке.

Прошло уже много лет после этой истории, но я помню ее, как будто она случилась совсем недавно. Для меня она оказалась

главным, хотя и не сразу осознанным, симптомом неблагополучия всей той идеальной, как я считал, общественной системы, которую мы строили. Раздвоенность, о ней я говорил в начале главы, достигла такой тонкой материи, какой является этика.

Проблемы, встречавшиеся мне по службе, для своего решения, как правило требовали знаний, умения, опыта, сообразительности, быстроты и тому подобного, иначе говоря логически обоснованных или по крайней мере поддающихся формализации действий. Как, скажем, для предотвращения гибели линкора «Новороссийск» достаточно было бы, по-моему, командующему флотом не вмешиваться непосредственно в действия экипажа корабля. А здесь — речь шла об *этическом выборе*: и увольнение, и неувольнение дипломницы были одинаково — и формально и законно — равноправны. При этом моего начальника ни в коей мере я не мог, и не считал, ни глупым, ни злым. Мало этого, мы оба были членами *одной* парторганизации. Если бы вопрос решался на собрании, то последнее слово было бы за большинством. В дело вступила бы партийная дисциплина и вопрос был бы решен. А здесь — выбор каждого сам по себе! Казалось бы, он должен быть одинаковым, а оказался разным.

Задаваясь вопросом, почему описанные в этой главе события оставили такой большой след в моей памяти, необходимо установить, а что же у них есть общее. Смерть любимой жены, крах мечты о личной яхте, случаи с секретарями парткомов по поводу генерала Корнилова и дамской моды и, наконец, этический выбор имеют нечто между собой общее. Оно в том, что всё сказанное касалось чувств *непосредственно*. Что может разум противопоставить «нравится — не нравится»? Ничего. Его прерогатива — «логично-абсурдно». Чувства появляются с криком младенца, а остальное, если Бог даст, приобретает уже потом.

*Коммунизм*, будь это слово переведено на язык моих детских чувств, звучал бы как сказка о прекрасном царстве, сказка, становящаяся былью, как мне об этом ежедневно напоминали песни, радио, кино, книги, школа... Так или иначе все ключевые образы моего Я с детства разместились в этой сказке-мечте, где всё — «от каждого по способностям, каждому по потребностям». В ней жили Иван-царевич с Марьей-царевной на сером волке, д'Артаньян с тремя мушкетерами, Робинзон Крузо, капитаны Немо и Саня Григорьев, инженеры Сайрус Смит и Гарин, князь Серебряный, Павел Корчагин, Ассоль и капитан Грей, — всех не перечислишь, а также фундаментальные представления о любви, долге, верности, честности, справедливости, о Владимирской Руси и Коммунистической партии. Поэтому ни культ вождей, ни разоблачение «врагов народа», ни неожиданность войны, ни

громадные ее потери, ни вечные продовольственная и жилищная проблемы, а также жестокость, глупость и даже преступления «руководящей силы» не могли до определенного срока справиться с чувствами. Короче говоря, коммунизм я *любил*, а усилия моего разума были направлены на защиту привлекательности его образа. Я не был одинок в *таком* восприятии коммунизма. Ираиде Луговой, моей давнишней хорошей знакомой, когда ей было лет десять, мама говорила:

— Не будешь слушаться, тебя в коммунизм не возьмут!

Замечу, что это было уже *после* войны.

К описываемому времени я понимал, что коммунизм — это ФАТА-МОРГАНА или, если попроще, меняющаяся со временем идеология и пропаганда, но... изначально он был частью моего Я и расстаться с ним по чисто умозрительным соображениям я не мог. Этический выбор в случае со студенткой-дипломницей оказался *поворотной точкой*, причем не сразу и осознанной. Я стал, наконец, чувствовать (хочется сказать *понимать*!) что социализм, как общественный строй, не гарантирует безошибочность выбора между справедливостью и произволом, между свободой и равенством, между любовью и долгом, вообще, между добром и злом. И не потому, что нельзя ввести нормы, законы или жесточайшие наказания, нет, а потому, что люди *разные*. Если до всего сказанного Великое учение разрушали только внешние обстоятельства и события, то теперь оно начало разрушаться и внутри моего собственного сознания.

Так раздвоенность обернулась для меня необходимостью выбора, который много лет спустя привел к исчезновению породившей его раздвоенности. Остается сказать, что у Л-ых все обошлось хорошо. Я, разумеется, ни о чем им не говорил.

## ГРАЖДАНСКАЯ ЖИЗНЬ, ПЕРВЫЕ ШАГИ



Попытка заменить чем-либо рынок, это преступная самонадеянность.

Ф. Хайек, экономист

После событий, описанных в предыдущей главе, переход моего Я из партийной реальности в реальность действительную стал идти быстрее, одновременно возросло и число подобных со-

бытий. Они происходили и в экономике, и в политике, особенно в идеологии, и в такой неопределенной области, какой являются человеческие качества и человеческие отношения, и, наконец, в истории. Той самой истории, которую я знал плохо, поскольку она была наукой как бы второсортной и которую надо было еще *истолковывать* через «Краткий курс». Его положения оставались по сути своей неизменными, хотя с 1964 г. он стал называться «Историей Коммунистической партии Советского Союза». Историю я знал плохо не потому, что не любил ее, а потому, что она очень узко и боязливо преподавалась. Даже курс военноморской истории в училище был не общим, а касался только «времен Очакова и покорения Крыма» да побед в Великой Отечественной войне. Одни победы и только одно поражение — Цусимское, по вине прогнившего царского самодержавия. Книг по мировой и русской истории почти не издавалось. Может быть по всему по этому очень большое впечатление (до сих пор помню и храню) произвела на меня книжечка Б. Бродского, купленная в вокзальном киоске Союзпечати в 1965 году.

К этому времени, и даже раньше, у меня стали появляться мысли о том, что не будь капитализма, наше социалистическое развитие было бы совсем другим — значительно более медленным. Станок, к примеру, не имел бы морального срока износа, а — только физический. Но поскольку капиталист выпускает новый станок с лучшей производительностью и КПД,<sup>109</sup> нам поневоле приходится растрачивать впустую средства, и заменять еще годный станок на новый, чтобы не отстать от этого самого капиталиста. А отставать нельзя, отставших бьют, особенно в военной области.

Но вернемся к тоненькой, в мягкой обложке и карманного формата книжечке Бродского. Называлась она «Ненайденные сокровища» и состояла из трех небольших рассказов, один из которых заставил меня много думать об исторических параллелях и, более того, об объективности законов истории. Рассказ назывался «Золото инков» и речь в нем шла о баснословно быстром сокрушении в 1533 году двенадцатимиллионной империи инков горсткой испанских конкистадоров во главе с Франсиско Писарро. Вершиной имперской пирамиды был Великий Инка, считавшийся живым богом. От него вниз расходились ступени чинов и должностей. Подданные империи жили в общинах под начальством назначенных императором вождей. Чиновники занимались контролем и распределением; запрещалось иметь жилище сверх установленного размера, имущество и запасы; зем-

<sup>109</sup> Коэффициент полезного действия.



ледельцы и ремесленники неукоснительно и в срок должны были сдавать треть урожая и продукты ремесла на склады бога Солнца. Индейцы не знали ни торговли, ни денег, и были приучены неустанно трудиться и беспрекословно повиноваться. Каждый знал свое место, которое нельзя было ни покинуть, ни изменить. Преступлений, связанных с частной собственностью не было, так как не было и ее самой, понятия «богатый» не существовало.

Все это невольно заставляло сопоставлять прочитанное с действующими нормами жилой площади, величинами приусадебных и дачных участков, госконтролем, еще не забытым партмаксимумом, выполнением «первой заповеди» колхозами по сдаче хлеба государству и стремлением заменить товарно-денежные отношения продуктообменом. И, конечно, с пропиской в городах и с отсутствием паспортов у колхозников. Аллюзия была очень сильной!

Империя инков рухнула так быстро не столько из-за того, что несколько сотен испанцев были лучше вооружены и у них имелись лошади, которых у индейцев не было, сколько потому, что за исключением имперской верхушки, миллионы инков не имели материальных стимулов. Империя была им не нужна, они защищали только своего живого бога.

Не приведи подобному случиться с Советским Союзом, как бы не рухнул! — такая шальная мысль приходила мне в голову, но тогда я успокоил себя тем, что хотя всякое начало и имеет свой конец, но конец Союза отстоит по времени почти бесконечно далеко. На тысячелетие во всяком случае. И тем не менее, «Ненайденные сокровища» заставили меня впервые задуматься о серьезных пороках, нет, не социализма, а нашей социалистической экономики, об ее неэффективности (никак не догоним западные страны) и невосприимчивости к научно-техническому прогрессу (кроме военного дела и космоса нигде ничего невозможно внедрить). Вместе с тем, я не устал повторять себе, что только социализм может быстро сосредоточить все силы государства на одном решающем направлении и добиться выдающихся результатов. И, кроме того, у нас ликвидирована безработица. О ней ходили разные анекдоты, в том числе и такой: у НИХ безработица перед заводскими воротами, у НАС — за ними. Но факт оставался фактом: прямой безработицы не было, объявления о том, что требуются подсобные рабочие, грузчики, швеи-мотористки, дворники, токари, слесари, машинистки и инженеры можно было видеть практически у каждой проходной завода, фабрики, учреждения и в любой подходящей газете. Все это было и социальной политикой и социалистической экономикой.

Однажды в электричке Калинин—Москва соседкой у меня оказалась приятного вида хорошо одетая женщина среднего возраста. Разговорились. Она оказалась директором (хочется ска-

зять директрисой) одного из текстильных предприятий. От нее я услышал:

— Мне выгодно даже какого-нибудь пьяницу принять на вакантное место, пусть он работает хотя бы наполовину, план ведь дается по штатной численности!

— И что, вы будете ему платить полную ставку? — спросил я.

— А что поделаешь, иначе я не выполню план по натуральным показателям — по количествам штук...

Я после этого разговора вспомнил впечатления Татьяны, когда она еще была жива, о работе шахтеров на западе Калининской области, — дело было в середине шестидесятых годов. Шахтеры добывали бурый уголь, который практически никому не был нужен, но у жителей поселков другой работы не было. Почти весь шахтный обслуживающий и вспомогательный персонал составляли женщины, большинство из которых после войны стали матерями-одиночками. План добычи угля составлялся таким образом, чтобы обеспечить самый минимальный прожиточный минимум, шахты не закрывались, но ни на одну тонну перевыполнять план не разрешалось. Безработицы не было... Социальная направленность экономики не вызывала сомнения.

Именно тогда у меня начала появляться мысль, позднее принявшая форму сравнительного определения: если при капитализме богатый эксплуатирует бедного, то при социализме нерадивый эксплуатирует прилежного. Или, ленивый — предприимчивого, пьяница — трезвого, неспособный — способного и так далее в том же роде, вплоть до равный — неравного, то есть бездарный — талантливый. Однако до этого сравнительного определения должно было пройти еще много времени. А пока я хочу вкратце рассказать о событиях, касающихся моей собственной жизни.

После смерти Татьяны моя дочь вышла замуж, ее мужем стал Олег Ляшенко, сын наших давних хороших севастопольских знакомых. Оба они в один и тот же год закончили: он — высшее Военно-Морское инженерное училище в Севастополе, а она — Калининский Политехнический институт, и вместе уехали в Ленинград, где строилась атомная подводная лодка, на которую Олег получил назначение.

Я женился вторично. Моей женой не случайно стала Ирина. Ее семейная жизнь сложилась не лучшим образом и ко времени нашего «вторичного» знакомства она уже расторгла свой первый брак, и с сыном и дочерью жила в Москве. Трудновато было, но постепенно все как-то уладилось, Ирина с Аленкой (ее я вскоре удочерил) переехали ко мне в Калинин, а Михаил, он уже был взрослым, отслужив в армии, вернулся в Москву.

К этому времени обстановка у меня на службе заметно изменилась. Ушел в запас начальник института Сергей Федорович

Ниловский — Герой Советского Союза, генерал-лейтенант артиллерии, один из заметных создателей ракетной мощи страны, талантливый государственный и военный человек и к тому же дипломат милостью Божией. Один штрих. Руководя строительством полигона в Капьяре ему часто приходилось слышать вопрос Л. Берия, курировавшего среди других и эту стройку: «Кто мешает?». Сергей Федорович рассказывал, чуть-чуть удовлетворенно улыбаясь, что он ни разу не назвал ни одной фамилии!..

Сергей Федорович уехал в Москву, на его место был назначен новый начальник, более молодой, но не награжденный природой блестящими качествами своего предшественника. Ушел в запас и мой непосредственный начальник. Проектировавшийся на его место Владимир Леонидович начавшейся кампанией омоложения кадров был также уволен в запас и заменен, на мой взгляд, не очень подходящей фигурой. Владимир Леонидович был талантливей, а его победивший конкурент — только моложе. Я не знаю рецептов для разумного проведения кампаний в строго централизованных иерархических структурах, особенно кампаний кадровых.

В январе 1976 года у меня, как у капитана I-го ранга, которому исполняется пятьдесят лет, возникло право уйти в запас. На следующий день после этой круглой даты я подал рапорт об уходе. Начальник института предлагал мне послужить еще пять лет, но я настоял на своем. Процедура оформления документов, включая медицинское обследование в госпитале, заняла почти восемь месяцев. 27 августа 1976 года приказом Министра Обороны СССР я был уволен в запас. Настаивать на уходе в запас меня заставило сразу несколько причин. Первой причиной была потеря интереса к карьере: вероятность получения адмиральского звания была очень невелика, так же как и достижения заметных результатов в математике, для последних нужна молодость, если не юность. Кроме того, мне уже захотелось осесть *напостоянно*, а для этого надо было перебираться в Москву. Была и еще одна причина: я почувствовал в себе (не вокруг!) какой-то легкий ветерок свободы, соблазнявший меня возможностью снова — почти как в детстве — выбрать себе занятие по душе, благо, что пенсия минимальные возможности для этого обеспечивала.

Переход на гражданскую стезю был очень разочаровывающим в смысле непосредственного знакомства с имевшимся законодательством. Под многолетнее убаюкивание пропаганды о том, что ты живешь при самом-самом передовом, демократическом и справедливом государственном и общественном строе, начинает казаться, что так оно и есть на самом деле. Неприятной ноткой в свое время было узнавание, что в ГДР офицеру до пенсии можно служить и десять и пятнадцать лет, а не как у нас — тогда —

двадцать пять. Просто ты получишь не всю, а часть полной пенсии. Это мне рассказал Эрих еще в академии. Тогда о пенсии я и не думал, просто отметил, что у них заботливее относятся к человеку.

Столкновением с законной несправедливостью была попытка моей дочери поступить в университет. Оказалось, что конкурс существует не столько для определения способностей абитуриентов, сколько для целей, очень созвучных с целями знаменитого царского циркуляра 1887(!) года, получившего название «О кухаркиных детях».<sup>110</sup> Поступающие и теперь делились на несколько социальных категорий: из рабочих, из колхозников, из служащих, из москвичей и не таковых (прописка!), с производственным стажем и без него, на дневное отделение или на вечернее... У Таньки была самая низшая категория и, соответственно, самый трудный проходной балл, ей не хватило — нескольких десятых. Тогдашний ректор факультета психологии МГУ А.Н. Леонтьев зная, что школу Танька кончила с серебряной медалью, с сожалением сказал, что он бы взял ее даже «из служащих», если бы она была прописана у бабушки, то есть в Москве.

Еще один случай узнавания законов произошел, когда мой коллега по службе, такой же начальник отдела, как и я, тяжело заболел и вскоре скончался. Остались бывшие на его иждивении вдова, ей было около пятидесяти, и двое сыновей, оба старше восемнадцати лет, студенты. Для них случившееся оказалось, помимо всего прочего, материальной катастрофой — пенсии по случаю потери кормильца было не положено, вдове еще не исполнилось пятидесяти пяти лет. Но! Вот если бы ее муж был генералом или адмиралом, то пенсию ей назначили бы даже в том случае, если бы ей было всего восемнадцать лет и один день. Именно с этих пор я стал подозревать, что законы пишутся не для всеобщего блага, или социальной справедливости, а в интересах тех, кто имеет возможность или право их писать.

Самое же серьезное столкновение с «самыми передовыми» законами произошло у меня при оформлении документов для ухода в запас. Оказалось, что получив квартиру по месту службы (кроме закрытых военных городков) офицер не имел права прописаться, то есть переехать, в ряд городов СССР, в том числе и в Москву. Неважно, что я, скажем, там родился и вырос, что у меня там живут мать и сестра, все это не имеет значения... Поистине, слова популярной в те времена песенки были издевательски точны: «Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!» Однако, я имел, как гражданин пресловутого Союза, право обменять квартиру в Калинин на Москву, при

---

<sup>110</sup> Циркуляр подготовленный министром народного просвещения Российской империи И.Д. Дягилевым в 1887 году.

условии, что число въезжающих и выезжающих одинаково, и количество квадратных метров жилплощади на каждого человека не менее санитарной нормы, то есть 8 м<sup>2</sup>.

Так я и хотел сделать, но найденный прямой обмен сорвала баба-инспектор из обменного бюро, получившая взятку от третьего лица. Об этом в вечер накануне оформления документов рассказал мне мой обменщик. Он пришел ко мне домой и попросил прощения за вынужденный отказ, сказав также, что муж этой инспекторши служит в КГБ и он не захотел иметь неприятности. Тогда, махнув рукой на обмен, который мог затянуться как угодно долго, я решил сдать квартиру своей «взчэ», а в Москве начать с жильем все с начала и встать на учет.

Теперь настала очередь начальника отдела кадров! Он стал меня убеждать, что выписать мне документы сможет лишь при наличии приказа о переводе меня в Москву по службе, и что он не знает случая, когда бы офицера, уходящего в запас, в Москве прописали бы *просто так*. Но такие случаи были. Марк Червяков, к примеру, после ухода в запас был прописан к матери в Москву. Правда, ему более семи месяцев пришлось обивать пороги чиновных бюрократов, но своего он добился. Этому способствовали, как он считал, два фундаментальных обстоятельства. Во-первых, чиновник никогда от себя ничего не отнимает, «отдает» — государство, и, во-вторых, он надеется на слабаков, которым надоест отстаивать свои права и они от него, чиновника, просто отстанут. Фундаментальность этого наблюдения подтвердил Тимур Байдаков и еще несколько моих однокашников.

Не стану описывать собственные хождения по инстанциям, собирание справок, писание заявлений, стояние, — точнее сидение, — в очередях, а так же общение и беседы с разного рода и вида чиновниками как в мундирах, так и в пиджаках. В конце концов решающими оказались три обстоятельства. Во-первых, упорство; во-вторых, то, что Ирина оставалась прописанной в Москве; в-третьих, моя справка о прописке перед уходом на воинскую службу. По иронии судьбы эта справка, взятая в старом домоуправлении, свидетельствовала о том, что я с 1942 года из Москвы и не был выписан!..

Институт прописки оказался одним из самых жестоких и цепких проявлений социализма, унаследованных, как это ни парадоксально, от полицейской службы дореволюционной Российской империи. И доведенный до совершенства. Прописка стала ипостасью знаменитого «жилищного вопроса», по изящному замечанию Булгакова «слегка подпортившего людей при социализме». Никуда не денешься, это — рудимент крепостного права, отвергнутый Конституцией РФ 1993 года и, тем не менее, живущий до сих пор.

Итак, в конце августа 1976 года я с Ириной и Аленкой вернулся в Москву. Первоначальный план *трудоустройства* (моя сестра Нонна заранее познакомила меня с директором завода, на котором работала, и тот предложил мне должность главного инженера) стал невозможным из-за несостоявшегося обмена, надо было «решать жилищный вопрос». Районный и городской военные комиссары сочувствовали, всё понимали, но быстро сделать ничего не обещали. Полезным лишь оказался совет обратиться для консультации в *гражданскую* инстанцию — Управление учета и распределения жилой площади исполкома Моссовета. И тут мне помог *его величество случай*.

Оказалось, что здесь чуть ли не половина должностей занята бывшими военными — отставными офицерами, в основном политработниками и строевыми командирами. Меня приняли, буквально, как родного и сразу же, узнав, что я инженер и к тому же знаком с вычислительной техникой, отвели к начальнику группы АСУ<sup>111</sup> Михаилу Даниловичу Жирнову. Для меня первое впечатление о человеке обычно является решающим, для него, по-видимому, дело обстояло аналогичным образом. Я получил предложение как можно быстрее приступить к работе, а завтра явиться для окончательного решения к начальнику Управления. Касаясь моих жилищных дел Михаил Данилович заметил:

— Не беспокойтесь, поможем!

Через неделю я уже входил в красивый Меншиковский двухэтажный особняк XVIII века на углу тогдашних улиц Огарева и Герцена как постоянный, хотя и внештатный сотрудник. Условия работы были такими: первое время, то есть до получения квартиры я тружусь на *общественных началах*, сиречь бесплатно. Поскольку в моих правах есть место для возможности различного толкования (от трех месяцев до двух лет), то закон будет истолкован в мою пользу и жилье я получу с гарантией в течение полугода-года. Моей же обязанностью являлось введение в действие АСУ «КУРС», все акты о приемке которой в эксплуатацию были подписаны, а система, тем не менее, не работала. Причиной такого положения был органический организационный порок: и заказчик (Управление) и разработчик (НИИ) были подчинены одному и тому же хозяину, обязанному выполнять данный вышестоящий начальником *план*.

План давно уже стал идеолого-политическим символом, а не рабочим документом, не выполнить его было нельзя, кара была бы неизбежной: «Партбилет на стол, план есть закон!» План был даже не просто законом, а как бы законом природы, поскольку при социализме, в отличие от капиталистической анархии про-

---

<sup>111</sup> АСУ — автоматизированная система управления.

изводства, впервые в истории возникла возможность истинного планирования на основе «научно-обоснованных норм».

Собственно, взаимозависимость «заказчик — подрядчик» при одном и том же «хозяине» была повсеместной и достигала своей вершины в ЦК, точнее, в его Политбюро. Именно такое положение дел в экономике, по-моему, и породило всеобщий неостановимый обман, начиная с «рапортомании», особенно к революционным праздникам, и кончая искаженной государственной статистикой. Это явление задело даже такую, казалось бы защищенную, область, как Флот: акты о приемке кораблей стали подписываться при большом количестве недоделок. Что же говорить о гражданских ведомствах, где военной приемки — «военпредов» — никогда и не существовало.

Но вернемся в респектабельное здание Управления, которое Михаил Данилович называл *департаментом*. Мой начальник был человеком, на мой взгляд, с типично советской биографией. Родившийся в небольшом русском провинциальном городе, он после успешного окончания средней школы в начале тридцатых годов юным комсомольцем-романтиком приехал поступать в Московский университет. Но не тут-то было! Узнав что он комсомолец, его по разнарядке, но добровольно, сказав, что университет может подождать, направили на строительство метро. Там он проработал около года. Увидев, что парнишка смывшлен и крепок, его со строительства взяли в школу спецсвязи. Короче говоря, за пару лет до войны он стал *уполномоченным* от «органов» на одном из московских военных заводов. И еще один штрих: вскоре после окончания войны, когда Германия только-только была поделена между союзниками, Михаил Данилович, ставший к этому времени капитаном, сумел вывезти из французской зоны оккупации грузовик необходимых архивных документов и доставить их в нашу зону. За эту операцию к его боевым наградам добавился орден Красного знамени. В конце пятидесятых годов, с началом «оттепели», он был отозван из ГДР, уволен со службы, исключен из партии, и не имея ни кола ни двора, устроился в «департамент» — здесь легче было получить квартиру.

Природная смекалка и, я бы сказал, детская вера в науку, заставили его, оценив на собственном опыте громадную бюрократическую карусель, называемую документооборотом, подумать об автоматизации этого процесса. Так он пришел к идее создания АСУ, увлечение которыми в те времена было почти всеобщим. На чистом месте и на чистом энтузиазме, на свой страх и риск он начал эту работу и добился очень многого, но система *не внедрялась*, попросту говоря, не работала. У него не хватило специальных, точнее, профессиональных знаний. На этом этапе мы и познакомились. Среднего роста, с поседевшими волосами, глу-

бокими залысинами и высоким лбом, с правильными чертами лица, выражавшего мягкое и внимательное отношение к собеседнику, и, наконец, с добродушной хитринкой в уголках глаз, он располагал к себе. Он умел профессионально разговаривать со всеми категориями граждан — от бабушек, впавших в свое деревенское детство, до ученых и артистов — жилищный вопрос беспокоил всех. Но вот чего он не мог, так это принимать решения по АСУ: он выслушивал всех, по его мнению, знающих лиц и выбирал нечто среднее, не бывшее по природе своей правильным решением.

Он был энергичен, временами порывист, много курил, одевался несколько небрежно, никогда не терял присутствия духа и любил, когда обстановка позволяла, немного пофилософствовать. При этом он часто обращался к классике: «Хорошо, если бы все люди были как цветы». Это выражение было одним из самых любимых.

Ко времени начала нашего знакомства, впоследствии превратившегося в глубокую симпатию друг к другу, Михаил Данилович занимал должность заместителя начальника отдела. То, что случилось с ним, он считал не совсем справедливым, но относил эту несправедливость скорее к судьбе, а не к порочности системы. Иногда, возвращаясь после обеда из столовой, мы шли к нему в кабинет и оставшись вдвоем, обсуждали не только вопросы дипломатических отношений с разработчиком АСУ, но и «вечные» проблемы общественной жизни. Мы часто говорили о Сталине, культ которого Михаил Данилович, будучи лет на десять старше меня, видел больше и даже как бы изнутри. Мне до сих пор хорошо помнится, как он, привычно не расставаясь с сигаретой, рассказывал о том, что «органы» никогда не пытались «встать над партией» и что перед войной разнарядку на количество врагов народа давали секретари райкомов, а не его начальство...

Здесь нет необходимости касаться служебных перипетий, тем более, что в серьезных делах личные отношения не играют решающей роли. Скажу только, что в 1977 году я получил неплохую двухкомнатную квартиру, а в конце 1980 года был организован отдел АСУ на штатной основе и я был назначен его начальником. Моя гражданская карьера оказалась значительно более быстрой чем военная,— я вступил на самую низшую ступеньку «номенклатуры». Михаила Даниловича к этому времени уж не стало, он до последнего дня работал, а попав в больницу, где у него определили рак легких, через несколько дней скончался от инфаркта.

А теперь я вернусь несколько вспять, к тому времени, когда я только что вступил на гражданскую стезю или, правильнее, на службу. Самым первым и самым сильным впечатлением была схожесть государственной и военной систем управления. Струк-



тура каждого «департамента» была один к одному сродни штабной структуре за тем разве исключением, что его начальник «командовал» только одной определенной (строительство, наука, кадры, образование и т.д.) частью сверхсложной системы, имя которой Москва. В этом смысле председателя мосгорисполкома можно соотнести с начальником штаба флота, а начальников управлений — с флагманскими специалистами. Районы Москвы в этой схеме выглядели бы как воинские объединения, так же со своими отделами строительства, кадров и т.д. Командующим всем этим «флотом» был, естественно, первый секретарь МГК КПСС и он же, в одном лице, председатель Моссовета...

Я думаю, что поэтому так охотно и брали офицеров, ушедших в запас, им не надо было «привыкать» к новому месту работы, а на их дисциплину и исполнительность всегда можно было положиться. Была и еще одна важная причина — у них уже было прочное общественное положение и пенсия, что при очень низкой чиновничьей зарплате давало гарантии от взяточничества. За слово *чиновник*, которое я обычно употреблял в разговоре, мне не раз делали замечания, считая его давно устаревшим и предлагая называть сослуживцев государственными служащими или управленцами. Слова бюрократ и аппаратчик так же были неприемлемы.

Вторым, неожиданным и сильным впечатлением, было впечатление от низкого уровня просвещенности или, лучше сказать, от образованности общей чиновничьей массы. Надо же, думал я, в Москве, у стен Кремля, — и такая темнота. Позднее я понял, что это не в последнюю очередь связано с тем, что аппарат Моссовета резко вырос сразу после войны за счет выдвиженцев, в основном женщин; к концу семидесятых годов были возле мамаш пристроены и дочери, очень часто озабоченные и агрессивные, противопоставившие низкой зарплате корпоративный принцип «ты мне, я тебе» в системе бытовых льгот (продовольственные заказы, улучшение жилищных условий, прописка, доступ к «дефициту» и в том же духе), даваемых служебным положением. Это были, так сказать, лежащие камни, хотя и не крупные, но практически не сдвигаемые. Проиллюстрирую это одним высказыванием нашего главного бухгалтера, женщины в обычной жизни доброй и даже обаятельной:

— Зачем эта АСУ? На деньги, которые на нее тратятся, проще было бы нанять патьсот бухгалтеров, на всю Москву бы хватило. И никаких АСУ не надо!

Спорить с ней было невозможно, это превышало порог восприятия. Замечу, что главным бухгалтером ее должность называлась для того, чтобы платить побольше, просто бухгалтеров у нее в подчинении не было.

На фоне рядовых работников заметно выделялись *начальники*. Как правило они приходили со стороны, а не выращивались в собственном трудовом коллективе. Говоря со *стороны*, я имею в виду партийно-советско-профсоюзно-комсомольские взаимозаменяемые иерархии. Начальники были не управленцами, но управляющими. Этим они отличались от начальников в Зощенковском смысле, которым было все равно, чем руководить, баней или театром. Эти люди имели, как правило, высшее или среднетехническое образование и, кроме того, заканчивали ВПШ.<sup>112</sup> Но общее со своим прототипом у них оставалось — они осуществляли руководящую роль Партии. Но уже не как выдвиженцы (это слово почти забылось), а как *номенклатура*. Последнее обстоятельство делало неустранимой с их лиц отблеск некой вельможной важности, несмотря на все их умение *работать с людьми*. В обиходе номенклатуру несколько иронически называли «элитой» и рассказывали про нее анекдоты.

Мимходом замечу, что я был очень удивлен, узнав о наличии очередей для желающих вступить в КПСС. Когда я поинтересовался, почему это происходит, мне ответили, что дело связано с качественным составом партии, она перестает по численности быть партией рабочего класса. Среди же рабочих никакой очереди нет! А начальник беспартийным быть не может. Остается добавить, что партийная дисциплина для руководящих товарищей была строгой и по сути своей не уступала воинской. Строгость обеспечивалась вышестоящей партийной структурой — партбюро, парткомом, райкомом, горкомом.

Последним из ранних впечатлений по новой службе было удивление от значительно больших материальных возможностей «гражданских генералов» по сравнению с военными. Эти возможности обеспечивались наличием собственного *резерва* распределяемых благ и очень сильной корпоративной поддержкой друг друга в виде услуги за услугу, что позволяло *решать* вопросы, не переваливая их на вышестоящий уровень.

Разработкой АСУ руководил Б.Г. М-ев, которого называли кто уважительно, кто не совсем, главным конструктором. Почувствовав, что со мной легче решать производственные вопросы, он всячески стремился преодолеть мое настороженное к нему «со товарищи» отношение. В известной мере это ему удалось, и хотя первоначально я считал разработчиков («подрядчиков» по отношению к нам, «заказчикам») чуть ли не авантюристами и проходимцами, позднее, погрузившись в возникшие при внедрении проблемы, я понял, что дело обстоит куда как сложнее.

---

<sup>112</sup> Высшая партийная школа при ЦК КПСС.

Борис Георгиевич принадлежал к породе активных советских предпринимателей, хотя такое словосочетание тогда не употреблялось. Считалось, что просто человек обладает хорошими пробыными способностями. В Москве он появился в конце 60-х годов на волне прибывающих в столицу выходцев из южных областей СССР, в особенности с Украины, когда здесь возникла заметная нехватка кадров научных работников, ушедших в ВПК и «космос». Эта была одна из повторяющихся волн внутренней миграции, чем-то напоминающая послереволюционное время, когда после отплытия «философских пароходов» заполнялись вакантные должности их пассажиров.

Мне показалось удивительным ничтожно малое количество настоящих, то есть выросших в городе, москвичей в такой бы, казалось, подходящей для них организации, как Моссовет и его исполком, не говоря уж о руководящих партийных структурах. Мне потом пытались объяснить, что это мол так и надо, иначе обладая связями (какими?), москвичи все будут поворачивать «в свою сторону». По-моему первым из «не варягов» оказался Лужков. Но сколько времени для этого потребовалось! Последним же, и чуть ли не единственным москвичем среди правителей СССР, был кажется Н. Бухарин. То же можно сказать и о жителях «северной» столицы. Это всё — к вопросу об «элите», но вернемся к АСУ.

Успеху Б.Г. способствовали его умение держаться, располагающая улыбка, нарочитый оптимизм и магия ученой степени. Кадровая волна шла синхронно за провозглашенной Партией задачей соединения достижений социализма с НТР и развитием отраслевой науки. В одном из открывшихся городских научно-исследовательских вычислительных центров Б.Г. нашел свое место и началась разработка АСУ, о которой идет речь.

Говоря о советском предпринимателе, а следовательно и предпринимательстве (для него был придуман подходящий синоним — социалистическая предприимчивость), должно заметить, что в нем отсутствовали экономические стимулы. Деньги были по существу средством учета, а не экономической субстанцией. Проведение в жизнь партийных задач и лозунгов, о которых я упоминал, шло по указанию сверху и опиралось на партийную дисциплину, идеологическое воздействие и личную заинтересованность, но не столько в деньгах, сколько в должностях, дающих доступ к получению конкретных материально-бытовых благ и к возможности осуществления благих или честолюбивых устремлений. Должность, а не деньги определяли положение в обществе. Следствием стал дефицит, обернувшийся к этим годам не просто нехваткой чего-либо, а социальным явлением. Появилась целая система заказов, которые предприятия и организации давали своим сотрудникам, как правило раз в неде-

лю. Самое интересное, что ничего необычного в заказах не было: та же колбаса, сливочное масло и сыр, к праздникам — баночка икры и грамм триста сырокопченой колбасы. Обычно число заказов было меньше числа их потребителей. По магазину, к которому прикреплялась организация, можно было определить ее общественное значение, наш «департамент», к слову, получал заказы из *Елисеевского* магазина. Дефицитным стало всё — даже книги и билеты в театр, например в Большой или на Таганке. Добавлю, что когда привозили заказы (в рабочее время, естественно), никто толком уже не мог работать. Была, конечно, и свободная продажа, но там надо было выстоять очередь. Особенно дефицитной была художественная и детская литература; чтобы подписаться на кого-нибудь из классиков надо с ночи было занимать очередь, в течение месяца-двух отмечаться в списке и только после этих мытарств можно было, наконец, получить заветную квитанцию.

Вместе с тем, я погрешил бы против истины, если бы не сказал об энтузиазме. Он был! У молодых людей он выступал своеобразным результатом пионерско-комсомольского воспитания и проявлялся чем-то вроде соблюдения правил хорошего тона — от энергичного советского патриотизма до готовности уступить место старшим в метро или троллейбусе. Был он и у людей пред- и пенсионного возраста, у них он был изначальней и в нем чувствовались мессианская вера в победу коммунизма на всем земном шаре.

С возрастом энтузиазм молодежи естественно растрачивался, а приходящие им «на смену» все меньше восполняли потери. Естественно таяло и число носителей изначального энтузиазма. Безэнтузиазменная масса медленно и верно увеличивалась, но энтузиастов еще было много!

Итак, после получения квартиры я никуда не уволился, а с головой ушел в работу. Этому способствовало одно печальное обстоятельство.

## ДИССОНАНСЫ



Диссонанс — ...отсутствие в чем-л. гармонии; несоответствие, противоречие чему-л.

(Словарь иностранных слов, М., 1964)

Примерно через год после переезда на новую квартиру Ирина легла на операцию, у нее был обнаружен рак. Вскоре после этого в автомобильной катастрофе погибла моя приемная дочь. Сказать, что было тяжело, значит почти ничего не сказать...

На похоронах Аленки я познакомился с ее женихом Кириллом Орловым; пишу познакомился потому, что Ирина с Аленкой свадьбу готовили по секрету от меня, зная, что я противник всех ее увлечений до окончания художественного училища; меня они решили уговорить в последний момент, когда изменить уже ничего было бы нельзя. Кирилл оказался очень достойным человеком и взаимная симпатия перешла у нас в сердечные отношения. Я как мог, старался утешить Ирину, а сам, чтобы выдержать случившееся, использовал лекарство, бывшее под рукой — работу. И, надо же, почти непреодолимые трудности внедрения стали казаться сущими пустяками.

В 1979 году, через несколько месяцев после операции Ирины, я купил пустующий крестьянский дом в ста восьмидесяти километрах от Москвы, в Калужской области, для того, чтобы Ирина там на природе, в здоровой и красивой местности проводила бы побольше времени. Для себя мы решили, что операция сделала свое дело и Ирина опять стала здоровым человеком. Очень скоро Семейкино, так называлась деревня, где был дом, стала для Ирины Меккой и Мединой, здесь она черпала физические и даже душевные силы: близость к природе была целительной. Единственным недостатком оказалась длинная дорога. Электричкой надо было доехать до Серпухова, там пересестись на местный автобус и добираться через Тарусу, где уже начиналась Калужская область, до Сашкино, бывшего когда-то селом, а теперь ставшего населенным пунктом, там помещалось правление колхоза, объединявшего несколько деревень. От Сашкино до Семейкино предстояло идти пешком почти по бездорожью еще километров шесть, время от времени останавливаясь для отдыха, так как рюкзаки были почти неподъемными, — из Москвы приходилось везти все, начиная от хлеба и кончая баллонами со сжиженным газом. Магазины в Семейкине не было давно, это была «неперспективная» деревня. В ней осталось восемь домов, семь из которых занимали москвичи под дачи, и только в одном доме жили, точнее доживали свой век, тетя Таня и дядя Сережа, местные сторожилы.

Знакомство с жизнью и историей этой заброшенной русской деревни, расположенной в центральной исконной России, совсем недалеко от Москвы, было для меня потрясением.

Потрясение началось с лошадей, которых я увидел в один из приездов, когда шел из Сашкино в Семейкино. Это были дикие, точнее одичавшие, две лошади с развевающимися гривами, скачущие во весь опор у опушки молодого леса. Я замер от мысли: что же это происходит? Вся прочитанная литература твердила, что бедой в России считалось, когда мужик был безлошадным! А

тут бесхозные лошади... Я буквально отказывался верить своим глазам и решил порасспрашивать тетю Таню.

Татьяна Ивановна Отдельнова была очень немолодой, но крепкой, хотя внешне бесформенной и кое-как одетой крестьянкой. Не колхозницей, а именно крестьянкой, умной и умудренной одновременно. В ее выцветших глазах смешались спокойствие, доброты, тоска и настороженность. Последняя особенно чувствовалась вначале — чего хорошего ждать от этих москвичей. Она подтвердила, что лошади бесхозные...

Доверие тети Тани мне удалось завоевать случайно. Я попросил у соседей-москвичей косу и начал обкашивать высокие заросли лопухов, крапивы и другой травы, разросшейся чуть ли не до окон, вокруг нашей избы. Постояла тетя Таня, посмотрела, как я кошу и куда-то ушла. Возвращается с косой, подходит и говорит:

— Я посмотрела, косить ты умеешь. Вот возьми нашу старую косу, она удобнее, чем твоя, и коси. Потом постояла помолчала, и вдруг сквозь слезы, быстро вытертые кончиками платка, добавила:

— Как хорошо, что ты вокруг дома обкосил. У нас раньше такая красивая деревня была!

Окончательно благорасположилась тетя Таня ко мне, когда на следующий год в начале мая я вывел ее телку из хлева на свежую травку. Она боялась, что телка, впервые после зимы очутившись на дневном свете, взбрыкнет и вырвется из рук:

— Ты уж выведи ее, а то у меня сил не хватает.

К моему удивлению телка, которую я одной рукой держал за хомут-ошейник, а другой гладил по голове, спокойно пошла за мной. Свету Божиему она обрадовалась, но вырывалась не очень сильно.

С тех пор, а тетя Таня держала дойную корову, мы с Ириной всегда получали парное молоко безотказно. Но это к слову. Самое интересное же состояло в том, что от тети Тани я узнал деревенскую жизнь как бы изнутри. Теперь — несколько слов о дяде Сереже. Он был невысокого роста, худощав и хром из-за ранения, полученного во время войны. Это не мешало ему стать в колхозе пастухом и пасти стадо овец, начиная с весны и до первого снега. У тети Тани он был вторым мужем (первый погиб на войне), в свою очередь тетя Таня была у него второй женой, семья у дяди Сережи погибла также во время войны, сам он уроженцем был не местным. Дядя Сережа курил сигареты «Дымок», любил выпить, кричал на своих овец только матом и грозно щелкал при этом длинным кнутом, который обычно висел у него через плечо. Жили они с тетей Таней по-стариковски друж-

но и никак не могли покинуть Семейкино и перебраться в однокомнатную квартиру панельного дома в Сашкино, выделенную им колхозом. Тетя Таня говорила, что там в четырех стенах она сразу же помрет. Кроме того, куда же девать хозяйство — корову, своих овец, кур, гусей, уток да еще старого мерина, которого они запрягали, когда надо было куда-нибудь поехать... Что-то было в ней и дяде Сереже от древнего-древнего духа вольного крестьянства, не дореволюционного, а глубже, может быть восходящего к домонгольским временам, а может быть и еще более ранним. Им хотелось быть и жить *на воле*. В этом смысле здесь было раздолье — числясь в колхозе, они в то же время были свободными фермерами. Недостатка в земле не было — ни под огород, ни под сад, ни под выпас, сколько можешь обработать — все твое...

В Семейкино мне впервые пришла мысль, а надо ли было осуществлять большевицкий лозунг и превращать «войну империалистическую в войну гражданскую». Каким же это было безумием, когда сын шел на отца, а брат на брата за эту вот землю, теперь никому не нужную! Красные победили, частная собственность ликвидирована и нет у тети Тани и дяди Сережи теперь наследников, все они разъехались в города, кто в ближний Алексин, кто в дальнюю Визингу. Землю и хозяйство им не передашь и родной дом, предвзательно растащенный, зарастет сорной травой так же, как зарастают мелкоколесьем и кустарником прежде обширные пашни. Это отнюдь не метафорическое описание, километрах в двух от Семейкино я в каждый приезд проходил по исчезнувшей под лопухами и крапивой деревне, а когда прикинул возраст березок и осин, наступающих на поля, то оказалось, что это наступление началось в начале тридцатых годов. Следы деревень еще можно узнать по стоящим на открытых местах отдельным рябинам и вязам, да и по кустам одичавших крыжовника и смородины. Домов же нет, как нет и людей, помнящих фамилии хозяев этих домов.

Как-то я спросил у тети Тани, было ли что-нибудь привлекательное для нее, когда началась коллективизация. Ни минуты не сомневаясь, она ответила:

— Да! — и пояснила — для молодежи было лучше. Так мне нужно было каждый день спозаранку вставать к корове, а когда их всех собрали вместе, ухаживать стали по очереди. Теперь можно было и погулять подольше, дело-то было молодое.

И предвосхитив вертевшийся у меня на языке вопрос, когда же стало плохо, тетя Таня продолжала:

— Колхозы развалились при Хрущеве, когда ввели зарплату, ну, аванс, в счет будущего урожая.

— Почему? — невольно вырвалось у меня. — Ведь дело-то хорошее, чтобы люди не нуждались!

— Ничего хорошего тут не было. Раньше, пока урожай не соберешь, пить было не на что. А тут деньги появились, мужики, да и бабы тоже, пить стали, а не работать. Так и пошло все под откос.

Из коротких воспоминаний, фраз, выражений, намеков и даже отдельных слов тети Тани у меня понемногу стал складываться образ прежде благополучного Семейкина, да и других окрестных деревень. Оказывается, в Семейкине была барская усадьба; деревянный дом не сохранился, но остался большой пруд, на берегу которого он стоял. Нынче почти совсем заросший, он был верхним, за ним по ручью каскадом располагались запруды до речки Мышеги рядом с Богимовым. Последнее когда-то было родовым поместьем одного екатерининского вельможи. Я всегда принимал помещика только за эксплуататора, а оказывается, он был ключевой фигурой *системы управления* сельским хозяйством!..

В сохранившемся довольно большом кирпичном двухэтажном усадебном доме теперь располагался, как его называли местные жители, *дурдом*. Его тихих обитателей можно было постоянно видеть гуляющими по старому парку или стоящими в очереди у магазинчика. В описываемое время как раз стали поступать сюда душевнобольные солдаты из Афганистана... Перед домом был установлен покрашенный бронзовый краской бюст Чехова, прошедшего лето 1891 года в Богимове. Чеховы по приглашению хозяина занимали второй этаж главного дома. Здесь Антон Павлович написал «Дуэль» и приводил в порядок свои сахалинские записи, но нынешние жители Богимова были твердо уверены, что именно здесь Чеховым была написана знаменитая «Палата № 6».

Своей запущенностью Богимово производило тяжелое впечатление. За годы советской власти ничего, кроме памятника Чехову, сделано не было. Особенно подчеркивала запустение сохранившаяся остатки былой красоты, а теперь комолая и обшарпанная церковь Успения, в которой поместился какой-то склад.

Нет смысла продолжать, лучше тети Тани не скажешь:

— А ведь раньше жили, деревни были красивые и в каждой деревне песни свои пели.

Я не идеализирую последних из крестьян Семейкина и у меня почти нет ностальгического чувства о прошлом, которое мы потеряли. Я просто вижу нормальных людей с обычными чувствами и интересами. Взять тех же овец — колхозных и, так сказать, частных, — их у тети Тани с дядей Сережей было больше десятка. На колхозных, ободранных и тощих, жалко было смотреть, а личными можно было любоваться — здоровые, гладкие



и веселые. Или коровы. На колхозной ферме они к весне уже не могли от истощения стоять на ногах, им под брюхо заводили что-то вроде подпруг и они на них повисали... В отличие от колхозных, частная корова была всегда в порядке, ее, помимо прочего, кормили печеным хлебом. Последнее было обычным явлением, так как фуражное зерно не продавалось. Этот государственный идиотизм меня потряс: вместо того, чтобы скотину кормить зерном (овсом, ячменем, даже пшеницей), ей скармливают печеный хлеб, скупаемый в магазине «Сельпо». И за этот идиотизм получают еще деньги — и в Госплане, и на мельнице, и на элеваторе, и на железной дороге, и в пекарне,— всех не перечислить!

Ирина на мои рассуждения по этому поводу невесело шутила: — Зато у нас нет безработицы!

Я ей возражал, говоря что концентрированные корма видимо распределяются по колхозам и совхозам, а там их воруют. Тут мы соглашались друг с другом.

Но, оказывается, была и простота, которая хуже воровства. Однажды, ни с того ни с сего, просто так, «из области»,— рассказывал потом дядя Сережа,— приехали мелиораторы. Никого ничего не спрашивая, по какому-то им одним известному плану, они вдруг взяли и в одночасье спилили «аллею», как называл дорогу от овчарни дядя Сережа. Красивые и крепкие деревья, когда-то посаженные по обим сторонам дорожки к проселку, превратились в двойную цепочку из пней. В этот день дядя Сережа пасти овец не выгонял, а сидел на пне от любимого ясеня и плакал, не стыдясь своих слез.

Увиденное в Семейкине сначала воспринималось как обычные и вроде бы *отдельные* безобразия, вроде безобразия, с которым, например, мне однажды пришлось столкнуться еще при службе на «Беспокойном». Там во время артиллерийских стрельб главного калибра в кают-компании вдребезги разлетелись стеклянные плафоны, хотя светильники имели амортизаторы и такого не должно было случиться. В Техническом управлении я «стекляшек» отдельно получить не смог, мне дали светильники в сборе, стоявшие на той же дорожке. На мои возражения было сказано, что арматуру им девать некуда, а на корабле она еще пригодится, и, кроме того:

— Все равно это же бесплатно, а отдельно плафонов нет. Не хотите,— не берите.

Подобное я наблюдал и в здешнем колхозе, только масштаб был крупнее — вместо запасных частей получали целые комбайны, а то и тракторы — мимо кладбища самой разнообразной сельхозтехники, брошенной под открытым небом, я проходил каждый раз, когда приезжал в Семейкино.

Постепенно все эти «отдельные» безобразия стали объединяться и складываться в целостную картину общего неблагополучия. Однако, должны были пройти несколько лет, прежде чем я смог увиденное однозначно определить как *политику* государства по отношению к сельскому хозяйству, по крайней мере в центральной России. Действительно, в паре километров от Семейкина проходит газопровод, но ни один населенный пункт в округе не имеет газа. Перечислять то, чего не имеется, значило бы перечислить почти всё — от дорог до почты. Впрочем на всей изначальной России, как клеймо со времен «сплошной коллективизации», лежало отрицание *не*: НЕчерноземье!

В начале восьмидесятых годов «при Черненко», кажется в «Правде», появилась программная статья по сельскому хозяйству, в которой говорилось, что выпускников сельскохозяйственных учебных заведений из Средней Азии и других южных республик СССР следует направлять в центральные области РСФСР и там закреплять. Прочитав газету, я впервые почувствовал не только досаду и гнев, но и то, что я — русский, а мой внутренний голос произнес:

— Дожили! Чего татаро-монгольское нашествие не добилося, сейчас будет делаться в плановом порядке!<sup>113</sup>

Несколько позднее, уже при Горбачеве, в мае 1986 года, на общем собрании членов Географического общества СССР, объединенных Московским филиалом, я, помня о Семейкине, совершенно сознательно голосовал против переброски на юг стоков северных и сибирских рек. Наше отрицательное отношение к этому безумию, да притом баснословно дорогому, надеюсь сыграло некоторую роль в отклонении ЦК и Совмином проекта. Однако какого-нибудь решительного и целостного вывода вроде того, например, что коллективизация сельского хозяйства была делом не нужным и, более того, преступными, у меня не появилось. Я еще не мог подумать о раскулачивании и грабеже как о близнецах-братьях, так же как и о том, что классовый подход есть просто-напросто истребление части народа. Где-то в глубине сознания сидела мысль,— и я ее берег,— о том, что не все так плохо, что есть края, где всё хорошо и правильно. Строят же в Абхазии те же колхозники двух-, а то и трехэтажные каменные дома-виллы! Но эту мысль я не додумывал, так как дифференциальная земельная рента и соответствующие налоги требовали

---

<sup>113</sup> Я думаю, что это было своеобразным вторым пробуждением национального русского сознания. Первый раз я почувствовал унижение, когда ехал с одним грузином на Кавказ (в Боржоми). Он говорил, что русские не могут сами управлять. Хвалил Сталина.

бы общесоюзного земельного кадастра и новых законов... А тогда — как же быть с коммунизмом, который требует отсутствия товарно-денежных отношений?

В конце-концов, не виноват же грузин, что он живет в райском уголке земли, где можно просто воткнуть в землю оглоблю и тут же получить цветущее плодое дерево, да к тому же вокруг полно курортников с годовыми сбережениями на отпуск! Но я уже твердо усвоил, что несправедливо жить так, как живут калужские, смоленские или другие сельские жители центральной России. И надежды на улучшение были связаны с разумным, сиречь партийным, планированием, но отмена общественной собственности на землю мне представлялась недопустимой.

Несмотря на все сказанное, жизнь шла своим чередом, мало этого, 1983 и 84-й годы в Семейкине можно было бы даже назвать счастливыми. Ирина чувствовала себя хорошо, соседи-москвичи были доброжелательными, общительными и симпатичными людьми, мы часто и дружно собирались на семейные торжества, азартно ходили по грибы и ягоды, помогали друг другу в хозяйственных заботах и даже устраивали пешие походы по дальним окрестностям. Вечерами у нас иногда ставили настоящий самовар с дымовой трубой, играли в «эрудита» или в карты, а были случаи, когда все превращались одновременно и в артистов и в зрителей домашних спектаклей, разыгрываемых веселой и музыкальной Ольгой Рубашевой. Но все же душой этого «сельского салона» по общему признанию была Ирина.

Все проходило при минимуме материальных затрат, всё свое мы, буквально, несли с собой — в рюкзаках из Москвы. Что касается безобразной неустроенности вокруг, — она казалась еще преодолимой. Память о войне, преобразовавшись в аскетизм, позволяла вполне довольствоваться роскошью человеческого общения и не требовать роскоши материальных благ. Все были сыты, удобно одеты, и проблемы, чтобы выпить рюмку водки или, в крайнем случае, самогона, не было.

Семейкино, рассеив розовые и иллюзорные представления о благополучном сельском хозяйстве развитого социализма, невольно заставляло более пристально и придирчиво взглянуть на городскую жизнь. Возвращаясь в Москву я каждый раз с досадой и огорчением замечал, что признаков запустения становится все больше. Отваливались накладные буквы на вывесках магазинов, выпадали слова в нехитрой неоновой рекламе, не освещались или пропадали совсем номера домов и даже названия улиц, светильники гасли и вновь не зажигались. На память по контрасту приходила Либава после освобождения от немцев: на каждом доме, даже самом захудалом, — ярко освещенный номер с

наименованием улицы, ни одного неисправного фонаря... Особенно меня удручал громадный иллюминированный термометр на углу тогдашней улицы Горького и проезда Художественного театра. Об его установке и устройстве писали и «Вечерка» и «Московская правда» с подчеркнутой гордостью; но прошло несколько месяцев и однажды столбик термометра замер, хотя погода, естественно, менялась; потом стали перегорать лампочки, и это продолжалось до тех пор, пока термометр совсем не отключили от сети; так он и остановился возле нуля. Через пару лет его взялись ремонтировать, но после ремонта он проработал совсем недолго, и всё повторилось... Я пишу об этом термометре потому, что мимо него я проходил каждый день — на работу и после нее, и для меня он стал своеобразным наглядным символом паралича системы. Признаков такого паралича становилось все больше и больше, причем самых разнообразных. Они явно демонстрировали пренебрежение к обычному человеку и глумление, как я считал, над лозунгами и прописными истинами социализма. Несколько примеров. После ремонта ступеньки в подземных уличных переходах и на входах в станции метро оказывались разной высоты. По этой причине падали (и падают до сих пор) не только пожилые люди, но все подряд. Один здоровенный детина при мне оступился и грохнулся на «Войковской», вставая и отряхиваясь, он на чем свет стоит выматерил и «его величество рабочий класс» и советскую власть. Милиционер, оказавшийся рядом, даже ухом не повел. Такое еще несколько лет назад было бы невозможно.

Известный лозунг «незаменимых нет» постепенно перестал работать и всё стало заметно *худшеть*. В середине 50-х годов, бывая в Москве в отпуске, я обязательно заходил в центральный универмаг Военторга на тогдашней улице Калинина и покупал себе прозапас крахмальные подворотнички для кителя, они были удобны и практичны, в Севастополе таких не было. Теперь же, много лет спустя, мне как-то понадобился такой подворотничек. Оказывается, их нет. Продавщица, эдакая особа в форменном халатике с жетоном Главного управления торговли министерства обороны СССР, назидательно объясняет:

— Больше их не будет. Умер старичок-китаец, он один их делать умел. Теперь никто их делать не будет, они стоили как обычные...

Такая же история произошла с авторучками. Умер умелец, еще с довоенных лет ремонтировавший все виды авторучек в магазине на Старом Арбате, — и делу конец, теперь ручку даже с золотым пером, хоть выбрасывай. Или отремонтируй сам. И так — почти в любом деле. В жизнь стал входить, как я его для себя

определил, универсальный принцип развитого социализма — *принцип самообслуживания*. К слову сказать, даже набойки на каблуки я стал делать сам — не надо стоять в очереди, да и качество гарантировано!

Признаки неблагополучия по-своему обозначились и на работе. Период внедрения, когда приходилось использовать любые — от уговоров до угроз — средства давления на организации-источники входной информации АСУ, закончился. Романтический азарт борьбы (однажды, к примеру, пришлось ругаться даже с заместителем министра связи и угрожать ему неприятностями в отношениях с Моссоветом) постепенно перешел в обычное рабочее русло. Мы, я имею в виду наш отдел, наконец смогли немного перевести дух. И вот тут я стал чувствовать, что у меня помаленьку начинает теряться дружеский контакт с частью моих сотрудников, точнее сотрудниц. Я не понимал, в чем тут дело, пока случайно не столкнулся с Н.Д. и Р.М., которые отнюдь не в обеденный перерыв поднимались по лестнице запасного выхода с доверху набитыми хозяйственными сумками. Обе они покраснели, неловко почувствовал себя и я, и не мог скрыть своего удивления.

Через полчаса ко мне вошла Р.М., она была более решительной, и заявила:

— Мы, конечно, виноваты. Но посмотрите, что в других отделах делается. Там все в магазины ходят в рабочее время и никто им замечания не делает. Им, конечно, проще: сказал, что иду в район — и всё, никто время засекают не будет... А в нашем отделе — как на военной службе!

Я молчал, а Р.М. продолжала:

— Женщинам же на семью готовить надо. Пусть уж мужчины работают как следует, а мы помогать будем. Мы же не злоупотребляем, после работы не успеешь, везде очереди.

Невесело улыбнувшись, я ответил, что если очень понадобится, то пусть спросят разрешения, я всегда отпущу. Но это исключение, рабочее время — для работы.

Разговор этот мне запомнился, хотя ситуация была, вообще говоря, обычной. Я задал себе вопрос: сколько времени может выдержать подобное своеобразное «моральное давление» своих подчиненных обычный средний начальник? Другими словами, зачем ему быть «лучше других»? Никаких материальных выгод от укрепления дисциплины, а шире — от повышения уровня эффективности работы и своей и подчиненных, практически не существовало. Премия, хотя она и называлась так, была просто гарантированной и очень маленькой добавкой к окладу, давалась она за выполнение плана, а план выполнялся всегда, в крайнем

случае, он «корректировался» вышестоящей инстанцией и считался выполненным. Невыполнение плана в стране с плановой экономикой было бы скандалом. На самом высоком уровне я знаю всего два случая невыполнения планов — это 1941 год, начало войны, и 1958 год, когда при Хрущеве один раз пятилетка была заменена семилетним планом развития народного хозяйства СССР.

Условий для поощрения качества работы «по горизонтали», то есть оставаясь на своем месте, не имелось: оклады были фиксированными по всей стране, а «вилка» в пределах должностного оклада не была существенной. Зато был открыт путь «по вертикали». Вполне приемлемый для первичных уровней, он от ступени к ступени «вверх» становился однако всё более тормозным. Во-первых, значимые должности могли занимать лишь *номенклатурные* работники, а они подбирались по *политическим*, прежде всего, а не деловым качествам, и требование это по мере движения вверх все более ужесточалось. Во-вторых, достигнув определенного уровня, отнюдь не большинство таких кадров стремилось продолжать карьеру. Причины разные, — от возраста и здоровья, до обычной малограмотности или отсутствия честолюбия.

Таким образом постепенно все уровни управления оказались — я почти не утрирую — занятыми руководителями, находящимися в «горизонтальной» ситуации. Говоря чуть ранее о том, что выхода из нее не было, я имел в виду экономический выход, административный же был — надо было увольнять ненужных людей. Но это было делом трудоемким и длительным, проще было «не возникать». Был еще и «идеологический» выход — за счет использования энтузиазма, он давал хорошие результаты с естественно романтической молодежью: освоение целины и строительство БАМа тому пример. Анализ можно было продолжать и дальше, но для меня стала очевидной *косობокост* экономики, ее соскальзывание к застойной неэффективности: соскальзывание некому было задерживать, получалось, что в стране нет хозяина — не могло же Политбюро и ЦК управлять сразу и *всем*, а другого собственника не было. Экономика была политической, а отнюдь не экономной.

Никакого одноразового прозрения у меня не было, я лишь постепенно стал понимать, что наша экономическая система, или, как ее гордо называли в партийной прессе «единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественно-го производства, распределения и обмена на территории страны» малоэффективна, а в некоторых своих частях просто является государственной богадельней.

В те годы мне еще казалось, что наличие номенклатурных должностей и назначение на них волевых и образованных людей (*подбор и расстановка кадров*) служит достаточной гарантией против экономической кособокости. Эта гарантия мне виделась в партийной дисциплине, у номенклатуры она была не хуже военной. Один мой хороший знакомый, в свое время секретарь Куйбышевского райкома партии в Ленинграде, говорил:

— Я солдат партии.

С ранних лет я и думал и верил, что после Октябрьской революции главным делом для партии является не борьба за власть, а реализация ленинского утверждения о том, что после завоевания власти «...политические задачи занимают подчиненное место по отношению к задачам экономическим»; что самой интересной для нее политикой является экономика, поскольку политика есть ни что иное, как концентрированная экономика, и само учение Маркса есть учение прежде всего *экономическое*. Идеологическая и кадровая работа партии, казалось, не противоречила этому, но... кособокость экономики не только не уменьшалась, а даже постепенно нарастала, число явлений, необъяснимых с точки зрения моего здравого смысла, с какой-то дурной закономерностью умножалось.

То, что цены годами оставались постоянными, было хорошо, и воспринималось это как преимущество планового начала при социализме (как и отсутствие безработицы), но вместе с этим постоянно падало качество, а дешевые товары исчезали, превращаясь в дефицит, или, как тогда деликатно писали, «вымывались» из торговли. На ухудшение качества я обратил внимание — это было в начале 60-х годов — когда получал вторую, после введения их в форму одежды, кремовую рубашку с карманами. Первая рубашка, точнее — рубашка первого выпуска, была удобной, очень аккуратно сшитой, имела пуговицы двух размеров и еще ряд деталей, которые при желании можно было бы назвать даже лишними. Вторая же рубашка, ее я, кажется, получал через год, была, несмотря на тот же рост и размер, поуже в плечах, с менее аккуратной строчкой, с одним видом пуговиц и отсутствием петелек для пристегивания рубашки к брюкам. Таким образом была снижена себестоимость, о чем можно было рапортовать как о достижении вышестоящему начальству или инстанции.

Это явление было всеобщим, все уже привыкли, что после первого выпуска любой товар сразу теряет качество; так, например, было с духами «Белая Сирень», выпускавшимися Ленинградской парфюмерной фабрикой и вначале очень нравившимися Татьяне.

Постепенно но верно из продажи стало исчезать несладкое печенье и крекер. Казалось бы, почему? Оказывается они были дешевы и тем самым тянули финансовые *показатели* кондитерской отрасли вниз. Сахар был относительно дороже соли, муки и дрожжей и его не стесняясь вкладывали куда надо и не надо. Торговля, по той же причине, в неуклюжей рекламе и в выступлениях своих руководящих товарищей уверяла, что наш советский народ по своей национальной сути является *сладкоежкой*.

Сахар, а его нам очень много поставляла Куба, форпост социализма в Западном полушарии, в свою очередь оказался не таким уж дорогим по отношению к другим продуктам, что в конце концов привело к маховому расцвету самогонарения. Крепкие вина и водка были достаточно дорогими, самогон же из сахара оказывался раз в десять дешевле. По этому поводу «ВВС», хотя ее и глушили, ехидно отмечала, что Фидель Кастро успешно спаивает Советский Союз и конца этому при нынешней экономике не видно.

Китай в тот период поставлял нам много ширпотреба, в том числе и текстиль. Размеры готовых изделий строго соответствовали нашему ГОСТу, но постепенно дело пришло к тому, что наша та же рубашка одного и того же размера стала меньше китайской! Такая же метаморфоза произошла по отношению к египетским товарам. То же самое происходило с обувью, кроме, пожалуй форменной, где существовала военная приемка, хотя и в этом случае качество ухудшалось.

Никакого разумного объяснения всему сказанному я не находил, а признать, что имеет место растущее воровство в государственных масштабах я еще не был готов. Так же, как не очень верил, что значительную роль в товарообороте играет теневая или «левая» экономика, хотя примеры не фельетонные из газет, а из обычной жизни мне, конечно, были известны. Не могу не вспомнить тетю Шуру, дальнюю Ирину родственницу, жившую в Битце и державшую кур и козу. Она, как и все тамошние жители, покупала комбикорма (их не было в государственной продаже) у регулярно наезжавших «колхозников». Все знали, что корма ворованные, но деликатно и не без юмора, с легкой руки тети Шуры, называли всё это дело «левым сервисом».

Объяснение всему происходящему я считал нужным искать в причинах более высоких и обобщающих по сравнению с уровнем конкретных бытовых примеров, тем более, что последние касались главным образом второстепенной, как считалось, части экономики — ее «группы Б». Рассматривая экономику как сложную (централизованную, с большим количеством уровней иерархии) систему, я одной из возможных причин ее неэффективнос-



ти видел в запаздывании сигнала обратной связи. В том случае, когда отклик на команду из центра управления приходит слишком поздно, система становится неуправляемой. В этом я и видел, прежде всего, причины неэффективности, а попросту говоря безобразий, творящихся в нашей плановой и, тем самым, передовой экономике. Выход из положения я видел в использовании автоматизированных систем управления — АСУ. Они, я считал, будут своеобразным «автопилотом», управляющим нашим народным хозяйством. Собственно мои мысли были сродни идее академика В.М. Глушкова о создании единой государственной системы вычислительных центров для управления экономикой страны.

Я был уверен, что наша социалистическая экономика выше капиталистической, надо лишь ее разумно подправить. Одним из таких возможных улучшений я считал разделение промышленности. Одной ее частью — тяжелой промышленностью или группой А — должно по-прежнему управлять государство, так же, как и крупной торговлей. Легкая же промышленность, — группа Б, — и мелкая торговля вместе с общественным питанием и частично городским транспортом передаются в аренду частным лицам. В этом случае монополизм будет ограничен и возникнет благоприятная конкуренция за привлечение рабочей силы.

Идея разделения была не моей, а французских социалистов (не коммунистов!), о ней я прочитал в «Правде», когда велась экономическая дискуссия в преддверии XXVI съезда КПСС. Пожалуй впервые именно тогда я осознал, что не верю больше в изначальную порочность частной собственности.

Среди материалов дискуссии мне понравилось также дельное, на мой взгляд, предложение одного инженера. Он предлагал сократить огромное количество министерств до числа категорий в соответствии с Международной классификацией изобретений. В этом случае министерства несли бы ответственность за выпускаемую продукцию с начала до конца, то есть от сырья и до готовых форм и, кроме того были бы автономны по отношению друг к другу. На это предложение был даже опубликован ответ одного из руководителей Госплана, суть которого сводилась примерно к тому, что предложение хорошее, но принять его нельзя, мы к этому еще не готовы.

Надежды на более или менее серьезные изменения не оправдались. Несмотря на записанные в пухлых и многословных решениях XXVI съезда требования «органического соединения достижений научно-технической революции с преимуществами социалистической системы народного хозяйства» и очень близкого мне по работе «совершенствования ... математического обеспечения, средств и систем сбора, передачи и обработки информа-

ции», всё осталось, как было. Съезд отшумел, как очередная пропагандистская кампания. Но осталась одна фраза, сказанная Брежневым, которая в отличие от съезда, вошла в историю: «Экономика должна быть экономной — таково требование времени». Съезд ее встретил аплодисментами!

Конечно, общие соображения и конкретные примеры убедительны, но последнюю точку в понимании настоящего неблагополучия в экономике мне пришлось поставить только тогда, когда я нехотя и с огорчением осознал, что АСУ «КУРС», в общественной необходимости которой я был убежден, оказалась, по сути своей, никому не нужной. Другими словами, она не работала как инструмент управления. Помимо основной причины отторжения (достижения НТР за исключением «космоса» и военного дела плохо сочетались с социализмом), были и другие, я бы их назвал человеческими, причины: недостаточный уровень образованности, пенсионный или предпенсионный возраст ЛПР<sup>114</sup> и отсутствие экономической заинтересованности.

Так или иначе, но главное для меня было сделано: выполнены политические или, лучше сказать, идеологические требования Партии; внедрена, пусть командными и административными, а не экономическими методами, по определению прогрессивная АСУ; обеспечена ее работа за счет финансирования «отдельной строкой» из бюджета города.

Сознание выполненного долга было само по себе наградой, а кроме того, я утешал себя тем, что у АСУ есть будущее и она непременно и все более будет становиться нужной. Б.Г. по этому поводу говорил, что мы оказались бегущими впереди паровоза, который нам тогда представлялся автоматизированной распределительной экономикой в духе романтических представлений В.М. Глушкова, являющегося своеобразным крестным отцом АСУ «КУРС».<sup>115</sup> Мой непосредственный начальник, без чьей решимости, а так же опыта и знания московских коридоров власти, дело невозможно было бы довести до конца, по-моему тоже довольствовался самим фактом: дело сделано, а сознание выполненного долга само уже по себе награда.

Конечно, я преувеличил, когда сказал, что система оказалась ненужной. Это не совсем так, она оказалась очень нужной для некоторых городских научно-исследовательских и других организаций. Кроме того, она привела в порядок всю «исторически» сложившуюся систему распределения, алгоритмизировав ее и

---

<sup>114</sup> ЛПР — Лицо, принимающее решение.

<sup>115</sup> В.М. постоянно работал в Киеве, но в здании ГлавНИВЦа на дверях одного из кабинетов никогда не снималась табличка с его именем.

тем самым прояснив «закоулки» возможных злоупотреблений таким дефицитным продуктом, каким является бесплатное (муниципальное) государственное жилье. Я узнал много интересного, но это предмет отдельного рассмотрения, а здесь я хотел бы упомянуть о двух моментах.

Один из них — наличие привилегированных организаций, имеющих право самостоятельно, минуя исполнительные органы власти (исполкомы советов), выдавать ордера на получение жилья. У них даже цвет ордера был особый, — красный. Жилищный кодекс РСФСР такой возможности не предусматривал. Сделанное «открытие» вызвало у меня какое-то смешанное чувство. Во-первых, зачем скрывать, лучше просто записать в кодекс, во-вторых, нехорошо, что такие авторитетные организации так напрямую используют свое «начальственное» положение, получается, что *власть сама себе цель*, а не средство укрепления социальной справедливости. На память пришли романы Т. Драйзера, читанные в молодости. Казалось бы, что общего у американского капитализма с нашим развитым социализмом? А общее было. Бедных москвичей из центра («Старой Москвы») в процессе массового строительства переселяли в дешевые дома на окраинах, а центр застраивался «кирпичем» — дорогими домами индивидуальных проектов — и заселялся, как и у *них*, сильными мира сего. Но была и разница, у *них* надо было платить деньги, а у нас надо было занимать *соответствующее положение*. Справедливости ради надо сказать, что при переезде из центра жилищные условия улучшались: семьям предоставляли *отдельные* квартиры.

Автономно распоряжаться жильем могли ЦК КПСС, Верховные Советы СССР и РСФСР, ВЦСПС, КГБ... Для меня это было понятным, но увидев в списке Союз Писателей СССР я не мог сдержать улыбки удивления: вот уж действительно инженеры человеческих душ.

Вторым моментом, связанным с работой над АСУ, было окончательное убеждение в универсальности денег и их, если так можно сказать, демократизме по сравнению с прямым натуральным распределением. Всё подтверждало слова, услышанные ранее от Владимира Леонидовича, деньги — действительно величайшее изобретение человечества. Теперь это я мог бы подтвердить цифрами (килобайтами) информации, которую приходилось и хранить и обрабатывать для бесчисленных показателей и реквизитов. И, тем не менее, никакая «балльная» система оценки не могла заменить денежную, или, в конце концов, сводилась к ней же. Денежная честнее и проще: сколько заработал, на столько и

покупай! И не жалуйся, что из двух одинаковых квартир та, из которой глядеть в окошко приятнее, стоит дороже. В баллах это не выразишь, а в рублях, — пожалуйста!

Прежде, чем закончить эту главу, я позволю себе остановиться еще на *ситуации с такси*. Она для меня была и образцом и примером постоянного конфликта между экономикой, идеологией и даже этикой. Еще в школе я читал, что после революции профсоюз официантов Петрограда принял резолюцию об отказе от чаевых, считая, что они должны, как и рабочие, получать только зарплату, а чаевые унижают их человеческое достоинство. С детства считая себя *новым человеком*, я очень долго не мог избавиться от чувства неловкости, когда приходилось «давать на чай». Особенно неловко я чувствовал себя, когда был в форме и был как бы обязан, чтобы не выглядеть «жмотом», платить сверх показаний счетчика. Вместе с тем, меня задевало, что эти деньги идут не государству, чья машина используется, а частному лицу. Почему нельзя такси сдать в аренду и брать налог? Вот тогда чаевые я давал бы оправданно, — за *качество работы таксиста*!

Конечно, я понимал, что мои переживания и яйца выеденного не стоят, «сверх» брали охотно и даже требовали их, но встречались, хотя и редко, шоферы такси, видимо романтики с детства, которые брали точно по счетчику. Были! Причем, не только моего возраста, но и молодые ребята.

При всем сказанном, мое критическое отношение к экономике было критическим отношением к *своей*, нашей экономике, а капитализм продолжал оставаться антиподом по-прежнему. Ни о какой «революции Рузвельта» после великой депрессии начала 30-х годов я не только не читал, но даже и не слышал этого словосочетания. Я исповедовал положения основ марксизма-ленинизма и политэкономии, из которых следовала имманентная агрессивность капитализма-империализма и невозможность развития нашего антипода на *своей* собственной экономической основе. Ничего не слышал я и о *среднем классе*. Тем не менее, как это было в случае с «разделением» промышленности, я стал понимать неизбежность *конвергенции* социализма и капитализма в экономике. Но не в идеологии! Надо сказать, что понятие конвергенции, появившееся в средствах массовой информации, имело тогда явно выраженный негативный смысл. Тот же смысл имело понятие *постиндустриальное общество*: ничего подобного быть не может, за капитализмом неизбежно идет социализм.

Так или иначе, к началу 80-х годов, после XXVI съезда КПСС, у меня больше не оставалось иллюзий о возможности скорых и

эффективных преобразованиях в нашей экономике. Однажды, рассуждая на эту тему с одним из молодых моих сослуживцев, я услышал от симпатичного и хорошо образованного А.К. следующее:

— Не построим мы коммунизма, пока не воспитаем у людей коммунистическое сознание. Всё можно сделать, если воспитать сознательного и честного человека, но... вряд ли это возможно.

Я согласился с А.К.: в конце концов я тоже считал, что всё упирается в человеческие качества. При этом мы оба еще не потеряли уверенности, что хорошие человеческие качества можно воспитать. А если они плохие — то перевоспитать.

Дома за ужином я пересказал Ирине этот наш разговор. Она, как-то устало улыбнувшись, мягко заметила:

— Ты знаешь, уже буквально с грудничка можно определить, вырастет ли хороший человек, или преступник. Можно обучать, воспитывать, стараться, но злой по рождению человек таким и останется. Я это знаю, я несколько лет была директором комбината ясли-детсад на Севере. Был один такой татарченочек, что с ним ни делали, так и не смогли ничего добиться, потом он почти сразу попал в детскую колонию... Если ребенок с детства мучает животных, из него не получится доброго человека, младенцев злу специально никто не учит! Они еще говорить не умеют, а различить уже можно.

Я вспомнил книгу Хьюлета Джонсона, прочитанную несколько лет назад — «Христианство и коммунизм». Корни обоих учений общие — уверенность в необходимости *изменения природы человека*, для чего вполне достаточно лишь волевого усилия. К последнему должно подготовить воспитание, для коммунизма — идеологическое. На него я, несмотря ни на что, еще уповал, как думаю, и А.К.

Позднее от такого рода раздумий у меня появилось нечто вроде афоризма: «Если хочешь социализма, иди в монастырь!» В самом деле, есть выверенная идеология и все другие атрибуты социалистической идеи, включая отсутствие частной собственности. Нет разве что достижений НТР и возможности состоять в браке!..

Итак, я пришел к убеждению, что социалистическая экономика пришла в противоречие с фундаментальными свойствами человеческой личности. Или с человеческими качествами. Надежда, что их можно поправить воспитанием, основанным на коммунистической идеологии, оставалась...

## СОМНЕНИЯ И НАДЕЖДЫ



Над древними подъемлеся дубами,  
Он остров наш от недругов стерег;  
В войну и мир равно честимый нами,  
Он зорко вкруг глядел семью главами,  
Наш Ругевит, непобедимый бог.

А.К. Толстой «Ругевит» 1870 г.

...Подлинно научной идеологией является  
марксизм-ленинизм.

Советский энц. словарь. 1987 г.

Не знаю, чем это объяснить, но начала сомнений в коммунистическом идеале для меня почти всегда возникали не в реальном, а в умозрительном мире. Повторюсь, первым камешком, вызвавшим лавину сомнений, была книжка о крахе империи инков, а не крах мечты о личной яхте. Идеал от столкновения с действительностью страдал мало, и это — объяснимо, поскольку коммунизм был *высшей ценностью*. Вожди по отношению к ней были явлением, все-таки, вторичным: вожди уходили и приходили, а идеал оставался.

Несмотря на то, что обещанный Хрущевым коммунизм в 1980 году построен не был, а очереди продолжали расти, *партийный дух* во мне еще был крепок. Вместе с тем, когда в 1977 году была принята новая («Брежневская») конституция с официальным провозглашением партии как *руководящей силы*, я понял, что никакого отношения к такому руководству я не имею и не имел. Пришло понимание, что реальная власть находится не у абстрактного «коллективного руководства», а сосредоточена на вершине партийной пирамиды — у Политбюро и избираемого им Генсека. И еще, — что советы не имеют самостоятельного значения и проводят лишь в жизнь решения партии.

Но всё это не очень волновало меня, у меня или во мне сохранялась какая-то детская уверенность в возможности *построения* общества без воров, властолюбцев, убийц, насальников и предателей, вообще без сознательных преступников. Это следовало из неизбежности — по Марксу — замены капитализма коммунизмом и гарантировало появление нового, то есть идеального и безупречного человека. Эта уверенность не была такой уж наивной, все, с кем я имел дело, за малым исключением, были нормальными порядочными людьми. Кроме того, я безоговорочно верил в абсолютную силу воспитания (или перевоспитания), основанную на коммунистических идеалах.

Я был уверен, что идеология может быть только верной или не верной, мысль о том, что идеология может еще быть и *выгодной*, никогда не приходила мне в голову. Впервые с такой мыслью я встретился в книге «Преступник номер 1», в ней речь шла о Гитлере и Германии. Название книги, выполненное на обложке стилизованной русской готикой, уже с самого начала подталкивало к ассоциациям и аллюзиям, а прочитав книгу можно было только поражаться обилию исторических параллелей, существующих у Германии и СССР. Книгу мне подарил Б. Г., замечу, ее очень трудно тогда было достать, и зачитана она была до того, что рассыпалась на отдельные листы.

Решающим образом мое отношение к «новому человеку» и нашему идейному превосходству, да и, пожалуй, к идеологии вообще, изменили две книги. Первой была небольшая брошюрка Ю.А. Данилова «Джон фон Нейман», вышедшая в издании «Знание» (серия математика, кибернетика). Автор приводит мнение выдающегося ученого: «Сетовать на эгоизм и вероломство людей так же глупо, как сетовать на то, что магнитное поле не может возрастать, если ротор электрического поля равен нулю; то и другое — закон природы».

До этого я просто не задумывался о том, что человек *изначально конфликтен*, сознание ребенка я представлял себе «чистым листом», на котором пишет Воспитание, хотя к замечаниям Ирины по этому поводу относился со всем вниманием. Но одно дело обмен мнениями в семейном кругу, а другое — печатное слово и мировой авторитет одного из создателей многострадальной кибернетики!

Второй книгой, точнее тремя томами, были «Былое и думы». Когда я прочел, что «человек живет не для *совершения судеб*, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился, и родился *для* (как ни дурно это слово) ... для настоящего, что вовсе не мешает ему ни получать наследство от прошлого, ни оставлять кое-что по завещанию», у меня перехватило дух. Ведь это пишет знаменитый Герцен, корифей и предшественник, высоко ценимый Лениным! Читаю дальше: «...пока мы живы, ... *мы все-таки сами*, а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею». От восторга я замер, это же надо так удачно и точно сказать: бездомную идею! Я почти физически почувствовал, как с меня вдруг сползает пелена, одновременно с глаз и с сознания. Тут же я обругал себя за то, что раньше не прочитал книгу целиком, после школы я не брал ее в руки, она тогда была мне совсем не интересной.

Казалось бы,— подумал я о себе,— человеку перевалило за пятьдесят, а у него, видите-ли, пелена с глаз сползает. Как-то несерьезно! Но *так* оно и было, я ничего не придумываю.

Были, по крайней мере, две причины для позднего прозрения. Первая. *Идеология* в повседневной жизни мне не мешала, я ее просто не замечал, она существовала, так сказать, *ab ovo*. Как тут не вспомнить знаменитое пушкинское: «Привычка свыше нам дана/ замена счастию она». Вторая причина состояла в том, что критический анализ пресловутой идеологии шел как-то сам по себе, автоматически, как будто некто во мне просто время от времени отмечал несовпадения между действительностью и мысленным идеалом.

Мое *alter ego* нуждалось, хотя бы изредка, в моральной поддержке, поскольку вся общественная жизнь была против такой критики. Лозунги вроде «Наш путь — коммунизм» и «Слава КПСС!» выполнялись уже из металла и в темное время суток имели стационарное освещение. А тут — Герцен, поддержка-то какая! Фон Нейман показался мне излишне строгим, я не считал себя вероломным человеком. Кроме того, подумал я, есть мысль, есть слово и есть дело. По крайней мере сознательно я не делал или старался не делать зла, но вот насчет слов и, особенно, мыслей, тут знаменитый ученый прав. Мир мыслей — это действительно страшный, но и прекрасный мир...

Так или иначе, но эти две книги положили конец, хотя я осознал его с некоторым опозданием, вере в *равенство* людей, а точнее в социализм или коммунизм, при котором по определению *все должны бы быть новыми* и хорошими людьми. Таких людей я знал — это были Вилен, Никитка, Татьяна, Борис, Нина, Наташа, Володя, Леша и вообще все мои друзья и хорошие знакомые. Понятно, что обобщать такое отношение на всех сограждан я ни в коей мере и не мог и не собирался.

Несмотря на все уверения «руководящей и направляющей силы советского общества», количество диссонансов, о которых я писал, постоянно росло. Или новых людей, рожденных нашей Революцией оказалось мало, (а откуда взять больше? — подумал я), или прав фон Нейман и царство праведников на земле построить невозможно. В таком случае Революция есть ни что иное, как своеобразная духовная проекция свершения христианского Судного дня (*dies irae*), после которого и появляется избавленный от греховности, свободный и счастливый Новый человек с истинной верой, *равнозначной революционному сознанию*. Так постепенно, мысленно всячески упираясь, я пришел к пониманию того, что Великое Непобедимое Учение по существу своему является не наукой, а *верой*. Грех перед Богом замещался гре-



хом перед Революцией! И карался в интересах «истинных» корифеев во главе с вождем и учителем...

Когда вождь и учитель умирал, на его место приходил новый вождь и учитель, власть в стране от этого не менялась, идеал считался бессмертным, поскольку учение было провозглашено всесильным и единственно верным.

На экран телевизора во время передачи новостей или официальной хроники было больно и стыдно смотреть: разве шел в какое-нибудь сравнение Брежнев, скажем, с блестящим Жискаром Д'эстеном или другими мировыми лидерами? У главы государства постоянно отвисала челюсть, он еле двигался, а слова произносил так, как будто только-только научился говорить. Какой позор, думал я, во всем Союзе нельзя найти человека, достойного олицетворять великую страну, вторую (другая — США) сверхдержаву мира! Ю.В. Андропов, пришедший в 1982 году на смену Брежневу, выглядел не лучше и почти сразу слег в постель. Тут же стал ходить анекдот, что Брежнев работал на батарейках, а Юрий Владимирович — может только от сети, дальше шнур не пускает. Через год с небольшим сменивший его К.У. Черненко выглядел еще хуже. Временами возникало впечатление, что он находится в какой-то прострации и теряет дар речи. Его приход к власти озаменовался фейерверком анекдотов про чукчу...

Кирилл, ставший после гибели Алены близким нам с Ириной человеком, как-то заметил, что принятая в 1981 году одиннадцатая пятилетка будет пятилеткой «трех П» — пятилеткой пышных похорон. Его предсказание оказалось верным. Первым открыл скорбный и одновременно какой-то сюрреалистический путь в начале 1982 года М.А. Суслов. Телевидение скрупулезно шаг за шагом транслировало церемонию его похорон на Красной площади. Главный идеолог, награжденный золотой медалью имени Карла Маркса, даже в гробу лежал как солдат партии, вытянув руки по швам, а не смиренно скрестив их на груди. Через несколько месяцев скончался Брежнев. Старцы покидали кормило государственного корабля...

Но вернемся к книгам, точнее, к чтению. Читал я всегда много и охотно, а в тот период чтение оказалось для меня просто спасением, им можно было хоть чуть-чуть заслониться от безнадежных мыслей, тоски и тревоги за здоровье Ирины.

Среди прочитанных книг были недоступные, точнее запрещенные, «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака и Библия. Прочитав «Живаго», я никак не мог понять, за что же его запретили. Написан он блестяще, *крамола* могла бы быть, единственно, в мысли автора о том, что человечество стремится не к коммунизму, а к вечности и Вечному. Но близкая мысль есть и у Ромена Роллана в

его «Жане Кристофе»: «Я — жизнь, борющаяся с Небытием (...) Небытие обступает Бога, и Бог повергает его во прах (...) Победенный, ты все же принадлежишь к войску вовеки непобедимому. Помни это — и ты пребудешь победителем и в самой смерти».<sup>116</sup>

Тем не менее, Р. Роллан издан, а Пастернак запрещен. Идиотизм стал родимой чертой идеологии...

С некоторым волнением открыл я Библию, до этого я никогда не держал в руках ее всю, в одной книге. Сначала я попытался читать всё по порядку, но это оказалось трудновато, и я обратился к главам с сюжетами, так или иначе знакомым по литературе, живописи, скульптуре, книжным иллюстрациям. После этого наступила пауза. Преодолеть ее помогла счастливая случайность. Мать Ирины Вера Арсеньевна Лагунова подарила мне две книги — истории Ветхого и Нового завета, составленные по программе для дореволюционной гимназии, по ним она в детстве училась и сдавала экзамены по Закону Божию. Читать эти книги было захватывающе интересно. Ни в коем случае не впадая в кощунство, я скажу, что читал их не отрываясь, так же, как в детстве читал сказки Тысячи и одной ночи. С тех пор Библия стала открытой книгой.

Когда в 1955 году я был на выставке картин Дрезденской галереи, мне, к примеру, не очень была понятна суть картины Доменико Фети «Пригча о потерянной драхме». А теперь я получил исчерпывающее объяснение: женщина, имевшая десять драхм, потеряла одну, зажгла свечу и стала мести комнату, тщательно разыскивая утрату. Найдя драхму, она созвала подруг и соседок, чтобы они порадовались вместе с нею. «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». (Лук. 15.10).

И опять возник вопрос, почему Библию не издают? Дело даже не в том, верующий ты или нет, Библия — это кладезь и система образов, кодов, знаков, крылатых слов, обычаев и прочая и прочая нашей русской и европейской и мировой культуры... Кончая школу я больше знал о Геракле и Юлие Цезаре, а не о Христе. О жизни Христа мне рассказывала только бабушка.

Так постепенно раскрывалась глубина и интеллектуальная мощь Библии, дающей образы и образцы не только для индивидуального поведения, но и универсальные константы для поведения социального. Одно не *створи себе кумира* скольких миллионов человеческих жизней стоит. Собственно это было продолжением предыдущих раздумий о религии и огромной роли религиозного пути познания реальности наряду с материалисти-

<sup>116</sup> Р. Роллан. Собр. сочинений, т. 4, стр. 172—173. М., Изд. «Правда», 1983.

ческим научным. Я всё ближе подходил к пониманию универсальности утверждения, что все равны только перед Истиной. Безотносительно, касается это людей или методов постижения ими окружающего мира.

«Незыблемость», а следовательно и *неправильность*, нашей идеологии становилась для меня всё очевидней не только потому, что она явным образом менялась почти с каждой пятилеткой, но и, — главное, — потому, что самой науке не стало хватать рамок материализма. *Принцип неопределенности* В. Гейзенберга (еще в академии надо было сдавать зачеты по ядерной энергетике!) стал постепенно осознаться как прямая материализация сознания, поскольку в мире элементарных частиц объект наблюдения зависит от наблюдателя. Другими словами, и материализм и идеализм не исключают друг друга («или — или!»), а являются равноправными сторонами единого мира. Или Истины.

Так начался для меня целый период, который можно назвать временем **Большого Чтения**. Особенно интенсивным оно стало после 1985 года, когда к власти пришел М.С. Горбачев, провозгласивший *перестройку*. Открылась пора «нового мышления» — романтическая пора больших ожиданий и надежд. Ее главной ценностью, как оказалось впоследствии, по крайней мере для меня, стала *гласность*, освобождавшая сознание от фундаментального догматизма. Кроме внешнего обаяния, в основном по контрасту с предыдущими генсеками, меня приятно поразили непривычные для «вождя» вполне человеческие слова Горбачева о том, что мы приходим в этот мир только один раз, и еще — что он не знает точно, что будет лет через пятнадцать. Когда я это услышал, то подумал, что он вполне нормальный человек: прежние Первые и Генеральные знали, причем твердо, что будет не только завтра или через пятнадцать лет, но и в обозримом будущем: коммунизм!

Начало перестройки было для меня последним всплеском надежд на плановое, тщательно рассчитанное и подготовленное преобразование уродливой экономики и ущербной идеологии. Не на основе подходящих к случаю, каждый раз *впервые публикуемых* ленинских цитат из бездонного архива ЦК КПСС, а на основе объективного анализа происходящего.

В июне 1985 года я провел две недели в семье дочери в Мурманске-150. Ее муж служил командиром БЧ-V на атомной подводной лодке, а она с двумя сыновьями, Сережкой и Киришкой, была, так сказать, «хозяйкой дома», поскольку в закрытом небольшом городке работы для офицерских жен не было. Я наслаждался прогулками, играми и разговорами с внуками и радовался тому, что опять оказался в такой дорогой мне флотской

среде. Одно обстоятельство меня очень тревожило: в городке были *карточки*! Их стыдливо называли талонами, но суть от этого не менялась, талоны выдавались на сливочное масло, колбасные изделия и значительную часть промышленных товаров, включая даже детские шубки. Государство оказалось не в состоянии обеспечить семьи офицеров даже стратегических ядерных сил. Да, — подумал я, — дальше ехать некуда!..

Тем не менее, я надеялся, что у Горбачева хватит и ума и умения, с помощью всесильной партии, плавно, по глассе, перевести сверхцентрализованное монопольное народное хозяйство в эффективно работающую экономику. У меня, повторюсь, еще оставалось чувство партийности. Я надеялся, что перестройку без особых потрясений можно будет довести до положительных, ощутимых «на вкус и ощупь», результатов. Двум сотрудникам, очень порядочным людям и хорошим специалистам, я в это время дал рекомендации для вступления в КПСС. До этого их не принимали, так как они проходили бы по статье «служащие», а не «рабочие». В рекомендации я написал, что они разделяют идеи перестройки и стараются их реализовать в своей работе. Теперь их приняли, конечно, не потому, что я писал рекомендацию, а потому, что началась перестройка.

К сожалению, через пару лет стало ясно, что романтика, как это обычно происходит, оборачивается прозой жизни. Оказалось, что перестройка не имеет четкого плана, время зачастую теряется зря, а драгоценный энтузиазм улетучивается. И, тем не менее, «Процесс пошел». Эти два слова Горбачева стали крылатыми!

Но вернемся к Большому Чтению. Вместе с отменой цензуры и принятием закона о кооперативах лавинообразно стал расти книжно-журнально-газетный поток. В нем захлебывались и тонули партийная история, марксизм-ленинизм и социалистический реализм. Книжный рынок опередил своим появлением все остальные виды рынка. Никогда на моей памяти так много не читали. Внешнеполитические события отошли на задний план, стали читать газетные передовицы! Если считать, что красная Москва была *четвертым Римом* после *третьего*, рухнувшего в 1917 году, то именно с этого времени я перестал смотреть на несоциалистическую часть человечества как *римлянин на варваров*.

Нет ни возможности, ни необходимости перечислять прочитанное. Я ограничусь лишь некоторыми публикациями, наиболее повлиявшими на мое отношение к социалистической действительности. Пожалуй, первой в этой последовательности была статья доктора технических наук, профессора А. Ефимова. Она называлась «Элитные группы, их возникновение и эволюция» Речь шла о математическом моделировании поведения лучших

(в смысле поставленного критерия отбора) человеческих групп. Приводимые результаты исследований имели явное социальное истолкование, поскольку такими группами были названы и монашеский орден, и номенклатура, и ЦК партии, и высшее армейское командование, и олимпийская сборная... Короче — группой может быть любой социальный организм, имеющий правила отбора и пополнения убыли своего состава.

Статистические данные моделирования свидетельствовали: если из элиты выбывают лучшие (отрицательная обратная связь), то система деградирует. Если при этом «рекомендатель» для нового «претендента» сам находится еще и внутри группы, то скорость деградации увеличивается. При появлении *личной преданности* и подобных неформальных связей между членами группы, «каолиция» превращается в «клику».<sup>117</sup> Последнее не происходит в группах с положительной обратной связью, например, в спорте, где из команды выбывают худшие, а пополнение происходит на основе объективного эталона и из внешней совокупности кандидатов.

В статье упоминались и Сталин, и Орджоникидзе, и Киров, и Тевосян, и Куйбышев и другие известные фигуры нашей истории, и НЭП, и имевшие место чистки-«прополки». Впрямую не были названы лишь Ленин, Политбюро ЦК КПСС и М.С. Горбачев. В заключение говорилось, что средством против образования клик служат предельные сроки пребывания у власти выборных лиц, обязательное обновление выборных органов и другие демократические процедуры. За статьей следовала обширная рецензия, написанная академиком Н.Н. Моисеевым. Суть ее можно было сформулировать так: или кардинальная перестройка, или — деградация.

И статья и рецензия меня очень обрадовали, я даже принес журнал на работу и дал его почитать сослуживцам. Закономерности происходящего в стране объяснялись почти с академической беспристрастностью, были и убедительны и созвучны моим мыслям. В кажущийся хаос, особенно телевизионный и газетный, вплетаюсь что-то вроде научной обоснованности!

Следующей в последовательности публикаций, о которых я рассказываю, оказалась статья В.И. Вернадского. Она называлась «Записка о выборе члена Академии по отделу философских наук» и была написана в 1928 году, но опубликована, судя по всему, впервые только после начала перестройки.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> В кавычки взяты термины теории игр.

<sup>118</sup> См. «Коммунист», № 18, 1988. Это был уже не прежний журнал, в редакцию теперь входили и О. Лацис и Т. Гайдар.

Казалось бы, ну что может быть интересного в том, что малоизвестный философ, «диалектический материалист, связанный с марксизмом», А.М. Деборин хочет стать академиком? Конечно, ничего. Но в «Записке...» речь шла о философии и ее истории. Кроме того, как она была написана! Ее мог писать только человек с незакрепощенным сознанием, изначально свободный и не признающий никаких идеологических табу. Несколько фраз меня совершенно покорили. Я их приведу: «Если ход научного знания будет идти с той же быстротой, скоро философские концепции Фомы Аквинского, Гегеля, Маркса и Энгельса одинаково окажутся устарелыми и далекими от современности и не смогут никакими поправками быть сохранены живыми. (...)едва ли я ошибусь, если укажу, что характерной чертой нашего времени является возрождение и усиление идеалистических... течений. (...)в общем мировом аспекте диалектический материализм очень мало заметен в современной философской мысли — это есть пережиток гегельянства, которое отходит все дальше и дальше в историю».

Это для меня материализм был печкой, от которой якобы все время танцевало прогрессивное человечество! А для человека с незамутненным взглядом на действительность материализм и идеализм, оказывается, равноправны, они лишь две стороны реального бытия, не более того. Значит, есть нечто и за ними, а точнее — *над* ними... Но все-таки главной мыслью В.Н. Вернадского была мысль о свободе творчества, не переносящего никаких оков. Для меня же его статья была прощанием с догмой *материализма*, ибо мои ощущения были реальностью отнюдь не из-за бумаги, на которой писалась статья, реальностью был ее дух.

Публикацией, которую необходимо также упомянуть, были «Жизнь и судьба» В. Гроссмана. Я был потрясен этой вещью. И главным образом потому, что первый раз осознал: Гитлер и Сталин, гитлеризм и сталинизм не антиподы, а близнецы-братья, имя которым тоталитаризм, а о нас и Германии можно сказать словами Шекспира: «Мы в книге рока на одной строке». Кроме того, эта книга заставила меня оценить всю правоту известного положения о том, что видишь не то, что есть, а что собираешься увидеть. В связи с этим я должен сказать несколько слов о своей коллекции почтовых марок.

На первых советских, еще Р.С.Ф.С.Р., а не С.С.С.Р., и немецких почтовых марках, выпущенных после I-ой мировой войны, были очень большие номиналы. На наших они достигали 100 000 рублей (1922 год), на немецких — до 50 миллиардов марок (1923 год), номиналы же мирного времени выражались в копейках и пфеннигах. То, что номиналы на почтовых марках США, Англии, Франции и многих других стран практически не менялись,

я воспринимал просто как факт, который имеет место и только. Затем, как случайное и забавное совпадение, я отметил одинаковый сюжет на советской (1929 год) и немецкой (1935 год) марках: на нашей — горнист-пионер, на немецкой — горнист из гитлер-югенд. Так же я в свое время отнесся к бросающейся в глаза аналогии между нашей этнографической серией (1933 год) и немецкой серией, изображавшей жительниц германских федеральных земель в национальных костюмах (1935). Аналогий было более, чем достаточно, но то, что стояло за *ними*, я не видел! Как парадоксальную воспринял я и другую аллюзию, это было, правда, значительно позднее. Блок немецких марок с портретом Гитлера, выпущенный в 1937 году, имел в качестве сопроводительного текста слова фюрера: «Кто хочет спасти народ, должен думать только героически». Когда в 1971 году я читал «Воспоминания и размышления» Г.К. Жукова, мне невольно вспомнились эти слова, так как маршал писал: «Великому народу всегда нужны великие идеи и большие имена, чтобы было во что верить и за кем *идти*».<sup>119</sup> Самое же удивительное было в том, что у Жукова написанное тоже относилось к 1937 году.

После «Жизни и судьбы» аналогии, усмотренные в почтовых марках, превратились в очевидные признаки диктатур и тоталитарных государств XX века, продолжавших эпоху войн и революций. Подтверждение марочным аналогиям я несколько позднее нашел и в «Военно-историческом журнале»: у Сталинского генерального плана реконструкции Москвы был аналог — Гитлеровский план реконструкции Берлина, у нашего дворца Советов — немецкий дворец Нации. Все-таки, архитектура не столько застывшая музыка, сколько застывшая идея. Монументальность и тоталитаризм — едины.

И еще немного о марках. После денежных и связанных с ними эмиссий следуют почтовые марки. Они, пусть и миниатюрные, но *государственные* бумаги. В 1915—17 годах почтовые марки, отпечатанные на тонком картоне, вообще использовались как деньги. На оборотной стороне марки было изображение герба и текст, в котором говорилось, что они имеют хождение наравне с серебряной или медной монетой. Но государственность являет себя прежде всего в идеологии, которую несет рисунок марки. Особенно ярко это выражено у стандартных марок, выпускаемых массовыми тиражами. К примеру, первый стандартный выпуск советских марок (1921 год, Р.С.Ф.С.Р.) был воплощением романтики Революции. Главной была марка-аллегория с изобра-

---

<sup>119</sup> См. Г.К. Жуков. Воспоминания и размышления. М., 1971, стр. 139; выделено мною. — И.Ш.

жением почти антично красивого пролетария, попирающего отбросившего лапы и хвост дракона (капитализм) у самого выхода из его темницы. Выход одновременно был и входом в светлое будущее с сияющим солнцем Свободы. На остальных марках этого выпуска царило идеологическое пиршество символов нового государства *труда*, причем труда и крестьянского, и рабочего, и умственного.

Если последовательно рассмотреть рисунки стандартных выпусков, можно получить интересную историко-идеологическую летопись в образах. Уже в 1923 году романтика уходит, пространство образов-символов резко сужается до трех скульптур И. Шадра: рабочий, крестьянин и красноармеец. В 1927 году появляется портрет Ленина, а в 1929 — изображения колхозника, работницы, колхозницы и красноармейца (со штыком и одетого строго по форме). Кроме этого впервые появляются символы *реальности* — здание Центрального телеграфа в Москве и здание Волховской ГЭС... Любопытно отметить, что представитель умственного труда (ученый с микроскопом и в очках) появляется лишь в 1948 году — в первом послевоенном «стандарте».

Не буду продолжать хронологию, замечу только, что сюжеты были и *живыми* символами, и *символами* с *символов*. Количество первых постепенно убывало... Кстати сказать, по маркам можно было предугадать конец СССР: в 1977 году «стандарт» состоял всего из двух живых сюжетов — авиации и здания СЭВ. Все остальные марки были застывшими символами с символов: изображались ордена, медали, почетные знаки. Даже Гагарин воспроизводился по медали Международной авиационной федерации! В последнем — тринадцатом — стандартном выпуске СССР (декабрь 1988 года) из двенадцати марок только одна имела живой сюжет — станцию дальней космической связи. Идейная энтропия была практически полной.

Последняя капля переполнила мою идеологическую чашу терпения когда я понял, что в школе меня обманывали, внушая, что без пролетариата эксплуатируемые массы всегда терпели поражение. Оказывается, случаев победы угнетенных, голодных и рабов над своими хозяевами было не так уж мало. Например, еще в 136 году до н.э. восставшие против Рима сицилийские рабы победили и создали свое царство. Или еще: Великая крестьянская война в Китае (1630—1640 годы) привела к полному поражению императорских войск и вождь повстанцев Ли Цычэн вступил в столицу... А дело кончалось тем, что угнетенные (рабы, крестьяне) избирали «царя». Он заводил двор, феодалов, собственных слуг и рабов. В конце концов все это приводило к расколам, смуте и поражению. Собственно, это исторический закон, вари-



руются только масштабы и сроки, а побеждали ли с пролетариатом или без него, для угнетенных принципиального значения не имело.

Здесь я пока прервусь, хотя читать, само собой разумеется, я продолжал и дальше. Я несколько опередил другие события, которые шли отнюдь не блестяще. Ирине не становилось лучше, и в 1984 году мне пришлось уйти с работы, чтобы заняться домашними делами.

Писать об Ирине мне до сих пор трудно, да это и не предмет моего повествования. Все повторилось, как один раз уже было с Татьяной, только сил у меня теперь поубавилось. 13 декабря 1986 года Ирины не стало...

## КОНЕЦ ЭПОХИ



...Дивились мы, друг друга вопрошая:  
«Где ж мощь его? Где власть его святая?  
Наш Ругевит ужели был не бог?»

И пробудясь от первого испугу  
Мы не нашли былой к нему любви  
И разошлись в раздумии по лугу,  
Сказав: «Плыви, в беде не спасший Ругу,  
Дубовый бог, плыви себе, плыви!»

*А.К. Толстой. «Ругевит»*

После смерти Ирины, придти в себя мне помогли Борис и Ляля, его жена. У меня не хватает слов благодарности им за поддержку и понимание...

В конце января 1987 года неожиданно позвонил мой прежний начальник и предложил мне взяться за разработку АСУ в управлении кадров, куда он незадолго до этого был назначен. На этот раз речь шла о создании системы, использующей современные персональные компьютеры. Не скрою, я был рад этому звонку, он был своеобразным признанием моей, нескольких лет давности, правоты насчет эффективности применения вычислительной техники даже в сугубо бюрократических структурах. Исчезла досада и от казавшейся поначалу ненужности АСУ «КУРС», а ко всему прочему, предложение было и явным признаком наступивших перемен. Я согласился.

Работа доставила мне несколько ярких и новых переживаний, о которых не могло быть и речи до перестройки. Теперь оказалось возможным *выбирать* разработчика для системы, причем на конкурсной основе. Я попросил Кирилла, который к этому времени стал главой хозрасчетной фирмы — лаборатории при АН СССР, занимавшейся, помимо прочего, и программным обеспечением, подобрать возможных разработчиков. Кирилл блестяще справился с этим делом, представив и предоставив нашему управлению нескольких претендентов. Из них в конце концов остались двое.

И вот, в зале заседаний собралось все управление. С докладами о своих проектах говорят представители организаций — конкурентов. На экранах компьютеров демонстрируются видимые удобства поиска информации и работы с нею. Весь зал в напряжении: надо выбирать! Это так непривычно, раньше об этом и не спрашивали, что дают, — то и ладно. Я заметил, что в условиях неопределенности выбор как бы персонифицируется — выбирают не столько предмет, систему, проект, программу или даже просто обещания, а человека, который их представляет и который внушает больше доверия. Часто решающее значение при таких выборах имеет *подсказка*. Мне было ясно, какая разработка лучше, проголосовали за нее, но ведь и разработчик был симпатичнее!

Тем временем, я продолжал много читать, а с наступлением лета стал и писать — началась работа над этой книгой. Мне хотелось найти удовлетворительное объяснение идущей перестройке и метаморфозам, происходящим в моих взглядах, поскольку идея социализма-коммунизма оказалась для меня вполне исчерпанной. Последний удар ей нанесли данные о *десятках миллионов* загубленных жизней, данные, потерявшие гриф секретности особой важности. Секретность медленно уходила, несмотря на заклинания не допускать этого и не позволять очернять историю. Особенно надменной и легкомысленной при этом стала представлять государственная уверенность прошлых лет в том, что можно тайну «хранить вечно».

Но кроме цифр был еще «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына. В свое время я прочитал в «Новом мире» его «Один день Ивана Денисовича». Для меня было любопытным описание лагерного быта, а сама вещь сильного впечатления не оставила, я даже больше посочувствовал не главному герою, а второплановому — кавторангу... «Архипелаг» же, с его почти несчетным количеством настоящих, живых, *фактических* судеб, потрясал. Злодейство, содеянное партийным государством предстало в таком отвратительно-бытовом и одновременно эпически-грандиоз-

ном масштабе, что нельзя было не ужаснуться. Яснее стали и истоки случившегося.

В разоблачениях Хрущева Сталин выглядел как явление исключительное и не характерное для социализма. Теперь же становилось ясным, что несостоятельна сама система, что Ленин, казавшийся таким благостным и мудрым, заложил все ее порочные основы, использованные по наследству Сталиным. А так же и то, что Ленин начинал не с нуля и не на пустом месте... Мне захотелось назвать Октябрьскую революцию не иначе, как Великим Социалистическим экспериментом (ВСЭ) и пожалеть, что он произошел у нас.

Постепенно я с некоторым удивлением стал замечать, что мое положительное, а временами и просто восторженное отношение к переменам разделяют не все. Более того, логические доводы оказываются как бы и ничего не значащими. Становилось ясным, что человек, выросший в СССР, очень чувствителен к идеологическому комфорту, что без государственной идеологии ему и жить почти невозможно. Так, я был совершенно обескуражен высказываниями одного моего приятеля-сослуживца, майора в отставке, который стал постоянно твердить, что у народа и у него украли идеалы, а взамен ничего не дали. Другой сослуживец, тоже очень приятный человек, положительный и справедливый, превосходный семьянин, вдруг заговорил о том, что надо кончать *это безобразие* и вступать в Союз офицеров...

В декабре 1987 года на очередных занятиях для адмиралов, генералов и старших офицеров запаса в Клубе центральных управлений ВМФ можно было наблюдать следующее. Как заведено, занятия начались с доклада. Речь шла о недавно заключенном договоре о сокращении РСД — РМД<sup>120</sup> между Горбачевым и Рейганом, а так же об американской системе противоракетной обороны СОИ. Всё шло гладко, но постепенно докладчик, отставной генерал-майор, стал впадать в раж. Сначала он лишь слегка, постукивая ладонью по пюпитру трибуны, выделял свои мысли. Затем ладонь сжалась в кулак и трибуна загремела как деревянный колокол. Он вдруг, как-то ни с того ни с сего, заговорил о писателях, которые занимаются очернительством нашего славного пути. Первому от него досталось Евтушенко, который дошел до того, что не мог подыскать себе русской жены, а взял англичанку. Затем речь превратилась в крик:

— Вот они там Маркса, Энгельса, Ленина не издают! А Рыбакова — пожалуйста! Да еще столькими издательствами! Позор!!

---

<sup>120</sup> Ракеты средней и малой дальности.

Вместительный зал клуба имел заметный уклон к сцене. С последнего ряда все видно как на ладони, правда, затылки, а не лица. Выражения лиц можно увидеть лишь на трибуне и за столом президиума. Но затылки тоже выразительны: чем ближе к сцене, тем больше седины и лысин. К периферии зала народ относительно молодеет, здесь даже можно встретить некоторых офицеров из МГШ, пришедших послушать нужный доклад или лекцию.

После того, как с трибуны прозвучало «Позор!!», в первых рядах раздались искренние и громкие аплодисменты. Срединное большинство зала молчало, а в задних рядах послышался ропот и даже резкие слова возмущения. Между тем, дождавшись с помощью президиума тишины, докладчик продолжал:

— А «Белые одежды»! Да что же это такое?! А «Новое назначение» Бека?! Это же клевета! Я сам два раза присутствовал на совещаниях у Сталина, и раз говорил с Поскребышевым! Люди работали с собой не считаясь, до 2—3 часов ночи! Никуда не ходили, с семьями не виделись! Ни о каких театрах и думать не могли! А сейчас?! А музыка, разве это музыка!..

Аплодисментов больше не было, но первые ряды почти единодушно демонстрировали свою близость к докладчику; середина вела себя вполне пристойно; кадровые же офицеры и «молодежь» вроде нас с Иваном Фирсовым стали выходить из зала. Смотреть больше было не на что, везде было так — на площадях, в очередях, на экранах телевизоров. В гардеробе мой другой сослуживец по эскадре ЧФ, когда я сказал, что докладчик просто тоскует об ушедшей молодости, заметил:

— Конечно, иначе не нес бы такую чушь.

Полученная в молодости от ЦК ВКП(б) монолитная идеология в конце концов осела в подсознании. Многие, как эти ветераны, уже не могли от нее избавиться, несмотря на появление новых, ранее закрытых, *фактов*. Отказ от старой привычной картины мира стал субъективно восприниматься как измена и предательство по отношению к собственному я и принципам, которыми *нельзя поступить*.

У молодости нет еще груза прошлого, поэтому все революционеры, вожди и диктаторы так ее любят, но в зале, все-таки, расслоение шло не по возрасту, а по идеологии, хотя за спиной у докладчика и президиума рядом друг с другом висели портреты Ленина и Горбачева. В одинаковых рамах.

В марте следующего года я побывал в Манеже на выставке картин «70 лет на страже социализма». По случайному стечению обстоятельств, у картины С.Н. Присекина, а она привлекала общее внимание, я оказался рядом с тогдашним министром оборо-

ны Язовым, он, кажется, через день должен был лететь в США. Автор картины пояснял министру, его жене и еще нескольким персонам, содержание огромного полотна. Министр молча слушал, его жена, классическая «мать-командирша» задавала вопросы, окружение согласно кивало головами, а автор с видимым удовольствием подробно говорил о своей работе. Я, воспользовавшись случаем, стал внимательно смотреть. Картина изображала триумф Октябрьского вооруженного восстания, олицетворенный членами ВРК (Военно-революционного комитета), стоящими на ступенях некой лестницы. Их окружают почти аллегорические фигуры, справа — рабочие и матросы, слева — крестьяне и солдаты. Фон — боевая колесница и барельефы славы на арке Главного штаба. По всем кинофильмам именно отсюда начинался победоносный штурм Зимнего. Над аркой сквозь темные грозные тучи пробивается яркий солнечный луч, освещая персонажи картины. Центром композиции является фигура молодого Ленина в светлой, буквально, одежде. Сталин и Троцкий — по сторонам, на одинаковом удалении, но все-таки на переднем плане. Будущий продолжатель дела Ленина — во френче кроваво-красного цвета, «иудушка» же, как-то дьявольски скособоченный, во всем черном. Тесно примыкая к Ильичу в затылок — остальные члены ВРК. Идея картины и, главное, ее размеры заставляли, чуть ли не насильно, вспомнить «Явление Христа народу».<sup>121</sup>

Хорошо выписанное полотно было исполнено не в официальной манере соцреализма, а в новой его модификации, я назвал бы ее иконно-мистической. Она позволяла молодому художнику как нельзя лучше представить — не могу сказать по-другому — *идеологический идеал* времен Хрущевской оттепели, скорректированный начавшейся широкой политической реабилитацией времен перестройки.

Когда министр удалился, я завладел Сергеем Николаевичем и стал задавать ему вопросы. Он объяснил, что это его первая выставленная картина, работал он над ней три года, поднял и обдумал много документов и фотографий из разных архивов. Родился он в 1958 году. Нас быстро обступили многочисленные зрители и разговор стал общим. Судя по вопросам и репликам, почти все были яростными антисталинистами. И тут в разговор мягко и одновременно настойчиво вступила одна женщина. Собственно, все написанное о картине — это как бы прелюдия к обмену мнениями с ней. Он был своеобразным открытием для меня, похожим на пресловутый *момент истины*.

---

<sup>121</sup> Картина Александра Андреевича Иванова в Третьяковской галерее.

Собеседница была миловидна, даже красива, интеллигентна, со вкусом одета, и не очень молода, мимоходом она заметила, что «тринадцать лет жила при Сталине». После чего решительно добавила, что по-прежнему хорошо к нему относится, хотя читала всё, что о нем пишут, что она знает и больше этого. Далее оказалось, что она коренная москвичка, у нее и прабабка здесь похоронена. В детстве, пока не переселили, она жила в Лефортово. Узнав, что я родился в Москве, она дружелюбно остановила свой взгляд на мне и спросила, как я отношусь к Сталину. Привожу наш диалог:

— В свое время я кричал «Ура!» и «За Родину, за Сталина!». А теперь считаю, что большего злодея в русской истории не было.

— А вот смотрите, ведь народ-то любит Ивана Грозного. До сих пор!

— К своему пониманию Сталина я пришел *сам* и не сразу. Я *узнал*, что он сделал. А кричал потому, что тогда не знал.

— Мужчинам легче, они живут больше разумом и логические доводы их могут убедить. А женщина... Это, знаете, как женская любовь: ведь любят и некрасивых. Даже уродливых и недостойных. И будут верны им, потому, что — полюбила, потому, что — мой! Так и у меня с отношением к Сталину.

Здесь в наш диалог, не вытерпев, вступил майор-артиллерист, стоявший рядом:

— Но ведь он уничтожил миллионы невинных!

— Это — от логики! — безапелляционно повторила интересная собеседница.

Не убедив друг друга мы все разошлись. Оказалось, что для нее *верность выше истины*.

Я долго не мог успокоиться, здесь в выставочном зале Манежа, в случайной, в отличие от клуба ВМФ, группе зрителей, произошло то же самое, что и там: размежевание по идеологии. Не по классовой сущности, как надо бы «по Марксу», а по принципу «верность выше истины», или, точнее, верность мертвой истине выше живой истины. И ничего не поделаешь! Дальше — мертвое выше живого, фанатизм, тупик...<sup>122</sup>

Я не мог предложить всему этому объяснение, временами мне даже стало казаться, что такое явление — чуть ли ни черта русского национального характера. Очень многое прояснить помогла небольшая статья знаменитого академика Б.В. Раушен-

---

<sup>122</sup> Меня это явление заинтересовало и я стал внимательно следить за статистикой. В 1991 г. в апреле (до ГКЧП) коммунистов поддерживали 13%, в сентябре (после ГКЧП) их поддерживали те же 13%! (по сообщениям «Радио России» и «Радио I» соответственно).

баха, точнее его ответы редакции бюллетеня «НТР». Не могу удержаться, чтобы не привести несколько фраз.

«Скажем, человеку с более развитым левым полушарием мозга... более свойственен логический, научный подход. Более развитое правое полушарие... характерно для людей поэтического, религиозного... настроя души. Логические несоответствия его не смущают.

...Допустим собрались люди, имеющие только по одному полушарию мозга. Что произойдет? После долгих споров они разойдутся, ничего друг другу не доказав...

— Какие дураки! — скажут «левополушарники» о своих оппонентах. — Глупее собеседников мы не встречали.

«Правополушарники» воскликнут, горя негодованием:

— Ну и аморальные же типы нам сегодня попались!

...Человек с одним полушарием головного мозга есть просто инвалид первой группы.»

Статья была великолепна и остроумна, она писалась не по поводу идеологического размежевания, но я как-то успокоился насчет нашего русского национального характера! Действительно, инвалидом первой группы с успехом может быть и ирландец и араб; вообще, национальность тут не причем; дело-то, перифразируя героя известной детской сказки, здесь житейское.

Итак, вместе с благосклонным читателем, я добрался до 1987 года, когда осознав, что кончается *моя эпоха*, стал писать эту книгу. Работа естественным образом распараллелилась и пошла сначала по двум направлениям. Первое — события детства, они не требовали особых размышлений, всё было ясным и писалось быстро. Второе — идеологическая эволюция. Здесь дело обстояло куда как сложнее, события, породившие ее и ее сопровождавшие, надо было «выстроить в шеренгу» хотя бы по хронологии, а затем, как мне хотелось, и по происхождению.

Я завел две записные книжки, одну для определения основных событий нашего Великого Социалистического Эксперимента, а вторую — для уяснения (или объяснения) русского национального характера, так как считал, что без менталитета объяснить ВСЭ нельзя. К концу 1988 года я вынужден был завести еще две записные книжки: «Истоки и последствия» и «Созвучия». Первые совершенно отчетливо прояснили, что истоки ВСЭ лежат далеко за 1917 годом: в истории, географии, религии, а сам национальный характер — явление вторичное. «Созвучия» же убедили (и поддержали) меня в том, что я отнюдь не одинок в своих впечатлениях.

С хронологией я справился довольно быстро, а вот с остальным материалом случилось непредвиденное: его количество ста-

ло расти и по прошествии около десятка лет записных книжек у меня оказалось более двадцати.

Но о хронологии. Я еще раз убедился, что вся советская история держится на универсальной базе истории партии, помеченной датами съездов. При этом их интерпретация имеет *плавающий* характер, всё зависит от времени, когда рассматриваются их решения — при живом генсеке или после его смерти. Единственное исключение — Ленин, он обожествлялся, всех же остальных — критиковали, особенно Хрущева.

Выстраивать хронологию по съездам и генсекам было несерьезно: Сталин это этап, а Черненко — даже не эпизод. Тогда я стал перебирать события. На первый план — после 1917 года — выступили: красный террор и военный коммунизм 1918—21 годов, великий перелом («вторая революция») 1929 года, 1937 год, 1941-й, Великая Победа 1945-го... События говорили сами за себя, но их отбор был субъективным и, конечно, эмоциональным, по крайней мере мне так показалось.

В конце концов я пришел к тому, что в нашей истории после 1917 года существуют периоды и соответствующие им *конституции*:

- *Ленинские*, их две — РСФСР 1918 года и вторая — 1924-го, закрепившая образование СССР;

- *Сталинская* 1936 года, законодательно установившая победу социализма;

- *Брежневская* 1977 года, узаконившая КПСС как руководящую и направляющую силу государства и общества.

С некоторым удивлением я заметил, что эти периоды совпадают с периодами, интуитивно сложившимися в моем сознании:

- Мировая революция;

- Абсолютное государство;

- «Коллективное» руководство.

Таким образом метаморфозы моего мировосприятия получили конституционную основу!

С русским же характером я ошибся, он не был первоисточником ни того, что произошло в 1917 году, ни того, что происходит сейчас. Хотя на стиль или — по-теперешнему! — на дизайн нашей истории он, конечно, повлиял.

Вообще, национальный фактор, по-моему, играет в социальных движениях подчиненную роль. Фашизм, нацизм, «коммунизм» — это разные названия одного явления — тоталитаризма. Первый (фашизм) приключился с романским народом, второй — с германским, третий — со славянским, а затем пошел гулять в Азии, Африке и Америке, правда, Латинской... Причины — «плохие времена», прежде всего военные *поражения*. Однако последние часто могут превратиться и в *победы* Революций.



Рассмотрение записных книжек — это самостоятельная задача, я ограничусь лишь несколькими мотивами из них, сделавшими мне более понятным наш русский путь в истории, поскольку судьба и культура (языка я не касаюсь), определяют народный облик.

Нулевая изотерма января проходит почти меридионально от Прибалтики до Черноморского побережья западной части Украины. Климат к западу и востоку от этой изотермы разный. На западе — мягкий «морской», на востоке — суровый «континентальный». От этого никуда не уйти, как и от того что Россия страна даже не северная, а *при полярная*.

*Природная* особенность ведения крестьянского хозяйства в историческом центре России — при неблагоприятном климате и худородных почвах — делало его и рискованным и низкоурожайным. Лето давало только 130 рабочих дней, в то время как даже в Прибалтике — на четыре-пять недель больше, а о Западной Европе и говорить нечего. Это не могло не наложить отпечатка на национальный характер, поскольку требовало от русского человека способности максимального напряжения сил на коротком промежутке времени, но и при таком условии положительный результат не был гарантирован. Я думаю именно здесь находятся истоки *веры в чудо*, основной, мне кажется, черты русского национального характера. Отсюда и «Как ни работай, а будет как Бог даст», и еще — отсутствие привычки к аккуратной в деталях работе и склонность к аврамам и штурмовщине. Здесь же и истоки живучести нашей крестьянской общины, бывшей своеобразным страховым полисом на случай всякого рода бедствий и непредвиденных обстоятельств, в отличие от традиции в этом деле крестьянства Западной Европы. Те с большим основанием рассчитывали на дело рук своих, а не на чудо.

Очень древним и глубоким источником нашего неустройства мне представляется «идеология» знаменитого Слова о законе и благодати, написанного еще в 1051 году первым митрополитом-*русин*ом, поставленным Ярославом Мудрым самостоятельно, вопреки прерогативе Константинопольского патриарха, главой Русской церкви. В этой первой прописи *русской* правовой мысли благодать ставится выше любого закона. Не могу удержаться и не привести полное название этого Слова:

«О законе Моисеем данеem и о благодати и истине Иисус Христом бывши. И како закон отиде, благодеть же и истина всю землю исполни и вера в вся языки простреся и до нашего языка рускаго. И похвала кагану нашему Володимеру, от него же крещены быхом».

В противопоставлении закона (справедливости) и благодати (милости) мне кажется и находится ключ *русской идеи*, бинар-

ной изначально. Этой раздвоенностью (западная) Европа практически переболела, а мы, принявшие христианство и с ним письменность на тысячелетие позднее, «добаливаем». Проще говоря, они постарше, и их культура тернарна, а мы еще не совсем освободились от бинарности.

Русь восприняла греческий, а не римский вариант христианства, и вместе с ним — византийскую традицию почти абсолютной власти императора в вопросах религии. Константинополь для восточной Европы был такой же великой школой государственности, как и папский Рим для западной. Но в отличие от римской церкви, превратившейся под управлением пап в независимую силу, Восточная церковь осталась покорной цезарям. Я думаю, что наш Владимир Красное Солнышко выбирал веру для Руси не столько по красоте православного богослужения, сколько по удобству для собственного властвования. Так же поступал и Ярослав Мудрый в случае с митрополитом Иларионом. Я убежден, эта традиция неразделения власти, или властей, благополучно живет до сих пор...

Оценивая происходящее, я пришел к окончательному выводу, что обладание властью само себе цель, а не средство, какие бы великие цели не провозглашались, вроде, скажем, построения рая на земле, а не на небесах. Даже Сталин, этот кровожадный деспот, считал себя благодетелем, дающим всеобщую счастливую жизнь. Правда, на свой образец. Если образец не подходит, для Сталина нет проблемы, это «дарагой, уже твоя проблема». Прокрустово ложе не древнегреческий миф, а неизбежный атрибут власти.

В записную книжку «Созвучия» я с удовольствием записал очень мне близкую мысль Тимофеева-Ресовского о нашей культуре, как составной и автономной части *европейской*, а также мнение Д.С. Лихачева о европейской основе русской культуры. Можно упомянуть и о Ф.Ф. Кузнецове, считающем некорректным говорить о евразийском ее характере. Продолжать можно долго, но я не могу удержаться от удовольствия заметить, что моя русская идентификация, сложившаяся еще в юности под влиянием поэзии и взглядов Алексея Константиновича Толстого, не изменилась. Это просто факт, который имеет место. А во вновь возникшем старом споре западников и славянофилов я без колебаний встал на сторону первых. Для России нет худшего пути, чем самоизоляция, для меня это: *нам урок!*

Всё сказанное получилось своеобразным предисловием к знакомству с работами Л.Н. Гумилева.<sup>123</sup> Меня заворожила его, в

<sup>123</sup> Л.Н. Гумилев. Мифы и реальность этносферы. «Дружба народов», № 11, 1989.

сущности, очень простая мысль: все, что имеет начало, имеет и конец, поэтому и народы-этноты имеют свой срок жизни — тысячу двести-тысячу пятьсот лет. И это — закон природы! Я восхищался блеском и эрудицией его изложения, а также методом, которым он пользовался для обоснования своих утверждений. Я бы назвал его методом *системного синтеза*, когда данные разных научных источников, дополняя друг друга, создают непротворечивую картину истинного события или процесса. Я, буквально, охотился за его книгами, они в Москве шли нарасхват, пока не собрал все основные труды!

Пересказывать Льва Николаевича — неблагоприятное занятие, но я должен сказать, что удовлетворяющее меня объяснение легкости, с какой татаро-монголы покорили Русь, я получил. Так же, как и объяснение того, что вместо одной Руси появились Россия, Украина и Белоруссия. Киевская Русь, прожив свой срок, распалась до нашествия. Любопытно, что ни в одном из русских городов не было татарских гарнизонов, а дань — платили!

Московская Русь — это уже следующее поколение; великороссы, малороссы и белоруссы — это этноты-дети Киевской Руси. Унаследовав общие истоки языка, культуры и судьбы, они стали новыми побегам на живом дереве этносов Земли.

Очень интересным, хотя и не до конца объясненным, показалось мне явление, названное Гумилевым *пассионарностью* и играющее важную роль в судьбе этноса и человека. В ней я нашел определенное созвучие с фанатизмом и подумал, не служит ли она механизмом этнических мутаций. Но это — а прогроз. Что же касается евроазиатства, то здесь Лев Николаевич меня не переубедил.

Как нет вечных народов, так нет и вечных империй. Именно после чтения Гумилева у меня исчезло негативное отношение к этому слову. *Империя* — ни что иное, как крупное, сильное централизованное многонациональное государство с доминирующим языком, народом и культурой. Этому латинскому<sup>124</sup> по происхождению слову более двух тысячелетий, а вот производному от него выражению «*империализм*» как высшая стадия капитализма» всего не более ста лет. Тем не менее не так давно мой однокашник Лёня С. категорически попросил не называть Советский Союз империей.

Я идеологически (хочется написать идиотически) очень радовался, когда после II-ой мировой войны распалась Британская империя, хотя, казалось бы причин для этого распада не было — союзники победили, и империи бы только укрепляться. Ан нет,

---

<sup>124</sup> imperium (лат.) — власть.

срок подошел. Никуда не денешься, *есть процессы, которые идут сами по себе!* Несколько предвосхищая события, я должен сказать, что когда распался СССР, я с угрызением совести вспомнил тогдашнюю идеологическую радость: моя дочь с семьей оказались за границами России. Хотя и задним числом, но искренне я посочувствовал англичанам и Черчиллю, который так хотел сохранить империю.

Да, история как таковая, — это факты, идеология же — только их заинтересованное толкование. Я не берусь разъяснить историю, я пытаюсь лишь рассказать о моем понимании ее...

Повторюсь, к концу 80-х годов социализм как идеология был для меня исчерпан. Но некоторые рудименты этой идеологии продолжали жить автономной жизнью. Я еще не сказал сам себе четко и ясно, что «коммунизм-социализм» — это *вера, а не знание*, хотя и иронизировал над словосочетанием *научный коммунизм*. То же самое относится и к известной словесной формуле, что *человек всё может* (особенно, если он глава государства!) или ее аналогу — *народ всё может*. Очень сильным рудиментом оставалась также вера в безупречные человеческие качества, а по сути, в святость Ленина. То, что с Лениным, точнее, вокруг него, дело обстоит ненормально, понимать я стал давно — из-за огромного количества цитат, к месту и не к месту заполнявшими все возможные носители информации, особенно по праздникам, которые сплошь, за исключением, пожалуй, Нового года, были революционными. Впрочем, и на Новый год всегда вспоминали, как Ленин с Крупской ездили к детям на елку в Сокольниках.

В Мавзолее вождя Мировой революции я был два раза, один раз перед войной, второй — в 1983 году. До войны Ленин лежал в защитного цвета френче с орденом «Красного знамени», обрамленном шелковой лентой-розеткой. Таким же рассчитывал я увидеть его и во второй раз, когда этим ритуальным мероприятием завершалось окончание курсов повышения квалификации руководящего состава, куда я был направлен на месяц с небольшим. Но на сей раз Ленин лежал в темно-синем костюме с галстуком... Мысленно я назвал такое дело *балаганом*. Конечно, мое возмущение относилось к «идеологам», а не к памяти вождя. Я начал смутно вспоминать, как в младших классах школы мы иногда на переменках шепотом (о покойниках говорить страшно-вато!) рассуждали о том, что мозг знаменитых людей специально заспиртовывают и хранят в каком-то не то музее, не то институте. Там есть мозг Ленина, а говорили мы, если не ошибаюсь, о Куйбышеве или Мичурине.

Несмотря на возросшее количество публикаций, представление о несравненности Ленина было таким устоявшимся и освя-

ценным советской традицией, что казалось невозможным для переосмысливания. Я, буквально, обомлел от неожиданности, когда услышал с экрана телевизора (шла трансляция I Съезда народных депутатов СССР) предложение Ю. Корякина убрать труп Ленина из мавзолея и похоронить его на Волковом кладбище в Ленинграде рядом с могилой его матери. Я еще не был готов так смело и раскрепощенно мыслить. Тем не менее, время пошло и через канонизированный образ стали настойчиво проступать черты реального человека на фоне действительных, а не идеологически деформированных исторических событий. Самыми неприятными мне показались постоянное ленинское стремление к власти, *кровожадность* и *нелюбовь к России*, ее он ставил ниже Мировой революции. Примером неправильного, я бы сказал рокового, ленинского решения, был отказ от российских губерний. Теперь это очевидно, но до этого десятки лет мне постоянно твердили, что впервые в истории и навсегда национальный вопрос у нас решен. Между тем штаты как территориальные образования (в США, Мексике...) к губерниям значительно ближе, чем республики или другие национальные образования в нынешней России. Перечислять плохие решения и действия можно долго... Последнюю точку в грустной истории моего отношения к Ленину я поставил, когда в одной из публикаций прочел, что после смерти Ленина, при вскрытии, одно полушарие его мозга оказалось сморщенным и иссохшим, меньшим, чем другое. Как было не вспомнить академика Раушенбаха...

После всего узнанного о Ленине я и понял и почувствовал, что Ленинград надо переименовывать, точнее — возвращать ему его историческое название: идеологии уходят, а история остается. День, когда моему второму родному городу было возвращено название Санкт-Петербург, был для меня праздничным днем. Я с облегчением вздохнул и почему-то вспомнил, что на Памятнике Тысячелетию России нет Ивана Грозного. И еще — одну парадоксальную арабскую сентенцию: «Кто предвидит последствия, не сотворит великого». Она украшала орден имама Шамиля, взятого в плен русскими войсками в 1859 году...

Так кончалась для меня *моя эпоха*... Последние партийные взносы, причем за два месяца вперед (апрель и май 1991 года), я уплатил только потому, что меня попросила об этом постоянно собиравшая их Татьяна Никитична, женщина очень доброжелательная, безукоризненно справедливая и преданная партийному долгу. Ей предстояла операция по поводу рака, и я не мог огорчить ее отказом. Последнее (весной 1991 года) собрание первичной парторганизации ЖЭК-24 ничем примечательным мне не запомнилось, кажется говорили о возможном появлении вместо

КПСС Российской компартии. Но один эпизод на этом собрании мне врезался в память, он был почти символичным. На собрание пришел, с трудом передвигая ноги, верный партийной дисциплине глубокий старик. Дома он оставил больную жену, тоже члена партии. С видимым напряжением досидев до конца, он, когда собрание было объявлено закрытым, потерял сознание и упал... Вызвали «скорую». Старику помогли придти в себя и мы, втроем из присутствовавших, помогли ему добраться до автомашины.

Конец эпохи сопровождался невиданным количеством политических карикатур. Две из них я отнес бы к классике. Первая, кажется, английская, воспроизводилась во многих наших газетах и тонких журналах, вторая — из «Независимой Газеты». Вот какими они мне запомнились:

Первая. Нищие Маркс и Ленин сидят на обочине тротуара, выставив перевернутую шляпу для подаяния. Между ними разговор:

— Да, а ведь теория-то хороша была!

Вторая. Горбачев в виде ребенка сидит на коленях у своего деда, не выпуская из рук веревочку. Веревочка привязана к стоящей на полу игрушке на колесиках, на них, торчком, серп и молот. Дед, улыбаясь, говорит внуку:

— Да брось ты этот социализм, кому он нужен!

## МЕТАНОЙЯ



В своем первоначальном (греческом) звучании метанойя есть простое раскаяние, то есть полная и необратимая перемена мысли.

Самым радостным и ярким событием в последующие годы было утро 22 августа 1991-го. Трое суток назад Москва проснулась от танкового гула и объявленного перехода власти в руки Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР во главе с вице-президентом Янаевым. Это было в понедельник 19 августа, газет не было, но радио и телевидение постоянно передавали «Заявление советского руководства», «Обращение к

советскому народу» и другие документы ГКЧП. В перерывах, как при смерти генсеков, звучала классическая музыка. На этот раз, однако, она не была траурной, лилась музыка Чайковского, его «Лебединое озеро». Было не по-летнему очень холодно, все время шел дождь. Ничего не поделаешь, подумал я, революции и перевороты всегда совершаются в столицах. Придется книгу, которую я пишу, теперь прятать...

Не буду описывать происходившие события, скажу только, что Бог, Ельцин и Москва спасли Россию. Здесь нет никакого преувеличения, всё висело на волоске. К вечеру 21-го дождь кончился и утро 22 августа было солнечным, а голубизна неба — первозданной. Накануне, как и в предшествовавшие дни, радиостанция «Эхо Москвы» обратилась с призывом собраться на площади у здания Верховного Совета РСФСР для поддержки президента России, поскольку ГКЧП выступал как бы от имени СССР. Замечу попутно, что если бы не ГКЧП, то, — это мое мнение, — у СССР был шанс сохраниться достаточно долго в виде конфедерации.

И вот мы с Сережей, моим внуком, стоим на площади у «Белого дома». Какие удивительно светлые лица у собравшихся! Все дружелюбны, вежливы и внимательны, помогают друг другу найти место, чтобы лучше видеть трибуну, опоясанную огромным белосине-красным полотнищем, не слышно ни одного бранного слова. Мои чувства мало отличаются от восторга, испытанного 9 мая 45-го года на Дворцовой площади. Победа! Переворот не прошел!

Воодушевление переходит всякие пределы, когда Борис Николаевич зачитывает подписанный на глазах у всех Указ, и безымянная площадь перед зданием становится площадью Свободной России. На флагштоке здания впервые в послереволюционной истории поднимается трехцветный русский флаг. Многие плачут, стотысячное «Ура!» несколько раз волнами прокатывается из конца в конец площади. Слышны и «Виват Россия!», «Ельцин-Ельцин-Ельцин!», «Мы победили!», «Долой КПСС!», «Да здравствует Россия!»... После митинга становлюсь в одну из очередей и подписываюсь под обращением об упразднении политорганов в Вооруженных силах.

Отправляясь домой берем с Сережкой на память по несколько небольших осколков от булыжника из свежей, но уже ставшей не нужной баррикады у мостика. Рядом с ним памятник, на нем фигуры с красным знаменем: Пресня 1905 года, в бронзе. Привычные и стершиеся словосочетания *история повторяется* и *колесо истории* внезапно наполняются неожиданным первоначальным смыслом. Я почти физически почувствовал дуновение нового времени. «Моя эпоха» ушла, точнее — прощалась.

Не так знаменательно, но тем не менее очень отчетливо это «круговращение истории» я ощутил весной 1994 года в одном из небольших залов Музея Вооруженных Сил России. В витрине под стеклом я увидел пожелтевшую листовку с обращением. В нем говорилось:

### СЛУШАЙТЕ РУССКИЕ ЛЮДИ!

За что мы боремся?

За поруганную веру и оскорбленные ея святыни.

За освобождение Русскаго народа отъ ига коммунистов, бродягъ и каторжниковъ в концѣ разоривших Святую Русь.

За прекращеніе междуусобной брани.

За то, чтобы крестьянинъ, преобрѣтая въ собственность обрабатываемую имъ землю, занялся бы мирным трудомъ.

За то, чтобы честный рабочий былъ обеспеченъ хлѣбом на старости лѣтъ.

За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси.

За то, чтобы Русскій народъ самъ выбралъ бы себѣ хозяина.

Помогите мнѣ, русскіе люди, спасти родину!

*Генералъ Врангель.* (Типографія Политической Части  
Штаба Главнокомандующего В.С.Ю.Р.)

Если бы не устаревшая орфография и подпись генерала белой гвардии, всё изложенное по существу мало чем отличается от направленности современных реформ. А семьдесят пять лет прошло.

Не менее сильное впечатление я испытал года два спустя, когда увидел сияющее золото главного купола Храма Христа Спасителя в непередаваемой голубизне московского неба. У меня сжалось сердце: я видел, как разбрасывали камни и вот я вижу, как их собирают! Светлана, моя кузина, дочь дяди Фили, с которой мы отправились посмотреть на памятные с детства места, не может несколько минут говорить...

Я уже писал, что с Борисом, после ухода его в запас, мы регулярно видимся, и за чашкой кофе или рюмкой кристалловской водки обмениваемся мыслями. Какой это дар небес — дружба с юности! Мы редко расходимся в восприятии происходящего, разве что в несущественных деталях. Недавно я попросил Бориса записать однажды высказанный им почти афористический взгляд на социальную историю. Со свойственной ему изящной обязательностью Борис сделал это, предпослав кредо несколько строк:



Если отбросить <...> детали, то движущая сила истории предстанет в виде отвратительной серии драк между богатыми и бедными. Сначала наиболее сильные и бессовестные отнимают все, что только возможно у тех, кто послабее. Потом, когда обедневшие уже не в состоянии существовать, они сговариваются и идут грабить богатых. Ограбив, они, как им кажется, создают справедливое общество, но взявшие власть бывшие бедные сразу начинают грабить очередных слабых и становятся новыми богатыми. Процесс периодически повторяется. Ученые обосновывают это как закономерность, и пишут что-нибудь вроде *Происхождения частной собственности*, ограбления называют революциями, а продолжающийся процесс все больше обогащается кровью.

Короче можно это сформулировать так:

Сильные грабят слабых, становятся богатыми. Обездоленные слабые, потеряв терпение, грабят богатых и сразу же начинают грабить оставшееся большинство слабых. Затем процесс повторяется. На том и стоит история человечества <...>.

Не могу не привести еще один эпизод. Совсем недавно из Питера приезжала Наташа, и мы, как обычно, вспоминали былое и немного философствовали. Рассказывая о традиционных встречах выпускников I-ой образцовой средней школы Петроградского района (сейчас это школа № 80), Наташа с восхищением говорила о Марии Юлиановне Поволоцкой, бывшей до войны у них учительницей истории. На встрече 1994 года, когда официальная часть была в самом разгаре, Мария Юлиановна потребовала внимания и голосом, сохранившим металлические нотки властного педагога, сказала:

— Я вас учила истории, но истории я не знала!

В мгновенно наступившей после гвалта и шума тишине, она добавила, что говорит об *открывшейся* истории.

Слушая Наташин рассказ о самоотверженном поступке ее старой учительницы, я невольно вспомнил знакомое со школьных лет знаменитое сталинское предупреждение о рискованности исторических параллелей. Он высказал его в декабре 1931 года в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом, но оно, по-моему живо до сих пор! Это предупреждение — я бы назвал его заклятием — было необходимым Сталину, иначе вождь советского народа и генеральный секретарь превращался просто в узурпатора. Не случайно были запрещены или осуждены труды А.Л. Чижевского с его космическими, точнее, солнечными циклами; Кондратьев с его циклами экономическими; Л.И. Гумилев с циклами развития этносов... Нет смысла перечислять, история начиналась с октября 1917-го, всё, что было до этого — только предыстория! Сам же вождь параллели любил, достаточно вспомнить Ивана Грозного и опричнину.

Действительно, параллели и аналогии дают великолепный материал, превращая историю-летопись в историю-предвидение. Мне кажется, что уже появляется *теоретическая история*. В чем-то схожая с теоретической физикой, несмотря на свою сугубую гуманитарность. В самом деле, не аналогичны ли константы физики, такие как скорость света, постоянная Планка или ускорение силы тяжести, гуманитарным константам, содержащимся, например, в библейских заповедях? Сотворили себе Вождя-генсека, и имперская конструкция с обожествленным кумиром, несмотря на все заклинания громадного пропагандистского аппарата и невиданные репрессии, рухнула. Заповедь «Не сотвори себе кумира» — это гуманитарная константа, ее не отменишь. Такое же фундаментальное значение имеет неустрашимость зла (или Зла). Его количество в нашем трехмерном мире с линейным однонаправленным временем принципиально не может быть равным нулю. Невозможно Царство Божие на земле. Поэтому и не построили мы сказку для взрослых — высшую фазу коммунизма, ограничившись только первой, социализмом, назвав его, для очистки совести, развитым. Построили, а он рухнул, добро бы только у нас, а то ведь и в Польше, и в Венгрии, и в Чехословакии, но, главное, в Германии, в стране, с которой «Мы в книге рока на одной строке».

Я не разъясняю историю, я пытаюсь рассказать о моем понимании ее. Круговращения, их может быть лучше назвать ритмами истории, имеют разные периоды. Для большинства из них продолжительность человеческой жизни, почти ничтожна мала. Но не равна нулю! И в этом смысле она достаточна для узнавания хотя бы крупницы Истины, а знание — Божественно, оно почти синоним Бога. Знание приносит отнюдь не одна только наука, его дают и религия, и откровения, попросту называемые интуицией...

Есть процессы, идущие как бы сами по себе, по крайней мере такими они кажутся. Не уяснив причин их возникновения и пытаясь «решить проблему» исключительно силой, мы часто копируем язычников, желающих умиловить человеческими жертвоприношениями своего кумира, имя которому *незнание*.

Однако, я увлекся и повторяюсь. Вернемся к баррикадам, но не на площади Свободной России, а к тем, что стали разделять моих однокашников. В 1990 году, когда в теплый золотистый денек только начавшейся осени, мы отмечали пятидесятилетний юбилей нашей военно-морской спецшколы, всё еще было хорошо. Торжественным построением «спецов»-ветеранов на бывшем плацу у школы командовал Маршал Советского Союза Сергей Ахромеев. Он — из первого нашего выпуска, последний экзамен они сдали 28 июня 1941-го, из этого выпуска живых оста-

лось меньше всех. И вот — удивительная, как символ, картина — маршал докладывает капитан-лейтенанту в отставке, ученик отдает честь своему воспитателю. Накануне приехавший из Риги, Герман Янович Эндзелин, несмотря на почтенный возраст, выглядит браво. Выслушав рапорт, он твердым голосом командует: «Вольно!» и обращается к нам. И тут становится заметно, что он очень взволнован — у него несколько раз садится голос и увлажняются глаза.

А через год, после Августа 1991-го, Сергей Ахромеев покончил с собой. В вышедшей после его смерти книге «Глазами маршала и дипломата» соавтор Сергея Федоровича пишет, что всё происшедшее «...он воспринял как грядущую гибель Отечества и крушение всего, в чем он видел смысл своей жизни».

Очень цельный и честный человек, Сергей, я думаю, был максималистом и, кроме того, романтиком; веру в *идеал* он ставил выше *реальности*. С такой точки зрения новое становится уже не столько отрицанием старого, сколько его предательством. Здесь, действительно, тупик. А Сергею — вечная и светлая память...

Между 22 августа 1991-го и 9 мая 1945-го была разница: чувство победы в мае было всеобщим, в августе — такой всеобщности не было, много было равнодушных. «Неоднозначно», как тогда стали говорить воспринималось *новое время*. Пик разлада и общественного раздражения пришелся на 1993 год. Любой разговор мгновенно политизировался! Спорили, вплоть до ругани и потасовки, везде — в очередях, на остановках, в троллейбусах и автобусах. Весной я написал что-то вроде письма на Радио России и в «Независимую газету» с предложением собрать средства на общий памятник и красным и белым, он мне представлялся таким: лежат мертвыми два прекрасных юноши-брата, один — со звездой, а другой с крестом на груди. Они убили друг друга в безумном заблуждении, считая что каждый правильнее любит Родину. Над ними распростер крылья русский орел, скорбно опустивший свои головы.

Успеха я не имел, на радио мне отказали через две недели, в газете — сразу. Превосходное, хотя и несколько локальное решение этой же проблемы я увидел осенью в Питере, где под родным адмиралтейским шпилем раз в пять лет собирается каждый училищный выпуск. Занавес у нашей клубной сцены состоит из двух половин, на каждой из них — по военно-морскому флагу, слева советский старый, справа новый (хочется сказать более старинный) андреевский. И под каждым — лавровая ветвь! Что же касается нас самих, то мы решили впредь за столом больше о политике и религии не говорить.

Как-то почти незаметно для себя я стал касаться событий нового времени, а это — уже другая эпоха, другие песни и, естественно новые идеи, идеалы и мифы.

Я долго не мог остановиться на подходящем названии для своего романа с идеологией. Первым были «Рефлексии», название условное, верное по существу, но звучащее сухо и как-то слишком по-ученому. Через некоторое время мне в голову пришли «Удивления, события, объяснения». Поразмыслив, я от такого названия отказался, оно подходило бы к классическим мемуарам, а у меня — нечто вроде повести об эволюции только собственного мировоззрения. Среди других вариантов появлялись «Кто я?», «Был мальчик», «Очарование мнимой цели» и даже «Великий социальный эксперимент. Взгляд изнутри»... Поскольку дело с названием было неспешным, я как-то спросил у Леши Сытина, что он скажет по этому поводу. Не задумываясь, он быстро ответил:

— У Альфреда де Мюссэ есть «Исповедь сына века». Хорошо бы назвать «Исповедь самому себе!»

Я подумал-подумал и решил, что это было бы слишком претенциозно, и продолжал время от времени перебирать возможные варианты. Однажды, при очередной встрече с Борисом, а он всегда находился в курсе моих дел, Борис убежденно, как отрезал, сказал:

— Назови «Свидетель социализма»!

Позднее к нему Владимир Ильич Десятерик предложил добавить: «Раздумья о своей эпохе».

Так появилось название у этой книги. Отвечая же самому себе на вопрос, что произошло со мной, в чем смысл *метанойи*, вынесенной как заголовок последней главы, я отвечаю так: от нормативного, и во многом утопического, средневекового мировосприятия, я, надеюсь, перешел к восприятию окружающего с естественных позиций *здорового смысла*. Если бы сказать немного поэтичнее, вся эта книга — прощание с детством и путь по ступенькам, одна из которых сегодняшний день.

23 февраля 1997 г.  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| ОТ АВТОРА .....                           | 3   |
| МИФЫ .....                                | 6   |
| ОТЕЦ .....                                | 10  |
| БАБУШКА .....                             | 18  |
| МАМА .....                                | 23  |
| ДВОР .....                                | 30  |
| ШКОЛА .....                               | 38  |
| МАГИЯ СЛОВА .....                         | 48  |
| ГАРМОНИЯ .....                            | 58  |
| ТЕНИ ГАРМОНИИ .....                       | 70  |
| ПРОДОЛЖЕНИЕ ГАРМОНИИ .....                | 77  |
| ВОЕННО-МОРСКАЯ СПЕЦШКОЛА .....            | 90  |
| ВОЙНА .....                               | 105 |
| ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ .....           | 117 |
| ГАРМОНИЯ И ИЕРАРХИЯ .....                 | 134 |
| ПАРАД ПОБЕДЫ .....                        | 149 |
| НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ МИР .....               | 166 |
| ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА .....                | 176 |
| ЛИШНЯЯ ГЛАВА .....                        | 189 |
| БОРЬБА С НИЗКОПОКЛОНСТВОМ .....           | 201 |
| ПЕРВЫЕ ОФИЦЕРСКИЕ ШАГИ .....              | 214 |
| В МОРЕ — ДОМА, НА БЕРЕГУ — В ГОСТЯХ ..... | 229 |
| ПРАВИЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА .....                  | 244 |
| НАЧАЛО ПЕРЕМЕН .....                      | 255 |
| ОТДЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ .....                   | 268 |
| АКАДЕМИЯ .....                            | 281 |
| СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ .....                     | 294 |
| ИНЕРЦИЯ .....                             | 306 |
| ПРОСВЕТЛЕНИЯ .....                        | 316 |
| ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ .....                      | 327 |
| ГРАЖДАНСКАЯ ЖИЗНЬ, ПЕРВЫЕ ШАГИ .....      | 338 |
| ДИССОНАНСЫ .....                          | 351 |
| СОМНЕНИЯ И НАДЕЖДЫ .....                  | 369 |
| КОНЕЦ ЭПОХИ .....                         | 380 |
| МЕТАНОЙЯ .....                            | 393 |

